

# Альберто Моравиа

## Римские рассказы

### СОДЕРЖАНИЕ

#### Предисловие

Одержимый. Перевод И. Тыняновой  
До свиданья. Перевод И. Тыняновой  
Майский дождь. Перевод И. Тыняновой  
Не выясняй. Перевод З. Потаповой  
Приятный вечерок. Перевод А. Сиповича  
Шуточки жары. Перевод З. Потаповой  
Дублер. Перевод Р. Хлодовского  
Паяц. Перевод И. Тыняновой  
Фальшивая ассигнация. Перевод Р. Хлодовского  
Шофер грузовика. Перевод Р. Хлодовского  
Мысли вслух. Перевод З. Потаповой  
Замухрышка. Перевод З. Потаповой  
Посредник. Перевод Л. Завьяловой  
Младенец. Перевод З. Потаповой  
Безупречное убийство. Перевод Л. Завьяловой  
Пикник. Перевод К. Наумова  
Родимое пятно. Перевод И. Тыняновой  
Хулиган поневоле. Перевод Р. Хлодовского  
Транжира. Перевод Г. Сафроновой  
Злополучный день. Перевод А. Старостина  
Драгоценности. Перевод А. Старостина  
Табу. Перевод Т. Блантер  
Я не говорю нет. Перевод Т. Блантер  
Безрассудный. Перевод Ю. Мальцева  
Проба. Перевод А. Сиповича  
Пень. Перевод Л. Завьяловой  
Девушка из Чочарии. Перевод Р. Хлодовского  
Римская монета. Перевод Р. Хлодовского  
Забавы Феррагосто. Перевод А. Старостина  
Гроза Рима. Перевод З. Потаповой  
Дружба. Перевод З. Потаповой  
Бич человечества. Перевод Е. Гальперина  
Неудачник. Перевод Ю. Добровольской  
Старый дурак. Перевод Ю. Добровольской  
Катерина. Перевод Ю. Добровольской  
Слово "мама". Перевод К. Наумова  
Очки. Перевод Г. Сафроновой  
Марио. Перевод З. Потаповой  
Друзья до черного дня. Перевод Т. Блантер  
Бу-бу-бу. Перевод К. Наумова  
Воры в церкви. Перевод З. Потаповой  
Жребий выпадет тебе. Перевод З. Потаповой  
Лицо негодяя. Перевод Е. Гальперина  
Не везет. Перевод Е. Гальперина

Жребий. Перевод О. Плинка  
"Скушай бульончику". Перевод Л. Завьяловой  
Жизнь в деревне. Перевод А. Сиповича  
Не в своей тарелке. Перевод И. Тыняновой  
Загородная прогулка. Перевод К. Наумова  
Возмездие Тарзана. Перевод А. Сиповича  
Ромул и Рем. Перевод Ю. Добровольской  
Колбасник. Перевод Г. Сафроновой  
Аппетит. Перевод Р. Хлодовского  
Сиделка. Перевод А. Сиповича  
Клад. Перевод А. Сиповича  
Конкуренция. Перевод Р. Хлодовского  
Коротышка. Перевод Е. Бабун  
Сторож. Перевод Р. Хлодовского  
Нос. Перевод К. Наумова  
Здесь не поживитесь... Перевод Т. Блантер  
ПРЕДИСЛОВИЕ

Писатель может любить свою эпоху или ее ненавидеть, он может стараться придать своим произведениям характер современности, даже злободневности или, напротив, отдаляться от киномелькания событий, все равно на каждой написанной им странице - тавро века.

Первый роман Альберто Моравиа "Равнодушные", сразу сделавший двадцатидвухлетнего автора известным не только в Италии, но и далеко за ее пределами, вышел в 1929 году. В те времена Италия жила двойной жизнью. То и дело на балконе, хорошо знакомом римлянам, показывался Муссолини; он требовал от своих соотечественников непреклонности и повиновения, терпения и бодрости. Молодые чернорубашечники лихо маршировали на древних площадях. Улыбка считалась необходимой справкой о политической благонадежности. Итальянцев учили не сомневаться, не задумываться, презирать все, что делается за рубежом. Итальянская литература была громкой и пустой; герои посредственных романов жили в атмосфере ложного пафоса и буафорского романтизма. Читая эти книги, можно было подумать, что фашизм изменил душевную природу людей, уничтожил страсти, ошибки, страдания, сделал жизнь упрощенно возвышенной. На самом деле фашизм был в Италии нахожной болезнью, уродующей лицо, но не поражающей важнейших функций организма. Каждый итальянец двурушничал. После разгрома последних противников фашизма в 1924 году страной овладела апатия. Люди послушно подымали руку, приветствуя друг друга, как то было предписано, кричали "дуче", дефилировали на парадах, но делали это механически. Ржа равнодушия разъедала души. Достойны восхищения и прозорливость, и гражданское мужество Альберто Моравиа, который среди волчьего воя чернорубашечников и опасливого шепота обывателей четыре года работал над своим романом "Равнодушные".

Цитировать себя не принято, но я нарушу это правило и приведу несколько строк, написанных мною в 1934 году: я хочу показать, как в те времена был принят и понят роман молодого итальянского автора:

"Из книг, вышедших в Италии за последнее десятилетие, наибольшим литературным успехом пользуется роман молодого автора Моравиа "Равнодушные". Это правдивый рассказ о молодых людях, душевно опустошенных и мечтающих исключительно о деньгах. Героиня романа сходится с любовником своей матушки: этот любовник богат, а у матушки вместо денег - долги. Брат героини сначала решается на мужественный поступок: он решает убить или по меньшей мере оскорбить богатого наглеца. Но, вовремя раздумав, он пьет с ним ликер. Почему? Да потому, что это "равнодушные". Таковы результаты античного воспитания, героических речей, гранитных слов и прочих побрякушек фашистской культуры".

Прошло четверть века. Давно нет ни Муссолини, ни романистов, прославлявших мужество чернорубашечников. Однако мир "Римских рассказов" Моравиа чем-то напоминает роман "Равнодушные". Конечно, социальная среда иная: в "Равнодушных" была изображена буржуазная семья, а в римских новеллах автор показывает разоряющихся лавочников, неудачников, дилетантов городской преступности, официантов, шоферов такси, парикмахеров, уличных музыкантов, безработных. Это не Рим, и не народ, это садок, в котором давно не меняли воду; задыхающиеся рыбы кружатся и пускают пузыри.

Большинство из героев новелл мечтают все о том же: как бы достать немного денег. Один хочет выклянчить сто тысяч лир, другой хотя бы один раз задарма пообедать, третий решает снять с руки богатого покойника кольцо, четвертый пробует сбыть фальшивые ассигнации, пятый проникает в церковь с тем, чтобы ее обокрасть, шестой обходит друзей и просит одолжить ему десять тысяч, седьмой пытается всучить прохожим "древнюю" монету. Женщины требуют денег. Порой неудачникам хочется что-то выкинуть, убить богача, развязаться с обидным существованием; но это не гангстеры, не "пистолерос", а всего-навсего полужулики, полуневрастеники. Парикмахер злится на своего шурина, которому принадлежит парикмахерская, ему хочется хотя бы побить зеркала, но зеркала остаются неповрежденными. Официант решает кочергой убить хозяина ресторана, но этой кочергой возчик убивает клячу, а официант плетется прочь. Подросток подкинул письмо: он требует у богатого соседа денег и радуется, что его письмо не подобрали. Да, герои римских новелл убивают только в мечтах. Они порой дерутся между собой, чаще ругаются, но им не хочется ни драться, ни ругаться. В общем, им не хочется жить. В любви они несчастны, да и вряд ли можно назвать любовью их попытки соблазнить ту или иную девушку. Герои все с изъяном: один коротышка, другой замухрышка, у третьего нет подбородка. Все они не вышли ростом да и вообще не вышли - остались полуфабрикатами людей.

Читая "Римские рассказы", невольно вспоминаешь роман "Равнодушные": буря в стакане воды. А между тем над Италией прошли настоящие бури: война, гитлеровцы, американцы, надежды, разочарования, голод, захват земель, карательные экспедиции, грандиозные забастовки. Моравиа говорит, что в своих римских рассказах он хотел показать жизнь простых людей, но что в Риме нет рабочих, кроме каменщиков и киномехаников, - рабочие в Милане или в Турине. Он ссылается на постоянство материала. Может быть, дело не только в этом, а и в постоянстве художника? Говоря о молодых писателях Италии, Моравиа объясняет, что пережитые Италией события, социальная и экономическая шаткость привели к тому, что люди живут сегодняшним днем, без дальнего прицела. Он пишет: "Человеку приходится довольствоваться только тем, чтобы продолжать жить, он не может позволить себе роскошь моральных оценок. Опасно то, что нет ни большой литературы, ни больших героев без моральных оценок".

Приведенные мною слова показывают, что Моравиа смел, анализируя не только "коротышек" и "замухрышек", но и писателей, может быть, и самого себя. Он причисляет себя к тому художественному направлению, которое известно за границей главным образом по замечательным кинофильмам, а именно к неореализму. Я должен признаться, что мне менее всего кажутся убедительными литературные "измы". Всякое подлинное произведение искусства построено на жизни и показывает жизнь и, следовательно, может быть названо реалистичным, будь то "Божественная комедия" или "Гамлет", "Дон-Кихот" или "Мертвые души". Ни Толстой, ни Стендаль, ни Диккенс не доказывали, что они - реалисты: очевидно, в том не было нужды. Потом появились различные литературные течения, старавшиеся подчеркнуть приверженность писателей к изображению реальной жизни: натуралисты во Франции, веристы в Италии. Говоря о реализме, писатели прибавляли какой-либо эпитет. В чем отличие неореализма от реализма? Говорят, в том, что неореалисты пытаются придать своим произведениям характер документальности. Вряд ли. Ведь многие рассказы Чехова нам кажутся документальными, а фильм Де Сика "Чудо в Милане" силен духом сказочности. Мне кажется, что дело не в художественном методе, а скорее в душевном складе художника.

Когда я говорю, что замкнутый мир "Римских рассказов" определяется не

особенностями населения итальянской столицы, а особенностями восприятия Моравиа, я менее всего хочу усомниться в реальности изображаемых им героев. Моравиа - прекрасный писатель, он умеет коротко и необычайно выразительно изобразить человека. Мы видим в "Римских рассказах" жестокую и бессмысленную жизнь, тупую борьбу за кусок хлеба, нудных мужей, хищных женщин, громкие, но невеселые воскресные развлечения, огни кино и баров, на которые слетаются, как мошкара, злосчастные люди, - всю мишуру столичной жизни, о которой тоскует один из героев Моравиа, попавший в деревенскую глушь.

Один и тот же прием объединяет все "Римские рассказы": автор молчит, и о приключившемся с ними рассказывают сами герои новелл. Это помогает Моравиа еще ярче раскрыть в коротеньком рассказе своих неудачников, и это еще явственнее отделяет его художественную позицию от тех авторов, которые все время вертятся на сцене, подсказывая своим персонажам куцые, безликие реплики.

Мне кажется, что писатель не должен рассуждать за своих героев, он не вправе менять их поступки, их чувства, их язык. Но он вправе любить своих героев: от такой любви изображаемая им жизнь не становится менее реальной живой урок нам дал Чехов. Вероятно, персонажи "Римских рассказов" думают и чувствуют именно так, как показано в новеллах Моравиа, но это ведь только куски их жизни, рассказы в трактире, в поезде или на пляже. Они могли бы дополнить свое повествование; и если порой они нам кажутся чересчур мелкими, то это происходит от отношения автора к своим персонажам: он показывает их, как коллекцию психологических или житейских уродств. Я вспоминаю героев некоторых итальянских фильмов: "Похитители велосипедов", "Два гроша надежды", "Рим в одиннадцать часов". По своему социальному положению эти герои - родные братья героев "Римских рассказов". Моравиа себя причисляет к неореалистам, как и авторы названных кинокартин. Между тем зритель, видевший итальянские фильмы, находит их героев несчастными, но хорошими, обиженными, но не покушающимися на роль обидчиков. Отличие, видимо, в отношении Моравиа к своим героям. Он как бы возвращается к периоду романа "Равнодушные" и хочет во что бы то ни стало избежать маскировочной добродетели или иллюзий благородства.

Между романом "Равнодушные" и "Римскими рассказами" Моравиа написал ряд книг: "Маскарад", "Супружеская любовь", "Недоразумение", "Приспособленец", "Римлянка" и другие. Из них мне удалось прочитать только роман "Римлянка". Он как бы распадается на две части, первая мне показалась большой удачей Моравиа. Он дал волю своим чувствам, вложил в образ героини частицу себя, оживил ее своим дыханием. Адриана - милая девушка, созданная для любви и счастья, которая становится проституткой. Конечно, первая половина романа "Римлянка" не менее реалистична, чем "Римские рассказы", но она как-то добрее, человечнее.

Художники редко признаются даже себе в своих притяжениях или отталкиваниях. Говоря со мной о "Римских рассказах", Моравиа сказал, что ему хотелось рассказывать только для того, чтобы рассказать, он сослался на пример Боккаччо. Вряд ли римские рассказы продиктованы одним желанием разрешить литературную проблему. Если бы Моравиа привлекала только форма прямого рассказа, он нашел бы и более приятных героев, и более привлекательную фабулу. Один из рассказов выдает, как трудно порой разоблачать жизнь. Правда, эта тема сознательно принижена, взята в рамках умственных коротышек и моральных замухрышек, и все же она выделяется. Бродячий певец в ночных ресторанах, где ужинают зажиточные римляне, поет сентиментальные песенки, но поет, пародируя их, принижая. Случайно он заходит в харчевню, где едят герои "Римских рассказов", и один из посетителей, возмущенный тем, что над его любимой песенкой издеваются, поет ее просто "по-настоящему". Разоблачитель кончает жизнь самоубийством.

Даже педантичные критики начинают понимать, что писатель волен выбирать героев согласно своему душевному складу и что смешно его уговаривать изображать других людей, другую среду, другие чувства. На самом деле писатель отнюдь не волен в выборе героев - они являются сплавом его наблюдений и его переживаний. Напрасно Гоголь пытался

преодолеть себя. Моравиа долго жил в обществе, где люди думали и чувствовали иначе, чем они говорили и поступали. В рассказе "Мысли вслух" он (опять-таки нарочито принижая тему) показывает, как сильна привычка к двойной жизни. Счеты писателя с миром равнодушных еще не сведены. Моравиа прав, говоря, что необходимы моральные оценки для того, чтобы создать высокую литературу. Необходимо и другое: страсть самого автора. Первая половина романа "Римлянка" показывает, как оживают герои, когда писатель отказывается от тяжелого, как обет, равнодушия. Альберто Моравиа молод, ему нет и пятидесяти лет. От него можно ждать больших книг.

Илья Эренбург.

Одержимый

В одно июльское утро, когда я подремывал в тени эвкалиптовых деревьев возле высохшего фонтана на площади Мелоццо да Форли, подошли двое мужчин и девушка и попросили отвезти их на Лидо ди Лавиньо. Пока мы договаривались о плате за проезд, я разглядывал их: первый был высокий, толстый блондин с бледным, землистым лицом и глубоко сидящими небесно-голубыми, словно фарфоровыми глазами; на вид ему было лет тридцать пять; другой - помоложе, брюнет, с всклокоченными волосами, в очках с черепаховой оправой, худой и весь какой-то расхлябанный, должно быть студент. А девушка так и вовсе была худющая, с остреньким длинным личиком, белеющим между двумя волнами распущенных волос; такая тоненькая в своем зеленом платье, делавшем ее похожей на змейку. Но рот у нее был сочный и красный, как ягодка, и глаза красивые, черные и блестящие, словно влажные угольки; и к тому же она на меня так поглядела, что я решил не торговаться. Они сели в машину - блондин рядом со мной, а двое других позади; и мы поехали.

Я пересек весь Рим, чтобы выехать на улицу, лежащую позади собора Сан-Паоло, потому что это самая короткая дорога в Анцио. Там я заправился бензином и поехал на большой скорости. Я рассчитал, что пути будет примерно километров пятьдесят, сейчас половина десятого, так что приедем часам к одиннадцати - лучшее время для купанья. Девушка мне понравилась, и мне захотелось завязать с ней знакомство; мои пассажиры, видно, были не очень важными особами. Мужчин по их выговору можно было принять за иностранцев; может быть, это были беженцы, из тех, что живут в колониях вокруг Рима. Девушка, напротив, была типичная итальянка, даже скорее всего римлянка, и тоже, наверно, не из богатых: какая-нибудь там горничная, или гладильщица, или еще что-нибудь в этом роде. Думая обо всем этом, я тем временем прислушивался к тому, как брюнет и девушка болтали и смеялись на заднем сидении. Особенно громко смеялась девушка; я уже раньше заметил, что она была довольно развязная и вся какая-то извивающаяся, словно пьяная змейка. При каждом взрыве хохота блондин морщил нос под темными очками для защиты от солнца, но ничего не говорил, даже не оборачивался. Впрочем, ведь ему стоило только поднять глаза и взглянуть в зеркальце, висящее над ветровым стеклом, чтобы прекрасно видеть все, что происходит сзади. Мы проехали Трапписти, корпуса завода E-42 и единым духом подъехали к развилке дороги, ведущей на Анцио. Здесь я затормозил и спросил сидящего рядом со мной блондина, куда, собственно, их везти. Он ответил:

- В какое-нибудь тихое место, где никого нет... мы хотим быть одни.

Я сказал:

- Здесь будет километров тридцать пустынного берега... Вы сами должны решать.

Девушка из глубины машины крикнула:

- Пускай он решает. Я ответил:

- При чем же тут я?

Но девушка продолжала кричать:

- Пускай он решает, - и смеялась, словно в этих словах было что-то очень смешное.

Тогда я сказал:

- Лидо ди Лавиньо - очень людное место... Но я вас отвезу в один уголок неподалеку, где ни одной живой души не бывает.

Эти мои слова почему-то очень рассмешили девушку, и, нагнувшись вперед, она похлопала меня по плечу со словами:

- Молодец... Ты умный парень... Понял, что нам нужно.

Я не знал, что и думать, ее поведение казалось мне очень странным и хотя раздражало меня, но в то же время внушало какую-то неясную надежду. Блондин все время мрачно молчал, но под конец не выдержал:

- Пина, мне кажется, здесь нет ничего смешного.

И вот мы снова двинулись в путь.

День был душный, без ветра, белая дорога слепила глаза, те двое, позади, только и делали, что болтали и смеялись, но потом внезапно смолкли, и это было еще хуже, потому что я видел, как блондин посмотрел в зеркальце над ветровым стеклом и опять сморщил нос, словно увидел что-то, что ему очень не понравилось. Теперь по одну сторону дороги тянулись голые сухие поля, а по другую - густые заросли кустарника. Я замедлил ход возле столба с объявлением, Что охота здесь запрещена, затем свернул и поехал по извилистой тропинке. Зимой я здесь охотился, это и верно глухое место если не знать дороги, так и не отыщешь. За кустарником начинался сосновый лес, а за лесом - пляж и море. В этом лесу когда-то, во время высадки союзников в Анцио, окопались американцы, и сейчас еще здесь можно видеть остатки траншей, где валяются ржавые консервные банки и пустые патроны, и люди редко ходят сюда, потому что боятся мин.

Солнце сверкало ослепительно, и весь покрытый мелкими листочками кустарник казался изумрудным в этом море света. Тропинка бежала вначале прямо, потом свернула на полянку и снова ушла в лес. Теперь перед нами были сосны в зеленых шапках, колыхаемых ветром, которые, казалось, плыли в небе, а за ними сверкающее море, синее и тугое, просвечивающее сквозь красные стволы. Я вел машину тихонько, потому что из-за всех этих кустов и веток плохо различал дорогу и боялся поломать рессору. Я сосредоточенно глядел перед собой и думал только о дороге, как вдруг блондин, сидевший возле меня, с такой силой толкнул меня в бок, навалившись на меня всем телом, что я чуть не вылетел в окошко.

- Что за черт! - воскликнул я, рывком останавливая машину.

В этот момент позади меня раздался сухой треск, и я от изумления даже рот раскрыл, увидев на ветровом стекле целый сноп тоненьких, расходящихся лучами трещин с круглой дыркой посередине. Кровь застыла у меня в жилах. Я закричал:

- Убивают! - и хотел выпрыгнуть из кабины.

Но брюнет, тот, что стрелял, приставил к моей спине Дуло револьвера со словами:

- Ни с места!

Я снова сел и спросил:

- Чего вы от меня хотите? Брюнет отвечал:

- Если бы этот дурак не толкнул тебя, то сейчас не было бы необходимости объяснять тебе это... Нам нужна твоя машина.

Блондин пробурчал сквозь зубы: - Я вовсе не дурак. Брюнет ответил:

- А кто ж ты еще?.. Разве мы не договорились, что я буду стрелять? Зачем ты пустил в ход руки?

Блондин возразил:

- Мы еще договорились, что ты оставишь в покое Пину... ты тоже пустил в ход руки.

Девушка рассмеялась и сказала: - Теперь нам крышка. - Почему?

- Потому что он поедет в Рим и донесет на нас. Блондин сказал: - И очень хорошо сделает.

Он вынул из кармана сигареты и закурил. Брюнет нерешительно повернулся к девушке:

- Ну, что ж нам теперь делать?

Я поднял глаза, взглянул в зеркальце и увидел, что девушка, свернувшись клубочком в уголке машины, показывает в мою сторону, щелкая большим и указательным пальцем, - мол, прикончи его. Кровь снова застыла у меня в жилах, но тотчас же я вздохнул свободнее, услышав, как брюнет сказал серьезно и с убеждением:

- Нет, есть вещи, на которые можно решиться только один раз... Раз не вышло - второй раз я уже не могу.

Я набрался храбрости и сказал:

- Ну что вы будете делать с этим такси? Кто вам подделает патент? Кто перекрасит машину, чтоб ее не узнали?

Я чувствовал, что каждый мой вопрос все больше ставит их в тупик и они не знают, как быть: убить меня им не удалось, а ограбить, видно, не хватает смелости. Однако брюнет сказал:

- У нас все есть, не беспокойся.

Но блондин едко усмехнулся и возразил:

- Ничего у нас нет, у нас есть только двадцать тысяч лир на троих и револьвер, который не стреляет.

В эту секунду я снова взглянул в зеркальце и увидел, что девушка опять кивает на меня и снова шелкает пальцами, даже как-то забавно. Тогда я сказал:

- Синьорина, когда мы приедем в Рим, вы за этот жест получите несколько дополнительных годочков тюрьмы. - Потом я резко повернулся в сторону брюнета, который все еще прижимал дуло револьвера к моей спине, и крикнул с ожесточением: - Ну, чего ты ждешь? Стреляй, трус ты этакий, стреляй!

Мой голос прорезал окружавшую нас глубокую тишину, и девушка воскликнула, на сей раз с явной симпатией ко мне:

- Знаете, кто здесь действительно храбрый человек? Он! - и указала на меня.

Брюнет пробормотал какое-то ругательство, сплюнул в сторону, вылез и подошел к окну кабины. Он был в бешенстве.

- Ну, скорее, - сказал он. - Сколько ты хочешь за то, чтоб отвезти нас в Рим и не донести на нас?

Я понял, что опасность миновала, и медленно проговорил:

- Я не хочу ничего... Я отвезу вас всех троих прямехонько в тюрьму Реджина Чели.

Брюнет, надо отдать ему справедливость, не испугался, слишком уж он был расстроен и раздосадован. Он сказал только:

- Сейчас я тебя убью.

- Попробуй... - ответил я. - И знаешь что? Никого ты не убьешь... Вот что я тебе скажу: придется посидеть вам всем за решеткой - и тебе, и этой потаскухе - подружке твоей, и ему тоже.

Он сказал тихо:

- Ах так? Ну хорошо же...

И я понял, что с ним и вправду шутки плохи, потому что он отступил на шаг и поднял револьвер. Но на мое счастье в эту секунду девушка крикнула:

- Да прекратите вы все это... То деньги предлагаете, то пугаете револьвером... вот увидите, как он сейчас нас повезет.

Сказав это, она нагнулась вперед и легонько так пощекотала пальцами мое ухо, незаметно, чтоб те двое не видели. Я очень смутился, потому что, как я уже говорил, она мне нравилась и, сам не знаю почему, но я был уверен, что я ей тоже нравлюсь. Я поглядел сначала на брюнета, который все еще целился в меня из револьвера, потом искоса взглянул на нее, заметил, как пристально смотрит она на меня этими своими черными улыбающимися уголочками, - и твердо сказал:

- Уберите ваши деньги... Я не такой бандит, как вы... Но в Рим я вас не повезу... Разве только ее, потому как она - женщина.

Я думал, они начнут протестовать, но, представьте себе, просто удивительно: блондин тотчас выскочил из машины, пробормотав "счастливого пути", а брюнет опустил револьвер. Девушка живо вскочила с места и пересела ко мне в кабину. Я сказал:

- Ну, до свиданья, надеюсь, скоро вас отправят на каторгу, - и взялся за руль, да только одной рукой, потому что другую девушка сжимала в своих, и мне было даже приятно, что те

двое поняли, почему я вдруг такой податливый сделался.

Я выбрался на дорогу и проехал пять километров, не раскрывая рта. Она все продолжала сжимать мою руку, и этого мне было вполне достаточно. Теперь я тоже искал какое-нибудь пустынное место, только цели у меня были совсем другие, чем прежде у них. Но как только я остановился и хотел свернуть на дорожку, ведущую к берегу моря, она положила руку на баранку и сказала:

- Нет, нет, что ты делаешь, поедem в Рим. Я сказал, глядя на нее в упор:

- В Рим мы поедem вечером. А она:

- Понятно, и ты такой же, как другие, и ты такой же.

Она тихонько захныкала, вся как-то обмякла, стала такая холодная, фальшивая - за километр можно было увидеть, что она притворяется и разыгрывает комедию. Я попытался обнять ее, но она ускользала из моих рук то вправо, то влево, никак невозможно было ее поцеловать. Кровь у меня горячая, и я очень вспыльчивый. Я вдруг понял, что она играет со мной, как кошка с мышкой, и что в этой проклятой поездке я только зря извел бензин, потерял время да еще всяких страхов натерпелся; и я с гневом оттолкнул ее, сказав:

- Иди ты к чертям в ад! Там тебе и место.

Она совершенно не обиделась, сразу же успокоилась и забилась в угол кабины. Я взялся за руль и уже до самого Рима мы не сказали друг другу ни слова.

Когда приехали в Рим, я открыл дверцу и сказал ей:

- Ну, теперь выходи да утекай отсюда поскорее. А она словно удивилась и спросила:

- Как? Разве ты на меня сердишься?

Тут уж я не мог больше сдержаться и закричал:

- Нет, вы только подумайте: она хотела меня убить, из-за нее я целый день потерял, бензин, деньги... И я еще не должен на тебя сердиться! Да ты должна небо благодарить за то, что я тебя в полицию не отвез!

И знаете, что она мне ответила?

- Ты просто одержимый какой-то!

И с этими словами она сошла и, гордая, вызывающая, надменная, вся так и извиваясь в этом своем змеином платье, прошла между машинами, автобусами, велосипедами, летящими по площади Сан-Джованни. Я, словно меня кто заморозил, смотрел ей вслед, пока она не исчезла. В эту минуту кто-то сел в такси и крикнул:

- На площадь Пополо!

До свиданья

Портолонгоне - это древняя крепость, расположенная на скале, нависшей над морем. В день, когда я уходил оттуда, дул сильный юго-западный ветер, от которого захватывало дух, а солнце ослепительно сияло на ясном, без единого облачка, небе. Может, из-за этого ветра и этого солнца, а может, просто от сознания, что я на свободе, но я был как шальной. Так что, когда я, проходя по тюремному двору, увидел начальника тюрьмы, который сидел на солнышке и беседовал со зрителем, я не мог удержаться, чтобы не крикнуть:

- До свиданья, синьор начальник!

И вдруг я прикусил язык, потому что понял, что это "до свиданья" совершенно не подходит к случаю: можно подумать, что я хочу вернуться в тюрьму или даже уверен, что вернусь. Начальник, добрый человек, улыбнулся и поправил меня:

- Ты хочешь сказать - "прощайте". И я повторил:

- Да, прощайте, синьор начальник.

Но было уже поздно и ничего нельзя было поделать: слово не птица, выпустишь - не поймает.

Это "до свиданья" не переставая звенело у меня в ушах во время всего пути и даже потом, когда я очутился дома, в Риме. Возможно, виною тут был прием, который мне оказали родные: мама, понятно, встретила меня радостно, но зато другие даже хуже, чем я ожидал. Брат, сопляк безмозглый, торопился на футбол и сказал только:

- А, Родольфо, здорово!



А сестра, эта расфуфыренная обезьяна, так та просто убежала из комнаты, крича, что если я останусь жить с ними, она уйдет из дому. Что же касается отца, который вообще не любит много разговаривать, то он ограничился тем, что напомнил мне: мое место в столярной мастерской не занято, если я хочу, то могу начать работать хоть сегодня. Наконец все ушли и дома остались только мы с мамой. Она хлопотала на кухне - мыла посуду после обеда. Стоя возле раковины, такая маленькая в своем поношенном платье, с растрепавшимися седоватыми волосами, в огромных войлочных шлепанцах на больных ногах, она тут же, не переставая полоскать тарелки, начала длинную проповедь, которая, хоть и произносилась из самых лучших побуждений, для меня, по правде сказать, была хуже, чем визгливые выкрики сестры или равнодушные отца и брата. Что она мне говорила? Да то же самое, что говорят обычно в таких случаях все матери, не принимая, однако, в расчет, что в моем-то случае правда - на моей стороне, и я ранил человека, защищаясь, и доказал бы это на процессе, если б не ложное показание Гульельмо.

- Вот видишь, сынок, к чему привела тебя твоя гордыня. Послушайся мать, ведь я одна тебя люблю и жалею, ведь я, пока тебя не было, больше слез пролила, чем святая Мария, когда ее сына распяли... Послушайся мать: смири свою гордыню, никогда не совершай насилия, лучше сто раз стерпеть обиду, чем один раз обидеть. Разве не знаешь, как пословица учит: не рой другому яму, сам в нее попадешь. Если даже ты и прав, гордыня сделает тебя виноватым... Над Иисусом Христом ведь тоже свершили насилие, распяли на кресте, а он простил всем своим врагам... Да ты что же, хочешь умнее Иисуса Христа быть?

И дальше все в том же роде. Что я мог ей ответить? Что все это неправда, что я сам стал жертвой насилия, что во всем виноват этот негодяй Гульельмо, что на каторге место не мне, а совсем другому? Я решил, что лучше встать и уйти.

Я мог бы отправиться в столярную мастерскую на виа Сан-Теодоро, где ждали меня отец и другие рабочие. Но мне вовсе не улыбалось в первый же день своего возвращения, словно ничего не произошло, вешать куртку на гвоздь и надевать комбинезон, вымазанный клеем и маслом два года тому назад. Мне хотелось насладиться свободой, поглядеть на город, поразмыслить о своих делах. Поэтому я решил, что сегодня целый день буду гулять, а уж завтра с утра пойду на работу. Мы жили недалеко от виа Джулиа. Я вышел из дому и направился к мосту Гарибальди.

В тюрьме я думал, что когда я снова буду на свободе и вернусь в Рим, все представится мне, по крайней мере в первые дни, совсем в другом свете; что на сердце у меня будет радостно и оттого все мне покажется ярким, веселым, прекрасным, заманчивым. Так вот, ничего этого не случилось: словно я не просидел столько времени в тюрьме Портолонгоне, а, к примеру, провел несколько дней на водах в Ладисполи. Был обычный серый римский день, и дул сирокко; небо, как грязная тряпка, тяжело висело над городом, воздух был сухой и горячий, и даже каменные стены домов казались раскаленными. Я шел и шел, и видел, что все осталось таким же, как прежде, как всегда, - ничего нового, ничего радостного: кошки на углу переулка возле свертка с объедками; мужские уборные за дощатой загородкой, обсаженные чахлыми кустиками; надписи на стенах с обычным "ура" и "долой"; женщины, усевшиеся посплетничать у дверей лавок; церкви с каким-нибудь слепым или калекой, примостившимся на паперти; тележки с апельсинами и винными ягодами; газетчики, продающие иллюстрированные журналы с фотографиями американских кинозвезд. И все люди казались мне какими-то неприятными, противными: один - носатый, у другого - рот кривой, у третьего - рыбы глаза, у четвертого щеки висят, как у бульдога. Короче говоря, это был обычный Рим и обычные римляне: какими я их оставил, такими и нашел. Взойдя на мост Гарибальди, я прислонился к парапету и стал глядеть на Тибр: это был все тот же Тибр, лоснящийся, вспухший и желтый, со стоящими на приколе лодочными станциями, возле которых обычно упражняется в гребле какой-нибудь толстяк в трусиках, окруженный толпой зевак. Чтобы отделаться от всего этого, я перешел мост и пошел по Транстевере к переулку Чинкве, в знакомую остерию: хозяин ее, Джиджи, был моим единственным другом. Я сказал, что пошел туда, чтобы отделаться от всего, что видел, но, по правде говоря, меня потянуло

туда еще и потому, что неподалеку от остерии находилась точильня Гульельмо. Едва я издали завидел эту точильню, как кровь ударила мне в голову, меня бросило сначала в жар, потом в холод, словно вот-вот упаду замертво.

Я вошел в остерию, которая в этот час была совсем пуста, сел в уголок в тени и тихонько позвал Джиджи, который стоял за стойкой и читал газету. Он подошел и, как только узнал меня, принялся обнимать и все повторял, что очень рад меня видеть. Это как-то подбодрило меня, потому что ведь до сих пор, кроме мамы, еще ни один смертный не встретил меня ласково. Я ни слова не мог вымолвить от волнения, на глазах у меня навернулись слезы, а он после нескольких подходящих к случаю фраз начал:

- Родольфо, кто ж это мне говорил, что ты должен вернуться? Ах да, Гульельмо.

Я ничего не ответил, но при этом имени весь задрожал. Джиджи снова заговорил:

- Уж не знаю, как он узнал об этом, но факт тот, что он пришел ко мне и сообщил... Ну и лицо у него было! Сразу видно - боится.

Я возразил, не подымая глаз:

- Боится? Чего? Разве он не правду сказал? Разве он, когда давал показания, не выполнял свой долг? И разве жандармы - плохая защита?

Джиджи похлопал меня по плечу.

- Ты все такой же, Родольфо, ни капельки не изменился... Да ведь он твоего нрава боится... Говорит, что не думал причинять тебе зла, ему, мол, велели говорить правду, он и сказал.

Я сидел молча. Подождав минуту, Джиджи продолжал:

- Если б ты знал, до чего мне тяжело видеть, что два таких человека, как ты и Гульельмо, ненавидят и боятся друг друга! Скажи, хочешь, я помирю вас, скажу ему, что ты больше не сердись и все прости?

Я начал понимать, к чему он клонит, и ответил:

- Ничего ему, пожалуйста, не говори. Он осторожно спросил:

- Почему? Ты еще сердись на него? Ведь прошло столько времени!..

- Что значит время? - сказал я. - Я вернулся сегодня, а мне кажется, что все это случилось вчера... Чувства не зависят от времени.

- Гони эти мысли, - настаивал Джиджи, - гони эти мысли, ты не должен думать так...

Что в этом толку?.. Помнишь, как в песне поется:

Что прошло, то прошло.

А что было, то было.

Надо, чтоб сердце

О прошлом забыло.

Послушайся меня, забудь о прошлом и выпьем. Я ответил:

- Выпить - это можно. Принеси-ка мне пол-литра... сухого.

Я сказал это довольно холодно, и он, не прибавив больше ни слова, встал и пошел за вином.

Но вернувшись, он не сразу мне налил, а поставил стакан в сторонку, словно хотел раньше о чем-то уговориться, а потом уже угостить, и серьезно спросил:

- Родольфо, ты ведь не собираешься сделать какую-нибудь глупость?

Я отозвался:

- Это тебя не касается, наливай. Он настаивал:

- Да ты только подумай: Гульельмо человек бедный, у него семья - жена и четверо ребятшек... Тоже ведь понять надо.

Я повторил:

- Наливай... и не мешайся в мои дела.

Тогда он стал наливать, но тихонько так, и все глядел на меня.

Я сказал ему:

- Бери стакан... выпьем... ты мой единственный друг, у меня на свете нет другого друга.

Он сразу согласился, налил себе стакан, сел и снова заговорил:

- Вот как раз потому, что я твой друг, я хочу сказать тебе, как бы я сам поступил на твоём месте: я бы не раздумывая пошел к Гульельмо и сказал ему: "Что прошло, то прошло, обнимемся, как братья, и не будем больше об этом вспоминать".

Он поднес стакан к губам, но пить не стал, а все смотрел на меня в упор. Я ответил:

- Брат на брата - пуще супостата... Знаешь поговорку?

В эту минуту в остерию вошли какие-то двое, и Джиджи, выпив одним духом свой стакан, ушел и оставил меня одного.

Я медленно пил свои пол-литра и все раздумывал. Меня совсем не успокаивало то, что Гульельмо боится, наоборот, у меня огонь полыхал в душе, когда я думал об этом. "Боится, подлец", - думал я и с такой силой сжимал стакан из толстого стекла, словно это была шея Гульельмо. Я говорил себе, что Гульельмо настоящий подлец: мало того, что он погубил меня своими ложными показаниями, так теперь еще хочет заручиться поддержкой Джиджи, рассчитывая, что тот уговорит меня помириться с ним. Так я допил свои пол-литра и заказал еще. Джиджи принес вино и осведомился:

- Ну, как настроение? Получше? Обдумал то, что я советовал?

Я отвечал:

- Настроение лучше, и я все обдумал. Наливая вино в мой стакан, Джиджи заметил:

- В таких делах, брат, с размаху нельзя... Не надо давать волю чувствам... Правда за тобой, тут спорить нечего, но именно поэтому ты должен показать себя благородным и простить.

Я не мог удержаться и с горечью воскликнул:

- Гульельмо что, подкупил тебя, что ли?

Он не обиделся и сказал искренно:

- Никто меня не подкупал. Просто я друг вам обоим... и хочу, чтобы вы помирились...

Вот и все.

Я снова стал пить и, может от вина, не знаю, но мысли мои с Гульельмо перешли на меня самого, и я стал вспоминать все, что произошло за эти два года, сколько я выстрадал, как меня всячески притесняли и обижали. И глаза мои наполнились слезами, и так мне стало себя жалко! Сначала себя, а потом и всех других. Какой я несчастный, без вины виноват, а сколько таких, как я. И Гульельмо несчастный, и Джиджи тоже несчастный, и мой отец, и мой брат, и сестра, и мать - все несчастные. Теперь Гульельмо представился мне в новом свете, я смотрел на него другими глазами, и постепенно я начал склоняться к тому, что Джиджи прав: мне нужно показать себя благородным и простить. От этой мысли я стал жалеть себя еще пуще, вдвое больше прежнего; и я был Доволен, что эта мысль пришла мне в голову, потому что хоть я и раньше знал, что простить лучше, чем отомстить, но никогда бы не смог простить, если б мне это сердце не подсказало. Однако я испугался, что этот благородный порыв скоро пройдет, и, когда вторая бутылка кончилась, громко позвал:

- Джиджи, поди-ка сюда на минуточку.

Он подошел, и я сразу ему сказал:

- Джиджи, я все обдумал и нахожу, что ты прав; если хочешь - я готов, пойдём к Гульельмо.

Он обрадовался:

- Вот видишь, разве я не знаю: немножко пораскинешь мозгами да выпьешь хорошего вина - и сердце заговорит.

Я ничего на это не ответил и вдруг закрыл лицо руками и начал плакать: я снова увидел себя в Портолонгоне, в одежде каторжника - как я в тюремной мастерской строгаю доски для гробов. В тюрьме все работали, а столырам доставалась самая неприятная работа - делать гробы для покойников со всего Портоферрайо и других селений острова Эльбы. И я плакал, вспоминая, как часто, делая эти гробы, я думал, что в один из них мне придется лечь самому. А тем временем Джиджи хлопал меня по плечу и повторял:

- Ну, ну, не надо ни о чем вспоминать, теперь уж все это позади.

Через минуту он прибавил:

- Давай пойдем сейчас же к Гульельмо. Вы обниметесь, как друзья, а потом мы все вместе вернемся сюда и разопьем бутылочку за ваше примирение.

Я вытер слезы и сказал:

- Пойдем к Гульельмо.

Джиджи вышел из остерии, и я следом за ним. Мы прошли метров пятьдесят, и между булочной и мастерской мраморщика я увидел точильню Гульельмо. Сам Гульельмо нисколько не изменился: маленький, серенький, жирненький, с лысой головой, со слащавым лицом, похожий одновременно и на пономаря и на Иуду, он стоял в профиль к нам у точила и был, казалось, поглощен своей работой. Он так старательно точил нож, то кладя плашмя, то ставя его ребром под падающей стружкой воды, что не заметил, как мы вошли. Как только я увидел его, то в миг почувствовал, что вся кровь во мне закипела, и я понял, что ни за что не смогу обнять его, как того хотел Джиджи: если б я обнял его, я, наверное, сам того не желая, откусил бы ему ухо или сделал что-нибудь еще в этом роде. Между тем Джиджи радостным, веселым голосом закричал:

- Гульельмо, посмотри-ка, Родольфо пришел к тебе мириться... что прошло, то прошло...

Гульельмо обернулся, и я увидел, как он переменялся в лице и сделал движение, словно собирался бежать. И вот, в то время как Джиджи, желая приободрить нас, восклицал: - Ну же... обнимитесь и больше не будем об этом говорить, - что-то словно рванулось у меня в груди и глаза мне застлало какой-то темной пеленой.

Я крикнул:

- Подлец! Ты меня сгубил, трус! - и бросился на Гульельмо, пытаюсь схватить его за горло.

Он испустил вопль, как настоящий трус, и убежал в самый дальний угол точильни. И он плохо сделал, что убежал туда, потому что все эти полки с наваленными на них ножами даже святого могли ввести в искушение. Представьте себе, ведь я два года ждал этой минуты! Джиджи кричал:

- Родольфо, остановись... Держите его! Гульельмо визжал, как свинья, которую режут; а я, выхватив наугад один нож из груды ножей, бросился на него. Я хотел ударить его в спину, но он повернулся, готовясь защищаться, и я попал ему в грудь. И в тот самый момент, когда я собирался нанести ему второй удар, кто-то схватил меня за руку, а потом я оказался на улице, окруженный со всех сторон людьми, которые отчаянно кричали, толпились и суетились и старались ударить меня, кто по лицу, кто по спине.

"До свиданья". Я сказал эти слова начальнику Портолонгоне, и действительно, в тот же самый вечер я оказался в камере Реджина Чели вместе с тремя другими арестантами. Чтоб облегчить душу, я рассказал им все, и один из них, человек, видно, ученый, заметил:

- Дорогой друг, когда ты сказал "до свиданья", это твое подсознание говорило за тебя... Ты уже знал, что сделаешь то, что сделал потом.

Может быть, он был прав, этот человек, говоривший так мудрено, и даже знал, наверно, что это за штука "подсознание". Но так или иначе я оказался в тюрьме, и "до свиданья" на этот раз я сказал свободе.

Майский дождь

На днях я снова думаю поехать на Монте-Марио в остерию "Охотничья", только, конечно, не один, а со своими приятелями; мы по воскресеньям всегда собираемся, кто-нибудь играет на аккордеоне, а остальные танцуют друг с другом, так как девушек с нами не бывает. Один-то я уж никогда не решусь показаться на Монте-Марио. Иногда ночью мне снятся дощатые столики, расставленные прямо на траве, и я снова вижу, как стучит по ним теплый майский дождь, как покачиваются над ними хмурые деревья, сбрасывая с листьев крупные светлые капли. А там, за деревьями, где-то далеко-далеко, плывут по небу белые облака, а под облаками широко раскинулась панорама Рима. Мне чудится, словно я опять слышу голос хозяина, Антонио Токки, тот самый сердитый голос, который я слышал в то утро, громко зовущий из погреба: "Дирче, Дирче!" - и мне кажется, что я снова вижу ее,

как она проходит мимо меня и пристально, по-особому смотрит мне в глаза, а потом спускается вниз, в погреб, и приставная лесенка скрипит под ее крепкими, ровными шагами.

Я попал к Токки случайно, сразу как приехал из деревни. Когда мне предложили поступить в его заведение официантом - без жалованья, только за харчи, - я подумал: "Деньжонок я здесь, конечно, не накоплю, но зато буду жить в семье". Какая там семья! Это был сущий ад, а не семья. Хозяин был круглый и жирный, как маслянистый сыр, что не мешало ему быть ядовитым и злым. У него было широкое землистое лицо со множеством мелких морщинок, разбегавшихся по жирным щекам и вокруг маленьких колючих глазок, похожих на глаза змеи. Ходил он в жилетке, без пиджака, а серая фуражка его была всегда надвинута на самые глаза. Дочь его, Дирче, характером мало отличалась от отца: такая же упрямая, злая, сердитая, но красивая - из тех маленьких, крепких, ладно сложенных женщин, которые ходят вразвалочку, поводя боками и крепко ставя ноги, словно говорят: "Эта земля - моя". У нее было круглое личико, черные глаза и черные волосы, и всегда она была бледна, словно мертвая. Только мать, пожалуй, одна из всей семьи, была добрая; этой женщине едва ли минуло сорок лет, а выглядела она на все шестьдесят - худая, нос крючком, как у старухи, волосы редкие. К тому же она была придурковатая; так, по крайней мере, можно было подумать, глядя, как она стоит возле плиты с неподвижным лицом, застывшим в немой улыбке. А когда она оборачивалась, сразу было заметно, что во рту у нее едва ли сохранилось два зуба.

Кабачок выходил фасадом на улицу, и на полукруглой вывеске цвета бычьей крови было выведено желтыми буквами: "Остерия Охотничья, владелец Антонио Токки". Аллея вдоль дома вела к столикам под деревьями, откуда открывался вид на Рим. Дом был грубо сколоченный, деревенский, с двумя-тремя подслеповатыми оконцами и черепичной крышей. Лучше всего здесь бывало летом: с утра до вечера приходили посетители - целые семьи с чадами и домочадцами, влюбленные парочки, веселые компании. И все сидели за столиками, пили вино и ели стряпню Токки, любясь панорамой города. У нас в такие дни не бывало ни одной свободной минутки: хозяин и я еле успевали подавать и убирать со стола, а женщины целый день готовили и мыли посуду. К вечеру мы так уставали, что шли спать, даже не взглянув друг на друга. Зато зимой или в дождливую погоду в доме начинались всякие неурядицы. Отец и дочь ненавидели друг друга - да что там ненавидели, они готовы были друг друга убить! Отец был тупой, властный, жадный и из-за каждого пустяка пускал в ход кулаки. А дочь была дерзкая, скрытная, всегда стояла на своем, как каменная, и всегда последнее слово оставалось за нею. Вероятно, они потому так друг друга ненавидели, что были одной крови, а ведь известно, что люди одной крови бывают иногда самыми лютыми врагами. Но, кроме того, причиной этой ненависти была корысть. Дочь была честолюбива: она говорила, что на этой панораме Рима, которая видна из их остерии, можно кучу денег нажить, а отец все это бросает псу под хвост. Она говорила, что отец должен бы устроить здесь цементную площадку для танцев и оркестр нанять, и цветные венецианские фонарики развесить, и превратить дом в модный ресторан, и назвать его "Панорама Рима". Но отец относился к этим затеям с большим недоверием - отчасти потому, что был скуп и презирал всякие новшества, отчасти потому, что эти предложения исходили от его дочери, а он скорее дал бы себя зарезать, чем согласился хоть в чем-нибудь уступить ей. Ссоры между отцом и дочерью разгорались всегда за столом; начинала она, злобно нападая на отца, оскорбительно придираясь к мелочам, например к тому, что у него после еды бывала отрыжка. Он отвечал бранью и проклятьями, дочь продолжала приставать, отец давал ей затрещину. Надо сказать, что он, очевидно, испытывал при этом огромное удовольствие, потому что закусывал нижнюю губу и как-то по-особому шурил глаза. На дочь эти затрещины действовали, как свежая вода на цветок: от них еще пышнее распускалась ее ненависть и злоба. Тогда отец хватал ее за волосы и начинал бить куда попало. Летели на пол и разбивались тарелки и стаканы; мать тоже ввязывалась в драку, становясь между мужем и дочерью, но при этом с глупого ее лица не сходила вечная улыбка, растягивавшая до ушей беззубый рот. А я, с сердцем, отравленным ненавистью, бежал бегом из этого дома и долго потом бродил один по

дороге, ведущей к Камиллучча.

Я бы давно ушел отсюда куда глаза глядят, если бы не влюбился в Дирче. Вообще-то я нелегко влюбляюсь, потому что я человек серьезный и разные там нежные слова и взгляды совершенно на меня не действуют. Но когда женщина без всяких слов и взглядов сама к тебе приходит и отдается вся целиком, телом и душой, да к тому же совершенно для тебя неожиданно, тогда ты оказываешься связанным по рукам и ногам, словно ты в капкан попал: и чем больше ты делаешь усилий, чтобы высвободиться из этого капкана, тем глубже врезаются тебе в тело острые зубья. Вероятно, Дирче задумала это еще до того, как познакомилась со мной, и, вероятно, ей было все равно - я ли, или другой кто, потому что в первую же ночь после моего приезда, когда я уже спал, она пришла ко мне в комнату. И так, наполовину во сне, наполовину наяву, почти не понимая, мечта ли это или действительность, я совершил внезапный скачок от равнодушия и покоя к страсти. Не было у нас с ней ни объяснений, ни взглядов, ни пожатия рук, ничего такого, к чему прибегают влюбленные, чтобы выразить свои чувства; это было как с уличной женщиной, да еще с дешевой. Однако Дирче не была уличной женщиной, а, наоборот, считалась гордой и неприступной, и это она только для меня сделала исключение - вот потому-то я и попал в капкан.

Я человек рассудительный, терпеливый, но я очень вспыльчив, и если меня раздражить, кровь легко бросается мне в голову. Эти черты моего характера сразу заметны, стоит лишь взглянуть на меня: я блондин, и лицо у меня бледное, но достаточно какого-нибудь пустяка, чтоб я покраснел до корней волос. Так вот, Дирче все время меня дразнила, и вскоре я понял, что ей от меня нужно: она хотела настроить меня против отца. Она говорила, что я просто трус, раз допускаю, чтоб в моем присутствии отец ее бил и таскал за волосы и даже бросал на пол и пинал ногами, как это было однажды. И я не говорю, что она была неправа: ведь мы с ней были любовники и, значит, я обязан был ее защищать. Но я понимал, что цель у нее была другая; я бесился оттого, что она обзывает меня трусом, и еще больше бесился, зная, что она делает это нарочно. Словом, жизнь стала для меня невыносимой. И вдруг в один прекрасный день она совершенно переменялась: заговорила ласково, что, мол, как бы хорошо нам с ней пожениться и открыть здесь ресторан "Панорама Рима", чтобы хозяевами были только она да я и никто больше. Она стала такая хорошая, тихая-тихая, ласковая, влюбленная такая. Это были лучшие дни нашей любви. Но я видел, что она совсем, совсем другая, и начал раздумывать и решил, что тут что-то нечисто. И правда, вскоре ветер переменялся в третий раз, и она сказала, что поженимся мы или не поженимся, а пока жив отец, добра ждать нечего. И в конце концов она прямо сказала: надо его убить. Это было как в ту ночь, когда она впервые вошла ко мне в комнату: ни колебаний, ни притворства - бросила мне в лицо эти слова и ушла, оставив меня одного их пережевывать.

На другой день я сказал ей, что она ошибается, если ждет от меня помощи в подобном деле, а она ответила, что в таком случае мне лучше сейчас же уйти отсюда вон, потому что для нее я больше не существую. И видно, так оно и было, потому что с этого дня она ни разу не взглянула на меня. Мы почти не разговаривали друг с другом, и теперь я тоже возненавидел ее отца: мне казалось, что это он во всем виноват. И, как нарочно, не проходило дня, чтобы хозяин не выкинул какую-нибудь штуку, словно специально для того, чтобы мы его еще больше ненавидели.

Был месяц май, лучший весенний месяц, когда люди любят зайти в остерию выпить бокал вина и поесть свежих бобов. Но в эту весну дождь лил как из ведра на листья деревьев и густую зеленую траву, и в наше заведение ни одна собака не забегала, что приводило хозяина в самое мрачное расположение духа. Как-то утром, за столом, он оттолкнул тарелку, сказав дочери:

- Ты нарочно подсовываешь мне вместо супа эту отраву.

Дочь ответила:

- Если б я это делала нарочно, я бы туда яду подсыпала.

Он взглянул на нее да как размахнется - и с такой силой ударил ее по лицу, что у нее

даже гребень из волос выпал. Было почти темно из-за непрерывного дождя, и лицо Дирче в этой темноте казалось белым и твердым, как мрамор, и волосы, с той стороны, где выпал гребень, расплетались медленно, медленно, словно просыпающиеся змеи. Я сказал Токки:

- Ты когда-нибудь оставишь ее в покое или нет?

Он ответил:

- Не лезь не в свое дело, - но все же немного испугался, потому что ведь это я в первый раз вмешался в их ссору.

А я испытывал даже некоторую гордость от сознания, что защищаю существо более слабое, хотя это был совсем не тот случай. Я подумал, что теперь, пожалуй, она ко мне вернется, что это единственный способ ее вернуть, и громко сказал:

- Оставь ее в покое, понимаешь, я запрещаю тебе бить ее!

Я стал весь красный, кровь застилала мне глаза, и Дирче пожала мне под столом руку, и я решил, что дело мое уже выиграно. Но теперь отступать было поздно. Хозяин поднялся и сказал:

- Ты что, хочешь, чтобы я и с тобой тоже расправился?

Он ударил меня по щеке, а я схватил со стола стакан и выплеснул вино ему в лицо. Я, можно сказать, уже целый месяц думал о том, как я это когда-нибудь сделаю, думал с восторгом - так ненавидел я Токки. И вот я сделал то, что задумал, и вино текло у него по лицу, и теперь я со всех ног бросился вверх по лестнице. Я слышал, как он орал:

- Я тебя убью, бродяга, нищий!

Я запер дверь своей комнаты, подошел к окну и стал глядеть на дождь, который все шел да шел, и со злости я вынул из ящика нож и воткнул его в подоконник с такой силой, что клинок сломался.

Ладно, мы ведь жили наверху, на этом проклятом холме Монте-Марио; и может, если бы я жил в центре Рима, я бы ни за что не согласился, но здесь наверху все становилось возможным, и то, что еще вчера казалось невыносимым, сегодня уже было твердо решено. Так мы с Дирче сговорились и выбрали способ, и день, и час. Токки по утрам спускался в погреб, чтобы запастись вином на целый день, и обычно брал с собой Дирче, чтобы она помогла ему нести большую бутылку. Погреб был под полом, и спускаться туда приходилось по приставной лесенке, в которой было примерно ступенек семь. Мы уговорились, что я спущусь за ними следом и, когда Токки нагнется и начнет наливать из бочки вино, я ударю его короткой железной кочергой, которой мешают уголья в очаге. Потом мы уберем лестницу и скажем, что он упал и сломал себе шею. Я и хотел и не хотел... я очень злился и сказал ей:

- Я это делаю, чтобы доказать тебе, что не боюсь... Но потом я уйду и не вернусь никогда.

А она в ответ:

- Лучше ты ничего не делай и сейчас же уходи. Я тебя люблю и не хочу, чтоб ты пропал из-за меня.

Она, когда хотела, умела притвориться влюбленной; и так я обещал ей, что сделаю это и потом останусь, и мы с ней откроем ресторан.

В назначенный день отец сказал Дирче, чтоб она взяла бутылку, а сам направился к погребу, находящемуся в глубине дома. Как всегда, шел дождь, и в доме было почти темно. Дирче взяла бутылку и пошла следом за отцом; но прежде чем спуститься в погреб, она обернулась, взглянула на меня пристально, по-особому, и сделала едва заметный знак рукой. Мать, стоявшая возле плиты, видела все это и так и застыла с раскрытым ртом, глядя на нас. Я встал из-за стола, направился к плите и, пройдя мимо матери, взял с пола кочергу. Она глядела то на меня, то на Дирче, и глаза ее становились все более круглыми, но было ясно, что если она и поняла, то все равно никому ничего не скажет. Отец заорал из погреба:

- Дирче, Дирче! И она ответила:

- Иду.

Помню, как в последний раз меня остро потянуло к ней, когда спускалась она вниз по

лестнице своим крепким, ровным шагом, покачивая боками и склоняя под низкой притолокой двери белую гладкую шею.

В этот момент дверь, ведущая в сад, отворилась и в комнату вошел человек с большим мешком на спине, с которого струилась вода, - это был ломовой извозчик. Не взглянув на меня, он сказал:

- Парень, ты не подсобишь, а?

Я машинально последовал за ним, не выпуская из рук кочерги. Неподалеку отсюда, в имении, строили хлев, и телега, нагруженная камнями, завязла на дороге - лошадь никак не могла сдвинуть ее с места. Возчик совершенно вышел из себя, лицо у него перекошилось - прямо дикий зверь. Я положил кочергу на тумбу, подсунул под колеса два больших камня и стал толкать телегу, а возчик тянул лошадь за узду. Дождь лил как из ведра на кусты бузины, такие пышные и зеленые, и на цветущие акации, от которых исходил сильный сладкий запах. Телега не двигалась с места, и возчик отчаянно ругался. Он взял кнут и стал бить лошадь кнутовищем, понукая ее; потом в бешенстве схватил кочергу, которую я положил на тумбу. Очевидно, он был в таком состоянии не только из-за того, что завязла эта телега, а из-за всей своей тяжелой жизни, и теперь он видел в лошади своего лютого врага. Я подумал: "Сейчас он ее убьет" - и хотел крикнуть: "Брось кочергу!" Но потом подумал, что если он убьет лошадь, я спасен. Мне казалось, что весь мой бешеный гнев переселился в тело этого возчика, который был похож на одержимого. Вот он с силой навалился на оглобли, попытался еще раз столкнуть телегу с места, потом ударил лошадь кочергой по голове. Я закрыл глаза, но слышал, что он все бьет и бьет лошадь по голове, и в душе у меня была какая-то пустота, и я терял сознание, а потом я открыл глаза и увидел, что передние ноги у лошади подогнулись и она припала к земле, а он все бьет и бьет, только теперь уже не для того, чтобы заставить лошадь идти, а просто чтоб убить ее. Лошадь рухнула на бок, дернулась пару раз, лягнув слабеющими ногами воздух, потом уронила голову в грязь. Возчик остановился, тяжело дыша, с искаженным лицом, отбросил кочергу в сторону и пихнул еще раз лошадь, но как-то боязливо: он знал, что убил ее. Я прошел мимо, стараясь не коснуться его, и медленно побрел по шоссе. Я услышал звон трамвая, идущего к центру Рима, вскочил в него на ходу, оглянулся, и в последний раз перед моими глазами промелькнула вывеска: "Остерия Охотничья, владелец Антонио Токки", полускрытая за густой листвой, омытой майским дождем.

Не выясняй

Аньезе могла бы предупредить меня, а не уходить навсегда из дому, даже не сказав ни слова на прощанье. Я вовсе не считаю себя безупречным, и, если бы она объяснила, чем недовольна, мы могли бы обсудить этот вопрос. Так нет же: за два года супружества - ни слова. И вдруг, в одно прекрасное утро, воспользовавшись моим отсутствием, она ушла тайком, как служанка, подыскавшая себе лучшее место. Она ушла, и до сих пор, хотя прошло уже шесть месяцев, как она меня покинула, я так и не могу понять - почему.

В то утро я купил все, что нужно, на маленьком рынке в нашем районе. Мне нравится делать все покупки самому: я знаю цены, знаю, что мне требуется, люблю торговаться и спорить, пробовать и ощупывать; я должен видеть, от какой туши бифштекс, из какой корзины яблоки. Я отнес продукты и снова вышел из дому, чтобы прикупить полтора метра бахромы для портьеры в столовой. Поскольку я не хотел расходовать больше определенной суммы, я обошел несколько магазинов, прежде чем подобрал то, что мне было нужно, в маленькой лавочке на виа делль Умильта. Я вернулся домой двадцать минут двенадцатого и, войдя в столовую, чтобы сравнить цвет бахромы с портьерой, сразу же увидел на столе чернильницу, ручку и письмо. Правду сказать, прежде всего мне бросилось в глаза чернильное пятно на ковровой скатерти. Я подумал: "Вот неряха... запачкала скатерть".

Я убрал чернильницу, ручку и письмо, снял скатерть, пошел в кухню и, хорошенько потеряв пятно лимоном, смыл чернила. Потом я вернулся в столовую, снова постелил скатерть и только тогда вспомнил о письме. Оно было адресовано мне: "Альфредо".

Я вскрыл его и прочел: "Я убрала комнаты. Обед приготовь себе сам, ты это отлично



умеешь. Прощай. Я возвращаюсь к маме. Аньезе".

В первый момент я просто ничего не понял. Потом я перечел письмо и в конце концов сообразил: Аньезе ушла совсем, она оставила меня после двух лет супружества.

В силу привычки я спрятал письмо в ящик буфета, куда я обычно кладу квитанции и всю корреспонденцию, и сел в маленькое кресло у окна. Я не знал, что и думать; я совершенно не ожидал ничего такого и просто не мог поверить в то, что произошло. Пока я сидел так в раздумье, мой взгляд упал на пол, и я заметил маленькое белое перышко, которое, очевидно, вылетело из метелочки, когда Аньезе смахивала пыль. Я подобрал перышко, открыл окно и выбросил его на улицу. Потом взял шляпу и вышел из дому.

Шагая по плитам тротуара и наступая на них по привычке обязательно через одну, я стал спрашивать себя, что же такого я мог сделать Аньезе. Из-за чего она бросила меня так обидно, с явным намерением оскорбить? Прежде всего я задал себе вопрос: вправе ли Аньезе попрекнуть меня какой-нибудь изменой, пусть даже самой незначительной? И сейчас же ответил себе: нет. Я никогда особенно не увлекался женщинами; я их не понимаю, они не понимают меня; а с того дня, как я женился, они, можно сказать, перестали существовать для меня. Настолько, что сама Аньезе иногда поддразнивала меня, спрашивая:

- А как бы ты поступил, если бы теперь влюбился в другую женщину?

Я отвечал:

- Этого случиться не может: я люблю тебя и никого другого. И эта любовь на всю жизнь.

Размышляя об этом, я вспомнил, что моя "любовь на всю жизнь" как будто не радовала Аньезе, напротив: лицо у нее вытягивалось и она замолкала.

Я перешел к предположениям другого рода: быть может, Аньезе оставила меня по причинам денежного характера или вообще из-за нашего образа жизни?

Но и на этот раз я пришел к выводу, что совесть моя чиста. Правда, деньги я ей давал только в исключительных случаях, но какая нужда была ей в деньгах? Я всегда был рядом с ней и платил с готовностью. Жили мы совсем неплохо; судите сами: кино - два раза в неделю, кафе - два раза в неделю, и я не настолько мелочен, чтоб считаться, заказывает ли она мороженое или просто кофе; два иллюстрированных журнала в месяц, газета каждый день, а зимой иной раз даже и опера; летом - поездка на дачу моего отца в Марино. Таковы были развлечения; а что касается нарядов, то тут у Аньезе было еще меньше причин жаловаться. Когда ей хоть что-нибудь было нужно бюстгальтер, или пару чулок, или просто платочек, я всегда соглашался и отправлялся вместе с ней в магазин, вместе с ней выбирал покупку и платил, не моргнув глазом. То же самое в отношении портних и модисток. Когда она мне говорила: "Мне нужна шляпка, мне нужно платье", не было случая, чтобы я не ответил: "Идем, купим, я пойду с тобой". Впрочем, должен признать, что Аньезе не была требовательна: на второй год замужества она почти совершенно перестала заботиться о нарядах. Я уже сам иной раз напоминал, что ей нужно купить то или другое из одежды. А она отвечала, что это не так важно и что у нее все сохранилось еще с прошлого года. Я даже стал думать, что в этом Аньезе отличается от других женщин и не стремится хорошо одеваться.

Итак, сердечные и денежные причины отпадают. Остается то, что адвокаты называют несходством характеров. Но спрашивается, о каком же несходстве характеров может идти речь, если за два года у нас ни одного спора не было? Ни единого, говорю я вам! Мы все время были вместе, и если бы это несходство существовало, оно бы уж как-нибудь проявилось. Но Аньезе никогда мне не противоречила; она, можно сказать, почти и не разговаривала. Иной раз за целый вечер в кафе или дома и рта не раскроет - говорил всегда один я.

Не отрицаю, я люблю поговорить и послушать самого себя, особенно если разговариваю с близким мне человеком. Голос у меня спокойный, ровный, не громкий и не тихий, рассудительный, плавный такой; и если я говорю на какую-нибудь тему, то освещаю ее исчерпывающе, со всех сторон. Разговаривать я предпочитаю о хозяйственных делах: мне

нравится рассуждать о ценах, о расстановке мебели в комнатах, о кушаньях, об отоплении словом, о всяких пустяках. Я никогда не устаю говорить о таких вещах и нахожу в этом такое удовольствие, что иной раз ловлю себя на том, что, исчерпав эту тему, повторяю все рассуждения сначала. Но будем откровенны, именно такие беседы и следует вести с женщинами; о чем же другом с ними разговаривать?

К тому же Аньезе слушала меня со вниманием, по крайней мере мне так казалось. Один только раз, когда я объяснял ей устройство электронагревателя для ванны, она вдруг заснула. Я спросил, разбудив ее:

- Разве тебе скучно? Она поспешно ответила:

- Нет, нет. Я просто устала, я плохо спала сегодня ночью.

Обычно мужа бывают заняты службой или торговлей или же, если у них никаких других занятий нет, любят погулять с друзьями. Но мне Аньезе заменяла все: она была и моей службой, и торговлей, и друзьями. Я ни на минуту не оставлял ее одну; всегда был рядом с ней, и даже, - хоть вас, может быть, это и удивит, - когда она стряпала. У меня просто страсть к стряпне, и каждый день перед обедом я надевал фартук и помогал Аньезе на кухне. Я делал все понемногу: чистил картошку, лущил горох, приготавливал отбивные, следил за стоявшими на плите кастрюлями. Я так хорошо помогал ей, что она часто говорила:

- Знаешь что... сделай сам... у меня голова болит, пойду полежу.

Тогда я готовил обед один; и с помощью поваренной книги я даже пробовал стряпать новые блюда. Жаль только, что Аньезе не особенно любила покушать, а последнее время у нее и совсем пропал аппетит, она почти не притрагивалась к еде. Однажды она мне сказала, будто в шутку:

- Ты по ошибке родился мужчиной... ты ведь женщина... даже домашняя хозяйка.

Я должен признать, что в этих словах есть некоторая доля правды: действительно, кроме стряпни, я люблю также стирать, гладить, шить и даже в часы досуга подрубать платки.

Как я уже говорил, я никогда не расставался с Аньезе - даже когда к ней приходила мать или кто-нибудь из подруг; даже когда ей, не знаю почему, взбрело в голову брать уроки английского языка; только чтобы быть с ней рядом, я тоже стал учиться этому трудному языку. Я был так к ней привязан, что это иной раз доходило до смешного. Например, однажды в кафе, не расслышав, что она мне сказала вполголоса, я пошел за ней в туалет, и меня остановил служитель, объяснив, что это дамская уборная и мне туда войти нельзя.

Да, такого мужа, как я, найти нелегко. Часто Аньезе говорила мне:

- Мне нужно пойти туда-то, повидаться с тем-то, это тебе неинтересно.

Но я всегда отвечал:

- Я тоже пойду... ведь я ничем не занят.

- Что ж, иди, только я предупреждаю, что тебе будет скучно.

Но в результате выходило, что я несколько не скучал и потом говорил ей:

- Вот видишь, мне не было скучно. Словом, мы были неразлучны.

Раздумывая обо всем этом и тщетно спрашивая себя, почему же все-таки Аньезе ушла от меня, я дошел до лавки моего отца. Это магазин церковной утвари, который помещается близ площади Минервы. Мой отец - человек еще нестарый, у него черные кудрявые волосы, черные усы, а под усами прячется улыбка, которой я никогда не понимал. Должно быть, от привычки разговаривать со священниками и набожными людьми отец очень мягок, спокоен, всегда вежлив. Но мама-то его знает и говорит, что он просто хорошо умеет владеть собой.

Войдя, я пробрался меж витрин, где были выставлены кадила и дарохранительницы, и прошел в заднюю комнату, где помещалась конторка отца. Отец, как обычно, занимался подсчетами, задумчиво покусывая кончики усов. Я сказал ему растерянно:

- Папа, Аньезе ушла от меня.

Он поднял глаза и как будто усмехнулся в усы; а может быть, это мне только показалось.

- Мне очень жаль, - сказал он, - право, очень жаль... А как это вышло?

Я рассказал, как было дело. И добавил:

- Конечно, мне очень неприятно... Но я прежде всего хотел бы знать, почему она меня оставила.

Он спросил нерешительно:

- А ты не понимаешь?

- Нет.

Он помолчал, а потом сказал со вздохом:

- Альфредо, мне очень жаль, но я не знаю, что сказать тебе... Ты мой сын, я тебя содержу, люблю тебя... но о жене должен думать ты сам.

- Да, но почему она меня бросила? Он покачал головой:

- На твоём месте я бы не выяснял... Оставь... Так ли уж тебе важно знать мотивы?

- Очень важно... важнее всего.

В эту минуту вошли два священника; отец встал и пошел им навстречу, сказав мне:

- Зайди попозже... Мы поговорим... Сейчас я занят.

Я понял, что от него мне ждать нечего, и вышел.

Мать Аньезе жила неподалеку, на проспекте Виктора-Эммануила. Я подумал, что единственный человек, который может объяснить мне тайну этого ухода, - сама Аньезе. И я отправился туда. Я взбежал по лестнице, прошел в гостиную. Но вместо Аньезе ко мне вышла ее мать, которую я терпеть не могу; она тоже занимается торговлей; это женщина с черными крашеными волосами и румяными щеками, всегда улыбающаяся, скрытная и фальшивая. Она была в халате, на груди приколоты розы. Увидев меня, она сказала с напускной приветливостью:

- А, Альфредо, какими судьбами?

- Вы знаете, почему я пришел, мама, - ответил я, - Аньезе меня оставила.

Она спокойно сказала:

- Да, она здесь, сынок. Что же делать? Такие вещи случаются на свете.

- Неужели это все, что вы мне можете ответить? Она посмотрела на меня пристально и спросила:

- Ты сказал своим?

- Да, отцу.

- А он что?

Какое ей было дело до того, что сказал мой отец? Я ответил неохотно:

- Вы знаете папу... Он говорит, что не нужно выяснять.

- Он правильно сказал, сынок... Не выясняй.

- Но в конце концов, - сказал я, начиная горячиться, - почему она ушла? Что я ей сделал? Почему вы мне не скажете?

Говоря это очень раздраженно, я мельком взглянул на стол. Он был покрыт скатертью, на скатерти лежала белая вышитая салфеточка, а на ней стояла ваза с красными маками. Но салфеточка лежала не в центре стола. Машинально, даже не сознавая, что делаю, пока она смотрела на меня, улыбаясь и не отвечая, я поднял вазу и водворил салфеточку на место.

Тогда она сказала:

- Молодец... Теперь салфетка в самом центре... Я этого не заметила, а ты сразу увидел беспорядок... Молодец... Ну, а теперь тебе лучше уйти, сынок.

Она встала; встал и я. Я хотел спросить, не могу ли я видеть Аньезе, но понял, что это бесполезно; к тому же я боялся, что, встретясь с ней, потеряю голову и наделаю или наговорю глупостей. Так я и ушел оттуда и с того дня не видел больше своей жены. Быть может, она когда-нибудь вернется, поняв, что такие мужья, как я, попадают не каждый день. Но она не перешагнет порога моего дома, пока не объяснит, почему все-таки она меня оставила.

Приятный вечерок

Сколько же нас было? Шестеро. Две женщины - Аделе, жена Амилькаре, и Джемма, их

племянница из Терни, приехавшая в Рим погостить, и четверо мужчин - Амилькаре, Ремо, Сирио и я. Первая ошибка была в том, что мы пригласили Сирио, - у него язва желудка, и он очень раздражителен - готов вспылить из-за малейшего пустяка. Вторая ошибка была в том, что мы предоставили выбор ресторана Амилькаре. Поскольку он должен был платить за троих, а входить особенно в расходы ему не хотелось, он, когда мы все встретились на площади Индипенденца, настоял на том, чтобы отправиться в хорошо известный ему ресторан. До него отсюда рукой подать, хозяин - его приятель, кормят там превосходно, и нам сделают скидку...

Мы должны были бы раньше сообразить, что хорошего может встретиться в этих жалких кварталах рядом с вокзалом? В этом районе бывают лишь люди, которые в Риме проездом, да солдаты из казармы Макао. И вот мы зашагали по прямым улицам, мимо мрачных зданий; а мороз в тот вечер был настоящий, январский, жесткий, пощипывающий. Амилькаре, который любит хорошо поесть, без конца повторял:

- Ну, друзья мои, сегодня я себе устрою первоклассное угощение... Буду есть и пить, не думая о печени, почках, желудке и прочих внутренностях. Я тебя заранее предупреждаю, Аделе, чтобы ты не вздумала ворчать по своему обыкновению.

- По мне, - сказала Аделе, которая в противоположность своему толстому и веселому супругу была худая и печальная, - поступай как знаешь... А завтра посмотрим...

Ремо тем временем шутил с Джеммой - красивой черноволосой девушкой, а мы с Сирио обсуждали последний футбольный матч. Так мы прошли несколько пустынных улиц, названных в честь различных сражений, битв, которые происходили когда-то в Италии, - Кастельфидардо, Палестро, Калатафими, Марсала, - и наконец достигли двери, над которой между двумя электрическими фонарями висела вывеска: "Траттория Африка". Мы вошли.

Ресторан - мы это сразу заметили - был не бог весть какой. В первой комнате стояло несколько мраморных столиков, за которыми только пили вино; вторая комната была разделена на две части перегородкой. В одной половине помещалась кухня, а в другой - собственно ресторан с пятью или шестью столиками, застланными скатертями. В остальном здесь царил обычное для привокзальных заведений убожество: пол усыпан опилками, штукатурка на стенах облупилась, стулья шатаются, столы тоже, скатерти - штопаные, дырявые, да к тому же еще грязные. Но что нас окончательно сразило, так это холод, сырой, пронизывающий, как в пещере. Сирио, входя, даже воскликнул:

- Ого! Вот так Африка!.. Здесь нетрудно и воспаление легких схватить...

И действительно, холод был ужасный: посетители сидели за столиками в шляпах, в пальто с поднятыми воротниками, изо рта при дыхании шел пар, совсем как на улице.

Мы сели за один из столиков, и к нам тотчас же подошел хозяин субъект с мрачной квадратной физиономией, с мутными недовольными глазами. Амилькаре чрезвычайно ему обрадовался и спросил:

- Сор \* Джованни, вы меня помните? Но тот без тени улыбки ответил:

\* Сокращенное "синьор". - Прим. перев.

- Меня зовут Серафино, а не Джованни... и, по правде говоря, я вас не помню.

Амилькаре был неприятно поражен и засыпал его вопросами. Хозяин морщил лоб, стараясь вспомнить, и в конце концов воскликнул:

- Ну да! Теперь я вас припомнил! Вы были здесь под Новый год, ели колбасу с чечевицей.

Амилькаре ответил, что Новый год он встречал дома.

В общем, они так друг друга и не узнали. Затем хозяин извлек из кармана своей засаленной белой куртки карточку и спросил:

- Что будут кушать синьоры?

С воспоминаниями было покончено.

Мы взяли карточку и сразу же увидели, что веселого тут мало: только макароны с сыром, аббакио \*, куры, сыр и фрукты. Амилькаре, спасая свой престиж, настаивал перед хозяином:

\* Жаркое из молодого барашка. - Прим. перев.

- Но ведь у вас есть ваше фирменное блюдо... спагетти по-любительски.

Хозяин подтвердил, что, действительно, у них есть спагетти по-любительски. Мы все заказали закуску и спагетти, кое-кто еще аббакио, а другие - жареных кур. Что касается десерта, то мы решили еще подумать. Тут Сирио вдруг заявил, что желает супа, и хозяин обещал подать ему куриный бульон. Потом спросил, какого нам угодно вина: белого или красного, сухого или полусухого? Мы выбрали сухое Фраскати, хозяин принес бутылки, бокалы, хлеб, завернутые в салфетки приборы и ушел на кухню.

Амилькаре, приободрившись, спросил:

- Ну, как вам здесь нравится?.. Ведь правда же здесь хорошо?

Мы молча переглянулись, затем Сирио высказал общее мнение:

- Хорошо ли здесь, мы еще увидим... А пока что мне кажется, будто я нахожусь в общественной уборной.

Этот ответ очень не понравился Амилькаре, и между ним и Сирио тотчас же завязалась перепалка: ты вечно всем портишь праздник, а тебе лишь бы экономить; с твоей язвой желудка нечего ходить по ресторанам, а ты поешь любишь, а тратиться не хочешь, и так далее. Между тем время шло, а нам все не подавали, и мы, как это обычно бывает в плохих ресторанах, принялись за вино и хлеб, разговаривая о том о сем.

Было ужасно холодно: ноги у всех замерзли, спины застыли. А от вина может быть, потому, что оно, как утверждал Сирио, было разбавлено водой, чем больше мы его пили, тем холоднее нам становилось. В конце концов Амилькаре, потеряв терпение, отправился на кухню. Скоро он возвратился очень довольный и объявил, что сейчас нам подадут. И в самом деле, вслед за ним явился хозяин и принес закуску. Мы заглянули в тарелки: вот так убожество! Пара артишоков, тоненький ломтик ветчины и одна сардинка. Сирио обратился к Амилькаре:

- Мне кажется, угощение-то у тебя сегодня будет неважное.

Приступили было к закуске, но тут же все заговорили, что ветчина дьявольски соленая и есть ее невозможно.

- Африканская ветчина, - сказал Сирио. Он, казалось, задался целью весь вечер поддразнивать Амилькаре.

Одним словом, вся закуска так и осталась на тарелках. К счастью, тут в качестве подкрепления подоспели спагетти. От них шел пар, потому что воздух в комнате был ледяной, но стоило только взять их в рот, как сразу обнаружилось, что они чуть теплые. Тем временем Сирио старательно мешал в своем бульоне ложкой, словно надеялся отыскать в нем жемчужину. Потом он подозвал хозяина и совершенно серьезно спросил:

- Вы что, охотник?

Хозяин ответил, что он не понимает вопроса. Тогда Сирио сказал:

- Вы, верно, стреляли в этот бульон из ружья?

- Что вы этим хотите сказать?

- Я хочу сказать, что ваш бульон весь пропах дымом.

Хозяин запротестовал и довольно грубо:

- Какой еще тут дым?.. Дым в моем бульоне?.. Да у вас в голове дым!

Сирио побледнел и возвысил голос:

- Раз я сказал, что бульон пахнет дымом, значит вы должны мне верить.

Хозяин заворчал, пошел на кухню и возвратился с кастрюлей, чтобы показать нам мясо, из которого был сварен бульон. Пока он по очереди подносил каждому из нас под нос кастрюлю, раздавался крик: - Ой! Таракан!

Мы все обернулись, - это крикнула Джемма, племянница Амилькаре; она показывала на что-то черное в своей тарелке со спагетти. Хозяин заспорил:

- Ну, какой там таракан!.. Это просто лук, он немного подгорел...

Но Джемма упорствовала:

- А я вам говорю, что это таракан... Смотрите... вот даже лапки...

Хозяин подошел к ней и посмотрел; это, действительно, был таракан. Подхватив его вилкой, хозяин невозмутимо сказал:

- Ну ясное дело... мог упасть из вытяжной трубы... Это случается...

И ничего больше не добавив, ушел на кухню со своей кастрюлей и со своим тараканом. Мы переглянулись, ошеломленные.

- Я голоден и буду есть! - заявил наконец Амилькаре, берясь за вилку.

Мы последовали его примеру, преодолевая отвращение. И только одна Джемма не притронулась к еде, сказав, что ей противно.

Стало еще холоднее, и, доев спагетти, мы все отправились за своими пальто и теперь сидели за столом одетые. Снова появился хозяин и поспешно расставил перед нами порции курицы и аббакио. Курица была тощая, сухая, такую подают в закуской четвертого разряда. А аббакио все состояло из ребер, кожи и жира, да вдобавок верно осталось от утра, а теперь его разогрели. Амилькаре вонзил в кусок мяса вилку, поднял его кверху и закричал в бешенстве.

- Да ведь это есть невозможно!.. Хозяин! Хозяин!

И снова появляется хозяин с мрачной физиономией. Амилькаре спрашивает его:

- Можете вы мне объяснить, почему вы держите тратторию?

- А что же мне по-вашему делать?

- Да что угодно - подметать улицы, быть вагоновожатым, могильщиком, но только не хозяином ресторана.

В общем, началась новая перепалка, правда, довольно вялая, потому что хозяин был настолько погружен в свою мрачную задумчивость, что даже не очень обижался. Так продолжалось до тех пор, пока из кухни не высунулся повар в колпаке и не позвал хозяина. Тот ушел. Амилькаре крикнул повару:

- Эй, повар... Вы нас отравили!

Повар исчез, даже не удостоив его ответом, а мы снова принялись сражаться с бараньими ребрами и куриными костями.

Настроение у всех было прескверное; мы замерзли хуже, чем на улице; желудки были набиты какой-то скверно приготовленной дрянью, к тому же еще и плохо перевариваемой. Амилькаре, который наконец понял, какую допустил ошибку, захотел хоть немного исправить положение и заказал две бутылки красного вина и бисквиты. Только это вино и бисквиты оказались единственно приличной едой за весь вечер. Но и тут заслуга не принадлежала хозяину; бутылки были запечатанные, а бисквит прибыл из Милана. Мы выпили вина - это была барбера, закусили бисквитом и немного согрелись.

Между тем ресторан опустел; кроме нас, в нем оставалась только компания молодых людей за соседним столиком. Они играли в карты, и вскоре к ним присоединились хозяин и повар. Ремо, весь вечер не перестававший шутить с Джеммой и приободренный вином, захотел спеть. Он всегда за десертом вызывался петь; я вовсе не хочу сказать, что он плохо пел, но только песни у него были вечно одни и те же, и мы все их знали наизусть. В этот вечер ему, разумеется, хотелось спеть для Джеммы, которая впервые была в нашей компании, и мы, угадав его желание, согласились послушать. Однако, чтобы вы могли представить, что такое пение Ремо, я должен описать это. Ремо маленького роста, лицо у него смуглое, яркое, низкий лоб весь покрыт черными кудряшками, глаза прищуренные, налитые кровью. И тем не менее, несмотря на эту несколько грубоватую внешность, Ремо, когда поет, не бывает вульгарен, а скорей даже наоборот - слащав. Он берет за руку девушку, которой предназначена его песня, наклоняется к ней и, зажмуривая глаза, сложив губки бантиком, тихо поет страстным, масляным, вкрадчивым голосом. К тому же у всех его песен рифмы очень однообразные: или это "енье" волнение, томление, мление, или "ты" - мечты, цветы, красоты. Итак, в этот вечер Ремо по своему обыкновению схватил за руку Джемму и начал ей петь, приблизив свое лицо к ее лицу, а мы все в замешательстве молчали и только смотрели на него. Джемма улыбалась, и эта улыбка ободрила его, - пропев одну песню, он начал вторую. Между тем за соседним столиком тоже замолчали и смотрели на нас; затем

оттуда стали доноситься смешки, и наконец один из молодых людей запел, передразнивая Ремо, а другой, спрятав голову под стол, принялся мяукать по-кошачьи. Ремо, казалось, не замечал этого или делал вид, что не замечает. Он запел третью песню, но, поскольку за соседним столиком продолжали смеяться и мяукать, ему пришлось прервать пение, и он с достоинством сказал:

- Хватит, мне, видно, лучше кончить...

Но тут Сирио, которого это вовсе не касалось, неожиданно вмешался:

- Пой... Не обращай внимания на невежественных, невоспитанных людей... Пой.

И сразу же, точно по сигналу, невысокий кудрявый блондин в красном свитере, доходившем ему до самых ушей, поднялся из-за своего столика и, подойдя к Сирио, спросил:

- Кто это - невежественные и невоспитанные люди? Сирио человек очень желчный и никого не боится. Он ответил:

- Все вы!

- Ах, вот как! Почему же это? Ведь мы находимся в ресторане... Это общественное место, и мы можем делать, что нам нравится.

- И мы тоже делаем, что нам нравится... И именно поэтому заявляем вам, что вы, сидящие вон за тем столиком, невежи и дурно воспитаны.

Тем временем хозяин, повар и двое приятелей блондина тоже поднялись и подошли к нам. А мы все за нашим столиком остались сидеть.

Блондин заорал:

- А ты-то кто такой? Что тебе надо? Можно узнать, что тебе надо?

И с этими словами он протянул руку, словно хотел схватить Сирио за галстук,

- Прочь руки, прочь! - заорал Сирио, он тоже вскочил на ноги и оказался носом к носу со своим противником. Сильным ударом он отбросил его руку. Тогда блондин взял Сирио за ворот пиджака и дернул назад. Обе наши дамы пронзительно взвизгнули. Ремо крикнул:

- Перестаньте! Не связывайтесь!..

Прошла какая-нибудь секунда. И вдруг совершенно неожиданно Амилькаре сорвался со своего места, схватил блондина за свитер на груди и, с бешенством нанося ему удары, загнал его в глубь комнаты. Стукнувшись о холодильник и припертый к нему, блондин отбивался, а Амилькаре навалился на него всем телом, словно хотел раздавить. И вдруг мы увидели, как широкая спина Амилькаре откинулась назад, он грохнулся навзничь и остался лежать неподвижно, как колода. Блондин, который оказался боксером, нанес ему короткий удар в подбородок, и нокаутированный Амилькаре распростерся на опилках, покрывавших пол.

Все кончилось так, как и должно было кончиться: полиция записала наши фамилии, дамы плакали, Амилькаре держался рукою за подбородок и все повторял, что не заплатит ни единого сольдо; Сирио, Ремо и я оплатили счет, а хозяин кричал нам из кухни:

- Зачем вы только ходите в ресторан? Сидели бы лучше дома!

Едва мы вышли из траттории, как где-то наверху открылось окно и кто-то выбросил на улицу сверток объедков, угодивший Амилькаре прямо по голове.

- Ах, простите! - крикнул тоненький голосок. - Это - для кошек.

И в самом деле, кошек здесь было великое множество; они сидели и терпеливо дожидались, когда мы пройдем, чтобы приблизиться к свертку. Но Амилькаре, совсем потерявший голову и убежденный, бог знает почему, что это хозяин обстрелял его объедками, все порывался вернуться. И нам пришлось просто силой увести его, а он не переставая ругался и счищал со шляпы рыбью чешую. Одним словом, что называется - провели приятный вечерок.

Шуточки жары

Летом, наверное потому, что я еще молод и не привык чувствовать себя мужем и отцом семейства, мне всегда приходит охота куда-нибудь удрать. Летом в Риме в богатых домах с утра закрывают ставни, и свежий ночной воздух сохраняется в просторных комнатах; в такой квартире все на месте, все чисто, прибрано, в порядке; в полутьме поблескивают зеркала,

мраморные полы, полированная мебель; даже тишина там какая-то прохладная, темная, успокаивающая. Захочешь пить - тебе приносят на подносе вкусный холодный напиток - лимонад или апельсиновую воду в хрустальном бокале, и кусочки льда в нем весело звенят при помешивании, так что один этот звук уже тебя освежает.

Другое дело в бедных домах. С первым жарким днем зной забирается в душные комнатухи и все лето оттуда не уходит. Хочется пить, но из крана в кухне течет теплая, как бульон, вода. В квартире негде повернуться. Кажется, что предметы - мебель, одежда, посуда - словно разбухли и так и лезут на тебя. Все сидят без пиджаков, а рубашки все равно влажные и пахнут потом. Если закроешь окно - задыхаешься, потому что ночная свежесть не проникает в эти две-три клетушки, где спят шесть человек; а в открытые окна врывается солнце и приносит все запахи улицы - горячего железа, пота и пыли. С наступлением жары и характеры у людей портятся, все раздражаются по пустякам, ссорятся. Но богатый в таких случаях возьмет да и уйдет куда-нибудь в глубь квартиры, на две-три комнаты подальше; а бедные люди остаются сидеть нос к носу друг с другом перед сальными тарелками и грязными стаканами или же должны совсем уходить из дому.

В один из таких жарких дней, хорошенько перессорившись со всей семьей: с женой, потому что суп был слишком горяч и пересолен; с шурином, потому что он защищал жену, а, по-моему, не имел на это права, так как остался без работы и сидел у меня на шее; со свояченицей, потому что она была на моей стороне, а меня это злило, так как она попросту влюблена в меня и кокетничает; со своей матерью, потому что она пыталась меня успокоить; с отцом, который требовал, чтоб ему дали спокойно поесть, и, наконец, с дочкой, потому что она разревелась, - я вскочил, схватил со стула пиджак и заявил напрямик:

- Знаете что? Вы мне все надоели. Увидимся в октябре, когда будет попрохладнее.

И ушел из дому.

Жена, бедняжка, выскочила на лестницу и, перегнувшись через перила, крикнула, что есть еще салат из огурцов, который я так люблю. Я ответил: "Ешь сама" - и вышел на улицу.

Живем мы на виз Остиензе. Я перешел улицу и машинально направился к чугунному мосту у римского речного порта. Два часа - самое жаркое время дня; небо было сине-свинцовое от сирокко, словно подбитый глаз. Дойдя до моста, я прислонился к железным перилам, которые так и обжигали руку. Тибр, зажатый меж набережных, со своей грязно-желтой водой был похож на сточную канаву. Газгольдер, напоминающий обгорелый каркас здания, печи газового завода, силосные башни, трубопровод бензоцистерн, остроконечная крыша теплоэлектроцентрали обступали горизонт, и казалось, будто это не Рим, а какой-нибудь промышленный город Севера. Я постоял немного, глядя на Тибр, такой желтый, узкий, на баржу у пристани, груженную мешками с цементом, и мне стало смешно, что эта канавка зовется портом, так же как порты Генуи или Неаполя, куда заходят огромные корабли. Если бы я действительно захотел сбежать, то из этого "порта" я мог бы самое большее добраться до Фиумичино и поесть жареной рыбы, глядя на море.

В конце концов я двинулся дальше, перешел мост и направился к пустырям, которые тянутся по ту сторону Тибра. Хоть я живу близко, но никогда здесь не бывал и не знал толком, куда шел. Сначала я зашагал по обычной асфальтовой дороге, по обе стороны которой были голые поля с грудями отбросов. Потом дорога превратилась в немощеную тропинку, а груды мусора поднимались уже целыми холмами. Я решил, что, видимо, попал в ту часть города, куда вывозят мусор со всего Рима; здесь не росло ни былинки и все кругом было засыпано бумажками, ржавыми консервными банками, кочерыжками, всякими отбросами пищи; пустырь был залит слепящим солнечным светом, остро пахло гнилью. Я остановился в нерешительности: идти вперед не хотелось, а возвращаться назад тоже желания не было. И вдруг я услышал, как кто-то причмокивает губами, словно подзывает собаку.

Я обернулся, чтобы посмотреть на собаку. Но никаких собак не увидел, хотя среди всех этих куч мусора самое место было бродячим псам. Тогда я подумал, что, наверное, этот зов относится ко мне, и поглядел в ту сторону, откуда доносились звуки. За кучей отбросов я



увидел лачугу, которой до сих пор не замечал. Это была крошечная покосившаяся хибарка с крышей из гофрированного железа. У дверей стояла белокурая девочка лет восьми и делала мне знаки, чтобы я вошел. Лицо у девочки было бледное, грязное, под глазами синие круги, как у взрослой женщины, волосы в пыли, пуху и соломе, отчего голова у нее была взъерошенная, как у коршуна. Одета она была проще простого: пеньковый мешок с четырьмя дырками - две для рук и две для ног. Когда я обернулся, она спросила:

- Ты не доктор?

- Нет, - ответил я. - А что? Тебе нужен доктор?

- Если ты доктор, - продолжала она, - то зайди. Маме плохо.

Я не стал уверять девочку, что я не доктор, и вошел в лачугу. В первую минуту мне показалось, что я попал в лавку старьевщика с рынка Кампо ди Фьори: с потолка свисала всякая рухлядь: одежда, чулки, ботинки, домашняя утварь, посуда, тряпье. Но потом я понял, что жильцы, за неимением мебели, развесили свое имущество на гвоздях. Наклонив голову, чтобы не задеть висящие вещи, я озирался по сторонам, ища мать ребенка; девочка украдкой указала мне на кучу лохмотьев в углу. Присмотревшись, я увидел, что этот узел тряпья пристально глядит на меня одним сверкающим глазом; другой глаз был закрыт прядью седых волос. Вид этой женщины ужаснул меня: она выглядела старухой, но в то же время ясно было, что она еще молода. Поймав мой взгляд, она вдруг сказала:

- Знакомые на этом свете всегда повстречаются, коль не умрут.

Девочка расхохоталась, словно начиналось забавное представление, и, присев на корточки, стала играть пустыми консервными банками.

- Но, право же, я тебя не знаю, - сказал я. - Кто ты? Эта девочка твоя дочь?

А она мне:

- Конечно... Она и твоя дочь тоже...

Девочка снова захихикала исподтишка, не поднимая головы. Я принял это за шутку и ответил:

- Может быть, моя, а может, и кого другого.

- Нет, - ответила женщина, приподнявшись с земли и указывая на меня пальцем, - это именно твоя дочь и только твоя... Бездельник, лентяй, трус, мерзавец - вот кто ты такой!

При этих оскорблениях девочка начала громко смеяться, словно только и ждала их.

- Придержи язык... - говорю я возмущенно, - я же сказал, что не знаю тебя.

- Ах, ты меня не знаешь?.. Не знаешь, а все-таки вернулся сюда? Если ты меня не знаешь, как же ты нашел дорогу к дому?

- Трус-мерзавец, трус-мерзавец, - вполголоса стала напевать девочка.

Меня прошиб пот от жары и злости.

- Я случайно проходил здесь,- ответил я.

- Ах, бедняжка, - проговорила женщина насмешливо и, повернувшись к девочке, приказала: - Дай мне сумку.

Девочка проворно сдернула с гвоздя сумочку из черного бархата, всю рваную и грязную, и дала матери. Та открыла ее, вынула лист бумаги и сказала:

- Вот брачное свидетельство: Эльвира Проэти, супруга Эрнесто Рапелли... Ты еще будешь отнекиваться, Эрнесто Рапелли?

А меня как раз зовут Эрнесто. Меня ужасно поразило это совпадение.

- Но я не Рапелли,- сказал я растерянно.

- Ах, не Рапелли?.. Девочка теперь распевала:

- Эрнесто, Эрне-есто.

Женщина поднялась на ноги. Я угадал верно: хоть она была седая, вся в морщинах и без зубов, все же видно было, что ей не больше тридцати лет.

- Ах, так ты не Рапелли... - Подбоченясь, она подошла ко мне, пристально поглядела и крикнула: - Ты Рапелли! Перед богом и людьми, ты и есть Рапелли!

- Понимаю, - говорю я, - ты себя плохо чувствуешь. С твоего позволения, я уйду.

- Нет, погоди минутку!.. Не так скоро! Девочка вне себя от восторга плясала вокруг нас.

Женщина снова заговорила с насмешкой:

- Эрнесто, синьор Эрнесто... который бросает жену, удирает из дому и целый год не показывается... А знаешь ли ты, как мы жили с ребенком весь этот год, пока тебя не было?

- Не знаю, - сказал я резко, - и знать не хочу. Дай мне уйти.

- Скажи ты ему, - крикнула она девочке, - скажи ты ему, чем мы жили, скажи твоему отцу!

- Милостыней, - с готовностью отвечала девочка нараспев, в свою очередь подходя ко мне.

Признаюсь, я был совсем сбит с толку. Все эти сов-падения: имя Эрнесто, то, что я ушел из дому, и то, что у меня тоже есть жена и дочка, подействовали на мои нервы так, что мне уже казалось, что и я - не я, а кто-то другой и в то же время словно бы и я, но только не такой, как всегда. А она, видя, что я растерялся, кричала мне в лицо:

- А знаешь, что бывает тому, кто бросает семью? Каторга... Понял, преступник? Каторга!

Тут уж я просто испугался и молча повернулся к двери, чтобы уйти. Но на пороге кто-то стоял и смотрел на нас. Это была худенькая женщина, бедно, но чисто одетая. Увидев мое расстроенное и недоумевающее лицо, она сказала:

- Не слушайте ее... У нее не все дома... Как увидит мужчину, ей представляется, будто это ее муж... А эта паршивая девчонка, ее дочь, нарочно зазывает в дом прохожих, для забавы, чтобы послушать, как мать кричит и плетет невесть что... Смотри, я тебе задам, злая ведьма!

Она замахнулась, чтобы дать девочке затрещину, но та ловко увернулась и снова стала прыгать вокруг меня, весело припевая:

- Ты поверил, ведь правда, поверил... и струсил... струсил... струсил...

- Эльвира, это не твой муж, - мягко сказала женщина.

Эльвира, словно ее сразу убедили, замолчала, отошла и снова скорчилась в углу. Женщина вошла в лачугу и стала ворошить угли в печурке.

- Я им готовлю, - объяснила она. - Они и правда живут подаянием, но муж ее не бросал, он просто умер.

С меня было довольно. Я вынул сто лир и дал девочке, которая взяла их, даже не поблагодарив. Потом я вышел и отправился прямехонько обратно: по тропинке, по асфальтовой дороге и через мост к себе домой, на виа Остиензе.

Дома по сравнению с духотой лачуги мне показалось прохладно, как в пещере. И хотя мебели у нас немного и она очень простая, но все же это лучше гвоздей, на которых те несчастные развешивали свои тряпки. В кухне уже было все прибрано; жена достала салат из огурцов, который припрятала для меня, и я съел его с хлебом, глядя, как она, стоя у раковины, мыла посуду. Потом я встал, потихоньку поцеловал ее в шейку, и мы помирились.

Через несколько дней я рассказал жене историю с лачугой и решил пойти туда снова - посмотреть, не могу ли я сделать что-нибудь для девочки. Теперь я уж не боялся, что меня примут за Эрнесто Рапелли. Но, верите ли, я не нашел ни лачуги, ни сумасшедшей женщины, ни девочки, ни той другой худенькой женщины, которая варила им обед. Я целый час бродил под палящим солнцем среди мусорных куч и в конце концов пришел домой ни с чем. Я думаю, что спутал дорогу. А жена моя уверяет, что я просто выдумал эту историю, терзаемый угрызениями совести за то, что хотел было бросить ее.

Дублер

Год мы любили друг друга, Агата и я. Потом я начал замечать, что она мало-помалу охладевает ко мне, мы стали встречаться все реже и реже. Это было похоже на то, как гаснет огонь: сперва вы этого даже не видите, и вдруг оказывается, что осталась только зола да обгоревшие головешки, и вам сразу становится холодно. Сначала не было ничего особенного: недомолвки, молчание, взгляды. Потом пошли отговорки: то ей нездоровится, то она занята, то надо помочь матери по дому или пойти на курсы. Наконец, опоздания и спешка: она приходила на свиданья с опозданием по меньшей мере на час, а через

пятнадцать минут уже убегала под каким-нибудь предлогом. Она стала разговаривать со мной нетерпеливо, раздраженным тоном, как будто все, что я говорил, было не к стати. А несколько раз мне показалось, что она старается избежать моих поцелуев и даже прикосновения руки. Все это очень мучило меня. Но я чувствовал, что, хотя она относится теперь ко мне очень плохо, я люблю ее все так же сильно. Когда она цедила сквозь зубы: "Прощай, Джино", я ощущал такую же радость, какую испытывал прежде, слыша: "Я так тебя люблю!" Однажды, когда мы встретились на площади Фламинио, я наконец набрался мужества и решительно сказал:

- Поговорим начистоту. Ты больше не испытываешь ко мне никакого чувства?

Поверите ли, она расхохоталась и ответила:

- Ну и толстокожий ты!.. Мне хотелось посмотреть, когда же тебя проймет... Наконец-то ты догадался.

Я так и обомлел. Потом повернулся, как марионетка вокруг своей оси, и пошел назад. Однако, сделав несколько шагов, я обернулся: может быть, она окликнет меня. Но она направилась к остановке и преспокойно стала ждать трамвая. Я ушел.

Теперь, когда прошло столько времени, я могу над этим смеяться, но тогда я был влюблен, и любовь делала меня слепым. Я пережил скверные дни: мне очень хотелось разлюбить ее, но я чувствовал, что люблю по-прежнему. Чтобы заставить себя разлюбить Агату, я старался припомнить все ее недостатки. Я говорил себе: "У нее кривые ноги и безобразная походка... Руки некрасивые... Голова непропорционально большая... Сносны только глаза и рот... А лицо бледное, даже желтое... Волосы темные и курчавые, а нос, широкий у переносицы и вздернутый, напоминает ручку кофейника". Напрасный труд: я говорил себе это и в то же время чувствовал, что ее ноги, руки, волосы, нос нравятся мне - и нравятся, пожалуй, именно потому, что они некрасивые. Тогда я начинал думать: "Она лжива, необразованна, ума у нее не больше, чем у канарейки, она тщеславна, эгоистична, она кокетка". Но тут же обнаруживал, что именно эти ее недостатки и горячат мою кровь, будоражат воображение. Словом, я не перестал ее любить.

Я решил не давать ей о себе знать по крайней мере месяц, полагая, что тогда она сама постарается разыскать меня. Но я не смог сдержать данного себе слова. Через неделю, рано утром, я зашел в бар на площади Фламинио и позвонил Агате по телефону. Она сама сняла трубку и, не дав мне открыть рта, назначила свиданье в это же утро. Я вышел из бара, пересек площадь, подошел к продавцу цветов и купил букетик фиалок. Было девять часов, свидание Агата назначила на десять. С букетом фиалок в руке я принялся расхаживать взад и вперед у остановки, делая вид, что жду трамвая. Трамвай подходил, люди садились в него, потом он трогался, а я оставался. Через некоторое время у остановки снова собирались люди, я снова делал вид, что жду трамвая, и никому в голову не приходило, что я ожидаю не трамвая, а Агату. Я прождал час, потом еще десять минут и теперь уже был уверен, что она не придет. Десять минут опоздания - не много, особенно для женщины, но я твердо знал, что она уже не придет; так иногда в ясный день твердо знаешь, что будет гроза - это чувствуется в воздухе. Я знал, что она не придет, и она действительно не приходила. Но я все же подождал еще полчаса, потом еще пятнадцать минут, потом еще пять минут, потом сосчитал до шестидесяти и подождал еще пять минут, чтобы прошел ровно час. Затем подошел к фонтану и швырнул букет фиалок в грязную воду. Продавец цветов дождался, пока я отойду, и выудил букет.

Известно, как ведешь себя в такого рода случаях: начинаешь терять голову. Делаешь одну глупость за другой. Ничего не получается, все валится из рук. Тогда же днем я подумал, что, может быть, Агата не поняла, где мы должны были встретиться, и снова позвонил ей. Я спросил ее робко:

- Агата, почему ты не пришла? Может быть, я не достаточно хорошо объяснил тебе...

Она сразу же ответила:

- Нет, ты объяснил все очень хорошо.

- Тогда почему же ты не пришла? - Потому что не хотела.

На этот раз я опять не смог вымолвить ни слова, потихоньку повесил трубку и ушел.

Другой сдался бы. Но я любил Агату, и мне так хотелось быть любимым, что даже пырнула она меня ножом, я подумал бы, что еще не все кончено или что она сделала это из любви, а не из ненависти. Не то чтобы любовь настолько ослепила меня, но она заставляла меня надеяться, что если можно любить по-разному, то, может быть, есть и такая любовь, когда женщина не приходит на свиданье, грубо тебе отвечает, презирает и плюет на тебя. И вот на следующий день в то же самое время я позвонил ей опять. На этот раз к телефону подошла ее сестренка и сказала, что Агаты нет дома. Я знал, что телефон находится в столовой, и ясно расслышал голос Агаты, которая подсказывала девочке, что она должна отвечать. Тогда я совсем потерял голову и стал звонить в самое разное время: в обеденные часы, рано утром, поздно вечером. Агаты никогда не оказывалось дома. Когда я входил теперь в телефонную будку, мне бывало тошно и противно, но я все-таки набирал проклятый номер. Телефонные звонки и ожидания в промежутках между ними превратили мою жизнь в какой-то ужасный ералаш, в какую-то страшную трясиину без конца и края. Я чувствовал это, но ничего не мог поделать: трясиина засасывала меня все глубже и глубже. В конце концов, отчаявшись, я решил рано утром встать около дома Агаты и дожидаться, когда она выйдет. Я прождал около двух часов; я чувствовал себя очень неловко, потому что трамвайной остановки здесь не было. Наконец Агата показалась в подъезде, но увидела меня и вернулась назад. Прошло еще два часа. Я заподозрил, что здесь что-то не так, произвел разведку и обнаружил, что у дома два выхода. После этого я больше не пытался дожидаться Агату у подъезда.

Я впал в такое отчаяние, что ничуть не обрадовался, даже когда после многих месяцев безработицы наконец нашел работу. Надо сказать, что я прирожденный актер. Это признавали все. Но из-за дефекта речи - я проглатываю слова и, говоря, брызгаю слюной - я выступал лишь как статист. На этот раз я не был даже статистом - я был дублером. В одном глупейшем дешевеньком фильме я должен был подменять молодого актера в те моменты, когда тот поворачивался к зрителям спиной. Актер этот как две капли воды похож на меня: та же фигура, те же волосы, плечи, походка. Но он не глотал слова и не брызгал слюной и поэтому заработал на этом фильме миллион, а я всего лишь несколько тысяч лир. Словом, я был дублер: манекен, кукла, случайный двойник.

Делать по большей части мне было совершенно нечего. Томясь и скучая в темном, не освещенном юпитерами углу киностудии, я придумал трюк, чтобы еще раз увидеть Агату. Я знал, что она, так же как и все, увлекается кино и надеется, неизвестно почему, стать когда-нибудь актрисой. По-моему, она не годилась бы даже в статистки. Но, подумал я, если ей бросить в качестве приманки кино, она непременно попадет на эту удочку. Режиссер был человек сухой, его интересовали только деньги, и просить его о чем-нибудь было бесполезно. Но помощник режиссера, которого я знал давно, был симпатичный молодой человек моих лет. Я сводил его в ресторан при студии и попросил оказать мне услугу. Он расхохотался, похлопал меня по спине и сказал, что сделает это для меня.

Агата, понятно, послала продюсерам этого фильма свои фотографии в самых различных позах и сообщила свой адрес и номер телефона. В один прекрасный день помощник режиссера позвонил ей и попросил быть в киностудии через два часа: она понадобится. А ничто так не влечет к себе, как кино; если бы, допустим, король пригласил Агату явиться во дворец, она бы еще, пожалуй, подумала, но достаточно было бы даже курьеру кинофирмы сказать, чтобы она пришла на студию, и Агата примчалась бы туда в любое время дня и ночи. В то утро я уселся в приемной среди ожидающих своей очереди статистов и работников кино. В назначенный час появилась Агата. Я не видел ее уже два месяца и в первый момент даже не узнал. Ее каштановые, спадавшие на плечи волосы стали теперь рыжими и были уложены в большой пучок на макушке, так что уши и шея оставались совсем открытыми. Она с таким ожесточением выщипала себе брови, что ее глаза казались распухшими. Рот ее кривила загадочная улыбка. К сожалению, ей все-таки не удалось выпрямить свой нос, похожий на ручку кофейника. Меня поразил ее наряд: новый жакет,

широкий, огненно-красный, со стоячим воротником, и черная прямая юбка. На отвороте жакета был приколот желтый металлический клипс в форме корабля с поднятыми парусами. Под мышкой она держала сумочку, по виду из змеиной кожи. Может быть, сумочка действительно была из змеиной кожи и стоила ей бог знает каких жертв. Агата вошла гордо, медленно, презрительно поглядывая вокруг, словно боялась запачкаться в этой приемной, заполненной такими же, как она, людьми. Она подошла к швейцару и что-то тихо сказала ему.

Тот, настоящий хам, ответил, не поднимая глаз от газеты, которую в это время читал:

- Посидите немного... Подождите своей очереди.

Агата повернулась и увидела меня. В эту минуту я восторгался ею: она издали кивнула мне и уселась в противоположном углу, словно мы были едва знакомы.

Но мне стало жаль ее, когда я увидел, как она оделась, как подготовилась, накрутила перышки: она действительно поверила в то, будто ее вызвала кинофирма. Я понял, что жестоко было воспользоваться этим предложением. И все-таки я не мог не радоваться: наконец-то я снова видел ее. Мы довольно долго прождали в приемной, наполненной кинематографистами, которые расхаживали из угла в угол, курили и болтали между собой. Агата то и дело открывала сумочку, смотрелась в зеркальце, оправляла локоны, подкрашивала губы и пудрила нос. Она сидела, положив ногу на ногу, и сейчас ее ноги могли показаться даже красивыми. Она ни разу не взглянула на меня, а я не спускал с нее глаз.

Наконец подошла ее очередь. Она вошла в кабинет помощника режиссера и пробыла там около двух минут. Затем так же гордо вышла. Было условлено, что помощник режиссера посмотрит ее фотографии и скажет:

- Синьорина, возможно, что вы скоро понадобится нам... Будьте готовы, в один из ближайших дней мы вас вызовем.

И все. Но для Агаты этого было вполне достаточно. Она вошла в кабинет бедной девушкой, а вышла оттуда, воображая себя уже известной киноактрисой, может быть, даже звездой.

Я тоже поднялся и пошел следом за ней по длинным пустым коридорам. Она неторопливо ступала своими кривыми ногами - гордая и высокомерная. В том месте, где коридоры пересекались, она на мгновение замешкалась, не зная, куда идти, потом повернула к вестибюлю и вышла на улицу.

Павильоны киностудии расположены на окраине, вдоль шоссе. С одной стороны дороги тянутся залитые октябрьским солнцем поля, с другой высокие, словно башни, дома с бесчисленным количеством окон, на которых сушится белье. В этих домах живут рабочие. Агата медленно шла мимо домов. Вскоре я догнал ее и, задыхаясь, окликнул:

- Агата!

Она взглянула на меня и бросила, почти не оборачиваясь:

- Привет, Джино...

Я выпалил единым духом свою скорбную мольбу:

- Агата, почему ты не хочешь меня видеть?.. Я так тебя люблю... Почему ты не любишь меня?.. Агата, давай как-нибудь увидимся.

- Разве ты не видишь меня сейчас? - спросила она, пожимая плечами.

- Агата, - сказал я, - ты выйдешь за меня замуж?

- И не подумаю, - ответила она, продолжая идти.

- Почему?

- А чем ты сейчас занимаешься?

- Работаю дублером, но...

- Почему ты непременно хочешь стать актером? - ехидно спросила она. Неужели ты не понимаешь, что это не для тебя?.. Работаешь дублером и хочешь жениться на мне... Ты что, считаешь меня душой?

- Агата! - воскликнул я с отчаянием, хватая ее за руку. Она резко вырвалась. Это меня

очень обидело, и я совсем потерял голову и крикнул: Дублер все-таки лучше, чем ничего... Ты что, думаешь, что сегодня тебе звонили всерьез? Это я попросил помощника режиссера вызвать тебя... Потому что мне захотелось тебя увидеть... Тебе, дорогая моя, не поручат даже шум за кадром.

Я сразу же пожалел о сказанном, но было уже поздно. По ее поведению я понял, что она поверила мне. Я понял также, что, сказав ей это, утратил всякую надежду на то, что она ко мне вернется.

Агата ничего не ответила, не остановилась, не изменилась в лице, не взглянула на меня: она продолжала идти, медленно, спокойно, держа под мышкой сумочку. Я семенил рядом, умоляя ее простить меня. Но она делала вид, что не замечает меня. Глядя прямо перед собой, Агата неторопливо шла по пустынной улице мимо полей и домов, в которых живут рабочие. Наконец, убедившись, что она не желает меня слушать, я остановился посреди тротуара и стал смотреть, как она удаляется. Должно быть, она испытала страшное разочарование. Но об этом можно было догадаться только по ее походке. До этого она была гордой и самодовольной, а теперь стала такой печальной. Агата шла, немного понутив голову. Мне стало жаль ее, и я вдруг почувствовал, что никогда еще не любил ее так сильно. Я открыл рот, чтобы крикнуть: "Агата!", но в это самое мгновение она свернула в переулок и скрылась. Я успел только произнести первое "А" имени Агата и остался один на пустынной улице.

#### Паяц

В ту зиму, просто чтобы испробовать еще одну профессию, я стал бродить по ресторанам, сопровождая на гитаре одного приятеля, который пел. Его имя было Милоне, но все звали его "учитель", потому что когда-то он преподавал шведскую гимнастику. Это был здоровенный мужчина лет пятидесяти или около того, не то чтобы очень жирный, но широкий и коренастый, с толстым, угрюмым лицом и грузным телом, под которым жалобно скрипели стулья, когда он садился. Я играл на гитаре в своей обычной манере, серьезно, сидя спокойно, почти не шевелясь и опустив глаза, потому что ведь я артист, а не шут; но зато Милоне вечно изображал из себя шута. Он начинал словно невзначай, прислонившись к стене, засунув под мышки большие пальцы рук. В надвинутой на глаза шляпе, с огромным брюхом, вылезавшим из брюк и перехваченным снизу ремнем, который вот-вот лопнет, он был похож на пьяницу, тихонько скулящего под луной. Но вот мало-помалу он входил в роль и начинал не то чтобы петь (у него не было ни голоса, ни слуха), а скорее давать представление или, лучше сказать, паясничать. Его специальностью были чувствительные песни, самые известные, те, которые обычно так трогают и волнуют; но в его устах эти песенки из трогательных становились пошлыми и смешными, потому что он умел все осмеять, и притом совсем по-особому, как-то неприятно, горько. Не знаю, в чем тут было дело: может, в молодости его обидела какая-нибудь женщина или таким уж он уродился, с этим вот грубым, насмешливым характером, но только ему доставляло удовольствие обливать грязью все светлое и хорошее. Он не просто изображал, нет, он вкладывал в свои шутовские выходки какую-то непонятную страсть, ненависть, и остается только предположить, что люди за едой тупеют, если слушатели его не замечали, что то, что он делает, не смешно, а гадко и страшно. Особенно превосходил он самого себя, передразнивая жесты, взгляды и ужимки женщин, высмеивая их слабости и недостатки. Что делает обычно женщина? Кокетливо улыбается? Вот он и скалит зубы из-под полей надвинутой на лоб шляпы, как дешевая потаскушка. Немножко, как говорится, вихляет бедрами? Что ж. Он трясет животом, непристойно выставив зад, толстый и тяжелый, как туго набитый мешок. Лепечет что-нибудь нежным голоском? И он, глядишь, складывает губы в трубочку и пищит при этом так приторно, так противно, что просто тошнит. Короче говоря, он не знал меры и переходил всякие границы, делался пошлым, омерзительным. Мне иногда просто самому стыдно становилось, потому что одно дело сопровождать на гитаре певцу, а другое - подыгрывать шуту. А потом я помнил, как совсем недавно сопровождал прекрасному артисту, который пел те же самые песни по-настоящему, серьезно. И мне было больно видеть, во что превращают эти песни, какими они становятся гадкими и непристойными

просто и узнать нельзя. Я как-то раз сказал ему об этом, когда мы брели по улице, направляясь из одного ресторана в другой. И прибавил:

- И что худого сделали тебе женщины?

После своих шутовских представлений он всегда становился рассеянным и угрюмым, словно в голове у него бродили невесть какие мрачные мысли.

- Ничего, - ответил он, - ничего они мне не сделали.

- Я потому спрашиваю, - пояснил я, - что ты высмеиваешь их с такой страстью...

На этот раз он не ответил, и разговор на том и кончился.

Я бы давно ушел от него, если б не хороший заработок; потому что, как это ни покажется невероятным, он со своими пошлыми выходками делал большие сборы, чем настоящие певцы, поющие прекрасные песни. Мы исполняли свои номера по большей части в ресторанах средней руки, не слишком роскошных, вернее даже просто в трактирах подороже, куда люди приходят хорошенько поесть и повеселиться. Так вот, как только мы входили и я тихонько вынимал из футляра свою гитару, из-за столиков, которые все всегда были заняты, слышалось:

- А, учитель!.. Вот и учитель... Поди сюда, учитель!

Угрюмый, неопрятный, с наглым взглядом, Милоне развязной походкой выходил вперед со словами: "К вашим услугам!" И это "к вашим услугам" он говорил уже ломаясь и паясничая, так что все покатывались со смеху. Тут попевали макароны с сыром, и, пока трактирщик обносил гостей, Милоне своим надтреснутым голосом объявлял:

- Прекраснейшая песенка: "Когда Розина приезжает в город..." Я буду изображать Розину.

Вы только представьте себе: глядя, как он изображает Розину, пуская в ход обычные пошлые трюки, люди застывали на месте, не успев донести до рта вилку со свисающими с нее макаронами. И не думайте, что это были какие-нибудь мясники или что-нибудь подобное; нет, это все был народ изысканный: мужчины в темно-синих костюмах с напояженными волосами, в галстуках, заколотых жемчужной булавкой; женщины в мехах, сплошь увешанные драгоценностями, нежные и изящные. И глядя, как Милоне паясничает, они говорили:

- Это потрясающе... Это просто потрясающе!

А бывало кто-нибудь из них с тревогой воскликнет:

- Пожалуйста, никому не рассказывайте о том, что мы его открыли... не то его избалуют и испортят.

Среди других пошлостей была в репертуаре Милоне песенка, исполняя которую он в одном месте, чтоб еще более высмеять ее героя, производил ртом звук, который я не решусь здесь описать. Так что ж вы думаете? Как раз эту песенку обычно просили повторить самые очаровательные женщины.

Надо сказать, что от такого успеха у Милоне несколько закружилась голова. Он снимал на виа Чимарра меблированную комнату, темную и сырую, у одной портнихи. И теперь каждый раз, когда я заходил за ним, я заставлял его перед зеркалом - репетирующим какую-нибудь новую пошлую выдумку, какую-нибудь новую непристойность. Он делал это с мрачным упорством, словно великий актер, репетирующий роль. А я, сидя на кровати и глядя, как он трясет животом перед зеркалом, стоящим на комод, спрашивал себя: уж не помешался ли он?

- Не пора ли тебе, - сказал я ему однажды, - выдумать что-нибудь трогательное, волнующее?

А он в ответ:

- Вот и видно, что ты ничего не понимаешь... Люди за едой хотят смеяться, а не переживать... И я, - прибавил он мрачно, - помогаю им смеяться.

Вскоре, одолеваемый все той же жаждой совершенствования, он придумал брать с собой чемоданчик с некоторыми принадлежностями дамского туалета, ну, к примеру, с разными там шляпками, косыночками и юбками, и надевать их тут же на месте, чтоб

выходило еще смешнее. Наряжаться женщиной стало его любимым занятием, и невозможно описать, какая это была мука - смотреть, как он, кривляясь, вертится перед посетителями, надвинув на самые глаза шляпку и напялив женскую юбку, из-под которой торчали его толстые ноги в брюках. В конце концов, не зная, что бы еще такое придумать, он потребовал, чтобы и я тоже стал паясничать, когда играю на гитаре. Но тут уж я решительно отказался.

Мы старались обойти как можно больше ресторанов и обычно совершали свой обход с двенадцати до трех и с восьми до полуночи. Обходили мы рестораны по районам: один день те, что поблизости от площади Испании, на завтра - у площади Венеции, на третий день - в районе Трастевере, а иногда возле вокзала. Пока мы шли по улице из одного ресторана в другой, мы не разговаривали: никакой дружбы между нами не было. Окончив свой обход, мы заходили в какую-нибудь остерию и делили дневную выручку. Потом, в полном молчании, я выкуривал сигарету, а Милоне выпивал четверть литра вина. После обеда Милоне репетировал свои трюки перед зеркалом, а я спал или шел в кино.

Однажды вечером, когда дула трамонтана, окончив обход ресторанов по ту сторону Тибра, мы зашли, просто чтобы обогреться, в небольшую остерию на площади Мастаи. Это была длинная, узкая комната, похожая на коридор, с расставленными вдоль стен столиками, за которыми бедно одетые люди сидели, попивая хозяйское вино и закусывая чем-нибудь принесенным из дому и завернутым в газетную бумагу. Не знаю, что - вероятно, тщеславие, так как особой выгоды тут быть не могло - побудило Милоне выступить со своими трюками и здесь. Он выбрал одну из самых красивых песенок и, следуя своей обычной методе, то есть прибегая ко всяческим ужимкам и кривляниям, превратил ее в одно сплошное свинство.

Когда он кончил, раздалось два-три равнодушных хлопка, а вслед за тем из-за одного столика послышался голос:

- А ну-ка теперь я спою эту песню.

Я обернулся и увидел белокурого парня в комбинезоне, какие носят механики, красивого, как бог, который глядел на Милоне с таким бешенством, словно хотел съесть его живьем.

- Ты играй, - сказал он мне властно, - да начинай сначала.

Милоне немного смешался, но притворился, что устал, и тяжело рухнул на стул у двери. Паренек сделал мне знак начинать и запел. Я не скажу, чтоб он пел, как настоящий артист, но пел он с чувством, и голос его звучал мягко и ровно - ну, словом, пел он так, как нужно петь и как того требует сама песня. Кроме того, как я уже сказал, был он очень красив с этими своими курчавыми волосами, особенно если сравнить его с Милоне, таким противным и толстым. Он пел, стоя лицом к публике и время от времени бросая взгляд на свой столик, за которым осталась сидеть молоденькая девушка, и казалось, поет он только для нее. Кончив песню, он сделал пренебрежительный жест в сторону Милоне, словно хотел сказать: "Вот как надо петь!"; затем вернулся к столику, где его ждала девушка, а она вскинула руки и обняла его за шею. Откровенно говоря, аплодировали ему даже меньше, чем Милоне, - люди как-то не поняли, зачем, собственно, ему все это понадобилось. Но я понял его; и Милоне на сей раз тоже понял.

Пока играл, я то и дело поглядывал на Милоне и видел, как он несколько раз провел рукой по глазам и по лбу, скрытому под нависшими волосами, словно человек, который хочет отогнать одолевающую его дремоту. Однако ему не удалось скрыть выражения горечи, написанной на его лице, которое я никогда раньше таким не видел; и с каждой новой строфой, пропетой молодым певцом, эта горечь все росла и росла. Наконец он поднялся, потягиваясь и притворно зевая, и сказал:

- Ну, пора идти спать... Меня здорово ко сну клонит...

Мы расстались на углу улицы, условившись, как всегда, встретиться на следующий день. Так что все, что произошло этой ночью, я уже после додумал. И то, что вы сейчас услышите, - только мои предположения, не больше. Я уже говорил, что Милоне загордился, вообразив, должно быть, что он великий артист, тогда как на деле был всего-навсего жалким шутком, развлекающим людей, пока те едят. Поступок белокурого парня в комбинезоне



заставил его упасть с неба на землю. Мне думается, что, пока парень пел, Милоне должен был внезапно увидеть себя в настоящем свете - тем, чем он был, а не чем считал себя до сих пор, - неуклюжим, грузным человеком почти пятидесяти лет, который надел слюнявку и, сюсюкая, декламирует детские стишки. К тому же он, мне кажется, понял, что не сможет сколько-нибудь сносно петь, даже если заключит сделку с самим дьяволом. Он ведь годился лишь на то, чтобы смешить, но смешить он не умел без того, чтоб не обливать грязью некоторые чувства. А чувства эти были как раз тем, чего ему в жизни не хватало, чего ему никогда не привелось испытать.

Но, повторяю, все это только мои предположения. Известно лишь, что на следующее утро портниха, у которой Милоне снимал комнату, нашла его с петлей на шее на окне, за занавеской, в том самом месте, где обычно вешают клетки с канарейками. Проходившие мимо люди останавливались, увидев за стеклом окна болтавшиеся в воздухе ноги. Озлобленный, как все самоубийцы, он запер дверь на ключ и придвинул к ней комод с зеркалом. Быть может, ему захотелось еще раз взглянуть на себя, как он обычно делал, репетируя роль, в тот самый момент, когда он набросит себе на шею петлю. Словом, дверь пришлось взломать, зеркало упало и разбилось. Милоне похоронили на кладбище Верано, и провожал его один только я, на этот раз без гитары. Портниха поставила на комод новое зеркало и утешилась тем, что довольно выгодно продала веревку, разрезав ее на куски.

Фальшивая ассигнация

Я проходил по площади Рисорджименто, когда услышал, что кто-то меня окликнул:

- Как дела, молодой человек?

Это оказался Стайано. Мы дружили с ним в те времена, когда оба торговали сигаретами на черном рынке виа дель Гамберо. Он был хорошо одет это мне сразу бросилось в глаза. Когда я сообщил ему, что в настоящее время ничем не занят (у меня не было никакой специальности, поэтому я не мог назвать себя безработным), он взял меня под руку и сказал, что готов устроить мне легкий ежедневный заработок в одну, две, а то и три тысячи лир. Я спросил, каким образом. Он начал издали. Сказал, что настали, мол, трудные времена и что теперь даже тот, кто имеет специальность и отлично знает свое дело, не может заработать на кусок хлеба. Сказал, что в нынешние времена все люди делятся на две категории: на тех, у кого есть мужество, и на тех, у кого его нет; что первые всегда добиваются успеха, а вторые вечно остаются в дураках. Он уверен, что я принадлежу к первой категории, потому что помнит меня по прошлым временам, а ведь они были не легче нынешних. Предложение, которое он мне намерен сделать, возможно, удивит меня, но я не должен его перебивать, а сказать только "да" или "нет". Я помалкивал, а про себя думал: "Должно быть, Стайано действительно предложит мне что-нибудь из ряда вон выходящее, потому что обычно он не делал столько всяких оговорок". Наконец он кончил, и я спросил его, в чем же, собственно, дело. Он сразу же ответил:

- Надо тратить деньги.

- Тратить деньги?

- Да, да. Я даю тебе ассигнацию, например, в пять тысяч лир... Ты ходишь, прогуливаешься, изучаешь обстановку... Затем платишь, ну, скажем, за кофе или пачку сигарет... Сдачу приносишь мне, а я отдаю тебе третью часть.

- Треть настоящими лирами? - перебил я его, желая показать, что понял, в чем дело.

- Конечно настоящими. За кого ты меня принимаешь?

- А если меня поймают?

- Ничего особенного. Ты сразу же говоришь, что знаешь, кто подсунул тебе фальшивую ассигнацию, и забираешь ее обратно, притворившись крайне возмущенным.

Я хотел ответить: "Ты с ума сошел, на такие дела я никогда не пойду" и не знаю, как уж у меня вырвалось:

- Ладно... Договорились.

Я не мог бы даже сказать, как все это произошло, - настолько я был поражен тем, что согласился и продолжал поддакивать. Одним словом, он вручил мне бумажку в десять тысяч

лир, сказав, что хочет сегодня же испытать меня, и назначил мне свидание в восемь часов вечера в сквере на площади Рисорджименто. А было это в два часа дня.

И вот я уже прохаживаюсь с фальшивой ассигнацией в десять тысяч лир в кармане, надеясь заработать, шутя и играя, не меньше трех тысяч лир. Я вдруг почувствовал себя богатым и беззаботным, словно впереди у меня было не несколько часов, а целая неделя или даже месяц. До того, как мне надо будет разменять фальшивую ассигнацию, - а это, казалось мне, настанет еще очень нескоро - я могу пожить в полное свое удовольствие. Кроме десяти тысяч Стайано, у меня в кармане лежало около полутора тысяч настоящих лир, и я подумал, что могу их спустить, так как теперь мне надолго обеспечен твердый ежедневный заработок в две-три тысячи. Я отправился в ближайшую остерию на виа Унита и впервые за долгое время, в течение которого я питался одним хлебом, размоченным в жидком кофе, заказал себе настоящий завтрак: спагетти, барашка и литр вина. Расплачиваясь, я подумал было заплатить фальшивой бумажкой, но потом решил, что тогда я получу от Стайано на триста лир меньше, и оставил ее для покупки какой-нибудь мелочи, кофе или сигарет, как мне и советовал мой приятель. Я расплатился настоящими лирами и, засунув руки в карманы, ковыряя зубочисткой во рту, вышел на виа Кола ди Риенцо.

Стояла весна, по небу бежали белые облачка, дул теплый ветер. То и дело шел дождь, но вслед за тем сразу же показывалось солнце. Я взглянул на деревья, на которых уже начали появляться зеленые листочки, и мне захотелось за город, захотелось растянуться на траве и, ни о чем не думая, смотреть в небо. Но за город хорошо ездить с девушкой, одному как-то скучно. А девушки у меня не было, и я совершенно не представлял себе, как бы ее раздобыть. Так, думая обо всем этом, я медленно прошел всю виа Кола ди Риенцо, пересек площадь Либерта, перешел через мост и оказался на площади Фламинио. Подойдя к трамвайной остановке, я огляделся вокруг. Обычно я робок с женщинами, прежде всего потому, что у меня никогда не бывает денег. Но вот что значит почувствовать себя богатым! Я заметил девушку - не похоже было, чтобы она ожидала трамвая, - она мне понравилась и, не долго думая, я заговорил с ней. Это была краснощекая брюнетка с большими черными глазами. Одета она была скромно - красная вязаная кофточка, коричневая юбка, подвернутые носочки. Девушка сказала, что она горничная, что зовут ее Матильда и что родом она из одного местечка под Римом, кажется, из Капраника. Она искала себе место, а пока жила на пансионе у монахинь, у которых был монастырь и в ее родном местечке. Она разговаривала со мной сдержанно и сухо, но стоило мне назвать ее два-три раза "синьориной", и она стала более любезной.

- Вы, синьорина, - сказал я, - конечно, не знакомы с Римом... Хотите я вам его покажу?

Делая вид, что она не знает, как ей поступить, девушка ответила:

- По правде, я должна была бы явиться к одной синьоре...

В общем, я предложил показать ей стадион "Форо Италико" и, поколебавшись немного, она согласилась.

В трамвае я все время шутил; девушка слушала меня серьезно, а потом вдруг разразилась громким смехом, закрывая при этом лицо руками, как настоящая крестьянка. Мы сошли у моста Мильвио и направились по набережной к обелиску. Я знал эти места, и мне было известно, что за стадионом есть холм, а на нем - лужайки; там нам никто не помешает. Но мне хотелось все-таки показать ей стадион. Он действительно великолепен: вокруг трибун расположены статуи, каждая из которых изображает какой-нибудь вид спорта. На стадионе не было ни души. В торжественной тишине он показался мне очень красивым - статуи словно тянулись к проплывающим над ними облакам. Но девушку это не тронуло, даже когда я объяснил ей, что все статуи сделаны из глыб настоящего мрамора и что каждая из них весит больше тонны. Она только заметила, что статуи кажутся ей неприличными. Я ответил, что это ведь не живые люди. А статуи так и должны быть голыми, иначе это не статуи. Чтобы убажить ее, я взял карандаш и на икре одной статуи, изображающей юношу с боксерскими перчатками, перекинутыми через плечо, написал: "Аттилио любит Матильду". Потом предложил ей прочесть. Она ответила, что не умеет читать. Так я узнал, что она к

тому же еще и неграмотная. Мы направились к холму. Теперь она уже не была больше такой любезной. Когда мы подошли к тропинке, ведущей на холм, она отказалась идти дальше, заявив:

- Ты что, меня дурой считаешь? Ошибаешься, не такая уж я дура... Поехали обратно в город.

Я попробовал потащить ее - не тут-то было: она так двинула меня в грудь, что я едва устоял на ногах.

Тем же трамваем мы вернулись на площадь Фламинио. Чтобы она не сердилась, я повел ее в бар и угостил кофе с пирожными. Было пять часов, и я предложил сходить в кино, где, кроме цветного фильма, демонстрировалась хроника о футбольном матче Италия - Австрия. Она снова заставила себя упрашивать, повторяя, что должна явиться к своей синьоре. Но это были обычные деревенские штучки: она просто набивала себе цену. Как только она увидела, что я потерял терпение и собираюсь с ней распрощаться, она сразу же согласилась.

В кино я тоже заплатил настоящими лирами. В темноте я взял ее руку, и она не отняла ее. К сожалению, цветной фильм только-только начался, а футбольный матч должны были показывать после него. Смотреть фильм было скучно, я осмелел и попытался поцеловать ее в шею. Она с силой оттолкнула меня и громко сказала:

- Убери руки!

Вокруг все зашикали. Я сконфузился и почувствовал, что начинаю ее ненавидеть. Чтобы как-то разогнать скуку, которую нагонял на меня фильм о Христофоре Колумбе, я принялся подсчитывать дневные расходы: триста лир завтрак, сто двадцать - сигареты, двести - кофе с пирожными, четыреста кино. Я истратил больше тысячи и не получил никакого удовольствия.

Кончилась первая часть фильма и зажегся свет. Вдруг я сказал Матильде:

- Женщинам вроде тебя следовало бы оставаться в деревне и копать в земле.

- Почему это? - спросила она.

- Потому что ты жалкая невежда. Городская жизнь не для тебя.

Поверите ли, эта толстощекая деревенщина посмотрела на меня свысока и заявила:

- Покупатель всегда хулит товар.

Я чуть не задушил ее от злости. Ни слова не говоря, встал и пересел на пять рядов назад. Ничего лучшего она не заслуживала.

Было уже семь. Вторая часть фильма никак не кончалась. Я все чаще подумывал о десяти тысячной ассигнации, которую мне надо было разменять, и о Стайано, который в восемь будет ждать меня на площади Рисорджименто. Но мне очень хотелось посмотреть хронику, и когда без четверти восемь Христофор Колумб решил наконец умереть и зажегся свет, я еще надеялся, что у меня есть десять минут, а потом уж я помчусь разменивать ассигнацию. Но я ошибся, не учел того, как построена кинопрограмма: сперва был антракт, потом демонстрировали рекламу какой-то обувной фабрики, затем рекламу мебельной фабрики, потом - снова антракт. Было уже восемь, когда, наконец, богу стало угодно, чтобы начали показывать хронику. Я страстный болельщик: как только на экране появились лица наших футболистов, я забыл и о фальшивой ассигнации, и о Стайано, и о том, что мне надо спешить, и вообще обо всем на свете. Все мои мысли были заняты теперь только матчем. По правде сказать, это были единственные счастливые минуты за весь день, который поначалу казался мне таким прекрасным.

Я вышел из кино ошалелый и разбитый. Было двадцать минут девятого. Вспомнив об ожидающем меня Стайано, об ассигнации, которую мне надо было сбыть, и о потраченных деньгах, я совсем потерял голову. Я не знал, куда пойти, что делать, и совершенно растерялся. Сам не понимаю как, я оказался в конце виа Кола ди Риенцо, неподалеку от площади Рисорджименто. Меня заставил с надеждой оглянуться чей-то голос, выкрикивающий:

- А вот оно счастье!.. Кто хочет испытать свое счастье?

Это был чернявый паренек с лицом преступника. Он стоял, прислонившись к стене, на шее у него висел лоток, на котором лежали три игральные карты. Рядом стоял его напарник с такой же подозрительной физиономией и делал вид, что очень заинтересован игрой. Тут меня осенило, и я решил испытать это фальшивое счастье на десяти тысячной бумажке Стайано. Я подумал, что разменяю ассигнацию у напарника, поставлю сто лир, а потом уйду. Азартные игры запрещены, и поэтому я мог не опасаться, что эти жулики пойдут на меня доносить.

Я подошел к ним, жадно взглянул на лоток и грустно сказал:

- Мне хотелось бы поставить... Но как бы это сделать? У меня нет мелочи. - И показал ассигнацию.

Парень с лотком продолжал менять карты местами и повторял как попугай:

- А вот оно счастье!.. Кто хочет испытать свое счастье?

Но его напарник сразу же подошел ко мне и вытащил бумажник со словами:

- Черт возьми! Молодому человеку, желающему испытать счастье, можно и помочь. Пожалуйста. Давайте ваши деньги.

Я протянул ему ассигнацию, и он отсчитал мне девять бумажек по тысяче и десять по сто.

Я поставил, как и решил, сто лир.

Парень с лотком сказал:

- Синьор ставит сто лир... Прошу вас, синьор!

Он открыл карты, и я увидел, что выиграл. Я очень хорошо знал этот трюк и знал даже, как он делается, но, может быть, потому, что очень уж устал, я понадеялся, что смогу возместить себе дневные расходы, и поставил еще девятьсот лир. На этот раз, как и следовало ожидать, я проиграл. Я пошел прочь, думая, что истратил две тысячи лир и что теперь на мою долю придется не больше тысячи.

Но самая большая неприятность ожидала меня, когда я встретился со Стайано в скверике на площади Рисорджименто. Как только мы отошли в укромный уголок и я начал отсчитывать ему бумажки, он, почти не глядя на них, принялся повторять:

- Фальшивая, фальшивая, это тоже фальшивая, фальшивая, фальшивая. - И так до конца. - Все эти бумажки фальшивые, - сказал он, засовывая их в карман и глядя в упор на меня. - И это не наша работа... Мы делаем чисто... А фальшивее этих бывают только бумажки с надписью: "Банк Любви", "Тысяча поцелуев". Ничего не скажешь, ты - молодец.

Я так и застыл с открытым ртом. А Стайано продолжал:

- Я дал тебе десяти тысячную ассигнацию совсем как настоящую, а ты принес мне девять таких, которые и слепой не возьмет.

Тогда я сказал:

- Возмести мне хотя бы расходы.

- Какие еще расходы?

Рассчитывая заработать три тысячи, я истратил на то, на сё больше двух тысяч лир.

- Тем хуже для тебя... Ты думаешь, эта ассигнация досталась мне даром? Я заплатил за нее триста лир... Это ты должен был бы возместить мне убытки.

Мы долго пререкались, но он не захотел дать мне ни гроша. В конце концов, так как я обвинял его в том, что он меня обманывает, Стайано вытащил из кармана эти тысячные бумажки, разорвал их на мелкие клочки и швырнул в водосток. Но больше всего меня обидело то, что, уходя, он сказал мне:

- Для честной, серьезной и ответственной работы ты не годишься. Я старше тебя на двадцать лет, и уж позволь мне это тебе сказать... Ты слишком легкомысленный и безалаберный... Тебе только сигаретами торговать на черном рынке... Прощай, молодой человек.

Шофер грузовика

Я худощавый и нервный, у меня тонкие руки и длинные тощие ноги, а живот такой плоский, что штаны сваливаются. Словом, я совершенно не похож на настоящего шофера

грузовика.

Посмотрите на них: это все здоровенные парни, широкоплечие, руки у них, как у грузчиков, грудь и живот мускулистые. Потому что для шофера грузовика самое главное - руки, спина и живот; руки - чтобы крутить баранку, которая на грузовике диаметром немногим меньше длины руки, а на горных дорогах иногда приходится делать полный оборот руля; спина - чтобы часами находиться в одном и том же положении, не деревенеть и не коченеть; и, наконец, живот - чтобы прочно сидеть на сиденье, составляя с ним как бы одно целое. Это о физических качествах. А по своему характеру я подходил для этой работы и того меньше. Шофер грузовика должен быть человеком без нервов, он не должен думать ни о чем постороннем и что-то там переживать. Длинные рейсы выматывают человека, они способны доконать даже быка. А что до женщин, то шофер должен думать о них так же мало, как моряк; иначе бесконечные поездки туда и обратно сведут его с ума. Меня же вечно терзают какие-нибудь беспокойные мысли. По темпераменту я меланхолик. И я люблю женщин.

И все-таки, несмотря на то, что профессия эта была явно не для меня, я захотел стать шофером грузовика, и мне удалось устроиться на работу в транспортную фирму. В напарники мне дали некоего Паломби, можно сказать, настоящее животное. Это был идеальный шофер грузовика. Шоферы грузовиков часто бывают не слишком умны, но Паломби имел счастье родиться и вовсе дураком. Он и грузовик составляли как бы одно целое. Паломби было уже за тридцать, но в нем сохранилось что-то ребяческое, мальчишеское: пухлые щеки, маленькие глаза под низким лбом и рот - словно щель в копилке. Говорил он мало и редко, а больше как-то похрюкивал. Проблески разума появлялись у него лишь тогда, когда речь шла о еде. Помню, однажды в Итри, по дороге в Неаполь, усталые и голодные, мы зашли в остерию. В остерии не было ничего, кроме фасоли со свиным салом. Я к ней едва притронулся. А Паломби умял две полные миски. Потом, откинувшись на стуле, он посмотрел на меня торжественно, словно собирался сказать что-то необычайно важное. Наконец, проведя рукой по животу, изрек:

- А я съел бы еще четыре миски. - Это и была та великая мысль, которую он хотел мне поведать.

Разъезжая с таким напарником-чурбаном, я, понятно, очень обрадовался, когда мы впервые встретили Италию. В то время наш маршрут был Рим Неаполь, и возили мы самый разнообразный груз: кирпичи, железный лом, рулоны газетной бумаги, доски, фрукты. Иногда мы даже перевозили с одного пастбища на другое небольшие стада овец. Италия остановила нас у Террачина и попросила подвезти ее до Рима. У нас имелся приказ не брать никого, но, взглянув на Италию, мы решили, что на этот раз приказом можно пренебречь. Мы пригласили ее сесть, и она ловко впрыгнула в машину, крикнув:

- Да здравствуют всегда любезные шоферы!

Вид у Италии был самый вызывающий - иначе и не скажешь. У нее была невероятно длинная талия и высокая грудь, которая прямо-таки раздирала изящный свитер, облегавший ее тело до самых бедер. Шея у нее тоже была длинная. Маленькая черноволосая головка и большие зеленые глаза. Но ноги кривые и такие короткие, что казалось, будто она ходит на согнутых коленях. Словом она была некрасивая, - но она была лучше, чем красивая. Она доказала мне это в первую же поездку: когда на подъеме к Цистерна за руль сел Паломби, Италия взяла мою руку, сильно пожала ее и не выпускала до Веллетри, где я сменил Паломби. Было лето, четыре часа дня, самое жаркое время, наши руки стали скользкими от пота, но она время от времени смотрела на меня своими зелеными глазами цыганки, и тогда мне казалось, что жизнь, которая долгое время заключалась для меня только в полоске асфальта, начинает мне снова улыбаться. Я нашел то, что искал: женщину, о которой можно думать. Между Цистерна и Веллетри Паломби остановил машину и вышел осмотреть шины. Я воспользовался этим и поцеловал Италию. В Веллетри я охотно сменил Паломби: пожатия руки и поцелуя мне было вполне достаточно на этот день.

С этого времени Италия регулярно раз, а иногда и два раза в неделю просила нас

отвезти ее из Рима в Террачина и обратно. Утром она поджидала нас, всегда с каким-нибудь свертком или чемоданом, около городской стены, садилась в машину и, если за рулем сидел Паломби, пожимала мне руку до самого Террачина. Когда мы возвращались из Неаполя, она уже ждала нас в Террачина, забиралась в кабину, и снова начинались пожатия рук и даже, хотя она и уклонялась от этого, поцелуи украдкой, в тех случаях когда Паломби не мог нас видеть. Одним словом, я влюбился всерьез, может быть, еще и потому, что уже давно не любил ни одной женщины, а обходиться без этого я еще не привык. Я дошел до того, что стоило ей взглянуть на меня как-то по-особому, и я бывал растроган до слез, словно мальчишка. Это были слезы умиления, но мне казалось, что это проявление недостойной мужчины слабости, и я безуспешно старался сдерживать их. Когда за рулем сидел я, мы, пользуясь тем, что Паломби спит, разговаривали вполголоса. Я совершенно не помню, о чем мы с ней говорили: верный признак, что это были какие-нибудь пустяки, шутки и обычная болтовня влюбленных. Но я помню, что время пролетало очень быстро: даже бесконечное шоссе от Террачина, словно по волшебству, сразу же оставалось позади. Я сбавлял скорость до тридцати, до двадцати километров в час, так что нас чуть не обгоняли телеги, но все-таки дорога всегда кончалась и Италия сходилась. По ночам бывало еще лучше: машин на шоссе почти не было, и я одной рукой держал баранку, а другой обнимал Италию. Когда в темноте зажигались и гасли фары встречных машин, мне хотелось, чтобы вспышки моих фар, отвечавшие на их сигналы, складывались в какие-нибудь слова, говорящие всем о том, как я счастлив. Например: я люблю Италию, а Италия любит меня.

Паломби либо ничего не замечал, либо делал вид, что не замечает. Он ни разу не возразил против того, что Италия часто ездит с нами. Когда она садилась в кабину, он, хрюкнув в знак приветствия, отодвигался, освобождая для нее место. Италия сидела всегда посередине, потому что мне надо было следить за шоссе и, когда мы обгоняли другую машину, говорить Паломби, свободна ли впереди дорога. Паломби ничего не возразил даже тогда, когда я, окончательно одурев от любви, захотел написать на ветровом стекле что-нибудь напоминающее об Италии. Немного подумав, я вывел большими буквами: "Да здравствует Италия". Паломби был так глуп, что не замечал двойного смысла этой фразы, пока шоферы, посмеиваясь над нами, не спросили, с каких это пор мы стали такими патриотами. Только тогда он с изумлением взглянул на меня и, усмехнувшись, сказал:

- Они думают, что это Италия, но это же девушка... А ты умен. Это ты здорово придумал.

Все это продолжалось месяца два. Однажды, высадив, как обычно, Италию в Террачина, мы получили в Неаполе приказ разгрузиться и сразу же, без ночевки, возвращаться назад в Рим. Мне это было очень не по душе, потому что на следующее утро я должен был встретиться с Италией, но приказ есть приказ. Я сел за руль, а Паломби сразу же захрапел. До Итри все шло хорошо, потому что на этом отрезке много поворотов, а ночью, когда уже начинаешь уставать, поворот - лучший друг шофера, потому что он заставляет смотреть в оба. Но после Итри, среди апельсиновых рощ Фонди, на меня напала дремота и, чтобы разогнать ее, я принялся думать об Италии. Мысли все теснее переплетались в моем сознании, словно ветви в зарослях рощи; заросли становились все гуще и гуще и под конец превратились в темную непроходимую чащу. Помню, я вдруг подумал: "Хорошо, что я думаю о ней... А то бы я давно уснул". Но я уже спал и подумал об этом во сне. Эту мысль внушил мне сон, чтобы я спал спокойнее и крепче. Но в то же мгновение я почувствовал, что грузовик сошел с шоссе и въехал в канаву. Я услышал позади себя треск и грохот перевернувшегося прицепа. Мы ехали медленно, и поэтому ни я, ни Паломби не пострадали. Но выбравшись из кабины, мы увидели, что прицеп лежит вверх колесами, а весь груз - сырые кожи - вывалился в канаву. Ночь была темная и безлунная, только ярко светили звезды на небе. По счастью, все это случилось у самого Террачина: справа от нас были горы, а слева, за виноградниками, виднелось спокойное черное море.

Паломби только сказал:

- Здорово это у тебя получилось! - и предложил идти за помощью в Террачина.

До Террачина было несколько шагов, и Паломби, который всегда думал о том, как бы поесть, заявил, что он голоден. Машина техпомощи с краном приедет лишь через несколько часов, сказал он, а пока что не худо бы зайти в остерию. Мы отправились на поиски какого-нибудь заведения. Но было уже больше двенадцати часов. На круглой, сильно пострадавшей от бомбежек площади имелось только одно кафе, и оно было уже закрыто. Мы свернули в какую-то улочку, по-видимому ведущую к морю, и вскоре увидели освещенную вывеску. Полные надежды, мы ускорили шаг, и это действительно оказалась остерия. Но железная штора на двери была наполовину спущена - значит, остерия закрывалась. Дверь была стеклянная, и опущенная не до конца штора позволяла заглянуть внутрь.

- Вот увидишь, нас не впустят, - сказал Паломби и, нагнувшись, заглянул в дверь.

Я тоже нагнулся. Мы увидели зал сельской остерии с несколькими столиками и стойкой. На столах лежали перевернутые стулья. Вооружившись щеткой, Италия проворно наводила порядок. В глубине зала за стойкой стоял горбун. Я видел всяких горбунов, но такого - никогда. Подперев щеки руками, так что голова его совершенно ушла в плечи, а горб возвышался над головой, он пристально смотрел на Италию своими черными злыми глазами. Италия быстро подметала пол; потом горбун что-то сказал ей, и тогда она подошла к нему, прислонила щетку к стойке, обняла его за шею и поцеловала долгим поцелуем. Затем снова взяла щетку и, словно танцуя, завертелась по залу. Горбун вышел из-за стойки. Он был одет, как рыбак. На нем были сандалии, синие, закатанные до колен рыбацкие штаны и рубаша с отложным воротником. Он подошел к двери, и мы разом отпрянули назад. Горбун открыл стеклянную дверь и опустил штору до конца. Чтобы скрыть волнение, я сказал:

- Кто бы мог подумать?

- Н-да, - ответил Паломби с поразившей меня горечью.

Мы отправились в гараж и весь остаток ночи поднимали прицеп и грузили на него вывалившиеся кожи. Утром, когда мы подъезжали к Риму, Паломби заговорил, пожалуй, впервые с тех пор, как я с ним познакомился:

- Видал, как обошлась со мной эта ведьма Италия?

- Ты о чем? - удивленно спросил я.

- После всего, что было, - продолжал он медленно и угрюмо, - после того, как она жала мне руку, пока мы ездили туда и обратно, и я сказал, что женюсь на ней; после того, как мы обручились, - ты видел? Горбун.

Я так и обомлел. А Паломби продолжал:

- Я делал ей такие хорошие подарки: кораллы, шелковый платок, лакированные туфли... Правду говорю, я любил ее, и она казалась мне как раз такой, какую мне надо... А она... Неблагодарная, бессердечная девчонка вот кто она.

Пока в утренних сумерках наш грузовик быстро летел навстречу Риму, Паломби не переставая говорил все о том же, медленно, как будто сам с собой. А я думал, что Италия, ради того чтобы сэкономить на железнодорожных билетах, обманывала нас обоих. Слова Паломби раздражали меня, потому что он говорил то же самое, что мог бы сказать и я, и потому что в его устах все это казалось мне очень смешным. Наконец я грубо оборвал его:

- Отстань ты от меня с этой дрянью... Я спать хочу.

- Некоторые вещи причиняют боль, - ответил бедняга и замолк; он не сказал больше ни слова до самого Рима.

Несколько месяцев у меня было очень тоскливо на душе. Шоссе снова стало для меня тем, чем оно было раньше: бесконечной, противной лентой, которую приходится дважды в день проглатывать и снова выплевывать. Однако переменить профессию заставило меня то, что Италия на том же шоссе в Неаполь открыла остерию под вывеской "Приют шоферов". Ничего себе приют чтобы добраться до него, надо проехать сотню километров! Конечно, мы там никогда не задерживались, но все равно мне было неприятно видеть Италию за стойкой и горбуна, передающего ей стаканы и пивные бутылки. Я ушел с этой работы. А грузовик с надписью "Да здравствует Италия", который водит Паломби, по-прежнему совершает рейсы.

## Мысли вслух

В этом типичном для правобережья Тибра римском ресторане "Марфорнио" у меня поначалу все шло хорошо. Голова у меня была пустая и гулкая, как раковина, что попадаются на морском берегу: улитка, жившая внутри, давно погибла. И когда клиенты заказывали мне "спагетти с подливкой", то у меня в голове послушным эхом отдавалось: "спагетти с подливкой", а когда заказывали "бисквит по-английски", то в голове звенело: "бисквит по-английски" и ничего больше. В общем, я ни о чем не думал, снаружи и внутри был вылитый официант - уж до такой степени официант, что по вечерам, перед сном, у меня в голове все еще продолжали звенеть всякие спагетти с подливкой и английские бисквиты, которые я весь день подавал.

Я говорил, что голова у меня была пустая, а вернее сказать замерзшая, вроде как вода в горных озерах; весной, под лучами солнца, лед снова превращается в воду, и она в одно прекрасное утро приходит в волнение и начинает рябить под ветром.

В общем, с пустой ли, с замороженной ли головой, а я был действительно образцовым официантом. Раз вечером одна девушка в ресторане даже сказала про меня своему кавалеру:

- Посмотри на этого... Ну до чего же у него официантское лицо! Он никем, кроме официанта, и быть не может... Официантом родился - официантом и умрет.

А кто его знает, что это такое - официантское лицо? Может, это такое лицо, которое нравится посетителям? Им-то самим специально "посетительские лица" иметь не к чему, ведь им никому не надо угождать. А вот если официант хочет остаться официантом, то уж у него особое лицо должно быть, официантское...

Ну, да ладно. Целый год я ни о чем не думал и только выполнял заказы посетителей. Даже если какой-нибудь грубиян кричал мне:

- Да ты дурак или прикидываешься? - то моя голова послушно повторяла: "Ты дурак или прикидываешься?" - и больше ничего.

Хозяин ресторана, понятно, был мной доволен и часто говорил другим:

- Я у себя скандалов не желаю... Берите пример с Альфредо - ни одного слова лишнего. Настоящий официант.

Началось все однажды вечером, ну, точно как лед, который под солнцем тает, становится водой, и она вдруг забурлит и заволнуется... Попался мне клиент, старый уже, но молодящийся, курчавый, с проседью, словно ему снегом голову посыпали, лицо какое-то козлиное. И начал он меня шпынять наверное, чтоб пустить пыль в глаза девушке, с которой он пришел, невзрачная такая блондинка, машинистка, наверное, или модисточка. Всем он был недоволен, и когда я принес заказанное, он начал кричать:

- Да что это за дрянь? Да куда мы пришли? Не знаю, что меня удерживает, чтоб не запустить всем этим вам в голову!

Он был неправ: он заказывал говядину - я и принес говядину. Но на этот раз, вместо того чтоб покорно повторять в голове его слова, я вдруг подумал: "Козлиная физиономия у этого типа". И даже сам удивился. Не великая это была мысль, я знаю, но для меня и это было важно, потому что с тех пор, как я служил в ресторане, я в первый раз что-то сам подумал. Я пошел на кухню, заменил заказ, принес две порции аббаккио по-охотничьи и снова подумал: "На... и чтобы тебе подавиться!" Это, как видите, была уже другая мысль, тоже не бог весть какая, но все же мысль.

С этого вечера я начал думать, то есть я хочу сказать, стал делать одно, а думать другое. По-моему, это как раз и называется думать. Вот, например, я кланяюсь и спрашиваю: "Чего желаете, синьоры?", а про себя думаю: "Ну и длинная шея у этого франта... на гуся похож". Или вежливо говорю: "Не угодно ли сыру, синьора?", а сам думаю: "У тебя усы, милая моя, ты их выцвечиваешь, да они все равно видны". Но чаще всего мне в голову лезли грубости, брань, даже оскорбления: "Болван, идиот, голодранец, чтобы у тебя язык отсох, чтоб тебе околеть!" - и все в таком духе. Это было сильнее меня, слова так и кипели у меня в голове, как фасоль в горшке. В конце концов я стал замечать, что мысленно заканчиваю те фразы, которые произношу вслух. Например: "Угодно масла, лимона?", а про себя



заканчиваю: "В рожу тебе, свинья". Или говорю: "Вы знаете специальность нашего ресторана?", а сам добавляю: "Скверная еда и приписка к счету". И вдруг я поймал себя на том, что эти фразы я кончаю уже не про себя, а вслух, только тихо, очень тихо, чтоб не услышали. В общем, я заговорил, хоть и осторожно. Значит, по порядку: сначала я совсем не думал, потом стал задумываться, а теперь уж думал вслух, то есть говорил.

Я прекрасно помню, как заговорил в первый раз. В субботний вечер села за мой столик парочка, какие обычно приходят по субботам: она из "этаких", высокая крашенная блондинка, смазливая, нахальная, вся намазанная и сильно надушенная; он блондин с острым носом, лицо красное, низенький, курчавый, широкоплечий, костюм синий, а ботинки желтые. Она, должно быть, с севера; а он произносил протяжное "у", как говорят в Витербо. Он схватил карточку, словно это было сообщение об объявлении войны, и уткнулся в нее с сердитым видом, долго не решая, что взять. Потом заказал для себя еду поплотнее: спагетти, аббаккио с картофелем, пирожки, анчоусы. Она, наоборот, выбрала легкие, тонкие блюда. Я записал заказ и повернулся, чтоб идти на кухню. Но при этом я еще раз взглянул на него и чувствую, как у меня губы шевелятся и произносят тихо, но внятно:

- Что за хамская рожа!

Он все еще читал меню и ничего не заметил. Но у нее, как у всех женщин, слух был тонкий; она так и подскочила на стуле и выпучила на меня глаза: услышала. Я пошел на кухню, крикнул во весь голос:

- Один раз консоме, один раз спагетти! - вернулся и стал у стенки неподалеку от них.

Смотрю - она смеется. Смеется и смеется, прижимая руку к груди, лицо все пунцовое от хохота. А он сидит обиженный и все наклоняется к ней должно быть, спрашивает, чего она хохочет. Но она продолжает смеяться, трясая головой и хватаясь за грудь. Наконец она немножко успокоилась, наклонилась к нему и сказала что-то, указывая в мою сторону. Он повернулся и уставился на меня. Я отвел глаза, потом посмотрел снова и вижу - она опять смеется, а он глядит на меня бешеными глазами, нагнув голову, словно баран, который хочет боднуть. Наконец он меня позвал:

- Официант!

Она перестала смеяться, и я не спеша пошел к ним. Хоть мне было страшновато, но я все-таки не удержался и снова пробормотал убежденно:

- Вот именно, хамская рожа. Потом подошел, говорю:

- Что прикажете?

А он поднял на меня глаза и говорит угрожающе: - Официант, вы тут изволили выразить мнение...

Я спрашиваю, словно с луны свалился:

- Мнение?.. Не понимаю.

- Да, вы высказали суждение... Синьора вас слышала.

- Синьора, вероятно, плохо расслышала.

- Синьора прекрасно расслышала.

- Не понимаю. Может быть, вам, синьор, не угодно спагетти, так можно переменить.

- Официант, вы высказали суждение и знаете, о чем я говорю.

Тут она наклонилась вперед и говорит ему:

- Послушайте, оставьте лучше его в покое. Но он не унимался:

- Позовите мне хозяина.

Я поклонился и отправился звать хозяина. Тот явился, выслушал, что-то сказал, поспорил, а девица все продолжала смеяться, и этот тип еще пуще бесился. Наконец хозяин подошел ко мне и сказал тихо:

- Ну, обслужи их, и довольно... Но смотри, если это повторится, ты будешь уволен.

- Но я...

- Молчать!.. Катись!

В общем, я подал им ужин, не проронив ни слова. Но она все время хохотала, а он едва дотронулся до еды. В конце концов, не заказав десерта и не оставив на чай, они ушли. Она

продолжала смеяться даже у выхода.

После первого раза мне бы надо сдерживаться, а у меня вместо того пошло еще хуже. Теперь уж я почти не думал про себя, а все говорил вслух. В дни, когда в ресторане было мало народу и официанты без дела переминались с ноги на ногу у столиков или по стенкам, я все чаще говорил сам с собой, едва шевеля губами, но остальные все же замечали это и дразнили меня:

- Ты что, молитвы читаешь? Четки перебираешь? Нет, я не читал молитвы и не перебирал четки, а глядел, скажем, на семейство из пяти душ - папа, мама и трое маленьких детей - и бормотал:

- Ему неохота тратиться - то ли он скуп, то ли у него и правда не хватает денег... А у нее дурь в голове, всякие прихоти, и она заказала все дорогое: ранние овощи, омары, грибы, сладости... Он из себя выходит и еле сдерживается... Ей, хитрюге, нравится его мучить, а тут еще ребята капризничают, и ему сейчас очень кисло...

Или же я рассматривал лицо посетителя, у которого на лбу был какой-то большой нарост:

- Ну и картошка же у этого субъекта на фасаде... Странно, должно быть, чувствовать это на себе, щупать... А как же он шляпу надевает? Поверх этой штуки или сдвигает на затылок, чтоб поля до шишки не доходили?..

В общем, я все чаще говорил сам с собой и все реже разговаривал в компании. Хозяин уже не ставил меня в пример, а поглядывал косо. Я думаю, он меня считал слегка ненормальным и поджидал первого удобного случая, чтобы выставить.

Случай представился. Как-то вечером в ресторане почти никого не было. Трастевринский оркестр играл модную песенку "Душа и сердце" для пустых столиков, а я зевал и переминался около большого стола, накрытого на десять персон. Люди, заказавшие его, не показывались, но я знал, кто они такие, и не ждал ничего хорошего. Вот наконец они вошли в ярко освещенный зал: женщины в вечерних платьях, оживленные, говорят громко и возбужденно, оборачиваясь назад, к мужчинам, которые идут за ними - руки в карманы, животы вперед, все в темно-синих костюмах, рыхлые, самодовольные. В общем, из тех, что зовутся хорошей публикой. Это точно, я однажды вечером слышал, как один франт сказал, глядя на них: "Смотри, сегодня здесь очень хорошая публика". В общем, хорошая или скверная, они мне по многим причинам не нравились, главное потому, что они называли меня на "ты": "Принеси стул... Дай карточку... Ну, живо, поворачивайся". Зовут меня на "ты", точно они мне братья, а я-то ничьим братом себя не чувствовал, особенно среди них. Правда, они всех называли на "ты" - и других официантов и даже хозяина, но мне это было все равно, пусть говорят "ты" хоть царю небесному, коли хотят, но не мне. Словом, они явились, и первым долгом началась комедия с рассаживанием: Джулия сядет сюда, Фабрицио здесь, Лоренцо рядом со мной, с Пьетро сяду я, Джованна - между нами, Мариза - во главе стола. Наконец, слава тебе господи, все уселись, И тогда я подошел и подал карточку тому, что сидел во главе стола, - толстый такой, лысый, с потухшими глазами, нос крючком, шея белая, припудренная тальком. Он взял карту и начал перелистывать ее, говоря:

- Ну, что же ты нам посоветуешь?

Я слышу, что он меня тыкает, и бормочу:

- Скотина.

Но он меня, к счастью, не слышал, потому что остальные устроили страшный шум, споря из-за меню. Кто требовал спагетти, кто холодных закусок, кто хотел римской кухни, а кто нет, одни желали красного вина, другие - белого. Особенный гам подняли женщины, раскудахтались, словно куры в курятнике, прежде чем уснуть. Я не вытерпел и пробормотал сквозь зубы, склонившись к нему:

- Глупые курицы!

Он, должно быть, услышал, потому что вздрогнул и спрашивает:

- Что ты говоришь? Куры?..

- Да, - объясняю, - есть варенные куры.

- К черту вареных кур! - кричит кто-то. - Мы хотим ужинать по-римски: бобы на свином сале и пальята.

- А из чего делается пальята?

- Пальята, - объясняет тот, у кого карта, - это внутренности молочного теленка, который еще никогда не ел травы. Их варят целиком, со всем, что есть внутри, то есть с экскрементами...

- Экскременты!.. Фу, какой ужас!

- Это как раз вам и нужно, - думаю или, вернее, бормочу я, наклонившись.

На этот раз он, видно, что-то разобрал, потому что спрашивает недоверчиво:

- Что?

- Я ничего не говорил.

- Нет, ты что-то сказал, - ответил он твердо, но без гнева.

В этот момент, не знаю почему, стало тихо, не только за нашим столом, но и во всем ресторане. Даже оркестр, как нарочно, перестал играть. И в этой тишине я сам слышу, как говорю - вполголоса, но внятно:

- На "ты" называешь, скотина?

Тут он как подскочит в невероятном бешенстве:

- Мне - скотина?.. Да ты знаешь, с кем говоришь?

- Я ничего не говорил.

- Мне - скотина... Ах, мерзавец, подлец, каналья, я тебя сейчас проучу!

Он вскочил, схватил меня за ворот и прижал к стене. Все остальные тоже повскакали из-за стола: кто успокаивает его, кто, наоборот, нападает на меня. Весь ресторан на нас смотрит. Я разозлился, отпихиваю его и кричу:

- Ничего я не говорил... Руки прочь!

- Ах, ты ничего не говорил? Ничего?

- Ничего я не сказал, - повторил я, вырываясь. И добавил тише: Скотина.

Во второй раз у меня это слово выскочило...

К счастью, тут примчался хозяин: уж он и юлил, и вертелся, сгибался, как тростинка, извивался, как угорь.

- Прошу вас, уважаемый, прошу вас!

А уважаемый орал, как грузчик:

- Да я ему всю морду разобью!

Хозяин в конце концов взял меня за руку и говорит:

- А ты иди за мной.

Опять - "ты".

Пошли мы через весь зал, и публика встала из-за столиков, чтоб получше разглядеть меня, а я не мог не подумать вслух:

- Вот еще одна скотина меня на "ты" называет.

Он тут ничего не сказал, но, когда мы были уже в кухне, за закрытой дверью, он крикнул мне в лицо:

- Так ты называешь скотиной сначала клиентов, а теперь и меня?

- Я ничего не говорил... скотина.

- Ты опять свое? Так скотина - это ты, милейший... И пшел вон, убирайся сейчас же!

- Хорошо... Я уйду... Скотина.

В общем, губы у меня шевелились помимо моей воли, и я не мог этому помешать, Я очнулся уже на улице; стою и громко протестую:

- Называют на "ты"... будто мы братья... Да кто они такие, кто их знает? Почему они не ведут себя прилично?

В этот момент полицейский, видя, что я разговариваю сам с собой, подошел и окликнул меня:

- Ты что, выпил? Сухого или шипучего? Проходи, проходи, здесь нельзя стоять!

- Да кто пил? - опять запротестовал я. И сейчас же с языка у меня слетело то самое

слово, за какое меня выгнали из "Марфорियो". Я хотел поймать его, как мотылька, который выскальзывает из-под шапки. Да как бы не так, оно уже вылетело наружу, и ничего нельзя было поделывать... Короче говоря, меня арестовали за оскорбление полиции, я провел ночь в участке; потом суд, приговор... Когда я вышел из тюрьмы, то обнаружил, что голова у меня снова замерзла. Я переходил улицу у моста Витторио, и меня чуть не сшибла машина. Я стою, дрожу весь, а шофер высунулся и орет на меня:

- Спишь на ходу!

Я посмотрел ему вслед, и в моей голове стало послушно отстукивать, как прежде: "Спишь на ходу... Спишь на ходу... Спишь на ходу!"

Замухрышка

Никогда не знаешь доподлинно, какой ты есть на самом деле, кто лучше тебя, а кто хуже. Что до меня, я всегда ударялся в крайность, считая себя ниже всех на свете. Правда, я, как говорится, не из хрусталя сработан, а, скажем, из простого стекла. Но я-то себя считал глиняным горшком - битым черепком, а это уж было чересчур. Я себя слишком принижал. Частенько я говорил себе: "Ну-ка, оцени себя по достоинству!"

Начнем по порядку: физическая сила - нуль; я ростом маленький, кривобокий, рахитичный, руки и ноги - как пруттики. Ума - чуть побольше нуля, если принять во внимание, что из всех профессий я не пошел дальше мытья посуды в отеле. Далее: красота - меньше нуля. У меня лицо тощее, желтое, глаза - как у бродячей собаки, а нос годился бы разве для физиономии раза в два пошире моей: длинный и толстый, сначала вроде как загибается крючком, а на конце вдруг задирается кверху, совсем как ящерица, которая вздернула мордочку. О других качествах, таких, как мужество, храбрость, личное обаяние, симпатичность, лучше уж и не говорить. Ясно, что после эдаких размышлений я остерегался ухаживать за женщинами. Единственная, к которой я было осмелился подъехать - горничная из отеля, сразу осадила меня метким словечком: замухрышка. Вот я мало-помалу и уверил себя, что ничего не стою и что самое для меня лучшее - сидеть смирно в уголке и вперед других не соваться.

Тот, кто пройдет в середине дня по улице, на которую выходит черный ход отеля, где я работаю, увидит вровень с тротуаром несколько окон, откуда идет жирный запах от моющейся посуды. Всмотревшись в полумрак, он различит на столах и на мраморном желобе горы тарелок, нагроможденных до самого потолка. Это и есть мой уголок - тот закоулок жизни, куда я забрался, чтобы никому глаза не мозолить.

Но вот ведь, как говорится, судьба: всего я мог ожидать, только не того, что в этот уголок, в эту мою кухню, забредет кто-нибудь и разыщет меня, как цветок в траве.

Это была Ида - новая судомойка, поступившая на место Джудитты, которая ушла по беременности. Ида была среди женщин тем же, чем я был среди мужчин: замухрышка; как и я, маленькая, кривобокая, тощая, невзрачная, но вместе с тем непоседа, боевая, веселая, ну сущий дьявол. Мы быстро сдружились, потому что вместе мыли те же тарелки той же солевой водой. А потом - то да се, потихоньку, полегоньку - подбила она меня как-то в воскресенье пойти вместе в кино. Я пригласил ее только из вежливости и был порядком удивлен, когда в темноте она взяла мою руку - прямо сунула свою пятерню мне в ладонь. Я подумал было, что это ошибка, и даже попытался высвободиться, но она шепнула, чтобы я сидел спокойно: что плохого, говорит, пожать друг другу руки? Потом, когда мы вышли, она призналась, что заметила меня с первого же дня, как ее приняли на работу в отель. С тех пор, говорит, она только обо мне и думает. А теперь надеется, что и я полюблю ее немножко, потому что она без меня жить не может. В первый раз в моей жизни женщина, пусть даже такая женщина, как Ида, - говорила мне подобные слова. Немудрено, что я потерял голову и сказал ей все, чего ей хотелось, да и очень много сверх того.

Но все-таки эта история меня очень удивила: хоть Ида и твердила, что с ума по мне сходит, но я никак не мог окончательно поверить ей. Поэтому всякий раз, когда мы с ней бывали вместе, я все допытывался, отчасти из удовольствия слышать от нее ласковые слова, а отчасти чтоб рассеять свое недоверие:

- Ну скажи мне, что ты во мне нашла? Почему ты меня полюбила?

Вы не поверите! Ида вцеплялась обеими руками в мою руку, восхищенно глядела на меня и отвечала:

- Я тебя люблю, потому что в тебе есть все достоинства... Для меня ты - совершенство на земле.

Я повторял в недоумении:

- Все достоинства? Смотри-ка, а я и не подозревал!

- Да, все... во-первых, ты красивый!

Признаться, это меня сместило. Я говорил:

- Я? Красивый? Да ты посмотри на меня хорошенько.

- Еще бы я на тебя не смотрела! Я с тебя глаз не свожу!

- Ну, а мой нос? Ты хорошо рассмотрела мой нос?

- Вот как раз такой нос мне и нравится, - отвечала Ида, ущемив мой нос двумя пальцами и раскачивая его из стороны в сторону, словно колокол. - Что за нос!.. За этот нос я все на свете отдам!

Потом она добавляла:

- Кроме того, ты умный.

- Умный? Я? Но все говорят, что я дурень.

- Это они из зависти, - отвечала она с чисто женской логикой. - Ты умен, очень умен...

Когда ты говоришь, я слушаю, разинув рот... Ты самый умный человек, какого я встречала.

- Но ты ведь не скажешь, - снова начинал я немного погодя, - что я сильный... Этого уж ты утверждать никак не можешь.

А она пылко:

- Да, ты сильный... очень, очень сильный.

Это уж было чересчур, так что я просто не знал, что и сказать. А она продолжала свое:

- А потом, знаешь что? В тебе есть что-то такое, что мне безумно нравится.

- Да что же это такое, позволь узнать?

- Уж и не знаю, как тебе объяснить, - отвечала Ида. - То ли голос, то ли выражение лица, то ли походка... Ну, что-то такое особенное... ни в ком этого нет, кроме тебя.

Ну, конечно, поначалу я ей не верил и заставлял ее повторять все это только потому, что меня забавляло сравнивать ее мнение с тем, что я всегда сам о себе думал. Но постепенно, день ото дня, я, признаться, стал немного воображать о себе. Мне все чаще приходила мысль: "А вдруг это правда?"

Не то чтоб я действительно стал считать себя не таким, каким всегда представлял. Но слова Иды о "чем-то таком особенном" вселили в мою душу сомнение. Я чувствовал, что в этой фразе и была разгадка тайны. За это самое "неизвестно что" женщинам подчас нравятся горбуны, карлики, старики, иной раз даже уроды. Почему не могу понравиться и я? Ведь я-то все-таки не горбун, не карлик, не старик и не урод!

Недавно решили мы с Идой пойти в цирк, который расставил свой шатер прямо напротив проспекта Археолоджика. Настроение у нас было в тот вечер очень веселое; мы устроились на дешевых местах, тесно прижавшись друг к другу, рука в руке. Рядом со мной оказалась высокая блондинка, молодая и красивая. Около нее сидел смуглый юноша, тоже высокий и сильный, по виду спортсмен или моряк. Я еще подумал: "Вот, что называется, красивая пара!". Потом я о них забыл и смотрел во все глаза на представление.

Сначала на арене, посыпанной желтым песком, никого не было, но в глубине цирка, на трибуне для оркестра, музыканты в красной униформе - одни флейты и трубы - непрерывно играли всякие военные марши. Наконец выбежали четверо клоунов: два карлика и двое побольше - лица в муке, широкие штаны и стали выкидывать такие уморительные штуки, раздавать друг другу пощечины и пинки, что Ида от смеха даже закашлялась. Потом оркестр заиграл быстрый марш и вывели дрессированных лошадей. Их было шесть: три серые в яблоках и три белые. Они начали потихоньку кружить по арене, а дрессировщик в красном с золотом костюме, став посередине, щелкал своим длинным бичом. Потом выбежала девушка

в тюлевой юбочке и белых чулках, схватилась за седло одной из лошадей и ну прыгать ей на спину и соскакать на арену, а лошади-то сначала пошли рысью, а потом припустили галопом.

После лошадей вернулись клоуны, стали препотешно кувыркаться и награждать друг друга пинками, а потом вышла целая семья гимнастов на трапециях: папа, мама и мальчик; все трое в голубых трико, такие мускулистые, особенно мальчуган. Хлопнули в ладоши - гоп-ля, - ухватились за веревку с узлами и мигом забрались под самый купол, а там как начали перекидываться на качающихся трапециях, цепляясь то руками, то ногами и перебрасывая друг другу мальчика, словно мяч! Я сказал Иде в восторге:

- Хотелось бы мне быть акробатом! Приятно, должно быть, прыгать в пустоту, а потом ухватиться ногами за трапецию!

Ида, как обычно, прижалась ко мне теснее и отвечала восхищенно:

- Все дело в тренировке... Если б ты поупражнялся, у тебя бы это тоже получилось.

Блондинка посмотрела на нас, сказала что-то тихонько своему кавалеру, и оба засмеялись.

После акробатов пришел черед главному аттракциону со львами. Несколько юношей в красных куртках скатали ковер, на котором работали гимнасты. Убирая ковер, они нечаянно завернули в него одного из клоунов; увидев, как его набеленная испуганная физиономия высовывается из ковра, скатанного в трубку, Ида от смеха чуть не упала со стула.

Служители живо соорудили посреди арены большую клетку из никелированных стальных прутьев, и вот, под грохот барабанов, в маленькую дверцу просунулась рыжая голова первого льва. Всего было пять львов да еще львица, которая с виду была очень злобной и сейчас же стала рычать. Последним вошел укротитель, очень церемонный и вежливый маленький человечек в зеленой куртке с золотым шитьем, и стал раскланиваться во все стороны. В одной руке у него был кавалерийский хлыстик, а в другой - палка с крючком, вроде тех, какими спускают железные шторы в магазинах. Львы с рычаньем бродили вокруг него, а он преспокойно кланялся публике и улыбался.

Наконец он обернулся к львам и, хлопая их своим крючком по задкам, заставил влезть на очень маленькие табуреточки, расставленные в клетке. Львы, бедняжки, ерзали на этих кошачьих подставочках и рычали, скаля зубы; некоторые, когда укротитель проходил мимо них, пытались ударить его лапой, но он ловко увертывался.

- Да они его сейчас сожрут, - шептала Ида, дергая меня за руку.

Тут опять загрели барабаны. Укротитель подошел к одному льву, самому старому, который все засыпал и даже ни разу не рявкнул, открыл ему пасть и сунул в нее голову, да еще три раза сряду. Все захлопали, а я сказал Иде:

- Ты не поверишь... но у меня достало бы духу войти в эту клетку и тоже сунуть голову в львиную пасть.

А она в полном восторге, прижавшись ко мне, отвечает:

- Я знаю, что ты на это способен.

Тут блондинка и ее спортсмен как захохочут, глядя на нас. На этот раз мы не могли не заметить, что они смеются над нами. Ида здорово обиделась и шепнула мне:

- Они над нами хихикают... Скажи им, что они невежи!

Но в этот момент прозвонил колокол, и все встали, а львы, понуриив головы, пошли с арены через свою дверку. Первая часть представления окончилась.

Мы вышли из цирка погулять в антракте, и эти двое оказались как раз перед нами. Разозленная Ида не переставая шипела мне:

- Ты должен сказать им, что они невежи... Если не скажешь - значит, ты трус.

И я из самолюбия решил затеять ссору.

Позади цирка стоял барак, где за плату можно было посмотреть цирковых животных: с одной стороны - клетки с дикими зверями, а с другой - за барьером, на соломе - ручные и домашние животные на свободе: зебры, собаки, лошади и слоны. В этом бараке было очень темно, но, войдя, мы разглядели ту парочку: они стояли у клетки с медведем. Блондинка

рассматривала мишку, который свернулся клубком и безмятежно спал, привалившись своей мохнатой спиной к решетке. Молодой человек держал девушку под руку. Я подошел прямо к нему и твердым голосом сказал:

- Скажите-ка... вы не над нами смеялись?

Он небрежно обернулся и ответил не задумываясь:

- Нет, мы смеялись над одной лягушкой, которая вздумала подражать волу.

- А лягушка - это я?

- Какая курица кудахчет, та и снеслась.

Тут Ида подтолкнула меня под руку, и я повысил голос:

- А знаете, кто вы такой? - говорю. - Невежа и грубиян.

Он грубо ответил:

- Смотрите-ка, блоха голос подает.

Тут его спутница стала хохотать, и тогда взбешенная Ида вмешалась в ссору.

- Смешного тут мало, - говорит она, - смеяться нечего, лучше не прижималась бы так к моему мужу... Думаешь, я не видела? Ты все время прижималась к нему!

Я растерялся, потому что ничего подобного не заметил. Самое большее, если, сидя рядом со мной, она случайно задела меня локтем.

Блондинка отвечает возмущенно:

- Да ты с ума сошла, голубушка...

- Нет, не с ума сошла, а видела, как ты об него терлась.

- Да на что мне нужен такой замухрышка, - бросает та с презрением. Если бы я захотела, так прижалась бы к настоящему мужчине... Вот он настоящий мужчина.

Говоря это, она схватила руку своего дружка, как в колбасной берут окорок, чтобы показать покупателю.

- Вот к такой руке стоит прижаться, - говорит она. - Смотри, какие мускулы... Смотри, какой он сильный.

Мужчина в свою очередь шагнул ко мне и говорит угрожающе:

- Ну, довольно... Убирайтесь... Не то хуже будет...

- Это мы еще посмотрим, закричал я в бешенстве, поднявшись на цыпочки, чтобы сравняться с ним.

То, что потом случилось, я буду помнить до самой смерти. Он ничего не ответил, но вдруг схватил меня подмышки и поднял, как пушинку. Как я уже сказал, на другой стороне барака, напротив клеток, лежали на соломенной подстилке ручные животные. Прямо против нас расположилось семейство слонов: отец, мать и слоненок; он был поменьше взрослых слонов, но все-таки здоровый, как лошадь. Они стояли в тени, прислонясь друг к другу крупами, повесив уши и мотая хоботами. Так знаете, что сделал этот нахал? Поднял меня и вдруг как посадит верхом на слоненка! А тот, видно, решил, что пришел его черед выступать в цирке, и пустился рысцей по проходу между клеток. Что тут только было! Весь народ врассыпную, Ида, вопя, бежит за мной, а я еду верхом на слоненке и все пытаюсь ухватить его за уши. В конце прохода я не удержался и скатился на землю, ударившись затылком. Что было дальше - не знаю, потому что я потерял сознание, а очнулся уже на пункте скорой помощи; Ида сидела рядом и держала меня за руку.

Как только мне стало немного лучше, мы поплелись домой, не досмотрев второго отделения в цирке.

На следующий день я сказал Иде:

- Это твоя вина... Ты мне задурила голову, и я вообразил о себе бог знает что... А эта женщина была права: я просто замухрышка.

Но Ида взяла мою руку и, нежно глядя на меня, сказала:

- Ты был просто изумителен... Он тебя испугался, потому и посадил на слона... А верхом на слоне ты был так хорош... Жаль только, что под конец свалился.

Ну что тут будешь делать! Для нее я один человек, а для других другой. Кто может знать, что видят женщины, когда они любят?..

Посредник

Когда я поднимался по лестнице палатца, мажордом Антонио предупредил меня:

- Не воображай, что с княгини много возьмешь, она скупа до ужаса... С тех пор как у нее умер муж, она пристрастилась вести дела сама, и теперь никому не дает пожить.

- Она старая? - спросил я наугад.

- Она-то старая? Она молодая и красивая... Ей, должно быть, нет и двадцати пяти...

Посмотришь на нее - кажется, просто ангел... Да, внешность обманчива.

Я ответил:

- Будь она хоть самым чертом, я не жду от нее ничего, кроме того, что мне причитается... Я посредник, а у княгини продается квартира; я ей эту квартиру продаю, получаю свои проценты - и до свиданья.

- Ну, это не так-то просто... Она тебе еще попортит крови. Подожди, я схожу предупредить ее.

Он впустил меня в вестибюль и пошел предупредить княгиню, которую назвал "превосходительством", как будто она была мужчиной. Я дождался немного в этом страшно холодном вестибюле, где, как в настоящем старинном палатце, свод был отделан фресками, а стены увешаны гобеленами.

Наконец Антонио вернулся и сказал, что их превосходительство ожидают меня. Мы прошли целую анфиладу залов, и тут в одном из них, большего размера, чем другие, в нише окна я увидел секретера, а за ним княгиню, которая сидела и что-то писала. Антонио почтительно приблизился со словами:

- Вот синьор Проетти, ваше превосходительство.

А она, не поднимая глаз:

- Подойдите поближе, Проетти.

Я подошел вплотную, так что мог ее хорошо рассмотреть, и сразу должен был признать, что, сравнивая ее с ангелом, Антонио не преувеличивал. У нее было тонкое, белое лицо, нежное и приятное, черные волосы и такие длинные ресницы, что они отбрасывали тень на щеки. Немного вздернутый носик был такой изящный и прозрачный, точно он привык вдыхать один лишь аромат духов. Маленький рот ее с чуть припухлой верхней губкой походил на розу. Я перевел взгляд на ее фигуру. Одетая она была в черное, жакет облегал ее стройное тело; у нее были пышные бедра и грудь и осиная талия, которую можно было бы обхватить пальцами. Она писала - рука у нее была белая, тонкая, изящная, с бриллиантом на указательном пальце. Потом княгиня подняла на меня глаза, они были прекрасны - большие, карие, бархатистые и одновременно прозрачные. Она сказала:

- Ну что же, Проетти, пойдем осматривать квартиру?

Голос у нее был нежный и ласковый. Я пробормотал:

- Да, княгиня.

- Пройдемте сюда, Проетти, - сказала она, взяв большой железный ключ.

Мы вновь прошли через анфиладу залов в вестибюль, где она приказала Антонио, поспешно распахнувшему перед ней дверь:

- Антонио, скажите-ка истопникам - пусть больше не подкладывают угля в топку, здесь можно задохнуться от жары.

Я удивился, потому что в вестибюле, да и во всех других комнатах было страшно холодно. Мы пошли по лестнице - она впереди, я следом за ней, и пока княгиня шла передо мной, я успел убедиться, что фигура у нее была прекрасная: княгиня была высокая, тонкая, со стройными ногами, черная одежда еще больше подчеркивала белизну ее шеи и рук. Мы поднялись на два пролета по парадной лестнице, затем еще на два по черному ходу и наконец в глубине чердака нашли железную винтовую лестницу, которая вела в квартиру. Пока княгиня взбиралась по этой лестнице, я карабкался сзади, опустив глаза, потому что знал, что стал бы смотреть на ее ноги, а я не хотел этого - я уже преклонялся перед ней, как перед любимой женщиной.

Мы вошли в квартиру, состоящую, как я сразу увидел, из двух больших комнат с



плиточным полом и тюремными окнами вверху, под самым потолком. Третья комната находилась внутри круглой башенки. Стеклопанная дверь из нее вела на балкон с перилами, висевший над большой крышей, крытой коричневой черепицей. Княгиня распахнула стеклянную дверь и вышла на балкон, говоря:

- Идите сюда, Проетти, посмотрите, какой вид.

И правда, с балкона открывалось прекрасное зрелище: был виден весь Рим, со множеством крыш, с куполами и колокольнями. День был ясный, и на фоне голубого неба между крышами виднелся даже купол собора Святого Петра. Взволнованный смотрел я на эту панораму, но почти ничего не видел, думая лишь о княгине, которая поглощала все мои мысли, я ни на минуту не мог забыть о ней. Тем временем она вернулась в комнату. Я обернулся и машинально спросил:

- А какие удобства?

- Вас интересует ванная? Вот она.

Княгиня подошла к небольшой двери, не замеченной мною, и показала мне крохотную прямоугольную комнатку с низким потолком, без окна, в которой была установлена ванна. При первом же взгляде я определил, что в этой ванной комнате все было дешевенькое, как в домах, сдающихся внаем. Княгиня прикрыла дверь в ванную и, держа руки в карманах жакета, остановилась посреди комнаты:

- Ну что, Проетти, сколько, по-вашему, мы можем просить?

Я был так захвачен ее красотой и так взволнован тем, что нахожусь наедине с ней на этом чердаке, что смотрел на нее, ничего не отвечая. Вероятно, она догадалась о моих мыслях, потому что добавила, нервно притопнув ножкой:

- Нельзя ли узнать, о чем вы думаете?

Я поспешил ответить:

- Прикидываю... Тут три помещения, но лифта нет, кроме того, покупателю придется делать ремонт... Ну, скажем, три с половиной миллиона.

- Но, Проетти, - вскричала она, повышая голос, - Проетти, я хотела просить семь миллионов!

По правде говоря, в первую минуту я был просто ошеломлен. Меня окончательно сбило с толку такое сочетание красоты и жадности к деньгам. Наконец я пробормотал:

- За семь миллионов, княгиня, ее у вас никто не купит.

- Но это же не на Париоли... Это исторический палаццо... и в центре Рима.

Словом, мы немного поспорили - она, стоя посреди комнаты, а я несколько поодаль, чтобы не впасть в искушение. Я говорил и говорил, а на самом деле думал только о ней и за невозможностью большего пожирал ее глазами. В конце концов она уговорила меня против моей воли согласиться на четыре миллиона, что уже было очень дорого. Действительно, если учесть, что на капитальный ремонт, который был необходим, уйдет миллион лир, да прибавить к этому налоги и все прочее, то эта квартира обошлась бы почти в шесть миллионов. У меня уже был на примете покупатель, и, сказав, что дело сделано, я ушел.

Спустя день я явился в палаццо с молодым архитектором, искавшим как раз что-нибудь такое необычное и живописное. Княгиня взяла ключ и показала ему квартиру. Архитектор, поторговавшись немного, в конце концов согласился на уже обусловленную цену в четыре миллиона.

Но на следующее утро, совсем рано - не было еще и восьми часов - меня разбудила жена, сказав, что мне звонит княгиня. Глаза у меня слипались, но доносившийся до меня голос княгини, приятный и чистый, казался мне музыкой. Я слушал эту музыку, стоя в пижаме, босиком на полу, а в это время жена, опустившись на колени, пыталась надеть на меня ночные туфли, потом накиннула мне на плечи пальто. Я мало что понял или почти ничего, но среди множества слов меня внезапно поразили два:

- Пять миллионов...

Я тут же сказал:

- Княгиня, мы же договорились о четырех миллионах... и отступить от обязательств не

можем...

- В делах обязательств не существует... Либо пять миллионов, либо ничего.
- Но, княгиня, он сбежит.
- Не будьте дураком, Проетти, пять миллионов или ничего.

Говоря по правде, слово "дурак", произнесенное ее голосом, не показалось мне ни грубым, ни обидным, а скорее прозвучало как комплимент. Я сказал, что сделаю, как ей угодно, и тут же позвонил клиенту, сообщив ему новость. Я услышал, как он воскликнул на другом конце провода: - С вами шутки плохи! За одну ночь набавили целый миллион.

- Что ж поделаешь... Приказано.
- Ладно, посмотрим... Я подумаю...
- Значит, вы дадите мне знать?
- Да, подумаю, там увидим.

В результате он больше не подавал признаков жизни. Тут начался период моих, так сказать, наиболее интимных отношений с княгиней. Она звонила мне в среднем по три раза в день, и всякий раз, когда жена иронически восклицала: "Опять твоя княгиня!" - я волновался, будто это звонила возлюбленная. Но какая там любовь! Княгиня обожала деньги. Она была более корыстной, скупой, упрямой и изобретательной, чем любой ростовщик. Казалось, вместо сердца у нее копилка, потому что она не думала ни о чем, кроме денег. Каждый день по телефону она изобретала какую-нибудь новую причину повысить цену, ну хотя бы на самую малость, пусть на пять или десять тысяч лир. Сегодня это была ванна, - нужно ведь было учесть деньги, которые платились водопроводчику, завтра - вид из окон, на следующий день автобус, который останавливается у самых дверей палатки, и так далее. Но я упорно держался цифры пять миллионов, которая и без того была такой огромной, что покупатели, услышав ее, больше не показывались.

Наконец благодаря какой-то счастливой случайности нашелся желающий промышленник из Милана, который хотел поселить в этой квартире свою содержанку. Это был человек средних лет, высокий, со смуглым продолговатым лицом и ртом, полным золотых зубов, деятельный, практичный, хорошо знавший цену деньгам. Он тщательно осмотрел каждую мелочь в квартире, а потом без всяких церемоний заявил княгине:

- Это грязная конура, в Милане ее приспособили бы под прачечную, и говорить, что она стоит пять миллионов, все равно, что назвать меня турком... А если сделать здесь необходимый ремонт - перестлать полы, увеличить окна, заменить эту дрянь, - он указал на ванну, - то квартира обойдется мне все семь-восемь миллионов... Но неважно... цены на рынке определяются спросом и предложением... Вам встретился человек, которому такая квартира нужна, - будь по-вашему.

Но он просчитался, произнеся перед княгиней эту откровенную и грубую речь делового человека, потому что, едва он вышел, как она сказала мне огорченно:

- Проетти, мы совершили огромную ошибку.
- Какую же?
- Запросили только пять миллионов... Этот уплатил бы и все семь.

Я ответил:

- Княгиня, боюсь, что вы не поняли, каков этот человек: у него полно денег - это верно, и он без ума от любовницы - не спорю, но больше пяти миллионов он не даст.

- Вы не знаете, на что способен мужчина ради любимой женщины, сказала она, глядя на меня своими прекрасными глазами, в которых не светилось никакого другого чувства, кроме жадности.

Я ответил смущенно:

- Может быть... но я уверен в противном.

Ну ладно. На следующий день миланец явился во дворец со своим нотариусом, но не успели мы сесть, как княгиня заявила:

- Синьор Казираги, мне очень жаль, но я передумала и за вчерашнюю цену квартиру отдать не могу.

- То есть?

- То есть мы хотим за нее шесть миллионов.

Надо было вам видеть этого Казираги. Он встал и совершенно спокойно сказал:

- Княгиня, имею честь и удовольствие вас приветствовать, - и, откланявшись, вышел.

Едва он скрылся, я сказал:

- Ну, видели? Кто же оказался прав?

А она, нимало не смутившись:

- Увидите, мы найдем покупателя и на шесть миллионов лир.

Послать бы мне ее к черту, но, к сожалению, я был по-настоящему влюблен в нее. И, может быть, поэтому я не обратил внимания на то, что покупатель на пять с половиной миллионов, найденный мною через несколько дней, был не совсем обычный. Против цифры, поистине внушительной, он не возразил ни слова. Это был помещик по имени Пандольфи, высокий и полный молодой человек, похожий на медведя. С первого взгляда, словно что-то предчувствуя, я уже испытал к нему неприязнь. Когда же я представил его княгине, то понял, почему он не спорил из-за цены. Как выяснилось, у них оказалась целая куча общих друзей. И глядел он на нее такими глазами, что никаких сомнений уже не оставалось.

Мы, как обычно, осмотрели три комнаты и ванную, затем княгиня распахнула стеклянную дверь и вышла с ним на балкон, чтобы показать открывающийся отсюда вид. Я оставался в комнате и, таким образом, мог наблюдать за ними. Они опустили руки на перила, и тут я увидел, как он, будто невзначай, пододвинул свою руку, а потом положил ее на руку княгини. Я принялся медленно считать и дошел до двадцати. Казалось бы, что особенного, если руки двадцать секунд лежат вместе,- пустяк, но попробуйте-ка сосчитать эти секунды! На двадцатой секунде она непринужденно высвободила свою руку и вернулась в комнату. Он сказал, что, в основном, квартира ему подходит, и ушел. Мы остались одни, а она, бесстыдница, и говорит:

- Вы видели, Проегги! Пять с половиной... Но мы еще прибавим.

На следующее утро я снова пришел к княгине, ожидавшей меня, как обычно, в зале за своим секретером. Она сказала мне весело:

- Знаете, Проегги, что обнаружила я вчера, когда мы с этим вашим клиентом рассматривали вид с балкона?

Я хотел было ответить: "Что он влюблен в вас", да удержался.

Она продолжала:

- Так вот, я обнаружила, что из одного угла балкона виден порядочный кусок Виллы Боргезе \*. Проегги, нужно ковать железо, пока горячо... Сегодня мы спросим с синьора Пандольфи шесть с половиной миллионов.

\* Парк, разбитый вокруг музея "Вилла Боргезе". - Прим. перев.

Вы поняли? Зная, что Пандольфи влюблен в нее, она решила на этом сыграть. Те двадцать секунд, что он держал свою руку на ее руке, должны были обойтись ему в целый миллион, по пятьдесят тысяч лир за секунду. Каков аппетит! Я понимал, что на этот раз она смогла бы получить такие деньги, и во мне внезапно пробудились и злость, и ревность, и отвращение. До этого момента я был ее деловым посредником, теперь же она делала меня посредником в любовных делах. И еще не успев отдать себе отчет, я резко сказал:

- Княгиня, мое дело - посредничество, а не сводничество, - и, покраснев, выбежал вон.

Я слышал, как она проговорила, несколько не обидевшись:

- Да что с вами такое, Проегги?

Так я в последний раз слышал ее нежный голосок.

Месяц спустя, я встретил мажордома Антонио и спросил его:

- Ну, как княгиня?

- Выходит замуж.

- За кого? Бьюсь об заклад, что за этого Пандольфи, который купил у нее чердак.

- Какой там Пандольфи... Выходит замуж за князя из южной провинции, за старого дурака, который ей в дедушки годится... Впрочем, богат, рассказывают, что ему

принадлежит чуть ли не половина Калабрии... Словом, на ловца и зверь бежит.

- И все еще хороша?

- Просто ангел.

Младенец

Та добрая синьора, что принесла нам пособие из общества помощи бедным, тоже спросила нас, зачем это мы заводим столько детей. Жена моя в тот день была не в духе, взяла да и выложила ей всю правду: "Были б у нас деньги, говорит, - мы бы вечером в кино отправились, а раз денег нет, так мы отправляемся в постель - вот дети и рождаются". Синьора на такие речи обиделась и ушла не простившись. А я побранил жену, потому что не всегда правда хороша; прежде чем говорить напрямик, сперва посмотри, с кем имеешь дело.

Когда я был молод и не женат, то часто почитывал в газетах отдел римской хроники; там рассказывается о всяких несчастьях, какие могут приключиться с людьми: грабежи, убийства, самоубийства, уличные происшествия. И мне тогда казалось невероятным, чтобы мне самому выпало на долю такое несчастье, о котором в газетах пишут: "случай, достойный сострадания", - когда человек настолько несчастен, что вызывает к себе жалость без всяких особенных бедствий, одним уж тем, что существует на свете. Как я сказал, я был тогда молод и не знал, что значит содержать большую семью. А теперь я с удивлением обнаруживаю, что мало-помалу превратился в самый настоящий "случай, достойный сострадания". Вот, например, читаешь в газете: "Они живут в самой черной нужде". А я как раз и живу сейчас в самой что ни на есть черной нужде. Или: "Они ютятся в доме, который и домом-то назвать нельзя". А я живу в Тормаранчо \* с женой и шестью детьми в комнате, где между тюфяками даже ступить некуда, а в дождик вода хлещет все равно как на набережной Рипетта. Или такое, например: "Несчастливая, узнав о своей беременности, приняла преступное решение избавиться от плода своей любви". Так вот: мы с женой в полном согласии приняли это же самое решение, когда узнали, что у нас должен родиться седьмой ребенок. Мы порешили, как только погода позволит, оставить младенца в какой-нибудь церкви, положившись на милосердие того, кто найдет его первым.

\* Тормаранчо - предместье Рима, где беднота ютится в лачугах из досок и жести. - Прим. перев.

По содействию тех добрых синьор жену мою устроили рожать в больницу. Оправившись, она с новорожденным вернулась в Тормаранчо. Войдя в комнату, она сказала мне:

- Знаешь, хоть в больнице хорошего мало, я готова была бы там остаться, лишь бы не возвращаться сюда.

Младенец словно понял эти слова и завопил прямо оглушительно. Крепкий такой, красивый малыш, и голос у него громкий, ничего не скажешь: когда он начинал реветь по ночам, то уж никому больше спать не давал.

Наступил май, и стало тепло, так что можно было выйти на улицу без пальто. Вот мы и отправились из Тормаранчо в Рим. Жена прижимала ребенка к груди, нагнув на него столько тряпок, словно собиралась оставить его в снежном поле. Когда мы добрались до города, она - вероятно, чтобы перебороть свое горе - принялась говорить без умолку: дышит тяжело, вся растрепанная, глаза широко открыты...

Сначала она завела разговор про разные церкви, где можно его оставить, и все объясняла мне, что нужно выбрать такую, куда ходят богатые; ведь если малыша подберет бедняк, вроде нас, так пусть уж лучше ребенок с нами останется. Потом она сказала, что ей хочется выбрать какую-нибудь церковь Мадонны; потому что у Мадонны тоже был сын, говорит, она многое может понять и исполнит наше желание. От этих разговоров я устал, и в душе моей поднялось раздражение: ведь и мне было не сладко и вовсе не хотелось делать это. Но я внушал себе, что нельзя терять голову, нужно быть спокойным и подбадривать жену. Я что-то возразил ей, так просто, чтобы перебить этот поток слов, и предложил: - Давай оставим его в соборе Святого Петра.

Она поколебалась, а потом говорит:

- Нет, там настоящий проходной двор... его могут и не заметить... надо попробовать в маленькой церкви на виз Кондотти, там кругом такие роскошные магазины... ходит много богатых людей... Самое подходящее место.

Мы сели в автобус, и среди публики она поутихла. Только все крепче завертывала ребенка в одеяльце и время от времени осторожно приоткрывала личико и глядела на него. А он спал, уткнув свою розовую мордашку в тряпки. Он был одет плохо, как мы, только рукавички у него были хорошенькие - из голубой шерсти, и он все выпрастывал ручонки, словно хотел показать их.

Мы вышли около театра Гольдони, и жена сейчас же снова начала говорить без умолку. Остановилась у ювелирного магазина и, показав мне на драгоценности, выставленные на красном бархате в витрине, завела свое:

- Посмотри, какая красота... На эту улицу люди ходят, только чтобы купить драгоценности и другие прекрасные вещи... Бедняков здесь не бывает... И вот в промежутке между покупками они зайдут в церковь помолиться... Настроение у них хорошее... увидят ребенка и возьмут его.

Она говорила все это, смотря на бриллианты и прижимая к груди ребенка, будто рассуждала сама с собой, а глаза у нее были какие-то дикие, и я не смел ей перечить.

Мы вошли в церковь. Она была маленькая, окрашенная внутри под желтый мрамор, с несколькими приделами и главным алтарем. Жена моя сказала, что ей эта церковь казалась совсем другой, а теперь она ей что-то не очень нравится. Но все-таки она окунула пальцы в святую воду и перекрестилась. Потом, прижимая ребенка к груди, она медленно стала обходить церковь, недовольно и недоверчиво оглядывая ее. С купола, через верхние окна, лился холодный яркий свет. Жена моя все бродила по церкви, из придела в придел, рассматривая скамьи, алтари и картины, словно проверяя, стоит ли оставлять здесь малыша. Я шел за ней в нескольких шагах, все время поглядывая на вход. Вошла высокая синьорина в красном, волосы светлые, как золото. Она стала на колени - узкая юбка туго натянулась на ней, - помолилась минуточку, потом быстро перекрестилась и вышла из церкви, не взглянув на нас.

Жена моя, увидев это, говорит:

- Нет, здесь не выйдет... Сюда заходят люди вроде этой синьорины, им только и дела, что поразвлечься да по магазинам пошляться. Пойдем отсюда. И с этими словами она вышла из церкви.

Мы прошли порядочно по Корсо, все бегом, жена моя впереди, я за ней, и неподалеку от площади Венеции вошли в другую церковь. Эта была гораздо больше первой, с богатыми занавесями, позолотой, а на стенах под стеклом полно серебряных сердец, блестящих в полумраке. Здесь было довольно много народу, по виду состоятельные люди: дамы в шляпках, хорошо одетые мужчины. Священник читал с амвона проповедь, и вся публика стояла, поворотившись к нему. Я подумал: "Вот удобный случай, никто нас не заметит!" - и говорю жене тихонько:

- Попробуем здесь.

Она кивнула. Пошли мы в боковой придел. Там, вроде, никого не было, да к тому же так темно, что мы еле видели друг друга. Жена моя закрыла ребенка лицо краем одеяльца, в которое он был завернут, и положила его на скамью, словно неудобный сверток, чтоб он руки не оттягивал. Потом она опустилась на колени и долго молилась, закрыв лицо руками. А я от нечего делать рассматривал сотни серебряных сердец, больших и малых, развешанных на стенах придела. Наконец жена моя встала; лицо у нее было совсем убитое. Она перекрестилась и тихонько пошла из придела, я за ней следом. В этот момент священник возопил:

- И сказал Христос: "Камо грядеши, Петре?"

И мне почудилось, будто это он меня спрашивает.

Моя жена уже было откинула портьеру у выхода, как вдруг ее окликают; мы оба так и подскочили.

- Синьора, вы сверток на скамье оставили.

Смотрим - женщина в черном, из тех ханжей, что целые дни торчат то в церкви, то в исповедальне.

- Ах да, - говорит моя жена, - спасибо, я о нем и забыла.

Забрали мы сверток и вышли из церкви ни живы ни мертвы.

На улице жена говорит:

- Никто его взять не хочет, никому он не нужен, бедный мой сыночек...

Ну словно продавец, который рассчитывал на хорошую торговлю, а на рынке никто его товар не берет.

И опять она помчалась вперед, растрепанная, тяжело дыша, словно ноги сами ее несли. Добрались мы до площади Святых Апостолов. Церковь тут была открыта. Вошли мы, видим - большая, просторная, света мало. Жена шепчет:

- Вот подходящее место.

Решительно прошла в один из боковых приделов, положила малыша на скамью и, не перекрестившись, не помолившись, даже не поцеловав его в лобик, бросилась к выходу, словно у нее земля горела под ногами. Но едва она сделала несколько шагов, как раздался отчаянный рев на всю церковь. Подошел час кормления, а младенец свое время знал и заплакал от голода. Жена моя будто голову потеряла от этого громкого плача: она сначала рванулась к двери, потом кинулась обратно - все бегом - и, не подумав, где находится, уселась на скамью, схватила ребенка на руки и расстегнулась, чтобы покормить его. Но только она дала ему грудь и малыша, вцепившись в нее обеими ручонками, принялся сосать, словно настоящий волчонок, как послышался грубый окрик:

- В доме божьем таких вещей не делают... Пошли прочь отсюда, идите на улицу!

Это был пономарь, старикашка с седой бородкой, голос у него был здоровей, чем он сам. Жена моя встала, кое-как прикрыла грудь и голову ребенка, да и говорит:

- Но ведь Мадонна на картинах... она всегда с ребенком у груди.

А он ей:

- Ты еще хотела с Мадонной равняться, бесстыдница.

В общем, ушли мы из этой церкви и уселись в скверике на площади Венеции. Там жена снова дала грудь ребенку, и он, насосавшись досыта, уснул.

Тем временем настал вечер, стемнело. Церкви позакрывались, а мы сидели усталые, замученные, и ничего нам в голову не приходило. Меня просто отчаяние взяло при мысли, что мы столько сил убиваем на такое дело, какого и затевать-то не следовало. Я говорю жене:

- Послушай, поздно уж, я больше не могу, надо, наконец, решиться.

Она отвечает зло:

- Это твой сын, твоя кровь... Что же ты хочешь - бросить его так, в уголке, словно сверток с объедками для кошек!

- Нет, - говорю, - но такие вещи надо или уж сразу делать, не раздумывая, либо не делать совсем.

А она:

- Ты попросту боишься, что я передумаю и отнесу его домой... Все вы, мужчины, трусы!

Я вижу, что ей сейчас перечить нельзя, и говорю примирительно:

- Я тебя понимаю, не беспокойся, но пойми и ты: что бы с ним ни случилось, все будет лучше, чем расти ему в Тормаранчо, в нашей лачуге без кухни и отхожего места: зимой в ней черви, а летом мухи.

Она на этот раз ничего не сказала.

Пошли мы, сами не зная куда, по виа Национале, вверх, к башне Нерона. За ней, немного подальше, есть улочка, совсем пустынная. Вижу: там у одного подъезда стоит закрытая серая машина, пустая. Я сразу сообразил: подошел к машине, повернул ручку - дверца открылась. Я говорю жене:

- Скорей, вот удобный случай, клади его на заднее сиденье.

Она послушалась, положила ребенка, и я захлопнул дверцу. Все это мы проделали в один миг, нас никто не видел; потом я схватил ее под руку, и мы побежали к площади Квиринале \*.

\* Площадь, где находится Квиринал - бывший королевский дворец. - Прим. перев.

Площадь была пустая и темная. Только у дворца горело несколько фонарей, и в ночи за парапетом сверкали огни Рима. Жена подошла к фонтану возле обелиска, села на скамеечку, скрючилась вся и, отвернувшись от меня, вдруг как заплачет,

Я говорю:

- Ну что тебя так разбирает?

А она:

- Теперь, когда я его оставила, мне так пусто... мне его не хватает здесь, на груди, где он лежал.

Я говорю:

- Понятно, конечно... Но это у тебя пройдет.

Она пожала плечами и продолжала плакать. И вдруг слезы у нее высохли, ну, как высыхает дождь на мостовой, когда подует ветер. Она вскочила да как закричит в ярости, тыча пальцем на дворец:

- А теперь я пойду туда, доберусь до короля и все ему выскажу!

- Стой! - кричу я, хватая ее за руку. - Ты что, с ума сошла?.. Не знаешь, что короля давно нет?

А она:

- А мне все равно... Скажу тому, кто сидит на его месте. Кто-нибудь да есть там!

Словом, она бросилась к подъезду и наверняка устроила бы скандал, если бы я не завопил в отчаянии:

- Послушай, я передумал... Вернемся к машине и возьмем ребенка... Оставим его себе. Не все ли равно - одним больше, одним меньше.

Эта мысль, видать, у нее все время сидела в голове и разом вытеснила выдумку про короля.

- Да там ли он еще? - говорит она и бросается в ту улочку с серой машиной.

- Еще бы, - говорю, - ведь и пяти минут не прошло.

И правда, машина была еще там. Но в тот самый миг, как жена моя открыла дверцу, из подъезда выскочил мужчина средних лет, низенький, с холеным лицом, и закричал:

- Стой! Стой! Что вам надо в моей машине?

- Мне надо забрать свое, - ответила жена, не оборачиваясь, и наклонилась, чтобы взять ребенка с сиденья.

Но мужчина не унимался:

- Что вы там берете? Это моя машина... Поняли? Моя!

Надо было вам видеть тогда мою жену! Она выпрямилась да как накинется на него:

- Кто у тебя что берет? Не бойся, ничего у тебя не возьмут, а на твою машину мне наплевать... Вот гляди,

И она вправду плюнула на дверцу.

- А этот сверток?.. - начал тот растерянно.

А она:

- Это не сверток... Это сын мой... Смотри!

Она открыла личико малыша, показала его и опять пошла-поехала:

- Тебе с твоей женой такого прекрасного сына в жизни не сделать, хоть родись заново... И не вздумай меня задерживать, не то я закричу, позову полицию и скажу, что ты хотел украсть моего ребенка.

В общем, она ему такого наговорила, что бедняга рот разинул и вся кровь бросилась ему в лицо - того и гляди удар хватит. Наконец жена замолчала, повернулась, не спеша

пошла прочь и догнала меня на перекрестке.

### Безупречное убийство

Это было сильнее меня: всякий раз, познакомившись с девушкой, я представлял ее Ригамонти, а тот исправно отбивал ее у меня. Может быть, я поступал так из желания показать, что тоже пользуюсь успехом у женщин, а может быть, просто не мог приучить себя плохо думать о нем,- только после каждого его предательства я по-прежнему продолжал считать его своим другом. И я бы, пожалуй, терпел и дальше, веди он себя немного тактичнее, немного деликатнее, но он держался слишком нахально, нисколько не считаясь со мной. Он доходил до того, что ухаживал за девушкой на моих глазах и при мне назначал ей свиданье. Известно, что в таких случаях в проигрыше всегда остается человек воспитанный. В то время как я молчал, не решаясь затеять ссору в присутствии синьорины, он без зазрения совести добивался своей цели. Раз или два я протестовал, но чересчур робко, я не умею выражать свои чувства, и пусть там внутри у меня все кипит, внешне я остаюсь холоден, и никому даже в голову не придет, что я злюсь. И знаете, что он отвечал?

- Ты сам виноват, я тут ни при чем. Если девушка предпочла меня значит, я умею лучше ухаживать.

И это была правда, так же как и то, что он был красивее меня. Но ведь истинный друг никогда не станет посягать на дам своего друга.

Короче говоря, после того как он сыграл со мной такую шутку четыре или пять раз, я до того возненавидел его, что когда мы стояли рядом за стойкой в баре, обслуживая посетителей, я нарочно старался повернуться к нему боком или спиной, лишь бы не видеть его. Теперь уже я даже думал не о зле, которое он мне причинил, а только о нем самом, о том, что он за человек. И наконец я почувствовал, что не могу больше выносить его. Мне была противна эта здоровенная глупая физиономия с низким лбом, маленькими глазками, большим носом с горбинкой, яркими губами под короткими усиками. Мне были противны его черные лоснящиеся волосы, подстриженные наподобие шлема, с двумя длинными прядями, зачесанными от висков к затылку. Мне противны были его волосатые руки, которые он выставлял напоказ, орудуя за кипятильником для кофе. Но особенно раздражал меня его крупный нос с горбинкой и широкими ноздрями, такой белый на цветущем лице, как будто кость изо всех сил натягивала кожу. Мне так часто хотелось развернуться и захватить кулаком по этому носу, чтобы услышать, как хрустнет кость.

Но это были только пустые мечты, ведь я был такой щуплый и маленький, что Ригамонти мог уложить меня одним пальцем.

Трудно сказать, когда именно я задумал убить его; может быть, в тот вечер, когда мы с ним смотрели американский фильм под названием "Безупречное убийство". Правда, сначала я не думал убивать его на самом деле, а просто представлял себе, как бы я все это сделал. Мне доставляло удовольствие думать об этом по вечерам перед сном, утром, прежде чем подняться с постели, да и днем в баре, когда бывало нечего делать и Ригамонти, сидя на табуретке за стойкой, читал газету, склонив свою напوماженную голову. Я при этом думал, ну просто так, чтобы развлечься: "Вот возьму сейчас пестик, которым у нас колют лед, и стукну его хорошенько по голове".

Короче говоря, я походил на человека, целыми днями мечтающего о своей возлюбленной, о том, что он скажет или сделает при встрече с ней, с той только разницей, что моей возлюбленной был Ригамонти и удовольствие, которое другие получают, представляя себе поцелуи и ласки, я находил в мечтах о его смерти.

Все еще ради развлечения, потому что это меня забавляло, я составил себе весь план убийства до мельчайших подробностей. Но когда план был выработан, у меня возникло искушение осуществить его, и это искушение было так велико, что я не мог ему противиться и решил перейти к действию. А может быть, я ничего и не решил, а просто начал действовать, полагая, что все еще фантазирую. Я хочу сказать, что я поступал, совсем как влюбленные: делал все инстинктивно, по инерции, безвольно, почти не отдавая себе в этом отчета.



Итак, для начала я сказал ему между двумя чашками кофе, что познакомился с очень красивой девушкой, но на этот раз речь идет не об одной из тех девушек, которые нравились мне и которых он потом всегда у меня отбивал, а о такой, которой понравился именно он и которая ни о ком другом и слышать не хотела. Я повторял ему это день за днем в течение целой недели, постоянно прибавляя новые подробности этой пылкой любви и делая вид, что ревную.

Сначала он отнесся к этому безразлично, говоря:

- Раз она меня любит, пусть приходит в бар... я угощу ее кофе.

Но потом понемногу начал сдаваться. Иногда, делая вид, что шутит, он допытывался у меня:

- Скажи-ка, а эта девушка... любит меня по-прежнему?

А я отвечал:

- Еще как!

- А что она говорит?

- Говорит, что ты ей очень нравишься.

- А еще что? Что ей нравится во мне?

- Все: нос, волосы, глаза, губы и то, как ты ловко управляешься с кипятивником для кофе; сказал тебе - все.

Короче говоря, по моим словам, этой девушке - плоду моего воображения - вскружило голову как раз все то, чего я сам не выносил в нем и за что готов был убить его. Он гордо улыбался, раздуваясь от спеси, потому что был невероятно тщеславен и страшно высокого мнения о своей особе. Было ясно, что его скудный умишко непрерывно занят мыслью о девушке, с которой он хотел бы познакомиться, и только гордость мешала ему попросить меня об этом. В конце концов он как-то сказал с досадой:

- Послушай, или ты познакомишь меня с ней, или же больше о ней ни слова.

Я только этого и ждал и тут же назначил ему свидание на следующий день.

Мой план был прост. В десять часов мы кончали работу, но хозяин, подсчитывавший выручку, оставался в баре до половины одиннадцатого. Я завлекаю Ригамонти к насыпи железнодорожной линии на Витербо и говорю, что сюда придет к нему на свидание девушка. В десять пятнадцать проходит поезд, и я, воспользовавшись шумом, стреляю в Ригамонти из "беретта" - пистолета, который недавно купил в магазине на площади Виттория. В десять двадцать я возвращаюсь в бар за забытым свертком, и, таким образом, хозяин видит меня. В десять тридцать, самое позднее, я уже сплю в швейцарской того дома, где снимаю на ночь койку у портье. Этот план я частично позаимствовал из фильма, особенно в том, что касалось поезда и подсчета времени. Он мог и провалиться, то есть меня могли заметить на месте преступления, но и тогда я все же получил бы хоть то удовлетворение, что дал выход своей страсти, и ради этого я готов был даже на каторгу.

На следующий день была суббота, и нам пришлось здорово поработать, но это даже было кстати, потому что Ригамонти не говорил со мной о девушке, и я ни о чем таком не думал. В десять часов мы, как обычно, сбросили с себя полотняные куртки, простились с хозяином и пролезли под наполовину спущенной железной шторой.

Бар помещался на аллее, ведущей к Акуа Ачетоза, а оттуда рукой подать до железной дороги на Витербо. В этот час никто не прогуливался по темной аллее, последние парочки уже спустились с холма парка Римембранца. Стоял апрель, воздух был уже теплый, небо понемногу светлело, хотя луна еще не показалась.

Мы пошли по аллее. Ригамонти был настроен весело и, как обычно, покровительственно хлопывал меня по плечу, я же словно оцепенел и сжимал рукой пистолет, который лежал во внутреннем кармане моей спортивной куртки. На перекрестке мы вышли из аллеи и зашагали по поросшей травой тропинке вдоль железнодорожной насыпи, от насыпи падала тень, и здесь было темнее, чем вокруг, - я это тоже учел. Ригамонти шел впереди, я за ним. Придя на условленное место, неподалеку от фонаря, я сказал:

- Она просила здесь подождать... увидишь, сейчас она придет.

Он остановился, закурил сигарету и проговорил:

- Официант ты неважный, а вот сводник незаменимый.

Словом, он по-прежнему продолжал оскорблять меня.

Мы находились в уединенном месте, и луна, поднявшаяся за нашей спиной, освещала расстилавшуюся внизу равнину, окутанную белой пеленой тумана, лила свой свет на бурый кустарник и мусорные кучи, на отливавший серебром Тибр, который извивался под нами.

Я весь дрожал, мне казалось, что я продрог от холодного тумана, и я сказал, скорее для того, чтобы подбодрить себя, чем для Ригамонти:

- Что там, минутой раньше, минутой позже... Она здесь в услужении и должна дожидаться, пока уйдут хозяева.

- Да вот и она, - отозвался Ригамонти.

Я обернулся и увидел темную фигуру женщины, шедшей по тропинке навстречу нам. Позднее мне объяснили, что сюда обычно приходят женщины известного сорта в надежде найти клиентов; но тогда я этого не знал и готов был поверить, что эта девушка вовсе не придумана мною, а существует на самом деле. Между тем Ригамонти, который был так уверен в себе, пошел ей навстречу, а я машинально побрел за ним. Еще несколько шагов, и она вышла из тени на свет фонаря. И вот тут-то, посмотрев на нее, я почти испугался. Ей было лет под шестьдесят. Страдальческие глаза, подведенные черной краской, обсыпанное пудрой лицо, ярко-красный рот, всклокоченные волосы и черная ленточка вокруг шеи. Она была из тех, что ищут себе уголок потемнее, чтобы их не могли хорошенько разглядеть; и в самом деле непонятно, как еще, несмотря на свой возраст и жалкий вид, этим женщинам удается находить себе клиентов. Между тем Ригамонти, еще не успев ее рассмотреть, с присущим ему нахальством спросил:

- Синьорина поджидает нас?

А она не менее нахально ответила:

- Конечно!

Но когда он наконец разглядел ее и сообразил, что ошибся, он отступил назад и сказал нерешительно:

- Ах, простите, сегодня вечером я как раз не могу... но вот тут мой приятель, - и, отскочив в сторону, исчез за насыпью.

Я понял, что Ригамонти подумал, будто я хотел отомстить ему, познакомив после стольких красивых девушек с таким чудовищем. И понял я также, что мое безупречное убийство сорвалось.

Я смотрел на эту несчастную женщину, говорившую мне с улыбкой, похожей на гримасу карнавальной маски:

- Очаровательный блондин, не дашь ли закурить?

И мне стало жаль ее, жаль себя и, пожалуй, даже Ригамонти. Перед этим во мне было столько ненависти, а тут она сразу куда-то пропала, слезы выступили у меня на глазах, и я подумал, что благодаря этой женщине я не стал убийцей. Я сказал ей:

- Закурить у меня не найдется, но вот возьми это; если продашь его, получишь не меньше тысячи лир, - и сунул ей в руку пистолет. Потом я спрыгнул с откоса и поспешил к аллее. В эту минуту, рассыпая во тьме ночи красные искры, прошел поезд на Витербо, вагон тянулся за вагоном, все окна были ярко освещены. Я остановился и смотрел, как он удаляется, потом прислушался к замирающему стуку колес и вернулся домой.

На следующий день в баре Ригамонти сказал мне:

- Знаешь, я чувствовал, что за этим что-то кроется... но неважно... все-таки ты здорово меня разыграл.

Я посмотрел на него и почувствовал, что ненависть моя к нему прошла, хотя он оставался таким же: тот же лоб, те же глаза, тот же нос, те же волосы, те же волосатые руки, которые он все так же выставлял напоказ, орудуя у кипятильника для кофе. И я сразу испытал такое облегчение, как будто апрельский ветер, надувавший тент перед баром,

освежил и меня.

Ригамонти подал мне две чашечки кофе, чтобы я отнес посетителям, усевшимся на самом солнце за столик перед баром, и я, принимая чашечки, сказал вполголоса:

- Увидимся вечером? Я пригласил Амелию.

Он выплеснул в ящик под стойку кофейную гущу из фильтра кипятивника, положил свежий кофе, прогрел его паром и ответил просто, без всякой злобы:

- Сегодня вечером, к сожалению, не смогу.

Я ушел с чашками, испытывая что-то похожее на сожаление из-за того, что сегодня вечером он не придет отбивать у меня Амелию, как отбивал до этого всех других девушек.

Пикник

Рождество, Новый год, крещение... Когда в середине декабря начинаются разговоры о праздниках, меня бросает в дрожь, будто мне говорят о долгах, которые нужно платить, а денег нет. Рождество, Новый год, крещение. И почему только эти праздники так и идут один за другим! Для бедняка, вроде меня, это прямо нож острый... Не то чтобы я не хотел праздновать светлое рождество, или Новый год, или крещение, но дело в том, что в эти дни все торговцы съестным, как суши разбойники, располагаются за углом улицы так, что наш брат приходит на праздник одетый, а уходит голый и ограбленный. Может быть, во времена царя Гороха рождество, Новый год, крещение были настоящими праздниками и отмечали их скромно, но от всего сердца, - ведь тогда еще не было ни организации, ни агитации, ни эксплуатации. Но мало-помалу даже самые глупые люди поняли, что на праздниках можно нагреть руки; так оно теперь и делается. Праздники эти - для плутов, которые продают съестное, а не для бедных людей, которые его покупают. Часто я думаю, что, скажем, для пирожника, для торговца птицей, для мясника это настоящие праздники и даже вдвойне праздники, потому что, во-первых, это праздники, да к тому же еще в эти дни они продают раз в десять больше, чем в будни. И выходит, что бедняк справляет праздник впроголодь, с пустым карманом, за скудным столом, а они празднуют по-настоящему - с полным кошельком, за обильным столом.

Впрочем, чтоб вы могли убедиться, что я говорю правду, загляните-ка на улицу, где находится моя писчебумажная лавка. Тут рядышком разместились лавки колбасника Толмеи, торговца птицей Де Сантиса, пекаря Де Анджелиса и виноторговца Крочани. А ну-ка, что вы там видите? Горы сыров и окороков, тьму-тьмущую кур и индеек, корзины с пирожками, пирамиды графинов и бутылок; кругом огни, все сияет, люди входят и выходят непрерывным потоком с утра до вечера, как в каком-то морском порту. Так обстоит дело в этих четырех лавках. А в моей лавчонке все наоборот: тишина, сумрак, покой, пыль на прилавке; разве что иногда какой-нибудь малыш забежит купить тетрадку или женщина возьмет склянку чернил, чтобы записать расходы. Да и сам я похож на свою лавку - худой, голодный, в черном переднике, весь пропахший пылью и бумагой, вечно угрюмый, озабоченный. А по их лицам сразу можно сказать, что дела у них идут хорошо: такие они видные, румяные, жирные, самоуверенные, эти Де Анджелис, Толмеи, Крочани, Де Сантис. Всегда-то они веселы, все-то им море по колено... Эх, дал я маху со своей специальностью! От бумаги, печатной или писчей, немного проку - лавчонки, сворачивая свои кульки, отпускают ее не меньше, чем я, продающий ее для чтенья и письма.

Так вот за несколько дней до Нового года как-то утром жена говорит мне:

- Слушай, Эджисто, какая прекрасная мысль! Крочани предложил собраться всем пяти коммерсантам нашей улицы с женами и устроить пикник по случаю Нового года.

- А что это такое, пикник? - спросил я.

- Ну, обычная вечеринка.

- Обычная?

- Да, обычная, но только на нее каждый что-нибудь приносит, и получается так, что каждый угощает всех и все угощают каждого.

- Это и есть пикник?

- Да, это и есть пикник. Де Анджелис принесет пирожки, Крочани - вино и шампанское,

Толомеи - закуски, Де Сантис - индеек...

- А мы?

- Мы должны будем принести новогодний пирог.

Я промолчал. А она настаивала:

- Разве это не хорошо придумано? Так я скажу, что мы придем?

Я сидел у прилавка и разбирал пачку открыток с рождественскими поздравлениями.

Наконец я сказал:

- Мне кажется, этот пикник не так уж справедливо придуман. У Де Анджелиса в лавке есть пирожки, у Крочани - вино, у Толомеи - закуски, у Де Сантиса - индейки, А что у меня? Ничего. Значит, пирог мне придется покупать?

- Ну и что ж тут такого? Они ведь тоже платят за свои товары, в лавке у них ничего не растет... Что ж тут такого?.. Вечно с тобой так. Вечно ты упрямишься, рассуждаешь, хочешь быть умнее всех. А потом жалуешься, что дела идут плохо.

В общем, мы изрядно повздорили. Наконец, чтобы прекратить спор, я сказал:

- Ладно, будь по-твоему. Передай ему, что я приду на пикник... Мы принесем пирог.

Тогда она посоветовала мне купить пирог побольше, по крайней мере кило на два, чтобы не ударить лицом в грязь. И я пообещал ей купить пирог побольше.

Канун Нового года я провел, как обычно, - продавал поздравительные открытки и рождественские картонные фигурки с изображением яслей Христа. А мои соседи продавали индеек и кур, пирожки и лапшу, ящики ликеров и дорогих вин, сыр и ветчину. Денек выдался прекрасный, и я, сидя в своей темной лавчонке, смотрел, как по улице в лучах солнца спешат женщины, нагруженные покупками. День и правда был прекрасный, день под Новый год в Риме, ослепительно синее небо, казалось, было из тончайшего хрустала, а все предметы выглядели как бы нарисованными на нем яркими красками. Вечером, закрывая лавку, я сказал жене:

- Ужинать нам не стоит... Наедемся в полночь, на пикнике. Одного пирога, который я несу, хватит человек на сто.

И впрямь, коробка с пирогом была огромная. Я сказал жене, чтобы она не беспокоилась - пирог понесу я сам.

В половине одиннадцатого мы вошли в подъезд Крочани, квартира которого помещалась как раз над магазином. Крочани жили здесь, должно быть, лет пятьдесят, а то и больше. Здесь жил еще Крочани-дед в те времена, когда винная лавка была всего лишь распивочной, куда рабочие заходили выпить стаканчик. Отец нынешнего хозяина расширил торговлю, продавая вино оптом. Теперь здесь жил Адольфо Крочани младший, который, кроме вина, продавал еще виски и всякие заграничные ликеры. Это было одно из обветшалых строений старого Рима, все состоявшее из коридорчиков и маленьких комнатушек; но Крочани, молодой человек с одутловатым лицом и маленькими глазками, гордо повел нас в столовую. Вот это красота! Вся мебель новая, из полированного красного дерева, с бронзовыми ручками и тонкими ножками из белого клена. В последний раз, когда я был в этой комнате, в ней еще все сохранялось в том виде, как было прежде: дешевый стол, соломенные стулья, фотографии на стенах, швейная машина в нише у окна. Теперь всего этого уже не было. Кроме новой мебели, я заметил в комнате еще картину с изображением заката на море в большой золоченой раме, огромный радиоприемник, служивший также буфетной стойкой, фарфоровые статуэтки голых женщин, клоунов, собачек, а на накрытом столе - сервиз из самого тонкого фарфора с розовыми цветочками.

- Я купил все это на площади Аргентина, - сказал мне Крочани, показывая на обстановку комнаты. - Угадай-ка, сколько я заплатил?

Я назвал какую-то цифру, и он ее утроил, раздуваясь от тщеславного удовлетворения. Тем временем подошли и другие, и скоро все были в сборе.

Кто здесь был? Здесь был Толомеи, рослый, усатый парень, который, отведывая товар, говорил служанкам: "Пойдет?". Здесь был пекарь Де Анджелис, маленький человечек с лицом простака, но порядочный плут; мальчишкой он просил милостыню, а нынче продает

всему кварталу лапшу. Здесь был Де Сантис, торговец птицей, который и теперь остался таким же крестьянином, как в те времена, когда он приходил в Рим с корзинкой свежих яиц; у него безволосое, серое, пухлое лицо, похожее на булку, и корявая речь жителя Витербо.

Здесь были также их жены, разодетые в пух и прах, но детей они не привели, потому что, как сказал Крочани, разливая вермут, это вечеринка коммерсантов, собирающихся встретить наступающий год прежде всего как коммерческий год, в течение которого они должны заработать уйму денег. По правде сказать, здесь эти люди мне нравились еще меньше, чем на пороге своих лавок: торгуя, они прятали свое самодовольство и даже плакались покупателям, но теперь, когда клиентов не было и они готовились сесть за праздничный стол, самодовольство так и перло из них наружу.

Мы сели за стол в одиннадцать часов и сразу набросились на закуски Толомеи. Тут пошли шутки: кто спрашивал у Толомеи, действительно ли колбаса из настоящей свинины, кто вспоминал его любимые выражения, вроде: "Пойдет?". Но это были беззлобные шутки людей равных, одного круга, где все стоят друг за дружку. Вот если бы я шутя сказал, что такие закуски позволяю себе не часто, то, думаю, это их покорило бы. Поэтому я предпочитал есть молча. За пирожками все немного притихли, может, потому, что бульон был горячий и приходилось дуть на него, чтобы не обжечься. Кто-то, однако, заметил, что пирожки на сей раз с настоящей начинкой, а не полупустые, какие обычно продают покупателям, и все засмеялись. Я опять промолчал, но съел две полные тарелки бульона, чтобы согреть желудок. Наконец появились две жареные индейки, громадные, как страусы, и, глядя на них, все снова развеселились и начали приставать к торговцу птицей, спрашивая, где он раздобыл эти два чуда природы, не у знаменитого ли Де Сантиса, снабжающего птицей весь Рим. Но крестьянин не понимал шуток и ответил, что этих индеек он отобрал из сотни и собственноручно откормил у себя дома.

Я и на этот раз ничего не сказал, только заботливо выбрал огромное, как монумент, бедрышко и три куса с начинкой, а затем еще квадратный кусок, не знаю откуда вырезанный, но тоже вкусный. Я ел с таким аппетитом, что кто-то заметил:

- Посмотрите-ка, как Эджисто уплетает!.. Видно, не каждый день тебе случается есть такую индейку, а, Эджисто?

Я отвечал с полным ртом:

- Вот именно! - а про себя подумал, что хоть раз они сказали правду.

Бутылки Крочани между тем исправно ходили по кругу, лица сидевших за столом сияли, красные и блестящие, как медная кухонная посуда. Ни о чем другом, кроме еды, никто не говорил, потому что, собственно, им и не о чем больше было разговаривать. Единственный человек, который мог бы что-нибудь сказать, был я, именно потому, что, не в пример остальным, дела у меня шли плохо и я предавался грустным размышлениям, а размышления, хотя и не наполняют желудок, по крайней мере, наполняют мозг.

Когда с индейкой было покончено, подали салат, к которому никто даже не притронулся, затем сыр и фрукты; тут Крочани объявил, что наступает полночь, и, обходя стол, продемонстрировал всем бутылку шампанского, которое, как он сказал, было настоящим французским шампанским, из тех, что он продавал по три тысячи лир с лишним за бутылку. Уже собирались откупорить шампанское, но тут все закричали:

- Твоя очередь, Эджисто, покажи-ка теперь свой пирог.

Я встал, прошел в глубину комнаты, взял коробку с пирогом, вернулся, снова сел на свое место и торжественно положил коробку на стол. Я предупредил:

- Это совершенно особенный пирог, сейчас увидите. Потом открыл коробку, засунул туда руку и начал

распределять содержимое: по склянке чернил, перу, тетрадке и букварю каждому из мужчин. О женщинах, сказал я с извинениями, я не подумал.

От такого сюрприза все опешили и сидели молча; они плохо понимали, в чем дело, еще и потому, что осоловели от вина и еды. Наконец Де Анджелис сказал:

- Постой, Эджисто, что это за шутки? Мы же не дети и в школу не ходим.

Де Сантис, которого совсем развезло, спросил:

- А где же пирог?

Я поднялся и ответил:

- Это ведь пикник, не правда ли? Каждый приносит тот товар, который есть у него в лавке, не так ли? Вот я и принес вам то, что у меня было: чернила, перья, тетради, буквари.

- Да ты что? - выпалил Толомеи. - Дурак или прикидываешься?

- Нет, - ответил я. - Я не дурак, а торговец писчебумажными товарами. Ты принес закуски, которые мне приходится покупать у тебя круглый год. А я принес то, что у меня имеется и что тебе никогда и в голову не придет купить.

Де Анджелис сказал примирительно:

- Хватит, садитесь, не будем портить себе кровь.

Его послушались. Подали всякие сласти, бутылки были откупорены, и все снова стали пить.

Но я заметил, что никто не хочет выпить за мое здоровье. Тогда я поднялся с бокалом в руке и сказал:

- Раз вы не хотите пить за мое здоровье, я сам произнесу тост. Желаю, чтобы вы в этом году немножко больше читали, даже если бы на худой конец вам пришлось немножко меньше продавать.

Тут раздался хор протестов, а потом Крочани, выпивший больше других, крикнул, рассвирепев:

- Заткнись, ублюдок! Типун тебе на язык! Продавай свои книги кому хочешь, а сюда нечего ходить надоедать нам, не то смотри! Убирайся-ка лучше восвояси, и так уж сколько сожрал.

- Значит, - ответил я, - ты не хочешь выпить за процветание книготорговли?

- Заткнись, шут гороховый! Дурак, невежа, нахал!

Теперь все принялись меня оскорблять. Я в долгу не оставался и не терял присутствия духа, а жена дергала меня за рукав. Больше всех был зол хозяин дома. Он требовал, чтобы мы ушли.

В общем, не знаю, как я очутился на улице; я весь дрожал от холода, а жена плакала и повторяла:

- Видишь, что ты наделал. Теперь мы нажили себе врагов, и этот год будет еще тяжелее прошлого.

Так, препираясь между собой, окруженные сверкающими праздничными огнями и летевшими из окон осколками бутылок, мы вернулись домой.

Родимое пятно

Мне очень неприятно, что я огорчил сестру, но все равно рано или поздно я бы обязательно поссорился с моим зятем Раймондо. И это не моя вина. А дело было вот как. В первый жаркий день, поутру, свернув в узелок купальный костюм и полотенце и привязав все это к седлу велосипеда, я взвалил велосипед на спину и направился к лестнице, надеясь улизнуть незаметно, чтобы поехать на пляж в Остию. Но вот что значит не везет! Кого, вы думаете, я встречаю у самой двери? Раймондо, собственной персоной! Из всех живущих в нашем доме я встречаю именно его. Он, конечно, сразу же заметил мой узелок и спрашивает:

- Ты куда это собрался?

- В Остию, купаться.

- А работа?

- Да какая работа?

- Не валяй дурака... В Остию поедешь в понедельник... а сейчас идем в парикмахерскую.

В общем, что тут говорить? Раймондо большой, здоровенный парень, а я маленький и худенький. Он, конечно, отнял у меня велосипед, запер его в чулан, а потом взял меня за руку и толкнул к лестнице со словами:

- Пойдем, уже поздно.

- Ну, знаешь, - сказал я, - у нас столько работы, что времени нам все равно хватит!

На сей раз он ничего не ответил, но по его лицу я понял, что задел его за живое. Эту парикмахерскую он открыл на деньги моей бедняжки-сестры; дела шли неважно, вернее сказать - из рук вон плохо. Работников было двое - он и я, а клиенты к нам заглядывали так часто, что ничего не изменилось бы, если бы мы оба отправились гулять, оставив в парикмахерской одного мальчишку Паолино стеречь бритвы и кисточки, а то не хватало только, чтоб нас еще обокрали!

Мы молча шли по улице; солнце уже здорово припекало. Парикмахерская находилась недалеко от нашего дома, в самом сердце старого Рима, на виа дель Семинарио - и то, что парикмахерскую открыли именно там, было главной ошибкой, потому что на этой улице по целым дням ни одной живой души не видно - тут кругом одни конторы и живет все сплошь бедный люд. Когда мы пришли, Раймондо поднял железную штору, потом снял пиджак и надел халат, я тоже переоделся. Тут появился Паолино, и Раймондо сразу же сунул ему в руки щетку и велел подмести хорошенько, до блеска, потому что, пояснил он, поддерживать чистоту - это дело первой важности для модной парикмахерской. Ну уж, сказал тоже! Мети, не мети, все равно не поможет, не все то золото, что блестит, знаете.

Ведь дела-то у нас шли плохо не только из-за этой улицы, а еще и потому, что заведение наше было совсем плохонькое: комнатка маленькая, панели на стенах грубо размалеваны под мрамор, кресла, стулья и деревянные полки выкрашены какой-то синькой, фаянсовые раковины, купленные по дешевке в другой парикмахерской, которая закрылась, пожелтели и потрескались, а полотенца и салфетки шила и вышивала сама сестра - за целый километр видно, что домашнее производство! Ну, значит, Паолино подмел пол - тоже, кстати, довольно безобразный, потому что кафельные плитки стерлись и стали совсем серыми, - а Раймондо тем временем, удобно расположившись в кресле, курил свою первую сигарету. Когда на полу не осталось ни одной пылинки, Раймондо с королевской важностью протянул Паолино двадцать пять лир и велел пойти купить газету, а когда тот вернулся, Раймондо углубился в чтение спортивных новостей. Так началось утро: Раймондо, развалившись в кресле, читал и курил, Паолино, присев на корточки на пороге, развлекался тем, что таскал за хвост кота, а я, сидя на приступочке у двери, бессмысленно глядел на улицу. Как я уже сказал, на эту улицу редко кто заглядывал: за час прошло мимо человек десять, а то и меньше, и почти всё женщины, возвращавшиеся с базара со своими корзинками. Наконец солнце перестало гулять по соседним крышам и залило своим светом и нашу улицу; я вошел в помещение и тоже решил сесть в кресло.

Прошло еще полчаса, клиенты все не показывались. Вдруг Раймондо бросил газету, потянулся, зевнул и сказал:

- Послушай, Серафино... раз уж клиенты что-то не идут, давай по крайней мере поупражняйся пока: побрей-ка меня.

Он уже не первый раз заставлял меня побрить его, но сегодня это меня особенно обозлило, потому что ведь он помешал мне поехать купаться. Не сказав ни слова, я схватил полотенце и нарочно несколько раз встряхнул перед самым его носом. Другой бы понял, но он ничего не понял. Он нахально нагнулся вперед, к зеркалу, и принялся рассматривать свой подбородок и щупать щеки.

Паолино проворно подставил мне чашку, я развел мыло и затем, вертя кисточкой с такой силой и быстротой, как будто взбивал гоголь-моголь, намылил Раймондо все лицо до самых глаз. Я так яростно махал взад-вперед кисточкой, что скоро на щеках Раймондо образовалось два огромных шара из мыльной пены. Потом я схватил бритву и начал водить ею снизу вверх резкими толчками словно хотел зарезать своего клиента. На этот раз Раймондо испугался и сказал:

- Потихе, потихе... Что это с тобой?

Я не ответил и, запрокинув ему голову назад, одним взмахом бритвы прошелся от кадыка до ямочки на подбородке. Он не пикнул, но я чувствовал, что он дрожит. Потом я таким же манером махнул в обратном направлении, против шерсти, а потом он наклонился

над раковиной и сполоснул лицо, а я вытер его несколькими бодрыми ударами полотенцем, которые, по-моему, сильно смахивали на оплеухи, и затем по его просьбе густо-густо попудрил тальком. Я думал, это все; но он, представьте, потянулся и сказал:

- Теперь стриги.

Я запротестовал:

- Да ведь я тебя только позавчера стриг.

А он спокойно ответил:

- Стриг, это верно... но шея наверняка уже заросла... Волосы-то растут, знаешь!

Я и на этот раз проглотил обиду и, слегка встряхнув полотенце, снова подвязал ему подбородком. Волосы у Раймондо, признаться, роскошные густые, черные и блестящие; растут они у него низко на лбу, и он их аккуратно расчесывает и укладывает крупными волнами до самого затылка. Но сегодня эти красивые волосы были мне как-то удивительно противны, мне казалось, что в них выражается весь хвастливый и заносчивый характер этого нахала Раймондо. Он предостерег меня:

- Поосторожнее... только подровняй, не обкорнай смотри.

И я ответил сквозь зубы:

- Будь спокоен.

Пока я подрезал ему эти волоски на шее, которых и видно-то почти не было, я думал про пляж в Остии и с трудом подавлял в себе желание поглубже запустить ножницы в эту блестящую черную массу да отхватить клочок побольше я не сделал этого только из любви к сестре. Раймондо тем временем снова взял со стола газету и наслаждался поскрипыванием моих ножниц, словно это было пение канарейки! Иногда он бросал беглый взгляд на свое отражение в зеркале и один раз даже сказал:

- Знаешь, из тебя, пожалуй, выйдет превосходный парикмахер.

"А из тебя превосходный дармоед", - хотел я ему ответить, но смолчал. В общем, я подровнял ему волосы; потом взял маленькое зеркальце и, держа за его затылком, чтобы он мог увидеть мою работу в большое зеркало, спросил вкрадчиво:

- Может, помоем голову?.. Или освежим одеколоном? Я шутил; но он, упрямо продолжая сидеть в кресле, отвечал:

- Освежим одеколоном.

Тут уж я не мог удержаться и воскликнул:

- Но, Раймондо, у нас ведь всего шесть флаконов, а ты хочешь извести один из них на себя?

Он пожал плечами:

- Не суйся, пожалуйста, в чужие дела... одеколон ведь куплен не на твои деньги.

Я чуть не ответил: "Да уж скорее на мои, чем на твои", но снова решил смолчать, опять-таки из любви к сестре, которая души не чаяла в своем муже; ну что ж, я подчинился. Раймондо, наглец, захотел сам выбрать одеколон и остановился на фиалке; он велел мне смочить ему хорошенько голову и массировать снизу вверх кончиками пальцев. Пока я занимался этим массажем, я все время украдкой взглядывал на дверь - авось, думаю, подойдет хоть какой-нибудь клиент и прекратит эту комедию; но, как всегда, никакой клиент не подошел. После одеколona Раймондо еще брильянтину потребовал, да не какого-нибудь, а самого лучшего, из французского флакончика. Под конец он взял у меня из рук расческу и стал сам причесываться, да так старательно прямо волосок к волоску укладывал.

- Вот теперь я действительно прекрасно себя чувствую, - сказал он, вставая с кресла.

Я взглянул на часы: почти час. Я сказал:

- Раймондо... я тебя побрил, постриг, освежил одеколоном... Отпусти меня теперь купаться... пока еще солнышко...

Но он, снимая халат, заявил:

- Я сейчас пойду домой обедать... Если и ты уйдешь, то кто же останется в парикмахерской?.. Я ж тебе обещал: в понедельник поедешь в Остию.

Он надел пиджак, помахал мне на прощанье рукой и ушел, уведя с собой Паолино,



который должен был принести мне завтрак из дому.

Оставшись один, я хотел было переломать все стулья, разбить зеркала и выбросить на улицу кисточки и бритвы. Но потом подумал, что все эти вещи принадлежат в сущности моей сестре, а значит, и мне, и, подавив свой гнев и досаду, уселся поудобнее в кресло и стал ждать. На улице не было ни души; солнце слепило глаза, мостовая пылала, как печка, в парикмахерской тоже было жарко, и кругом во всех зеркалах отражался один только я, причем физиономия у меня была очень хмурая, и, уж не знаю, то ли от голода, то ли из-за зеркал этих, но у меня почему-то начала кружиться голова. Наконец, слава богу, пришел Паолино и принес мне завтрак на тарелочке, завязанной в салфетку; я отпустил мальчишку домой и ушел есть в заднюю комнату маленькую каморку за занавеской. Я сел и развязал салфетку. Сейчас, думал я, моя сестра, наверно, подает Раймондо всякие вкусные блюда, и он еще привередничает, а мне прислали только холодные макароны с сыром, батончик хлеба да бутылочку вина. Я принялся жевать, очень медленно, скорее чтобы убить время, чем чтоб утолить голод, и, жуя, все думал о том, что Раймондо нашел себе неплохую кормушку и что было просто преступлением отдать за него сестру. Только я закончил еду, как из-за двери послышался голос, заставивший меня вздрогнуть:

- Можно?

Я поспешил выйти из задней комнаты.

Я не ошибся, это была Сантина, дочь привратника из дома напротив. Брюнеточка, маленькая, но ладно сложенная, с круглым личиком и озорными черными глазами. Она часто заглядывала к нам в парикмахерскую под каким-нибудь предлогом, и я по наивности думал, что это она из-за меня ходит. Сейчас ее посещение доставило мне большое удовольствие; я предложил ей присесть, и она сразу же уселась в кресло; она была такая маленькая, что ноги у нее не доставали до пола. Мы стали болтать, и для начала я заметил, что в такой день, как сегодня, на пляже, верно, чудесно. Она вздохнула и ответила, что охотно пошла бы купаться, но, к сожалению, должна идти вешать белье на террасе. Я предложил:

- Хотите, я пойду с вами, помогу вам? А она:

- На террасу?.. Да что вы, разве можно!.. Мать увидит - заругает.

Она все оглядывалась вокруг, ища, о чем бы еще поговорить, и под конец спросила:

- У вас не много клиентов, да?

- Не много? Ни одного!..

Она сказала:

- Вам бы надо открыть дамскую парикмахерскую... Мы бы с подружками ходили к вам делать перманент.

Чтобы доставить ей удовольствие, я сказал:

- Перманент я вам, конечно, не могу сделать... но освежить лицо и волосы - это можно.

Она кокетливо вздернула голову:

- Ну да? А какие у вас духи? - Хорошие.

Я взял флакон с пульверизатором и начал в шутку опрыскивать ее куда попало, а она отбивалась и кричала, что я выжгу ей глаза. В эту минуту на пороге показался Раймондо. Он проговорил строго:

- Развлекаетесь? Прекрасно, - и, не взглянув на нас, вошел в комнату.

Сангина встала со стула, пробормотав какое-то извинение; я поставил флакон на место. Раймондо сказал:

- Ты ведь знаешь, что я не люблю, когда к нам в парикмахерскую заходят женщины... К тому же пульверизатор у нас только для клиентов.

Сантина сделала недовольную гримаску:

- Синьор Раймондо, я не знала, что вы такой злой, - и ушла, не очень, впрочем, торопясь.

Я заметил, как Раймондо посмотрел ей вслед долгим, таким глубоким взглядом, и это пришлось мне очень не по нутру, так как я понял, что Сантина нравится ему, и вдруг, по тому, как она ответила на этот взгляд, мне стало ясно, что и он ей тоже нравится. Я сказал

сердито:

- На себя, небось, фиалку льешь, а для девушки несколько капелек одеколона пожалел. Она хоть развлекла меня немножко, пока я тут подыхал со скуки. К себе ты, видно, подходишь с одной меркой, а к людям с другой.

Раймондо ничего не ответил и ушел в заднюю комнату снять пиджак. Так началась вторая половина дня.

Прошло часа два в полной тишине. Солнце сильно припекало. Раймондо вначале соснул часок, откинув назад голову и открыв рот, и при этом храпел со страшной силой, даже весь побагровел. Потом это свинское хрюканье внезапно смолкло, Раймондо проснулся и битых полчаса развлекался тем, что подстригал себе волосы в носу и в ушах; в конце концов, не зная, что бы еще такое придумать, он предложил побрить меня. Когда он брил меня, я огорчился еще больше, чем когда я брил его. В самом деле, если я, мастер, побрею его - это еще куда ни шло; но чтобы он, хозяин парикмахерской, брил меня - это уж, простите, означало, что мы с ним просто два неудачника и ни одна собака в нас не нуждается. Однако, так как я тоже не знал, куда деваться от скуки, я согласился. Он уже побрил мне одну щеку и принялся было за другую, когда с улицы, представьте, снова послышался голос Сантины:

- Можно?

Мы обернулись - я с одной намыленной щекой, Раймондо с поднятой в воздух бритвой; Сантина, с этакой кокетливой улыбочкой поставив одну ножку на порог и подпирая бедром большую корзину, полную мокрого белья, смотрела на нас. Она сказала:

- Простите, я так подумала, что у вас, верно, в эту пору клиентов нет, так, может, думаю, синьор Раймондо согласится помочь мне отнести эту корзину белья на террасу... Ведь синьор Раймондо такой сильный... Простите, если побеспокоила.

И что ж вы думаете делает Раймондо? Кладет бритву, говорит мне:

- Серафино, вторую щеку ты уж сам побрей, - быстро сбрасывает халат и... шасть на улицу вместе с Сангиной.

Я и опомниться не успел, как они уже исчезли в воротах дома напротив, смеясь и перебрасываясь шуточками.

Тогда я не спеша, поскольку знал, что времени у меня будет вполне достаточно, кончил бриться, умылся, вытерся, а потом приказал Паолино:

- Иди домой, скажи моей сестре Джузеппине, чтобы она сейчас же пришла сюда... Беги бегом.

Вскоре пришла Джузеппина, испуганная, совсем запыхавшись. Когда я увидел ее, бедняжку, такую нескладную, кривобокою, с этим багровым родимым пятном на щеке, без которого бы верно не было нашей парикмахерской, открытой на ее деньги, - мне стало ее так жалко, что я решил было ничего ей не говорить. Но, во-первых, было уже слишком поздно, а во-вторых, я все-таки хотел отомстить Раймондо. И я сказал сестре:

- Ты не пугайся, ничего такого не случилось... Только Раймондо вот пошел в дом напротив, помогать дочке привратника вешать белье на террасе.

Она сказала:

- Бедная я, бедная... Ну, сейчас я ему покажу! - и сразу же пошла через улицу к воротам дома напротив.

Я снял халат, надел пиджак и опустил железную штору. Но прежде чем уйти, я повесил на дверь табличку, которую мы случайно прихватили вместе с умывальниками из другой парикмахерской; на ней было напечатано: "Закрывается по случаю семейного траура".

Хулиган поневоле

Я ударил его ножом произвольно, можно сказать - нечаянно. Джино увернулся, а я, не помня себя от страха, удрал домой. Там меня и арестовали. Но когда через несколько месяцев я вышел из тюрьмы, то заметил, что все смотрят на меня с восхищением, особенно в баре на виа Сан-Франческо а Рипа, где собираются тибрские лодочники. Прежде никто не обращал на меня внимания, а теперь передо мной прямо-таки распластывались. Парни

наперебой набивались мне в друзья, угощали вином, заставляли рассказывать, как все случилось, расспрашивали, по-прежнему ли я зол на Джино или уже простил его. В конце концов я возгордился и сам поверил в то, что я отчаянный хулиган, из тех, кому все нипочем и кто за здорово живешь любому набьет морду. И когда мои новые дружки из бара шепнули мне, что в мое отсутствие Серафино завел шашни с Сестилией, я увидел, что все смотрят на меня, словно спрашивая: "Что теперь будет?" Не подумав, я брякнул:

- Известно, когда кошки дома нет, у мышей праздник. Но теперь я наведу порядок.

И только тогда сообразил, что взял на себя обязательство, выполнить которое не смогу. Я сказал: обязательство, выполнить которое не смогу. Объясню почему. Во-первых, Серафино был раза в два выше и толще меня; правда, он не казался слишком уж смелым парнем - он был весь какой-то дряблый, как мешок с тряпьем; бедра у него были очень широкие, плечи покатые, а на гладком бабьем лице не пробивалось ни единого волоска; но все же это был здоровенный парень, и я побаивался его. А во-вторых, я не так уж страстно любил Сестилию, во всяком случае не настолько, чтобы пойти из-за нее на каторгу. Она нравилась мне, это верно, но в меру. По правде говоря, я спокойно мог бы уступить ее Серафино. Просто-напросто я расхвастался. Я видел, что все меня теперь считают отчаянным хулиганом, и у меня не хватало духа заставить приятелей разочароваться во мне. И действительно, едва я заявил, что "наведу порядок", как все они поспешили ко мне со своими советами, предлагали свою помощь. Вскоре мы разработали план действий. Надо сказать, что Серафино давно должен был бы жениться на гладильщице Джулии. Было решено, что Серафино, Джулия, Сестилия, я и ребята из бара соберемся в остерии у ворот Сан-Панкратио и отпразднуем мое освобождение. Там, выбрав удобный момент, я брошусь с ножом на Серафино и потребую, чтобы он оставил в покое Сестилию и женился как можно скорее на Джулии. Кажется, вся эта идея принадлежала брату Джулии, он кипятился больше всех. Но и все остальные, кто в большей, кто в меньшей степени, тоже имели зуб на Серафино, потому что, как они заявляли, он вел себя не по-товарищески.

Если бы мне предложили что-нибудь подобное шесть месяцев назад, я ответил бы: "Вы с ума сошли... Как это я могу припугнуть Серафино?.. И зачем? Из-за Сестилии?" Но теперь я стал совсем другим человеком. Я был отчаянным хулиганом, я был влюблен в Сестилию - отступить было невозможно. Я напыжился и, расправляя плечи, сказал:

- Предоставьте действовать мне...

Я сказал это так решительно, что какой-то более благоразумный парень счел нужным предостеречь меня:

- Но ты, того, не зарывайся. Ты должен лишь припугнуть его... И смотри не зарежь его до смерти,

- Предоставьте действовать мне, - повторил я.

В назначенный вечер мы отправились в остерию у ворот Сан-Панкратио: Серафино, Джулия, Сестилия, Маурицио по прозвищу "дядя", брат Джулии Федерико, два брата Помпеи, Террибили, который принес с собой аккордеон, и я. План наш был всем известен: ребятам из бара потому, что мы вместе его разработали, Джулии и Сестилии потому, что их заранее предупредили. Даже Серафино, по-видимому, что-то подозревал. Он шел с нами очень неохотно и всю дорогу молчал. Сестилия и я ни разу не взглянули друг на друга. Мы держались холодно, как чужие. Но преисполненная радужных надежд, Джулия все время прижималась к Серафино. Она не переставая смеялась, как лошадь, обнажая десны. Остальные болтали и шутили, правда, немного принужденно, потому что в воздухе пахло грозой. Я же ужасно трусил. Время от времени я посматривал на Сестилию, надеясь, что вспыхнувшая ревность сделает меня храбрее. И не то чтобы она мне не нравилась, нет, у нее стройная фигурка, царственная походка, черные, обрамлявшие лицо локоны, большие темные глаза, злой рот. Она нравилась мне, но идти из-за нее на каторгу - это совсем другое дело. Я готов был крикнуть Серафино: "Забирай ее, если хочешь, и покончим с этим". Но это говорил во мне прежний Луиджи, Луиджи до ссоры с Джино. А новому Луиджи надо было схватиться за нож и отомстить.

Остерия находилась в начале виа Аурелиа, как раз против стены. Мы сели за столик на террасе и заказали вина и кренделей. Ребята из бара, подвыпив, начали шумно веселиться. Они болтали, пили, кидались кренделями, пели. Террибили заиграл на аккордеоне. Так как обе девушки не захотели танцевать, ребята стали отплясывать самбу друг с другом. Если бы я не трусил, мне тоже, наверное, было бы весело. Стоило только посмотреть, как они плясали один изображал даму, при этом он вихлял бедрами и делал всякие ужимки, а другой, тот, кто изображал кавалера, хватал партнера за талию, приподнимал, кружил в воздухе, а потом швырял на землю. Все хохотали до упаду. Не смеялись только Серафино и я.

Серафино снял пиджак и остался в белой рубашке с короткими рукавами. Я увидел, что руки у него смуглые и пухлые, как у женщины, и подумал, что одного удара такой ручищи достаточно, чтобы уложить меня на месте. При одной мысли об этом у меня тоскливо засосало под ложечкой, и, обозлившись, я шепнул Сестилии:

- Мы еще поговорим с тобой, ведьма!

Она пожала плечами и ничего не ответила.

Время шло, и ребята из бара стали делать мне знаки, то пора начинать. Как будто это было так просто! Надо было припугнуть Серафино, да так, чтоб он больше не рыпался. На словах это, конечно, легко. Тому, кто привык видеть, как герои фильмов нокаутируют и стреляют друг в друга из револьверов, не причиняя при этом никакого вреда, может показаться, что припугнуть кого-нибудь - самое пустячное дело. Но это совсем не так. Чтобы испугать человека, надо заставить его поверить, что ты действительно хочешь его убить. А если ты не собираешься его убивать, как это было со мной, а хочешь только припугнуть, то это очень трудно. По счастью, все знали о моей драке с Джино; тогда это вышло нечаянно, а теперь я к этому сознательно подготовился. Я смотрел на Сестилию, и мне хотелось, чтобы она пококотничала с Серафино - это подзадорило бы меня. Но она скромно молчала и казалась обиженной. Джулия, напротив, прямо вешалась Серафино на шею и, обнажая десны, хохотала по каждому пустяку.

Наконец, когда умолк аккордеон, я не раздумывая - возможно, именно потому, что слишком долго раздумывал перед этим - наклонился над столом и сказал Серафино:

- Послушай, в чем дело?.. Тебя пригласили отпраздновать мое освобождение, а ты не пьешь, молчишь все... Тебя огорчает, что я не за решеткой?

- Ну что ты, Луиджи, - ответил Серафино, - о чем ты говоришь? Просто у меня немного болит живот. Вот и все.

- Нет, - настаивал я, - тебе это не по душе... Пока меня не было, ты увивался за Сестилией, и теперь ты недоволен, что я вернулся... Вот в чем дело!

Я повысил голос, но про себя думал: "Пока еще я только разбегаюсь, но мне нужно взлететь, как взлетает самолет, набирающий высоту... Если я не взлечу, все пропало".

Все сразу замолкли и с удовольствием смотрели, как я наседаю на Серафино. Я заметил, что гладкая, безбородая рожа Серафино даже не побледнела, а как-то посерела. Тогда я еще больше перегнулся через стол, схватил его за рубашку и свирепо сказал:

- Оставь Сестилию в покое, понял? Оставь ее в покое, потому что мы с ней любим друг друга.

Серафино взглянул на Сестилию, словно ожидая, что она опровергнет меня. Но эта ведьма только сокрушенно потупила глаза. А Джулия схватила Серафино за рукав со словами:

- Идем, Серафино... Пошли отсюда.

Бедняжка старалась извлечь выгоду из создавшегося положения и пустить воду на свою мельницу.

Пробормотав что-то невнятное, Серафино поднялся и сказал:

- Я ухожу... Я не желаю, чтобы меня оскорбляли.

Джулия тоже вскочила и радостно воскликнула:

- Я тоже иду!

Но Серафино остановил ее:

- Оставайся... Ты мне не нужна.

Он взял пиджак и пошел к выходу.

Парни смотрели на меня, ожидая, что я теперь сделаю. А брат Джулии сказал:

- Он уходит, Луиджи... Чего ты ждешь?

Я поднял руку, словно говоря: "Спокойно", и подождал, пока Серафино выйдет из остерии. Потом бросился следом за ним. Я догнал его на бульваре делле Муре Аурелие. Он шел один по темной улице - огромный, высокий. Мне опять стало страшно. Но раз уж я решил! Я подошел к нему, схватил его за руку и, переводя дух, сказал:

- погоди, мне надо с тобой поговорить...

Я почувствовал, что рука у него толстая, но дряблая и словно без мускулов. Он поупирался, но дал затащить себя в темную нишу в стене. Ой, мамочка моя, помоги! Мне было по-настоящему страшно. Но я все-таки прижал его к стене и, замахнувшись ножом, заявил:

- Сейчас я тебя зарежу.

Если бы в эту минуту он схватил меня за руку, я моментально был бы обезоружен. Я твердо решил, что скорее дам себя обезоружить, чем совершу какую-нибудь глупость. Но я вдруг почувствовал, что Серафино сползает вдоль стены.

- Мамочка моя... - пролепетал он, как идиот.

Это были те самые слова, которыми я только что пытался подбодрить себя. Он смотрел на меня растерянно, и я понял, что одержал над ним верх.

Я опустил нож и сказал:

- Ты знаешь, что я сделал с Джино?

- Да.

- Ты знаешь, что я могу сделать то же самое с тобой и уже без шуток?

- Да.

- Тогда оставь в покое Сестилию.

- Но я с ней даже не вижусь, - сказал он, несколько приободрившись.

- Это еще не все, - заявил я. - Ты должен в ближайшее время узаконить свои отношения с Джулией... Понял?

Я снова замахнулся на него ножом.

- Я сделаю это, Луиджи, - ответил он, дрожа всем телом, - только отпусти меня.

- Помни, - повторил я, - если ты не женишься на Джулии, я тебя убью. Не сегодня, так завтра, но убью.

- Я женюсь на Джулии, - обещал он.

- А теперь позови ее, - приказал я.

Он сложил руки рупором и закричал:

- Джулия! Джулия!

Бедняжка примчалась со всех ног.

- Серафино хочет поговорить с тобой, - сказал я. - Ну идите... А я вернусь в остерию.

Они ушли вместе, я посмотрел им вслед и затем вернулся на террасу.

Я был весь в поту и едва стоял на ногах - совсем как Серафино, когда я замахнулся на него ножом. Но ребята встретили меня аплодисментами:

- Да здравствует чемпион!

Террибили заиграл на аккордеоне самбу, ребята опять стали паясничать, а Сестилия тихо сказала мне:

- Потанцуем, Луиджи.

Мы пошли танцевать, и она шепнула мне:

- Ты вправду поверил, что я тебя больше не люблю?

Я сделал круг пошуре, отвел ее в темный угол и там поцеловал. Так мы помирились.

На следующий день я подумал, что Серафино, наверно, уже забыл о своем страхе. Но войдя в бар, я увидел, что он смотрит на меня с ужасом.

Он предложил мне выпить и сказал:

- Давай помиримся, а? - А потом принялся рассказывать о себе и о Джулии и всякими намеками давал мне понять, что они решили пожениться. Я почти не верил своим ушам: Серафино женится, испугавшись меня! Мне хотелось сказать ему: "Опомнись, будь посмелее, или ты не видишь, что мы сделаны из одного теста?" Но я не мог этого сказать: я был хулиган, из тех, кто носит в кармане нож и может любому набить морду. Серафино верил в это так же, как и все прочие.

И они поженились, и меня пригласили на свадьбу, а брат Джулии сказал, что это целиком моя заслуга. Потом настал мой черед жениться. Всю эту историю я затеял из-за Сестилии и теперь должен был доказать, что это действительно так. Мне совсем не хотелось жениться на Сестилии, хотя бы уже потому, что в мое отсутствие она строила глазки Серафино. Но мне некуда было податься. Когда мы поженились, к нам зашел Серафино с Джулией, которая уже ждала ребенка. Бедняга обнял меня и сказал:

- Молодец, Луиджи.

"Молодец, - подумал я, - черта с два!"

Но ножа я больше с собой не ношу.

Транжира

Все наши размолвки с женой происходили из-за денег.

Я держал лавку, где продавались плиты и другие обогревательные приборы, а также всевозможное электрическое оборудование. Лавка эта находилась далеко не в таком аристократическом районе, как Сан-Джованни, и поэтому у меня никогда не было твердой уверенности в своем заработке.

Бывали, правда, счастливые дни, когда я продавал плиту за сорок тысяч лир, но случались и такие, когда, кроме какой-нибудь лампочки за триста лир, мне ничего не удавалось продать. Но Валентина не хотела понимать этого. Она считала, что я просто скуп. Между тем вся моя скупость выражалась только в том, что я старался жить по средствам, аккуратно записывал приход и расход, а если мне ничего не удавалось выручить, я так ей об этом и говорил. Тогда она кричала мне:

- Скряга... я вышла замуж за скрягу!

Я отвечал:

- Почему ты называешь меня скрягой? Ты ведь не знаешь, как идут мои дела... Почему ты никогда не зайдешь в лавку или в банк? Ты бы смогла там увидеть своими собственными глазами, что я продаю и что мне не удается продать. Ты бы увидела, что мой счет в банке тает с каждым днем...

Но она говорила, что и не подумает идти в лавку, потому что она не торговка, а дочь государственного служащего. А в банке ей делать нечего, потому что в этих делах она ничего не смыслит, и вообще лучше бы я оставил ее в покое. А потом уже более мирным тоном добавляла:

- Видишь ли, Аугусто, может быть, ты действительно тратишь все, что получаешь, и действительно влезаешь в долги... И тем не менее... ты скуп... Ведь скряга не тот, кто ничего не тратит, а тот, кому неприятно тратить.

- А откуда ты взяла, что мне неприятно тратить?

- У тебя всегда бывает такое лицо, когда ты достаешь деньги...

- Какое же лицо?

- Лицо скряги.

Я в то время был влюблен в свою жену: кругленькая, бело-розовая, свежая, аппетитная, Валентина была вершиной всех моих желаний. Мне и в голову не приходило осуждать ее за то, что она целыми днями бездельничает курит американские сигареты, читает комиксы да ходит в кино со своими подругами. Я так любил Валентину, что во всех случаях жизни старался оправдать ее и во всем обвинял себя. Что и говорить, жадность отвратительный недостаток, а Валентина так часто упрекала меня в скупости, что в конце концов я и сам поверил этому и стал считать себя скрягой. И теперь я уже не обрывал ее словами:

- Ну, хватит о жадности... Жадный я или нет, но во всяком случае я знаю, сколько денег

мы имеем право тратить.

Нет, достаточно было ей только произнести: "Вот скряга"! - как я, совершенно запуганный, тотчас же выкладывал деньги и платил, не говоря ни слова. Она уже знала мою слабость и не оставляла меня в покое.

- Аугусто, как мне хочется иметь приемник... У всех есть приемники.

- Но, Валентина, он так дорого стоит.

- Ну, не жадничай, неужели, когда у тебя столько денег в банке, ты мне откажешь?

- Ну хорошо, купим приемник.

Или же она говорила:

- Аугусто, я видела такие чудесные туфли... Ты дашь мне денег?

- Ты же совсем недавно купила себе новую пару.

- Но то были сандалеты... Ну, не скупись!

- Хорошо, вот деньги.

В общем, она нашла верное средство заставить меня молча выкладывать деньги. И безошибочно пользовалась им. Я давал деньги еще и потому, что надеялся: рано или поздно она поймет, что я вовсе не скупой, и оценит мою щедрость. Но это была лишь иллюзия, которая очень скоро рассеялась. На деле, чем больше я тратил, тем более скупым она меня считала. Может быть, она понимала, что я трачу так много из чувства гордости, только для того, чтобы изменить ее мнение о себе, сломить то упорство, с которым она продолжала считать меня скрягой. Но из упрямства она не хотела уступить. А может быть, виною всему была просто ее глупость: она, по всей вероятности, вообразила, что я, как настоящий скупец, прячу от нее невесть какие богатства и преуменьшаю свои доходы.

Впрочем, утверждая, что мне не нравится тратить деньги, она была права. Мне не нравилось это потому, что я слишком хорошо знал, сколько у нас было денег, а также и то, что если мы будем и дальше жить с таким же размахом, то скоро у нас ничего не останется.

Когда я женился, у меня была хорошо поставленная торговля и счет в банке почти на миллион лир. Теперь, несмотря на все мои старания, я не только не мог ничего положить в банк, так как всю выручку нес домой, но мне даже не удавалось сохранить свои сбережения - они таяли из месяца в месяц. Сначала у меня оставалось на книжке девятьсот тысяч лир, потом восемьсот, потом семьсот и наконец шестьсот. Было ясно, что мы тратим больше, чем я зарабатываю, и что если так будет продолжаться, то самое меньшее через год наш счет в банке будет исчерпан. Я дал себе слово остановиться хотя бы на сумме в пятьсот тысяч лир и решил сказать об этом Валентине. Признаться, я с тревогой ждал этого момента. Я прекрасно понимал, что, если не сумею в этот день устоять, я пропал. Но время шло, а счет уменьшался. Шестьсот тысяч лир, потом пятьсот пятьдесят и наконец пятьсот двадцать пять тысяч.

И вот утром я получил в банке двадцать пять тысяч лир, вернулся домой и сказал Валентине:

- Смотри, вот двадцать пять тысяч лир.

- Зачем мне на них смотреть? Ты хочешь сделать мне подарок? - спросила она.

- Нет, я не собираюсь делать тебе подарок...

- Еще бы... Подарок от тебя!.. Это было бы слишком шикарно!

- Подожди... Ты все-таки должна посмотреть на эти деньги, потому что они последние.

- Я тебе не верю.

- Однако это так.

- Ты хочешь сказать, что у тебя не осталось больше денег в банке?

- Нет, кое-что еще есть, но это совсем незначительная сумма, необходимая для моих коммерческих дел. Если мы истратим и эти деньги, мне придется закрывать лавку.

- Ну вот видишь, деньги у тебя есть. Зачем же понапрасну заставлять меня волноваться? Оставь меня в покое... и не доводи до того, чтобы я снова назвала тебя скрягой.

Я старался держаться спокойно. Но упоминание о моей скупости привело меня в бешенство:

- Я совсем не скряга... Мы тратим гораздо больше, чем я зарабатываю... вот в чем дело... Почему ты никогда не зайдешь в лавку, не поинтересуешься нашим счетом в банке?

- Отстань ты от меня со своим банком и лавкой, делай все, что тебе захочется. Если тебе доставляет удовольствие скаречничать, - становись настоящим скрягой, только оставь меня в покое.

- Идиотка!

Я обругал ее в первый раз за нашу супружескую жизнь. Может быть, вам случалось когда-нибудь видеть, как вспыхивает керосин, когда к нему подносят горящую спичку? Вот так же вспыхнула и моя Валентина, всегда такая спокойная и даже флегматичная. Она начала меня ругать, и чем больше она меня ругала, тем больше находила новых бранных слов, одно ругательство влекло за собой другое, они цеплялись друг за друга, как сорванные вишни. Видно, все что Валентина сейчас изливала, она затаила против меня давным-давно. Это была не простая, грубая мужская брань, когда говорится что-нибудь вроде "мерзавец, подлец, негодяй", брань, которая в общем никого глубоко не обижает. Нет, это были женские, изощренные оскорбления, оскорбления, которые вонзались в тебя, словно иголки, и оставались внутри, долго еще давая себя чувствовать при малейшем движении. Оскорбления затрагивали и мою семью, и мою профессию, и мою внешность. Это была не брань в полном смысле слова, а ядовитые, льющиеся неудержимым потоком, полные злобы слова. Оказывается, я совсем не знал Валентины, и, если бы мне не было так больно от ее слов, я, вероятно, очень удивился бы.

Наконец она успокоилась, а я не то от перенесенного унижения, не то просто от усталости - сцена длилась довольно долго - опустился на пол и, уткнувшись лицом в ее колени, расплакался, как ребенок. И хотя я рыдал и просил у нее прощенья, но я чувствовал, что это конец, что любовь моя к ней прошла. И от сознания этого мне становилось еще тяжелее, и я рыдал сильнее прежнего.

Наконец я успокоился, подарил ей пять тысяч лир и ушел из дому. У меня оставалось еще двадцать тысяч лир, но я больше не любил свою жену и теперь уже назло ей, пусть даже ценой полного разорения, захотел доказать, что я не скуп. Но прежде чем я решился выполнить то, что задумал, какие только сомнения и колебания, какой только ужас не пришлось мне пережить! Так бывает, когда готовишься броситься в море - внизу под твоими ногами перекатываются волны, и тебе вдруг становится жутко.

Я очутился на набережной в районе Рипетты. Светило ласковое, еще по-весеннему мягкое солнце. Вдруг у въезда на мост я заметил сидящего прямо на земле нищего. Его лицо было обращено к солнцу, хотя он по-прежнему протягивал руку, прося милостыню. И глядя на его лицо, довольное, с полузакрытыми глазами и улыбающимся ртом, я подумал: "Но чего я так боюсь? Если даже я стану таким, как он, я все-таки буду счастливее, чем сейчас". Тогда, вытащив из кармана все эти тысячные бумажки, я сжал их в кулаке и, подойдя к нищему, бросил одну из них в его шляпу; он был слепой и, не поблагодарив меня, продолжал все так же сидеть, подставив лицо солнцу и повторяя обычные для всех нищих слова.

Немного выше по течению, за мостом, находился часовой магазин, я вошел в него и, не долго раздумывая, купил за восемнадцать тысяч лир часы своей жене. На оставшуюся тысячу я взял такси и подъехал к своей лавке.

Я чувствовал себя уже лучше, хотя страх еще не совсем прошел.

Целое утро, отказывая покупателям, я старался держаться, как ни в чем не бывало. Одним я говорил, что товар уже кончился, с других запрашивал слишком высокую цену, третьим отвечал, что товар закуплен, но в лавку поступили только образцы. Я даже позволил себе роскошь грубо обойтись с двумя особенно неприятными мне покупателями. А про себя твердил: "Крепись, труден только первый шаг, дальше все пойдет как по маслу".

В то утро мне было страшно возвращаться домой, мне казалось, что, несмотря ни на что, я все еще люблю свою жену. Я боялся этого потому, что тогда мне снова пришлось бы бороться за каждую копейку и слышать, как меня называют скупцом, то есть опять началась бы та мучительная жизнь, которой я жил последние два года. Но стоило мне увидеть ее, как я



понял, что моя любовь действительно прошла. Жена стала для меня просто вещью. Я даже заметил, что нос у нее блестит и под пудрой. Но я сказал:

- Дорогая, я принес тебе подарочек, тебе ведь давно хотелось иметь ручные часики.

Она протянула мне руку, я надел ей часы, а рядом запечатлел горячий звучный поцелуй, как это и полагалось влюбленному супругу. А про себя подумал: "Да, я целую тебя, но поцелуй Иуды вряд ли был более лживым!" Надо сказать, что в тот день, вероятно, чувствуя угрызения совести за все, что она мне наговорила, Валентина была очень мила и нежна со мной. Но меня это теперь мало трогало: внутри у меня пружина любви была сломана, и тут уж ничего нельзя было поделать.

Спустя некоторое время я начал осуществлять свой план. Не проходило дня, чтобы я не дарил ей что-нибудь. В лавке, даже не выслушивая, что спрашивают покупатели, я сразу же объявлял им: "Продажи нет". А между тем счет в банке все уменьшался. Полмиллиона лир - не такая уж крупная сумма, и месяца через два у меня почти ничего не осталось. Валентина ни о чем не догадывалась. Она по-прежнему читала журналы, курила американские сигареты и ходила в кино со своими подругами. Только иногда, принимая очередной подарок, она говорила:

- Видишь, я была права, не поверив, что у тебя не осталось денег. Теперь ты тратишь гораздо больше прежнего. И если я не могу еще назвать тебя щедрым, то во всяком случае ты уже не так скуп, как раньше, у тебя уже не надо выпрашивать деньги, ты сам тратишь их.

Я промолчал, но в голове у меня пронеслось: "Не торопись праздновать победу!"

И вот, наконец, наступил день, когда я взял в банке последние пять тысяч лир. Почти на все деньги я накупил американских сигарет, так что у меня осталось не больше трехсот лир.

Было еще раннее утро, и вместо того чтобы отправиться в лавку, я вернулся домой, прошел в спальню и, не раздеваясь, как был, в ботинках и одежде, растянулся на своей еще не убранной постели. Валентина спала, она повернулась на другой бок и сквозь сон спросила:

- Ты дома? Разве сегодня воскресенье?

И опять заснула.

Дождаясь, пока она проснется, я курил сигарету за сигаретой. Она проспала еще около часу, потом проснулась и, не успев открыть глаза, спросила:

- Так, значит, сегодня праздник?

- Да, праздник, - ответил я.

Она встала и начала медленно одеваться. Одевалась она молча и только несколько раз повторила: "Но какой же сегодня праздник?" - как будто предчувствовала, что это совсем не праздник.

Я ждал того момента, когда она попросит денег на расходы; несмотря на всю свою лень, она покупала продукты сама, а готовить ей помогала приходящая прислуга.

Валентина прошла в ванную комнату, потом кончила одеваться и направилась в кухню, чтобы приготовить кофе и поболтать с прислугой. Я тоже встал и вышел на кухню. Мы молча выпили кофе. Но, как видно, мысль о празднике не выходила у нее из головы, потому что она снова спросила меня:

- Но скажи, какой все-таки сегодня праздник?.. Лючия говорит, что никакого праздника нет и все магазины открыты.

- Сегодня мой праздник, - просто ответил я и, вернувшись в спальню, снова растянулся на постели в костюме и ботинках.

Валентина, о чем-то разговаривая с прислугой, пробыла еще некоторое время на кухне, как мне кажется, больше для того, чтобы показать мне, что не принимает мое поведение всерьез. Наконец она появилась на пороге и, подбоченившись, проговорила:

- Ты можешь не работать - это твое дело. Валяйся, пожалуйста, на кровати... Но если ты хочешь есть, давай деньги на продукты.

Я пустил дым в потолок и ответил:

- Деньги? У меня нет денег.

- Как это, у тебя нет денег?

- Вот так, нет!

- Слушай, что это еще за капризы? Что ты задумал? Ведь если ты не дашь денег, я не смогу купить продукты, а если я не куплю продукты, нам нечего будет есть.

- Да, я тоже так думаю, что нам нечего будет есть.

- Вот что, - сказала она, - я не собираюсь терять с тобой время. Деньги положишь на ночной столик.

Я продолжал курить, а когда она вернулась через несколько минут, сказал:

- Валентина, я говорю тебе совершенно серьезно, у меня нет больше денег... У меня осталось всего триста лир... и это все.

- Но у тебя есть деньги в банке... Что за жадность напала на тебя сегодня?

- Нет, жадность тут ни при чем, просто у меня ничего больше не осталось. Впрочем, вот - посмотри сама.

Я вынул из кармана банковскую книжку и показал ей. На этот раз она не говорила, что ничего в этом деле не смыслит и не просила оставить ее в покое.

Она поняла, что я говорю серьезно, и на лице ее выразился испуг. Посмотрев в книжку, она без сил опустилась на стул.

А я продолжал:

- Ты считала меня скупым, и чем больше я тратил, тем скупее тебе казался. Тогда я нарочно начал транжирить деньги... И я издержал все, что у меня было... Я забросил свою торговлю. И теперь все кончено. Больше у меня ничего нет, нам даже не на что купить себе еды. Но зато теперь ты не можешь сказать, что я скряга!

Тогда она начала плакать - кажется, не столько из-за денег, сколько потому, что поняла, наконец, что я разлюбил ее.

- Ты никогда не любил меня, - сказала она. - А теперь даже не хочешь меня кормить.

- Ничего не поделаешь! - отвечал я. - У меня нет денег.

- Я не могу оставаться с тобой... Я ухожу к маме.

- До свиданья!

Она ушла сначала в другую комнату, а потом вообще из моей жизни. С того утра я больше не видел ее.

Немного погодя я встал с кровати и тоже ушел из дому. Был солнечный день; я купил себе булку и съел ее прямо на набережной. Глядя, как течет река, я вдруг почувствовал себя счастливым и подумал, что эти два года супружеской жизни были всего лишь незначительным эпизодом. И когда я состарюсь, они, вероятно, будут вспоминаться мне не как два года, а как два коротких дня.

Я не спеша доел свою булку и напился воды из маленького фонтанчика. Потом я пошел к своему брату и попросил приютить меня, пока я не найду себе работу. И действительно, через несколько недель я устроился простым электромонтером.

Валентину, как я уже сказал, я больше никогда не встречал. Но знаете, какие слухи распускает она обо мне? Она говорит, что я страшный транжира, которого она не в силах была образумить, и поэтому ей пришлось уйти от меня.

Злополучный день

Бывает же так! Вот многие не верят в приметы, но я вам докажу, что они всегда сбываются. Какой был позавчера день? Вторник, тринадцатое. Что случилось утром, когда я еще сидел дома? Я искал в буфете хлеб и перевернул солонку: Кого я встретил на улице, как только вышел? Девушку-горбунью, с большим родимым пятном, поросшим волосами, на лице. Я всех знаю в нашем квартале, но ее ни разу не видел. А в гараже что получилось? Я прошел под лестницей рабочего, исправлявшего неоновую вывеску. Кто из механиков в гараже первым со мной заговорил? Ну как его? И называть-то не хочется всем известно, что он приносит несчастье своей кривой рожей и злыми глазами. Хватит этого? Так нет, вот вам еще одно впридачу - отправляясь на стоянку, я чуть не раздавил невесть откуда взявшуюся

черную кошку, перебежавшую мне дорогу - еле успел затормозить. Скрип раздался дьявольский.

На стоянке, на площади Фламинио, у Витербосского вокзала, мне долго ждать не пришлось. Было часов семь утра; и вот ко мне подбегают вприпрыжку, словно танцую тарантеллу, мужчина и женщина - сразу видно, что прямо из деревни. Мужчина - низенький, коренастый, в черных штанах, перевязанных на животе кушаком, в жилетке, в рубашке без воротничка. Лицо у него плоское, заросшее черной бородой; он косой: веко одного глаза опущено, другой глаз широко раскрыт. Женщина, должно быть его мать, одета, как цыганка, в черную юбку с черной шалью; лицо желтое, что твой самшит, все в морщинах, а в ушах золотые серьги. Нагружены словно ослы - свертки, пакеты с салатом, узелки с помидорами. Он, ни слова не говоря, протянул мне клочок бумаги, на нем какими-то порхающими буквами, похожими на ноты, был написан адрес: "Площадь Полларола" - это как раз у рынка Кампо деи Фьори. Женщина тем временем ловко нагружала своим добром мое такси. Я повернулся, посмотрел и говорю:

- Вы что, решили, что это овощной фургон?

Он ответил, не глядя, сквозь зубы:

- Товар все хороший... Поезжай быстрее, мы торопимся.

Я включил мотор и помчался. Вдруг, слышу, он говорит женщине:

- Смотри, куда ноги ставишь... Помидор раздавила.

Ну, думаю, извозят мне такси. А когда мы приехали на площадь Полларола, я обернулся и вижу, что тут и взаправду настоящий разгром: повсюду листья салата, земля, вода, раздавленные помидоры, да не один, а несколько. Я разъярился и спрашиваю:

- А кто мне заплатит за испорченную кожу на сиденье?

- Чепуха, - сказал он, вынул из кармана платок и вытер самые грязные места на сиденье.

Я просто зашипел от злости:

- Чего уж тут вытирать... Одного убытку на тысячу лир!

Он даже не слушает. Стал помогать своей товарке выгружать свертки, то и дело повторяя:

- Быстрее, быстрее... Клади сюда!

Я закричал ему:

- Черт возьми, мало того, что ты косой, ты к тому же еще и глухой?.. Я тебя спрашиваю: кто мне теперь заплатит за испорченную кожу?

Выйдя из терпения, он повернулся:

- Ты что, не видишь, что я разгружаю?

- Я хочу, чтобы ты возместил мне убытки!

Наконец он все выгрузил.

- Держи, - сказал он и сунул мне деньги, - бери и отправляйся.

- Ты что, спятил? Сколько ты даешь?

- Мало, что ли?

- Это за поездку, ладно... А убытки? Мы стояли лицом к лицу. Женщина спокойно и неподвижно ждала неподалеку со свертками. Он сказал:

- Сейчас я тебе заплачу.

Оглядев площадь, которая в этот час была пустыня, он сунул руку в карман. Ну, думаю, деньги вынимает. Но он вытащил складной пастушеский нож.

- А это видал?

Я отскочил; он закрыл нож и добавил:

- Значит, договорились?

Не помня себя от ярости, я опять сел за руль, включил мотор, сделал круг по площади и на большой скорости поехал прямо на женщину, стоявшую все время неподвижно рядом с овощами. Каким-то чудом она успела отскочить, а я наехал на всю эту грудку, сделав из нее месиво. Он закричал и вскочил ко мне на подножку. Я отнял одну руку от баранки и ударил

его по лицу с такой силой, что ему пришлось спрыгнуть; но я потерял управление и поехал прямо на стену. В конце концов мне все же удалось выправить машину и повернуть. На мосту Витторио я остановился и осмотрел машину. Одно крыло было поцарапано и помято. Это уже не просто грязь - тут и правда убытку на несколько тысяч лир. Хорошо же я начал, нечего сказать.

В самом скверном настроении, кляня на чем свет стоит и мужиков и деревню, я сделал еще пять пустячных рейсов лир по двести-триста каждый. В два часа я остановился у центрального вокзала, в самом конце очереди такси. Пришел поезд, народ стал разъезжаться, такси уходило одно за другим. Ко мне подошел высокий грузный мужчина с чемоданчиком, лысый, лицо круглое, бритое, в пенсне. Он сухо сказал:

- Виа Маккья Мадама!

Никто не может знать всех римских улиц. Но почти всегда каким-то нюхом догадываешься, где какая находится. Но про эту виа Маккья Мадама я действительно услышал в первый раз. Спрашиваю:

- А где это?

- Поезжайте до стадиона "Форо Италико"... а потом я вам покажу. Я, не сказав ни слова, поехал. Ехали, ехали. Проехали виа Фламиния, мост Мильвио и направились вдоль Тибра к стадиону. Он кричит:

- Первый поворот направо, потом еще направо.

Мы были как раз у подножья Монте-Марио. За стадионом, где стоят обнаженные статуи, я поехал по круто поднимавшейся вверх улице. И вот посреди склона дощечка на палке среди кустарника, а на ней написано:

"Виа Маккья Мадама". Только это не улица, а скорее деревенская тропка, одна пыль да камни. Спрашиваю:

- Что, въезжать туда?

- А как же!

У меня вырвалось:

- Да вы прямо в темном лесу живете!

- Нечего острить... Улица как улица.

Я, как говорится, проглотил и поехал по проулку. Ям и камней не сосчитать; с одной стороны возвышался склон горы, весь заросший кустами дрока, с другой - обрыв. Вдали виднелась панорама Рима. Мы все поднимались и поднимались; иногда на поворотах было так тесно, что приходилось давать задний ход; но вот, наконец, после очередного подъема - ограда. Въезжаю в ворота, еду по площадке, посыпанной гравием, без деревьев, останавливаюсь неподалеку от белого домика. Пассажир, выйдя, торопливо, дает мне деньги. Я протестую:

- Это за рейс... А обратный путь?

- Какой обратный путь?

- Это пригород... Нужно оплатить обратный проезд.

- Ничего я не стану оплачивать... Никогда не платил за обратный проезд и не собираюсь.

И он поспешно пошел к домику. Я разозлился и кричу:

- Я останусь здесь, пока вы мне не заплатите за обратный проезд... Даже если придется ждать до вечера.

Он пожал плечами, дверь открылась, и он вошел в дом. В дверях, кажется, стоял кто-то в белом халате. Я посмотрел на дом. Жалюзи спущены; окна нижнего этажа зарешечены. Я тоже пожал плечами, сел в машину, которая уже начала накаляться под солнцем, вынул из кармана сверток с завтраком и стал не спеша закусывать среди глубокой тишины, поглядывая через край обрыва на панораму Рима. Жара меня разморила, меня стало клонить ко сну, и я продремал примерно с час. Проснулся я внезапно, ошалевший и потный, и увидел, что все кругом было как прежде: пустынная площадка, дом со спущенными жалюзи, солнце, тишина. Я стал неистово нажимать на клаксон, думая: "Кто-нибудь да выйдет".

На рев клаксона действительно из-за дома вышел черный человечек, по виду пономарь, в костюме из шелка-сырца; он подошел ко мне и спросил:

- Свободен?.

- Да.

- Тогда отвези меня к собору Святого Петра.

Я решил, что нет худа без добра - до Святого Петра неплохой рейс, и таким образом я оправдаю обратный проезд. Я включил мотор и поехал. Правда, когда я выезжал из ворот, мне показалось, что в окне кто-то делает мне знаки, чтобы я вернулся, но я не обратил на это внимания. Я стал спускаться по переулку поворот за поворотом; в каком-то узком месте дал задний ход. И вдруг вижу: по склону бегут сломя голову, хватаясь за кусты и размахивая руками, двое детей в белых халатах.

- Стой, стой! - кричат они мне.

Я остановился. Один из них открыл дверцу и без церемоний крикнул человечку, притаившемуся в глубине такси:

- Ну-ка, милый, вылезай... Без разговоров.

- Но меня ждет папа римский!

- Ладно, поедешь в другой раз... Вылезай!

Одним словом, тот сошел, парень сразу схватил его под руку, а другой тем временем объяснил мне:

- Он спокойный, поэтому мы оставляем его на свободе... Но с помешанными всегда нужно быть настороже.

- А что это за дом? Клиника для душевнобольных?

- А ты что, разве еще не догадался?

Нет, не догадывался... Вот, выходит, и возместил время, которое потерял там наверху, да еще и обратный проезд. Было уже за полдень, день действительно выдался злополучный. Я отправился на стоянку на бульваре Пинтуриккио и там - не поверите! - ждал около четырех часов. Наконец, когда стало уже смеркаться, подошел смуглый длинноволосый молодой человек, в пиджаке и рубашке с открытым воротом - какой-то прощелыга. С ним была девушка, красивая, легкомысленного вида. Он сказал мне:

- Отвези нас на Джаниколо.

Они сели, и я помчался как бешеный; но время от времени я смотрел в зеркальце, висевшее у меня над головой. На набережной Фламинио, в пустынном месте, он схватил девушку за волосы, откинул ей голову назад и поцеловал в губы. Она захныкала:

- Ну тебя, дурной!

А потом, конечно, обняла его за шею и вернула поцелуй.

И они целовались без конца... Я обычно отношусь благосклонно к парочкам, но в тот день, после стольких несчастий, я был зол как черт. Затормозив, я остановил машину и объявил:

- Приехали!

- Уже Джаниколо? - спросила девица, высвобождаясь из объятий. Губная помада у нее была съедена, волосы растрепаны.

- Нет, не Джаниколо... Но если вы не будете вести себя прилично, я дальше не поеду.

Он, как и подобает такому прощелыге, огрызнулся:

- А тебе какое дело?

- Такси - мое... Если хотите миловаться, отправляйтесь в кусты на Вилла Боргезе.

Он посмотрел на меня пристально, а потом сказал:

- Ладно, благодари бога, что я здесь с синьориной... Вези нас на Джаниколо.

Ничего не ответив, я отвез их на Джаниколо. Была ночь, они сошли, велев мне ждать, подошли к парапету и стали любоваться панорамой Рима. Потом вернулись. Он сказал:

- Теперь поедем к Кавальери ди Мальта.

- Но на счетчике уже тысяча лир.

- Поезжай, не бойся.

От Джаниколо до Кавальери ди Мальта конец немалый. Они, кажется, опять целовались, но мне уже было безразлично - я думал только о том, как бы получить свои денежки. Когда мы приехали в пустынный район Кавальери ди Мальта, они велели мне остановиться на площади у церкви святой Сабины. Там как раз вход в сад с высокими стенами, обращенный к Тибру. Они опять сказали, чтоб я подождал и пошли в сад. Было темно и тепло, последние ласточки порхали перед тем, как отправиться на покой. Магнолии так благоухали, что кружилась голова. Вот уж правда, настоящее место для влюбленных. Размышляя о том, что в конце концов они правы, что целуются, и что на их месте я делал бы то же самое, я спокойно ожидал их. С полчаса я отдыхал в тишине, в тени, овеваемый теплым ветерком. Неожиданно мой взгляд остановился на счетчике - две тысячи лир. Я вышел и направился в сад. И сразу же убедился, что сад пуст и на скамейках под деревьями нет ни одного человека. В саду были другие ворота, выходящие на улицу святой Сабины, там они, конечно, и прошли, а потом, нежно обнявшись, отправились, наверно, вниз, к Большому цирку. Короче говоря, они меня провели.

Мрачный, проклиная свою злую судьбу, я тоже поехал вниз. Светила луна. У обелиска Аксума меня остановил полицейский:

- Нарушение... Вы что, не знаете, что ночью не ездят с потушенными фарами?

Только у Колизея, наконец, нашелся клиент мне по сердцу - горбатый, в белой рубашке с открытым воротом и пиджаком под мышкой. Горб у него поднимался выше головы, а шеи совсем не было.

- Слишком поздно, - пробормотал я сквозь зубы.

- Что вы сказали? - спросил он, садясь.

- Ничего. Куда поедем?

Он сказал мне адрес, я включил мотор, и мы поехали.

Драгоценности

Стоит только в кружок друзей затесаться женщине, и сразу можно сказать, что компания скоро расстроится и все разбредутся кто куда. В тот год я дружил с компанией молодых людей. Редко сыщешь таких закадычных друзей. Мы всегда и во всем были согласны, всегда держались вместе - прямо водой не разольешь. Зарабатывали все мы неплохо - у Торе был гараж, два брата Модести были посредниками по продаже мяса, у Пиппо Морганти была колбасная, у Ринальдо - бар. Я торговал самыми разными вещами, в то время смолой и смолопродуктами. Хотя среди нас не было ни одного старше тридцати лет, но каждый весил не меньше восьмидесяти кило; мы, как говорится, не прочь были приналечь на еду. Днем мы работали; но в семь часов вечера собирались - сначала в баре Ринальдо, на проспекте Виктора Эммануила, потом в траттории с садом, неподалеку от Новой церкви. Конечно, мы проводили вместе и воскресенья - смотрели футбольный матч или совершали прогулку в Каstellи, летом ездили в Остию или Ладисполи. Нас было шестеро, но жили мы душа в душу. Скажем, если у одного из нас появлялась какая-нибудь прихоть, она сразу же овладевала и остальными пятью. Увлечение драгоценностями началось с Торе: как-то вечером он пришел в тратторию с массивными золотыми часами на руке. Браслет был тоже золотой, плетеный, шириной чуть не в три пальца. Мы спрашиваем, кто, мол, тебе подарил эти часы, а он заявляет:

- Директор Итальянского банка.

То есть он хотел сказать, что купил их на свои деньги. Потом снял часы и показал нам - часы были хорошей марки, с двумя крышками, с секундной стрелкой; они были тяжелые, да и браслет тоже. Мы были поражены. Один из нас сказал:

- Да, это капиталовложение.

А Торе ему ответил;

- Какое там капиталовложение... Просто мне нравится носить часы на руке, вот и все.

На другой день, когда мы собрались, как обычно, в ресторане, у Морганти на руке тоже появились часы и тоже с золотым браслетом, хоть и не таким тяжелым. Потом наступил черед братьев Модести, они купили себе часы побольше, чем у Торе, но браслет был сплетен

не так плотно. А нам с Ринальдо понравились часы Торе; мы спросили, где он их достал, отправились туда вместе и приобрели себе такие же, в хорошем магазине на Корсо.

Дело было в мае, мы часто по вечерам ездили на Монте-Марио, в остерию. Там мы пили вино, ели свежие бобы и овечий сыр. Как-то вечером Торе протягивает руку за стручком, а у него на пальце - массивное кольцо с бриллиантом, небольшим, но красивым.

- Черт возьми! - вскричали мы.

А он без всякого стеснения объявил:

- Только на этот раз не подражайте мне, обезьяны вы этакие. Это я купил себе, чтобы не быть на вас похожим.

Все-таки он снял кольцо и пустил его по рукам. Да, бриллиант был красивый, чистой воды - не придерешься. Но Торе рыхловат, у него плоское лицо, щеки как желе, свиные глазки, нос словно вылеплен из сливочного масла, а рот похож на растянутый кошелек. Это кольцо на коротком жирном пальце и часы на пухлом запястье делали его похожим на женщину. Мы вняли его просьбе и не стали покупать кольца с бриллиантом. Но по хорошему перстню мы себе все же купили. Братья Модести заказали себе одинаковые кольца из червонного золота с драгоценными камнями - у одного зеленый камень, у другого синий; Ринальдо купил кольцо с резной оправой в античном духе: на коричневой камее была изображена белая фигура обнаженной женщины; Морганти, как всегда, желая отличиться, приобрел ни больше ни меньше, как платиновый перстень с черным камнем; я - человек попроще и удовольствовался кольцом с квадратной оправой, с желтым плоским камнем, на котором были вырезаны мои инициалы, чтобы им можно было припечатывать сургуч на конвертах. После колец наступила очередь портсигаров. Начал, как всегда, Торе - как-то раз он сунул нам под нос длинный и плоский портсигар, конечно же золотой, с нарезкой крест-накрест; мы все последовали его примеру и закупили себе портсигаров. Потом мы совсем разохотились - один купил себе браслет с брелоком на правую руку, другой - авторучку новейшей системы, третий - цепочку на шею с крестиком и медальоном, на котором была изображена Мадонна, четвертый - зажигалку. Торе, самый тщеславный из всех, заказал себе еще три кольца; теперь он и вовсе походил на женщину, особенно когда снимал с себя пиджак и оставался в рубашке с короткими рукавами, так что были видны его пухлые руки и пальцы в кольцах.

Итак, у каждого из нас было множество драгоценностей; и почему-то именно с этого времени наша дружба начала расстраиваться. Правда, поначалу все это были пустяки - шуточки, колкие фразы, иногда сухой ответ. Но вот однажды вечером Ринальдо, владелец бара, появился в нашей траттории с девушкой - своей новой кассиршей. Звали ее Лукрецией, ей, должно быть, не было и двадцати лет, но у нее уже была фигура вполне сформировавшейся тридцатилетней женщины. Кожа у нее была белая, как молоко, глаза черные, большие, но невыразительные, губы красные, волосы черные. Она напоминала статую - может, еще и потому, что всегда была сдержанна и спокойна и почти не разговаривала. Ринальдо рассказал, что он нашел ее по объявлению о найме рабочей силы. Он ничего не знал о ней - не знал даже, есть ли у нее семья и с кем она живет. Именно такая девушка ему нужна была в кассе - чтобы она привлекала клиентов своей красотой, но и удерживала их на расстоянии своей серьезностью; уродина не привлечет посетителей, а легкомысленная красавица не станет работать и вызовет беспорядок. В тот вечер присутствие Лукреции нас стесняло: мы держались как-то чопорно, сидели в пиджаках, обдумывали каждую фразу, не смея отпустить шуточку или крепкое словечко, ели по правилам хорошего тона; Торе даже попробовал, хоть и без особого успеха, резать фрукты при помощи ножа и вилки. На следующий день мы все бросились в бар - посмотреть, какова она за работой. Она сидела на малюсенькой табуреточке, и бедра, слишком пышные для ее возраста, не помещались на сидении; своей могучей грудью она чуть ли не нажимала клавиши кассы. Мы глядели, разинув рты, а она была спокойна, точна, не торопилась, выдавая чеки, и все время, не глядя, нажимала клавиши. Смотрела она через головы посетителей на стойку бара и спокойным, невыразительным голосом предупреждала

буфетчика:

- Два кофе-экспресс... аперитив... апельсиновую воду... пиво...

Она никогда не улыбалась, никогда не смотрела на клиента; а между тем многие прямо влезали в окошечко, чтобы только она на них взглянула. Одетая она была с изяществом, но, как и подобает бедной девушке, просто - белое платье с засученными рукавами. Но платье чистое, свежее, тщательно выглаженное. Никаких украшений, даже сережек, хотя мочки ушей проколоты. Видя, как она сидит за кассой такая красивая, мы, разумеется, стали с ней шутить; Ринальдо, который ею гордился, нас поощрял. Но она после первых же шуток сказала:

- Ведь мы увидимся сегодня вечером в траттории, не правда ли?.. А сейчас прошу оставить меня в покое... Я не люблю, когда мне мешают работать.

Торе, к которому были обращены эти слова - самый неотесанный и самый навязчивый, - сказал с деланным удивлением:

- Извините... Видите ли, мы люди простые... Не знали, что тут принцесса... Не обессудьте... Мы не хотели вас обидеть.

А она сухо отрезала:

- Я не принцесса, а бедная девушка, своим трудом зарабатывающая себе на хлеб... А на вас я вовсе не обиделась... Кофе и аперитив...

Словом, мы ушли сконфуженные.

Вечером мы, как обычно, встретились в траттории. Ринальдо с Лукрецией пришли после всех; мы сразу же заказали обед. Сидя в ожидании, мы снова чувствовали себя стесненно; потом официант принес большое блюдо с курицей по-римски, рагу с томатным соусом и стручками перца. Мы все переглянулись, и Торе, выражая наше общее настроение, воскликнул:

- Знаете что, я люблю за столом свободу... Берите с меня пример - и будете чувствовать себя прекрасно.

С этими словами он ухватил куриную ножку, поднес ее ко рту обеими руками - все пальцы у него были в кольцах - и стал есть. Это послужило сигналом - после минутного колебания мы все стали есть руками, все, кроме Ринальдо и, конечно, Лукреции, едва отщипнувшей кусочек курицы. Теперь, осмелев, мы полностью вернулись к своим старым повадкам - разговаривали за едой, запивали куски мяса полными стаканами вина, сидели развалившись в креслах, рассказывали, как всегда, рискованные анекдоты. Мы даже вели себя хуже обычного, словно бросая кому-то вызов; не помню, чтобы я когда-нибудь ел столько и с таким удовольствием, как в тот вечер. Когда обед кончился, Торе распустил пояс на брюках и отпрыгнул так громко, что потолок задрожал бы, если бы мы не сидели на открытом воздухе, в беседке, увитой виноградом.

- Уф! Теперь я чувствую себя лучше, - заявил он.

Он взял зубочистку и, как он это всегда делал, стал ковырять по очереди во всех зубах; потом он повторил эту процедуру еще раз; наконец, засунув зубочистку в уголок рта, он рассказал нам какой-то совершенно непристойный анекдот. Тогда Лукреция встала и сказала:

- Ринальдо, я что-то устала... Если тебе не трудно, проводи меня до дому.

Мы обменялись многозначительными взглядами - она всего два дня работала кассиршей, а уже была с ним на "ты" и называла его по имени. Что-то не похоже на газетное объявление о найме рабочей силы. Они ушли, а Торе, рыгнув еще раз им вслед, заявил:

- Давно пора... Мочи не стало... Видели, как нос дерет?.. А он-то пошел за ней смиренненько, как ягненок... Ну а что касается объявления о найме рабочей силы - это скорее было брачное объявление.

Два или три дня повторялись такие же сцены: Лукреция ела чинно, не говоря ни слова; мы делали вид, что не замечаем ее. Ринальдо не знал, как ему вести себя, чтобы угодить и Лукреции и нам. Но что-то готовилось - мы все это чувствовали. Девушка-тихоня, хотя и не показывала этого открыто, хотела, чтобы Ринальдо сделал выбор - или она, или мы. Наконец,



однажды вечером, без всякой особой причины - может быть, потому, что было жарко, а жара, как известно, действует на нервы - Ринальдо во время обеда вдруг набросился на нас:

- В последний раз с вами обедаю.

Мы были ошеломлены. Торе спросил:

- Правда? А можно узнать почему?

- Потому что вы мне не нравитесь.

- Не нравимся? Как жаль!

- Вы - стадо свиней, вот вы кто.

- Думаешь о том, что говоришь. Ты что, с ума сошел?

- Да, стадо свиней, я повторяю... Когда я с вами обедаю, меня чуть не рвет.

Мы все покраснели от возмущения; некоторые даже встали.

- А ведь свинья-то, милый, ты сам, - сказал Торе. - По какому праву ты судишь нас? Разве мы всегда не были вместе? Разве не делали всегда одно и то же?

- Ты бы уж помолчал, - заявил Ринальдо, - нацепил на себя все эти побрякушки и теперь похож на одну из тех девиц... Тебе только не хватает надуться... Ты никогда не душился?

Удар был направлен против нас всех; понимая, откуда ветер дует, мы посмотрели на Лукрецию, но она, делая вид, что это ее не касается, тянула Ринальдо за рукав, уговаривая его прекратить спор и уйти. Торе крикнул:

- И у тебя тоже хватает побрякушек... Часы, кольцо, браслет. И ты как другие.

Ринальдо, вне себя, заявил:

- А я, знаете, что сделаю? Я их сниму и отдам ей... Бери, Лукреция, дарю.

Он снял с себя кольцо, браслет, часы, вынул из кармана портсигар и бросил все девушке.

- Вот вам, - крикнул он, издеваясь, - вам этого не сделать. Где уж вам!

- Иди ты к черту! - сказал Торе; но все видели, что он уже стыдится этих колец на пальцах.

- Ринальдо, забери вещи и пошли, - спокойно сказала Лукреция.

Она собрала в кучку все золото, которое дал ей Ринальдо, и положила ему в карман. Однако Ринальдо, разозлившись, продолжал нас ругать, хотя Лукреция и тащила его прочь.

- Вы - стадо свиней, это я вам говорю... Научились бы есть, жить научились бы, свиньи.

- Болван, - бросил ему разъяренный Торе, - невежа... Даешь водить себя за нос этой идиотке.

Посмотрели бы вы на Ринальдо! Он перегнулся через стол и схватил Торе за ворот рубашки. Нам пришлось их разнимать.

После ухода Ринальдо и Лукреции мы не стали больше разговаривать между собой и через несколько минут разошлись. На следующий вечер мы встретились, но прежнее веселье кончилось. Мы заметили, что у многих исчезли кольца и часы. Через два вечера ни у кого уже не было драгоценностей, но все равно нам было скучно. Через неделю мы и совсем перестали встречаться - кто под одним предлогом, кто под другим. Все было кончено, а известно, что однажды кончилось, вновь уже не начнется - кому нравится подогретый суп? Потом я узнал, что Ринальдо женился на Лукреции; рассказывали, что в церкви она была вся увешана драгоценностями, не хуже статуи Мадонны. А Торе я недавно видел в его гараже. На пальце у него было кольцо, но не золотое и без бриллианта - простое серебряное кольцо, какие носят механики.

Табу

Алессандро устроил мне в трагтории ужасный скандал, а через две недели, проезжая на мотоцикле по шоссе на Кассию, налетел на грузовик и был убит наповал. Джулио дал мне пощечину при выходе из кино, но не прошло и трех дней, как он, купаясь в Тибре, схватил страшную болезнь, которая разносится по канализации, и скапутился через несколько часов. Ремо сказал мне на виа Рипетта: "Ты ужасный болван, грубый и невежественный", - а немного погодя, сворачивая на виа дель Ока, наступил на какую-то кожуру, поскользнулся

и сломал бедро. Марио показал мне на футболе кукиш и буквально тут же обнаружил, что у него из кармана вытащили бумажник.

Эти четыре случая и еще некоторые другие, о которых я не рассказываю, чтоб не надоест, убедили меня в этом году, что меня охраняет какая-то таинственная сила, которая умерщвляла или, в лучшем случае, просто наказывала тех, кто выступал против меня. Заметьте, что о дурном глазе тут не могло быть и речи. Человек с дурным глазом приносит вред без причины, случайно сея несчастья, совсем как автопомпа, которая рассеивает воду куда попало. Нет, я чувствовал: хоть я человек и маленький, не красивый, не сильный, не богатый (я продавец в магазине тканей) и, конечно, не наделен каким-либо особым даром, я чувствовал, что меня защищает какая-то сверхъестественная сила. Поэтому никто не может безнаказанно причинять мне зло. Вы скажете: какая самоуверенность! Но тогда объясните мне, пожалуйста, необычайное совпадение этих смертей и этих несчастий, обрушившихся на всех тех, кто хотел оскорбить меня. Объясните, почему, когда я попадал в трудное положение и призывал ту самую силу, она тотчас же появлялась, будто собачонка, и карала неосторожного, который осмеливался выступить против меня. Объясните же, наконец... ну, да ладно. Вам достаточно знать, что я вбил себе в голову, будто я неуязвим, ну вроде как бы меня заколдовали.

И вот в то лето как-то мы с Грацией решили провести воскресенье в Остии. В магазине тканей нас было трое продавцов: Грация, я и один новенький, которого звали Уго. Он, если правду говорить, принадлежал к той категории людей, которых я просто не выношу: высокий, атлетического сложения, самоуверенный, лицо - как у боксера, с приплюснутым носом и выдающейся вперед челюстью. У него была манера: бросит штуку на прилавок, развернет ткань и шелестит ею между пальцев. При этом он глядел не на покупателя, а на улицу, на прохожих сквозь стеклянную дверь магазина. Эта его манера страшно мне действовала на нервы. А если покупатель высказывал иной раз сомнение, то вместо того чтобы попытаться убедить его, Уго становился груб: он или презрительно молчал с явным неодобрением, или, наоборот, резко отвечал:

- Ах, синьоре нужен товар похуже качеством? - и уносил штуку на место.

Короче говоря, Уго стремился нагнать страху на покупателя, и действительно, почти всегда покупатель с виноватым видом снова подзывал его, снова рассматривал ткань и покупал ее. Не знаю, может быть потому, что у меня не было представительности и нахальства Уго, но только всякий раз, когда я пытался подражать ему, мне заявляли, что я грубиян и что дирекция поступила бы правильно, уволив меня, и тому подобные вещи. Поэтому после нескольких бесплодных попыток я вернулся к своей обычной манере - я, напротив, был вкрадчив, вежлив, лстив, словом - само смирение и услужливость.

Грации Уго не нравился, по крайней мере она уверяла меня в этом много раз:

- Этот, как его... боже милостивый... какой ужас! Он похож на негра.

Однако, когда Уго подошел к нам, уже после того, как она согласилась поехать со мной в Остию, и спросил своим наглым голосом:

- Что хорошенького вы наметили на воскресенье? - она тут же принялась отчаянно кокетничать, засуетилась, заулыбалась и ответила:

- Почему бы вам тоже не поехать с нами, Уго?

Нечего и говорить, Уго тотчас же согласился и даже сказал покровительственным тоном, что он позаботится привести еще одну девушку: пусть у каждого будет своя. Но он сказал это так, что я оставался в недоумении: уж не думает ли он, что его девушкой будет Грация, а ту, другую, он приведет для меня?

В воскресенье, в назначенный час, мы встретились на станции Сан-Паоло; суতোлка там была невообразимая. Грация явилась в обновке - в небесно-голубом платье, которое шло к ее белокурым волосам, я нагрузился свертками с продуктами, а Уго оделся франтом - он был в костюме цвета пенициллина; с ним пришла и девушка, некая Клементина. Подозрение, которое закралось у меня еще в магазине, к сожалению, сразу же подтвердилось, потому что Уго, властно взяв под руку Грацию, сказал мне и Клементине:

- Эй, вы, парочка... только смотрите не исчезайте, не теряйте нас из виду при отправлении.

Грация, счастливая, смеялась и прижималась к нему. Я посмотрел на Клементину. Это было как раз то, что, по мнению Уго, мне требовалось: обыкновенная добрая девушка, белая и толстая, с боками и грудью как у коровы, с глупой рожей, тоже коровьей; ей только не хватало колокольчика на шею.

Она с улыбкой сказала мне, глядя на Уго и Грацию:

- Видно, они влюблены друг в друга, не правда ли?

Это было, пожалуй, приглашением и нам последовать их примеру. Но я ответил сухо, держась подальше:

- В самом деле?.. Смотри-ка... а я и не заметил.

Подошел поезд, и Уго, конечно, первым вскочил в вагон, неведомо как пробившись сквозь толпу, которая орала и толкалась, и опять-таки первым выставил из окна свою противную физиономию, крича нам:

- Я занял четыре места, не торопитесь, входите!

Мы вошли и сели, одна пара напротив другой, и поезд тронулся. В продолжение всего пути я, можно сказать, ни на минуту не сводил глаз с тех двоих: я ничего не мог с собой поделать. Уго целиком завладел Грацией - он то разговаривал с ней вполголоса, заставляя ее смеяться и краснеть, то обнимал ее, будто в шутку, то с невинным видом награждал ее какой-нибудь лаской. Грация, потеряв всякий стыд, все время вертелась, как угорь, и льнула к нему. Но больше всего меня задевало то, что они не замечали моего присутствия и вели себя так, словно меня и вовсе не было.

Было бы еще полбеда, если бы я мог так же вести себя с Клементиной и таким образом расквитаться с Уго. Но Клементина не только не нравилась мне, но, казалось, и сама не очень жаждала, чтобы за ней ухаживали; она спала, откинув голову назад, открыв рот и сложив руки на животе.

В Остии мы пошли в купальни и разделись по очереди в кабине. Теперь, в купальных костюмах, мы четверо особенно отличались друг от друга. У Грации было прекрасное, стройное тело с длинными сильными ногами и пышной грудью; Клементина же была похожа на подушку, перевязанную посередине, она вся состояла из бедер и груди, без талии, без шеи. Между Уго и мной разница была также очень заметна: у него - тело борца, мускулистое, крепкое, загорелое, широкое в плечах и узкое в бедрах; на нем были плавки в обтяжку, волосатые ляжки его подрагивали; я же был маленький, тело дряблое, немускулистое, ноги тонкие, бессильные руки - прямо паук. Уго, понятно, тут же схватил Грацию за руку, и они быстро побежали по горячему песку к морю и нырнули в воду головой вниз.

- Какая прекрасная пара! - сказала Клементина, которая, казалось, задалась целью раздражать меня.

А те двое там, в море, брызгались водой, толкали друг друга, потом Уго схватил Грацию на руки, а она цеплялась за его шею и смеялась. Я спросил у Клементины, не хочет ли и она искупаться, и та ответила, что охотно искупается, но только у самого берега, потому что не умеет плавать. Одним словом, мы купались, стоя по колени в теплой и грязной воде, а вокруг плакали, кричали и бросали мяч дети; няньки и мамки окликали их по именам, радио в купальнях орало без передышки старую песенку:

И теперь, как в тот день, море синее.

Когда ты здесь была, моя милая.

Тем временем Уго и Грация уплыли далеко, как настоящие спортсмены, и их почти не было видно.

И тогда я невольно, просто так, подумал, что Уго в этот день утонет. Я подумал об этом совершенно спокойно, как о чем-то неотвратимом и закономерном: он был виноват передо мной, и поэтому должен умереть. Эта мысль придала мне вдруг уверенности. Я подошел к Клементине, которая стояла в воде, держась обеими руками за спасательный канат, и сказал ей:

- Уго из тех смельчаков, у которых в конце концов делаются судороги, и они тонут... Потом их без сознания вытаскивают на песок и делают им искусственное дыхание.

Она с недоумением посмотрела на меня и сказала:

- Но ведь он прекрасно плавает.

Я ответил, покачивая головой:

- Плавает он прекрасно, не спорю... Но он принадлежит к таким людям, у которых воскресный день обычно заканчивается тем, что они лежат вытянувшись на песке, а им делают искусственное дыхание... Уж я знаю, что говорю.

Немного погодя Грация и Уго вернулись на берег и начали бегать по пляжу, чтобы, как они говорили, обсохнуть. Они гонялись друг за другом, без стеснения хватили друг друга руками, бросались песком, валялись на земле. Я неотступно следил за ними, стоял возле Клементины, которая держалась за веревку, и мне казалось, что я уже вижу, как Уго бросается в море и его сводят судороги, как он начинает барахтаться и тонуть, а потом его вытаскивают на берег и делают ему искусственное дыхание. Я не был уверен, должен ли он умереть, но мне доставляла удовольствие мысль, что он находится сейчас, как говорится, между жизнью и смертью.

Тем временем Уго и Грация обсохли; Уго подошел к нам и предложил покататься на лодке. Клементина тотчас же заявила, что не поедет, потому что не умеет плавать, и таким образом в лодку сели мы трое: я на веслах, а Уго и Грация устроились рядышком на корме.

Я начал грести медленно, море было спокойное и скучное, солнце нещадно палило; я смотрел на них пристально, как будто желчь, которая была в моем взгляде, могла заставить их смутиться и вести себя более сдержанно. Напрасный труд. Все было так же, как недавно в поезде - они продолжали прижиматься друг к другу, не обращая на меня внимания, я был для них все равно что лодочник. Уго даже, словно желая это подчеркнуть, шутливо сказал мне:

- Если вам не трудно, добрый человек, гребите левым веслом, иначе мы столкнемся с той лодкой.

На этот раз мое терпение лопнуло и я ответил:

- Послушай-ка, Уго, тебе никто не говорил, что ты страшный грубиян?

Он привстал и спросил:

- Что-о-о-о? - И это "о" у него прозвучало так, словно он хотел сказать: "Что такое? Уж не ослышался ли я?"

Я ответил, продолжая грести:

- Да, грубиян и невежа... Никто не говорил тебе этого?

- Да что это с тобой? - спросил он, повышая голос.

- Это мое дело, - ответил я холодно, - а ты грубиян первой степени.

- Эй, ты, думай что говоришь.

- Говорю, что мне нравится, а ты грубиян и к тому же еще негодяй.

- Ну, ну, потише, со мной шутки плохи!

Сказав это, он поднялся на ноги и сильно ударил меня в грудь. Я бросил весла, тоже вскочил и хотел отплатить ему ударом, но он быстро сжал мою руку двумя пальцами, которые впились в меня, как железные. Так, стоя в лодке, мы боролись, а Грация кричала и уговаривала нас. В самый бурный момент нашей схватки узкая и мелкая лодка перевернулась, и мы все оказались в воде.

Мы были недалеко от берега, и клянусь вам, что, падая в воду, я с радостью подумал: "Сейчас Уго схватит судорога, и он утонет... и умрет, как умерли Алессандро и Джулио".

Тем временем перевернутая вверх дном лодка удалялась, весла покачивались на поверхности, а мы трое, вынырнув, барахтались в воде.

- Ненормальный! - кричал мне Уго.

Грация как ни в чем не бывало поплыла к берегу.

- Ненормальный - это ты и к тому же еще мошенник, - ответил я, и в это время мне в рот попала вода.

Но Уго уже не обращал на меня внимания и плыл, стараясь догнать Грацию. Я тоже

направился к берегу, думая все время о судорогах, которые заставят Уго пойти ко дну, как вдруг почувствовал острую боль во всей правой стороне, от плеча до ступни, и понял, что судороги схватили меня, а не его. Это было лишь на миг, но в этот миг я совсем потерял голову. Боль не проходила, мне не хватало воздуха, я растерялся, охваченный ужасом, закричал, и вода попала мне в рот.

- Помогите! - заорал я и снова захлебнулся водой.

Судороги не прекращались, и я пошел ко дну, потом вынырнул, снова закричал "помогите" и опять пошел ко дну, захлебываясь водой. Одним словом, я утонул бы в конце концов, если бы чья-то рука не схватила мою, а чей-то голос - это был голос Уго - не сказал мне:

- Спокойно, я вытащу тебя на берег.

Я закрыл глаза и, кажется, потерял сознание.

Когда я очнулся (сколько времени прошло - не знаю), я почувствовал под спиной горячий песок пляжа. Кто-то, держа меня за запястья, поднимал и опускал мои руки, другой, присев на корточки, массировал мне грудь и живот. Я видел все, как в тумане, солнце ослепляло меня, а вокруг был целый лес загорелых, волосатых ног: все эти люди смотрели, как я умираю. Вдруг кто-то сказал:

- Кажется, ему крышка.

А другой заметил:

- Показывают свою храбрость, а потом вот так тонут. Я чувствовал, что меня раздуло от воды, голова была тяжелая, а кто-то все поднимал и опускал мои руки, как ручки мехов, и тогда я разозлился и сказал, пытаюсь отделаться от всех:

- Оставьте меня в покое... Пошли вы к дьяволу, - и потом снова впал в беспамятство.

Но хватит вспоминать об этом проклятом дне. Неделю спустя Грация, улучив момент, когда Уго не было рядом, сказала мне вполголоса:

- Знаешь, почему ты чуть не утонул в Остии в прошлое воскресенье?

- Не знаю. А почему?

- Мне Уго объяснил. Он говорит, что есть какая-то таинственная сила, которая охраняет его: тот, кто идет против него, может даже умереть... В общем, он говорит, что он "табу"... Ты не знаешь, что такое "табу"?

- Табу, - объяснил я, подумав с минуту, - это когда какая-нибудь вещь или какой-либо человек неприкосновенны.

Она ничего не ответила, потому что в этот момент к нам подошел Уго, держа в руках штуку хлопчатобумажной ткани; разворачивая ее с обычным шелестом, он сказал:

- Это как раз то, что вам нужно, синьора.

И по глазам Грации я понял, что она по уши влюблена в него. Еще бы, черт возьми! - красивый мужчина, сильный, молодой и вдобавок ко всему табу.

Я не говорю нет

Чтобы вы поняли характер Аделе, я расскажу вам хотя бы о том, что произошло у нас в первую брачную ночь. Ведь, как говорится, по утру судят, каков будет день.

Итак, после ужина в ресторане за Тибром, после тостов, стихов, поздравлений, после объятий и слез тещи мы отправились в нашу квартиру, которая помещалась над моей скобяной лавкой на виа дель Анима. Мы стали супругами, и оба немного стеснялись друг друга; когда мы вошли в спальню, я начал с того, что снял пиджак, и, вешая его на спинку стула, сказал, чтобы сломать лед молчания:

- Говорят, это приносит счастье... ты заметила... за столом нас было тринадцать человек.

Аделе сбросила новые туфли - они жали ей - и стояла возле шкафа, смотрясь в зеркало. Она ответила обрадованно, как будто мои слова помогли рассеять ее смущение:

- По правде говоря, Джино, нас было двенадцать... десять гостей да нас двое - двенадцать.

Еще тогда, в ресторане, собираясь сделать заказ, я сосчитал присутствовавших - нас

было ровно тринадцать, помню даже, как я сказал Лодовико, одному из шаферов:

- Знаешь, нас тринадцать человек. Как бы это не принесло нам несчастья.

А он ответил: - Нет, это, наоборот, к счастью...

Я сел на край постели и, снимая брюки, спокойно проговорил:

- Ты ошибаешься... нас было тринадцать. Я сразу обратил на это внимание и сказал Лодовико.

Аделе ответила не сразу, потому что в это время снимала платье через голову и до пояса была закутана в него. Но едва высвободившись и не успев даже перевести дух, она с живостью возразила:

- Ты неправильно сосчитал, на улице нас было тринадцать, а потом Мео ушел, и нас осталось двенадцать.

Я уже был в одних подштанниках и, не знаю почему, вдруг разозлился:

- Какого черта - двенадцать! И при чем здесь Мео, когда я говорю, что считал всех в ресторане!

- Ну, значит, - сказала она, направляясь к шкафу, чтобы повесить платье, - когда ты считал, ты уже выпил лишнего, вот и все.

- Кто это выпил лишнего? Да я выпил не больше двух бокалов, считая и шампанское.

- Короче говоря, - сказала она, - нас было двенадцать... а ты не помнишь этого потому, что и сейчас еще пьян и память тебе изменяет.

- Это кто пьян? Нас было тринадцать!

- А я тебе говорю, двенадцать!

- Тринадцать!

- Двенадцать!

Мы уже разговаривали, стоя друг перед другом посреди комнаты - я в подштанниках, а она в сорочке. Схватив ее за руку, я заорал ей прямо в лицо:

- Тринадцать!

Но потом вдруг спохватился, попытался обнять ее и сказал шепотом:

- Какое это имеет значение: тринадцать или двенадцать... поцелуй меня...

А она, упав на кровать и не уклоняясь от поцелуя, в тот самый момент, когда мои губы встретились с ее губами, прошептала:

- Да, но нас было двенадцать.

Тут я выскочил на середину комнаты и завопил:

- Хорошенькое начало! Ты моя жена и должна меня слушаться... если я говорю, что нас было тринадцать, значит, так оно и есть, и ты не должна спорить со мной!

Тогда она вскочила с кровати и тоже закричала изо всех сил:

- Да, я твоя жена, вернее, буду твоей женой... но нас было все-таки двенадцать!

- Нас было тринадцать, вот тебе! - и у меня сорвалась первая звонкая, увесистая оплеуха.

Аделе в первый момент опешила, потом бросилась к двери, ведущей в гостиную, открыла ее, крикнула с порога:

- Нас было двенадцать, и оставь меня в покое... ты мне противен, - и исчезла за дверью.

После минутного оцепенения я пришел в себя и, подойдя к двери, стал звать Аделе, стучать, умолять: в ответ ни звука. В общем, кончилось тем, что я провел первую брачную ночь один, задремав полураздетый на кровати, а Аделе, видно, прикорнула на диване в гостиной.

На следующий день, с взаимного согласия, мы отправились к матери Аделе и спросили у нее, сколько человек было на свадьбе.

И тут выяснилось, что на самом деле на свадьбе было четырнадцать человек и среди них двое детей, таких маленьких, что они сползли со стульев на пол и принялись играть под столом. Когда считал я, один из малышей еще сидел на стуле, когда же считала Аделе, то и он уже сполз на пол. Итак, мы оба оказались правы, но Аделе, как жена, все же была неправа.

Это был первый скандал, за ним последовало множество других, невозможно сосчитать

все случаи, когда Аделе проявляла свой отвратительный характер. У нее была прямо мания спорить из-за любого пустяка. Если я, например, говорил, это - белое, она заявляла - черное. Она никогда не уступала, никогда не признавалась в том, что ошиблась. Если начать об этом рассказывать, - никогда не кончишь.

Был, например, такой случай: она весь день утверждала, что не получала от меня денег на расходы, и вот после того, как мы проспорили двадцать четыре часа подряд, деньги вдруг обнаружилось: лежат себе преспокойно на подоконнике в уборной, прохлаждаются, словно роза в стакане с водой. Разумеется, спор разгорелся с новой силой, потому что она заявила, будто деньги на подоконник положил я, а я приводил факты, доказывающие, что этого не могло быть и что она посетила это злосчастное место как раз после того, как получила деньги, а не раньше.

Или взять такой случай: Аделе с пеной у рта доказывала, будто у Алессандро, официанта бара, находившегося напротив, четверо детей, я же прекрасно знал, что у него их трое. Так мы проспорили целую неделю: сам Алессандро в то время отсутствовал. Когда он появился, мы выяснили, что в начале нашего спора у него было трое детей, а теперь - четверо: за это время родился еще один.

Все это было очень глупо; иногда в спорах оказывался прав я, иногда она. Но напрасно я пытался заставить ее понять, что дело вовсе не в том, кто прав и кто ошибается, и что это ее пристрастие спорить из-за всякого пустяка в конце концов не доведет до добра.

Аделе на это отвечала:

- Ты хочешь иметь рабыню, а не жену.

И вот из-за всех этих споров мы все время были, как говорится, на ножах. Стоило мне только высказать какую-нибудь, пусть даже совершенно бесспорную вещь, например: "Сегодня солнечный день", - и я уже чувствовал, как во мне поднимается раздражение при мысли, что она может мне возразить. Я смотрел на нее, и она действительно тут же отвечала:

- Да что ты, Джино! Солнца сегодня совсем нет, наоборот, пасмурно.

Тогда я хватал шляпу и убежал из дому, - иначе я непременно лопнул бы от злости.

В один из таких дней я проходил по виа Рипетта и встретил Джулию, девушку, за которой ухаживал незадолго перед тем, как познакомился с Аделе. Тогда она мне очень скоро надоела, потому что казалась недостаточно независимой: она во всем соглашалась со мною, что бы я ни сказал, никогда не осуждала меня даже в тех случаях, когда и слепому было ясно, что я неправ. Но сейчас, когда я был женат на женщине независимой и мог этим наслаждаться в полной мере, я с сожалением вспоминал о Джулии, такой кроткой и уступчивой, и локти кусал от досады, что предпочел ей Аделе. В это утро мне приятно было встретить Джулию, хотя бы уже потому, что у нее не такой характер, как у Аделе. Девушка спешила на рынок за покупками, но я задержал ее только из желания доставить себе удовольствие лишний раз убедившись, что она всегда и во всем считала меня правым, что она осталась такой же кроткой и все так же не смеет мне возражать. Я сказал, чтобы испытать ее:

- Ну, теперь ты раскаиваешься в том, что так обидела меня? Ты поняла, что я был лучше других? Скажи, почему ты не захотела выйти за меня замуж?

Я, конечно, прекрасно понимал, что это ложь: я сам ее бросил, оправдываясь тем, что мне не нравятся слишком послушные женщины, вроде нее. Теперь мне хотелось знать, что она ответит на это ложное и несправедливое обвинение.

Услышав мои слова, бедняжка от удивления широко раскрыла глаза. В первую минуту она, конечно, хотела ответить мне, что это я ее обидел, - как оно и было на самом деле, - и что это я ее бросил. Но все-таки характер взял свое. Она сказала кротким голосом:

- Джино... тут, вероятно, произошло недоразумение. Я никогда не бросила бы тебя... я так тебя любила.

Заметьте, она не обвиняла меня во лжи, что, разумеется, не преминула бы сделать Аделе; наоборот, она пыталась оправдаться и, чтобы доставить мне удовольствие, допускала, что, возможно, и она сама была немного виновата.

Тогда я горько усмехнулся, подумав, какую глупость сделал, что предпочел ей Аделе, и сказал, потрепав ее по щеке:

- Я знаю, один я во всем виноват, и никакого недоразумения тут, к сожалению, не было... вина только моя... а сказал я это просто так... чтобы услышать, что ты на это ответишь.

Потом я еще раз потрепал ее по щеке, заставив покраснеть от удовольствия, и быстро ушел. Но прежде чем свернуть за угол, я оглянулся: она стояла на тротуаре все на том же месте, держа на руке сумку, и растерянно смотрела мне вслед.

Был конец мая, и на следующий день мы с Аделе отправились на моторной лодке во Фреджене, чтобы искупаться первый раз в этом году. Пляж был безлюден. На голубом небе ослепительно сияло солнце. Дул сильный, пронизывающий, резкий ветер, он поднимал тучи песка. У самого берега волны были зеленые и белые, они сталкивались, громоздились друг на друга, а дальше море было темно-синим, почти черным; кое-где, то здесь, то там, виднелись белые барашки.

Аделе сказала, что хочет покататься на лодке, и хотя море было беспокойно, я, только чтобы не спорить с ней и не слышать, как она будет утверждать, что море совсем как зеркало, - взял на прокат лодку и попросил столкнуть ее в море.

Я был в купальном костюме, Аделе же не стала раздеваться, и опять я, опасаясь споров, не настаивал на этом.

Лодочник оттолкнул лодку, я взялся за весла и начал быстро грести навстречу волнам. Волны были небольшие, и когда мы миновали отмель, я начал грести медленнее. Все-таки я внимательно следил за тем, чтобы лодка шла наперерез волнам, потому что, повернись она боком, ее опрокинуло бы, как ореховую скорлупу.

Аделе сидела на носу лодки и качалась то вверх, то вниз в такт волнам; взглянув, как она сидит там одетая, и вспомнив, что я не решился посоветовать ей снять платье, я вдруг разозлился и почувствовал желание сказать ей, что я встретил Джулию. И вот, продолжая грести, я рассказал ей о том, как мне захотелось испытать характер Джулии и как она не стала спорить со мной. Лодка тем временем опускалась и поднималась на волнах, Аделе слушала меня и наконец спокойно сказала:

- Ты ошибаешься, это она во всем виновата... ведь она тебя бросила.

Я с силой ударил веслами по воде, чтобы преодолеть самую большую волну, и со злостью ответил:

- Кто это тебе сказал? Это я однажды вечером дал ей понять, что не люблю ее больше...

Я помню даже, где это было... на набережной Тибра.

Ветер растрепал волосы Аделе. С каким-то ехидством в голосе она сказала:

- Тебе, как всегда, изменяет память... Это она тебя бросила... она говорила, что у тебя ужасный характер, - так оно и есть на самом деле. А она и не собиралась выводить за тебя замуж.

- Кто это тебе сказал?

- Она сама... спустя несколько дней...

- Это неправда... она сказала так, чтобы скрыть свою досаду: она ведь осталась с носом.

- Не спорь, Джино, она тебя бросила... Ее мать мне тоже сказала это.

- А я тебе говорю, что это неправда... Я ее бросил.

- Нет, она.

Не знаю, какой бес вселился в меня в ту минуту. Я вытерпел бы все что угодно, только не это. Вероятно, тут сыграло роль и мое мужское самолюбие.

Выпустив весла, я вскочил на ноги и закричал:

- Нет, я ее бросил, и точка. Я не желаю больше спорить... Если ты скажешь еще хоть слово, я стукну тебя веслом по башке.

- Попробуй, - сказала она, - ты злишься - значит, ты неправ. Ты сам знаешь, что она тебя бросила.

- Нет, я!



Теперь я стоял во весь рост посреди лодки и орал изо всех сил, стараясь перекричать шум волн. Лодку с опущенными веслами сильно подбрасывало на волнах, и я не заметил, как она повернулась боком. Аделе, я это хорошо помню, тоже вскочила вдруг на ноги и, сложив руки рупором, прокричала мне прямо в лицо:

- Она тебя бросила!

В эту самую минуту огромная зеленая волна с белым гребнем, прозрачная, как стекло, поднялась и обрушилась на лодку, накрыв нас с головой.

Я полетел в воду, успев подумать, что лодку, к счастью, не опрокинуло, и тотчас же пошел ко дну, увлеченный водоворотом.

Погрузившись вниз, я наглотался воды, потом вынырнул и стал бороться с волнами и звать Аделе. Но осмотревшись вокруг, я заметил, что лодка отплыла уже далеко и была пуста. Аделе нигде не было видно. Я снова стал звать ее и поплыл к лодке, плохо соображая, что делаю. Но с каждой новой волной лодка все больше удалялась от меня, а когда я начинал звать Аделе, я захлебывался водой. Я подумал, что напрасно стараюсь догнать лодку, ведь Аделе там уже не было. Наконец я отказался от этой мысли и принялся плавать по кругу и искать Аделе на поверхности моря. Но ее нигде не было видно. Вокруг меня лишь вздымались волны, бегущие к берегу. Силы мои иссякали. Я испугался, что могу утонуть, и повернул к берегу. Как только я коснулся ногами дна, я остановился и стал звать на помощь, хотя до берега было еще далеко. От пристани отделилась лодка и пошла мне навстречу. Пока она подходила, я смотрел по сторонам и искал Аделе. Но море, насколько хватал глаз, было пустынно, если не считать одинокой лодки, дрейфовавшей с опущенными в воду веслами.

Я начал плакать и все повторял шепотом, словно про себя:

- Аделе, Аделе.

Мне казалось, что в шуме моря я слышу слова: "Нет, она тебя бросила!" - как будто голос пропавшей Аделе остался в воздухе и все еще спорит со мной.

Потом подошла лодка с лодочниками, и мы больше трех часов искали тело Аделе, но ни в то утро, ни в последующие дни обнаружить его не удалось.

Так я стал вдовцом. Прошел год, и я, набравшись духу, отправился к Джулии. Ее мать провела меня в столовую. Как только девушка вошла, я сказал ей:

- Джулия, я пришел спросить тебя, не станешь ли ты моей женой?

Она зарделась от радости и ответила своим кротким голосом:

- Я не говорю нет... но нужно, чтоб ты поговорил об этом с мамой.

Эта ее первая фраза поразила меня, и позже я не раз вспоминал ее - она могла служить предсказанием нашего будущего: "Я не говорю нет".

В общем, мы поженились. И если вы хотите увидеть дружную пару, приходите, пожалуйста, посмотреть на нас. Джулия осталась все такой же, какой была в то утро, когда ответила мне: "Я не говорю нет".

Безрассудный

Если человек совершает какой-то поступок, значит, он об этом уже думал прежде. Всякое действие закономерно, оно как растение, которое, кажется, чуть пробивается из-под земли, а попробуй вытащить - и увидишь, какие глубокие у него корни. Когда я первый раз подумал о том, чтобы написать это письмо? Шесть месяцев тому назад. Да, прошло как раз шесть месяцев с тех пор, как этот синьор выстроил себе виллу на двадцатом километре шоссе, которое вело в Кассиа, а мысль о письме возникла у меня именно при виде новой виллы, одиноко стоящей на вершине холма. В то время голова моя была забита фильмами и комиксами и, кроме того, мне очень хотелось заслужить восхищение Сантины, дочери железнодорожного сторожа, девушки моих лет, глупенькой, но красивой, как, по крайней мере, мне тогда казалось. Однажды вечером, когда мы с ней прогуливались, я сказал ей, показывая на виллу:

- Как-нибудь на этих днях я соберусь и напишу хозяину этой виллы шантажирующее письмо.

- Что это значит - шантажирующее?

- Ну, угрожающее... Или даешь столько-то, или мы тебя ужокошим. Шантажирующее, в общем.

- А это не запрещается? - спросила она удивленно.

- Конечно, запрещается... Ну так что же?.. В письме будет указано место, куда он должен принести деньги... Что ты на это скажешь, а?

Я надеялся поразить ее этим, она же, как будто я предлагал ей самую обычную вещь на свете, сказала после минутного размышления:

- Что касается меня, то я за... И сколько же ты у него попросишь? - В общем, она приняла это как нечто вполне естественное, так что мне оставалось только спокойно ответить:

- Не знаю... Тысяч сто или двести.

- О! Как хорошо! - воскликнула она, хлопая в ладоши. - А мне сделаешь подарок?

- Разумеется.

- Тогда чего же ты ждешь?

- погоди, дай мне все обдумать, - сказал я.

Вот так, в шутку, я и пообещал написать это письмо.

Хозяин той виллы часто проезжал в своей машине через Сторту, мимо лавки моей матери, торговавшей овощами и фруктами. Это был здоровенный, высокий и толстый мужчина с огромным носом, похожим на те раскрашенные картонные носы, какие нацепляют во время карнавала, с черными усами щеточкой и косыми глазами, вечно кутавшийся в пальто из верблюжьей шерсти, настоящий медведь. Он занимался изготовлением духов. Приготовлял он их в лаборатории, помещавшейся в подвале виллы, и из окон подвала всегда исходили не запахи кухни, а запахи эссенций, которыми он пользовался в своей лаборатории. Я испытывал к этому человеку глубокую антипатию, и это еще больше подогревало меня написать ему письмо. Однако, несмотря на всю свою ненависть к нему и на подстрекательство Сантини, надоедавшей мне этими ста тысячами лир, я никогда, наверно, не написал бы такого письма, если бы в один из этих дней неподалеку от виллы тремя людьми в масках не было совершено ограбление. Газеты описывали происшедшее во всех подробностях: автомобиль в канаве; водитель, римский коммерсант, убит за рулем в то время, как он пытался набрать скорость; его спутники ограблены дочиста. В тот же вечер я сказал Сантине:

- Вот как раз подходящий момент, чтобы написать письмо.

- Почему? - спросила она удивленно.

- Потому что, - ответил я, - можно устроить так, как будто письмо написано одним из трех грабителей... После всей этой истории синьор испугается и выложит денежки.

Заметив, что Сантина смотрит на меня с восхищением, я продолжал:

- Видишь ли, нет ни смелости, ни трусости... Есть только благоразумие и безрассудство. Благоразумие - это трусость, безрассудство - смелость... Сейчас этот синьор безрассуден... Он не понимает, что жить в уединенной вилле посреди поля - это значит быть во власти всякого, кто захочет на него напасть. Вернее, он это понимает, но еще не почувствовал на своей шкуре... в общем, он безрассудный, то есть смелый... я же своим письмом сделаю его благоразумным, то есть трусливым... Повсюду ему вдруг начнет мерещиться опасность... он испугается и принесет деньги.

Обо всем этом я думал уже не один месяц и даже не один год, поэтому слова лились у меня легко и плавно, словно я читал их в книге. И действительно, Сантина восхищенно воскликнула:

- Как только ты до всего этого додумался? Да ты просто умница!

Я же, надуваясь от гордости, сказал:

- Пустяки, видно, ты меня еще не знаешь.

Я был так возбужден, что не стал откладывать этого дела. Вместе с Сантиной я зашел в продуктовую лавку, и там прямо за столиком мы написали письмо. В нем говорилось:

"Негодяй, мы давно уже следим за тобой и знаем, что денег у тебя хватает. Если не

хочешь кончить, как Ваккарино, возьми сто тысяч лир, положи их в конверт и завтра, в понедельник, до полуночи спрячь под камнем возле тридцатого километрового столба по дороге в Кассиа.

Человек в маске".

Ваккарино - было имя того коммерсанта, которого убили накануне. Сантина хотела, чтобы синьор положил нам не сто тысяч лир, а миллион, но я не согласился. Я объяснил ей, что из-за миллиона человек готов рисковать даже собственной шкурой, а из-за ста тысяч он еще подумает, прежде чем решиться на это, а поразмыслив хорошенько, кончит тем, что раскошелится.

Сантина, простившись, ушла домой. Я же побродил еще немного по площади, пока не начало темнеть, потом сел на велосипед и направился к вилле синьора. Стояла зима, дула трамонтана, на багровом, словно застывшем небе вырисовывались черные, как уголь, деревья, а за ними - уже окутанный мраком, но прозрачный, как хрусталь, простор полей. Я быстро подъехал к ограде виллы и, не слезая с велосипеда, держась рукой за один из пилястров, бросил письмо в щель для почтового ящика. В этом месте, между двумя поворотами, дорога шла прямо. И как раз в тот самый момент, когда я опускал письмо, я увидел, как из-за поворота со стороны Рима появилась машина синьора.

В тот же миг, еще не успев ничего сообразить, я нагнулся над рулем и заработал педалями. На полпути до поворота я встретился с машиной. Отсвечивавшее ветровое стекло не позволило мне разглядеть синьора, но он-то, конечно, мог смотреть на меня сколько угодно. Всю дорогу до самой Сторты я мчался, не переводя дыхания. Мне казалось, что так я смогу оставить позади охвативший меня страх. Но страх не покидал меня, и когда я вошел в дом, даже мама это заметила и встревоженно спросила, не заболел ли я. Я сказал ей, что простудился, что ужинать не хочу, и, не обращая внимания на ее заботы, прошел прямо в свою комнату. Там, в темноте, я бросился на постель и принялся размышлять. Теперь я понял, что, пожалуй, я был единственным благоразумным среди всех безрассудных и что, если я не стану безрассудным, то умру от страха. Я был уверен, что синьор видел, как я опускал письмо, и, конечно, узнал меня, ведь он проезжал через Сторту, по крайней мере, два раза в день, а я всегда торчал где-нибудь возле маминих корзин с овощами и фруктами или же стоял на площади, опершись на велосипед, среди других мальчишек нашего местечка. К тому же веснушки, рыжие волосы и очки на носу делали меня очень приметным, и во всей Сторте не было никого, похожего на меня. Возможно, этот синьор не знал моего имени. Но стоит ему явиться к сержанту карабинеров и сказать: "Я получил вот это шантажирующее письмо... Его опустил в почтовый ящик такой-то молодой человек", как сержант сразу же поймет, кто это, и скажет: "А, это Эмилио... Превосходно! Сейчас мы его разыщем". И вот они приходят в лавку и спрашивают у меня, уже дрожащего от страха, забившегося между корзинами с апельсинами и цикорием: "Скажи-ка, Эмилио, где ты был вчера в шесть часов вечера?" Я отвечаю, что был у Сантины в железнодорожной будке на переезде. Тогда зовут Сантину, а она, чтобы не компрометировать себя, говорит: "У нас на переезде?.. Что-то я его там не видела". Тогда сержант говорит мне: "Я тебе скажу, Эмилио, где ты был... Возле виллы Сорризо... Ты опускал в почтовый ящик вот это письмо". Несмотря на мои протесты, синьор подтверждает обвинение, сержант надевает на меня наручники и меня отводят в тюрьму. Затем, так как несчастье никогда не приходит в одиночку, мне приписывают и убийство Ваккарино. Начинается громкий процесс. "Бандит с виа Кассиа! Чудовище из Сторты! Убийца с тридцатого километра!" С такими лестными характеристиками двадцать или тридцать лет каторги мне обеспечены.

Окно моей комнаты было без жалюзи и выходило в поле, неистово светила луна, отполированная трамонтаной, словно серебряное зеркало, и в комнате было светло, точно днем. Вот уже два или три часа я ворочался на своей кровати, бессонный, как сверчок. Мне казалось, что этот яркий лунный свет и мой страх были заодно, и я никак не мог сомкнуть глаз при этом ярком свете, так же как не мог освободиться от этого страха. Но больше всего меня мучило то, что эта история, которую я затеял, вдруг обернулась против меня самого:

трусом оказался я, а не этот синьор; я, а не настоящие преступники, буду обвинен также и в убийстве Ваккарино. А что, собственно, случилось? Ничего или почти ничего, просто я увидел, как синьор подъезжал на своей машине в то время, когда я опускал письмо. Но этого было достаточно, чтобы все обернулось совсем иначе.

Наконец, не в силах больше выносить все это, я вскочил с кровати, поднял на плечо велосипед, который я всегда на ночь вносил в свою комнату, вылез через окно и вышел на дорогу. Там я сел на велосипед и направился к вилле Сорризо. Теперь уже я хотел любой ценой вернуть свое письмо, даже если бы мне пришлось для этого броситься к ногам синьора и, рыдая, умолять его о прощении. Но до этого дело не дошло. Заглянув через ограду, я увидел на земле у стены, в стороне от главной аллеи, свое письмо. В калитке, в самом деле, была щель, но почтового ящика еще не было, и синьор, проезжая на машине, не заметил письма, так как его загораживали кусты мирты. Я легко перелез через ограду, взял письмо и, радостный, теперь уже не спеша, поехал домой.

На следующий день я встретил Сантину на площади, и она спросила меня, опустил ли я письмо.

- Не опустил и не опущу, - ответил я ей.

- Как! Ведь все уже было готово! - воскликнула она разочарованно.

- Разве я не говорил тебе, - сказал я, - что человек смел до тех пор, пока он безрассуден. Так вот, знаешь, что со мной произошло? Из безрассудного я стал благоразумным.

- В общем, ты струсил, - сказала она презрительно.

- Да, но ты видишь, что я был прав: смелость - это безрассудство.

- Ну и что же дальше?

- А то, что пока я снова не стану безрассудным, об этом нечего и говорить.

Сантина, так мечтавшая о ста тысячах лир, была разочарована, она повернулась и пошла прочь, сказав, что я трус и чтобы я не смел больше показываться ей на глаза.

С тех пор она всякий раз, как встречает меня, насмешливо спрашивает:

- Ну что, ты еще не стал безрассудным?

Проба

Мы с Серафино друзья, хотя профессии у нас совершенно разные: он работает шофером у одного промышленника, а я кинооператор и фотограф. Да и внешне мы с ним не похожи друг на друга: он блондин с вьющимися волосами, розовым, как у ребенка, лицом, с наглыми голубыми глазами навывкате; а я брюнет, лицо у меня серьезное, как и подобает мужчине, глаза темные, глубоко сидящие. Но главное различие - в наших характерах: Серафино - лжец, я же лгать не умею вовсе.

Ну, так вот. Недавно, в одно из воскресений, Серафино сообщил мне, что я ему очень нужен. По его тону я догадался, что он опять попал в затруднительное положение из-за своей страсти врать. Я отправился на место назначенной встречи - в кафе на площади Колонна. Вскоре явился туда и он и сразу начал с обмана: подкатил на необыкновенно роскошной машине внесерийного выпуска, принадлежавшей его хозяину, которого, как мне было известно, в это время не было в Риме. Он еще издали приветственно помахал мне рукой с таким гордым видом, словно машина и впрямь принадлежала ему, и остановился у кафе. Пока он ко мне подходил, я успел рассмотреть, что одет он был франтом - короткие и узкие полосатые штаны из желтого вельвета, пиджак с разрезом сзади, на шее - цветной платок. Сам не знаю почему, но когда он сел за мой столик, я вдруг почувствовал к нему неприязнь и сказал немного насмешливо:

- Ты сегодня выглядишь настоящим синьором.

Он ответил многозначительно:

- А я сегодня и вправду синьор.

Я не сразу понял и спросил:

- А машина откуда? Или ты выиграл в тотализатор?

- Это новая машина моего хозяина, - ответил он с деланным безразличием. И после минутного размышления продолжал: - Послушай, Марио, скоро сюда придут две синьорины.

Как видишь, я позаботился и о тебе... На каждого по одной. Девушки из хорошей семьи, дочери одного инженера-путейца... Ты - продюсер... Договорились?.. Не подведи меня.

- А ты кто?

- Я ведь тебе уже сказал: синьор.

Я ничего не ответил и встал.

- Ты что, уходишь? - спросил он встревоженно.

- Да, ухожу, - отвечал я, - ты знаешь, что я не люблю обмана... До свидания, желаю тебе приятно провести время.

- Но подожди... ты меня погубишь.

- Не беспокойся, не погублю.

- Подожди же... Эти девушки хотят с тобой познакомиться.

- А я с ними - не хочу.

В общем, мы долго спорили - я стоя, а он сидя. Кончилось тем, что я, как хороший друг, согласился остаться. Однако предупредил его:

- Я тебе совсем не обещаю, что буду поддерживать твой обман до конца,

Но он уже не слушал; обрадованный, он объявил:

- А вот и они!

Сначала я увидел только волосы. Две огромные копны густых, пышных вьющихся волос. Затем я с трудом различил под этими большущими шапками волос два тонких, худых личика, похожие на двух птенчиков, выглядывающих из гнезда. Фигурки у обеих девушек были стройные и гибкие - тоненькие осиные талии, которые, казалось, можно было продеть в кольцо для салфетки, зато грудь и бедра пышные. Мне сначала показалось, что эти девушки близнецы, может быть оттого, что одеты они были совершенно одинаково: клетчатые юбочки, черные вязаные кофточки, красные туфли и красные сумочки.

Серафино встал и очень торжественно представил нас друг другу:

- Мой друг Марио, продюсер; синьорина Ирис, синьорина Мимоза.

Теперь, когда они уселись, я смог лучше разглядеть их. По той предупредительности, которую Серафино проявлял к Ирис, я понял, что он выбрал ее для себя, а Мимоза предназначалась мне. Нет, они не были близнецами. Мимозе, казалось, было за тридцать, и лицо у нее было более изможденным, нос длиннее, рот шире и подбородок выдавался больше, чем у Ирис, она была даже, пожалуй, некрасива. Зато Ирис было лет двадцать, и она была очень мила. Я заметил также, что руки у обеих красные и потрескавшиеся - руки работниц, а не синьорин. Между тем Серафино, который с их приходом словно совсем поглупел, завязал галантный разговор: ему так приятно снова увидеть их, как чудесно они загорели, где они провели лето?..

Мимоза начала было:

- В Вен... - но Ирис ее перебила:

- В Виареджо.

Девушки переглянулись и начали смеяться.

- Почему вы смеетесь? - спросил Серафино.

- Не обращайтесь внимания, - сказала Мимоза, - моя сестра такая глупенькая... Сначала мы были в Венеции, остановились там в отеле, а потом уже в Виареджо, на своей собственной вилле.

Я понял, что она лгала, так как, говоря это, она опустила глаза. Она, так же как и я, не умела лгать, глядя прямо в глаза. Мимоза продолжала непринужденным тоном:

- Синьор Марио, вы продюсер... Серафино говорил, что вы сделаете нам пробу.

Я был озадачен и посмотрел на Серафино, но тот поспешил отвернуться. Тогда я сказал:

- Видите ли, синьорина... Проба - это нечто вроде маленького фильма, ее нельзя провести без необходимой подготовки. Нужны режиссер, оператор, нужна киностудия... Серафино ничего в этом не смыслит... Но, может быть, на этих днях...

- На этих днях - это значит никогда.

- Нет, синьорина! Уверю вас...

- Ну, будьте так добры, сделайте нам пробу сейчас!

Она старалась очаровать меня, взяла за руку, прижалась к моему плечу. Я понял, что Серафино вскружил им голову этой выдумкой, и попытался еще раз втолковать ей, что пробу нельзя провести так сразу, без всякой подготовки. Постепенно это до нее дошло, и она отпустила мою руку. Потом обратилась к сестре, болтавшей с Серафино:

- Я тебе говорила, что все это выдумки... Ну что мы будем делать? Пойдем домой?

Ирис, не ожидавшая такого конца, была огорчена. Она сказала в замешательстве:

- Но мы можем провести с ними время... до вечера.

- Разумеется! - подхватил Серафино. - Проведем время вместе... покатаемся на машине.

- У вас есть машина? - спросила Мимоза, почти примиренная.

- Да, вон она.

Девушка посмотрела в том направлении, куда он показывал, увидела машину и сразу переменяла тон:

- В таком случае поедem кататься... В кафе мне скучно.

Мы все поднялись. Ирис пошла вперед с Серафино, а Мимоза, подойдя ко мне, спросила:

- Вы на меня не обиделись?.. Знаете, нам столько уже давали всяких обещаний! Значит, вы сделаете мне пробу?

Итак, все мои разъяснения ни к чему не привели: она во что бы то ни стало хотела, чтобы я сделал пробу. Я ничего не ответил и сел рядом с ней в машину на заднее сиденье, а Серафино и Ирис уселись впереди.

- Куда мы поедem? - спросил Серафино.

Теперь Мимоза опять прильнула к моему плечу, взяла мою руку и стала пожимать ее. Она тихо упрасивала:

- Ну будьте же добрым, скажите ему, чтобы он поехал на киностудию, и сделайте нам пробу...

От злости я с минуту не мог ничего выговорить, а она воспользовалась моим молчанием и добавила вполголоса:

- Если вы сделаете мне пробу, я обещаю поцеловать вас, слышите?

Тут меня осенило вдохновение и я предложил:

- Поедemте к Серафино... У него великолепная квартира... Там я разгляжу вас обеих получше и скажу вам, стоит ли вообще устраивать эту пробу.

Я увидел, как Серафино метнул на меня взгляд, исполненный укора: машину хозяина он выдавал за свою, но в дом хозяина он еще никого не осмеливался приглашать. И действительно, он стал возражать:

- Не лучше ли совершить хорошую прогулку?

Однако девушки, в особенности Мимоза, настаивали:

- Никаких прогулок, надо договориться о пробе.

Серафино поневоле пришлось согласиться, и мы на полной скорости помчались в район Париоли, где находился дом его патрона. Всю дорогу Мимоза не переставая ластилась ко мне, говорила со мной тихим, нежным, вкрадчивым голосом. Я не слушал ее, но до меня все время долетали через короткие промежутки одни и те же слова, словно кто-то гвоздь вколачивал: "Проба... сделайте пробу!.. Сделаем пробу?.."

Вот наконец и Париоли с его малолюдными улицами и роскошными особняками - сплошные балконы да зеркальные стекла. А вот и вилла хозяина Серафино: подъезд отделан черным мрамором, лифт - весь красное дерево и зеркала. Мы поднялись на третий этаж. Здесь было темно, пахло нафталином и нежилым помещением. Серафино предупредил:

- Мне очень неприятно, но я долго был в отсутствии, и квартира в полном беспорядке.

Вошли в гостиную. Серафино открыл окна. Сели на диван, покрытый серым чехлом, напротив пианино, завешанного простынями, сколотыми английскими булавками. Я приступил к исполнению своего плана.

- Теперь вы обе ходите немного по гостиной, а мы с Серафино посмотрим на вас. И тогда я решу, стоит ли делать пробу.

- А ноги мы должны показывать? - спросила Мимоза. - Нет, не нужно... Просто пройдитесь несколько раз, и все.

Они послушно стали прохаживаться перед нами взад и вперед по натертому паркету. Нельзя было, конечно, отрицать, что эти девушки с пышной шевелюрой, развитыми бедрами и грудью и тонкими талиями изящны. Но я заметил, что ноги у них, так же как и руки, были большие и грубые. А икры чуть искривлены, некрасивой формы. В общем, девушек такого рода продюсеры не берут даже в статистки. Между тем Ирис и Мимоза продолжали расхаживать перед нами. И всякий раз, встречаясь посередине гостиной, они начинали хохотать. Внезапно я крикнул:

- Стоп! Довольно, садитесь.

Они сели и уставились на меня в тревожном ожидании. Я коротко и сухо объявил:

- Очень сожалею, но вы не годитесь.

- А почему?

- Сейчас я вам объясню, почему, - начал я серьезным тоном. - Для моего фильма мне не нужны девушки изящные, воспитанные, изысканные, аристократичные, вроде вас... Мне нужны простые девушки из народа... такие девушки, которые при случае могут даже выругаться, которые ходят с вызывающим видом; словом, грубые, плохо воспитанные, неотесанные... А вы дочери инженера, барышни из хорошей семьи... Вы мне не подходите.

Я посмотрел на Серафино: он сидел, откинувшись на спинку дивана, и казался совершенно сбитым с толку. Однако Мимоза не сдавалась:

- Но в чем же дело?.. Мы можем изобразить этих девушек из народа.

- Ничего не выйдет. Есть вещи, которые нельзя изобразить, они должны быть врожденными.

Наступило короткое молчание. Я закинул удочку и не сомневался, что рыбка клюнет. И в самом деле, спустя минуту Мимоза поднялась, подошла к сестре и что-то зашептала ей на ухо. Сначала та как будто с ней не соглашалась, но в конце концов, по-видимому, она уступила. Тогда Мимоза подбоченилась, в развалку подошла ко мне и пихнула меня в грудь, говоря:

- Эх ты, простофиля! Ты думаешь, с кем ты имеешь дело?

Было бы неверно сказать, что она преобразилась: просто-напросто она стала сама собой. Я ответил смеясь:

- С дочерьми инженера-путейца.

- А вот и нет! Мы как раз то, что тебе требуется... Девушки из самых низов... Ирис служит прислугой, я - сиделкой.

- А собственная вилла в Виареджо?

- Никакой виллы нет. Купаться и загорать мы ездили в Остию.

- Но зачем же вы тогда лгали?

Ирис простодушно призналась:

- Я не хотела... но Мимоза сказала, что надо пустить пыль в глаза.

А Мимоза рассудительно заметила:

- Если бы мы не лгали, синьор Серафино не представил бы нас вам... Значит, ложь была на пользу... Ну, так как же теперь с пробой?..

- Мы ее уже сделали, - ответил я со смехом, - и она показала, что вы обе - славные простые девушки из народа... Но... откровенность за откровенность: я тоже вовсе не продюсер, а простой оператор и фотограф... а Серафино совсем не синьор, которого он из себя разыгрывает, а всего-навсего шофер.

Должен сказать, что Мимоза превосходно выдержала этот удар:

- Ну что ж! Я и ожидала чего-нибудь в этом роде, - сказала она меланхолично. - Нам не везет... Если у нас и появляется какой-нибудь знакомый с машиной, то он оказывается шофером... Пойдем, Ирис.

Тут Серафино очнулся от своего оцепенения.

- Подождите... Куда вы?

- Мы уходим, синьор обманщик.

Мне вдруг сделалось ужасно жалко их обоих; в особенности Ирис, такую хорошенькую. Она казалась очень огорченной, и на глазах у нее были слезы. Тогда я предложил:

- Послушайте... мы все четверо лгали... Так погребем нашу ложь под общей могильной плитой и пойдемте все вместе в кино... Что вы на это скажете?

Завязался спор. Ирис готова была согласиться. Но Мимоза, все еще сердившаяся на нас, упорно отказывалась. Серафино совсем пал духом, у него не хватало мужества их упрашивать. Но мне в конце концов удалось уговорить Мимозу.

- Я не продюсер, а фотограф и оператор, - сказал я ей. - Но я могу представить Ирис одному моему знакомому - помощнику кинорежиссера. Моя рекомендация, конечно, не бог весть что, но все-таки... Вы, Мимоза, не годитесь, а Ирис, может быть, и подойдет.

Итак, мы отправились в кино, но только уже не на автомобиле, а на автобусе. И в кино Ирис прижималась к Серафино, который, хотя и был лгун и всего лишь шофер, все же ей нравился. А Мимоза упорно твердила все о том же. В перерыве между фильмами она мне сказала:

- Я для Ирис вроде матери... Не правда ли, она красивая девушка? Смотрите, вы дали обещание и должны его сдержать... Горе вам, если не сдержите!

- Давать обещания и сдерживать их - не в правилах порядочных людей, пошутил я.

- Вы дали обещание и вы его сдержите, - повторила она. - Ирис должны сделать пробу и сделают ее.

Пень

Теперь, встречаясь со мной на улице, Пеппино не здоровается и обходит меня стороной, а было время - мы с ним дружили. Тогда он как раз начал хорошо зарабатывать, бойко торгуя в своем магазине электроприборов. Я был его другом, но не потому, что у него водились деньги, а просто так, без всякой корысти, друг - и все тут. Между прочим, мы вместе отбывали военную службу.

Маленький, широкоплечий, Пеппино твердо ступал своими короткими ножками, чеканя шаг, держа туловище и голову совершенно прямо, как будто все - и торс, и голова - были у него из дерева. Лицо его тоже казалось деревянным - туго натянутая кожа была словно отутюжена, зато когда он смеялся или, шурясь, всматривался в даль, на ней появлялось множество мелких старческих морщинок.

Даже тот, кто совсем не знал его, не мог не заметить, что на лице у него словно было написано: я пень, - а похож на пень он был удивительно. Мне вспоминается, что однажды, когда мы втроем гуляли в кедровой роще во Фреджене - я, он и одна девушка, - она, как обычно, подшучивая над ним, сказала, показывая на землю:

- Смотри... смотри, как тут много Пеппино.

Я сразу же понял ее и засмеялся, а он - ни дать ни взять пень спросил:

- Я не понимаю, что ты хочешь сказать? Она, сохраняя серьезность, ответила:

- Сколько здесь пней, смотри, сплошные Пеппино, ну, пни.

Но кроме того, что Пеппино походил на пень, за ним водился еще один недостаток - тщеславие. Обычно пни не бывают тщеславны, а, наоборот, непритязательны, скромны, серьезны, без причуд и никому не надоедают. Пеппино же был тщеславен. Ну да тщеславен - это бы еще ничего. Ведь если человек просто тщеславен, то он скорее смешон, чем вреден, тщеславные люди похожи на младенцев. Но тщеславный пень - это уж просто беда, которой нужно остерегаться пуще дурного глаза. Короче говоря, Пеппино, этот пень, проявлял свое тщеславие чаще всего по пустякам. Вот, например, пришли мы с ним в бар возле Ротонды, где мы часто бываем с приятелями, а он ни с того ни с сего давай тыкать в нос то одному, то другому конец галстука, приговаривая:

- Видишь, какой галстук! До чего хорош!.. Я его купил вчера в магазине на виа Дуэ



Мачелли... за тысячу пятьсот лир... Погляди, какая расцветка... Да еще на подкладке... - и пошел, и пошел. Приятели бросят на секунду взгляд на галстук, лишь бы его не обидеть, да снова за разговоры о своих делах. Но разве его этим проймешь? Он все время бегал от одного к другому, вертя между пальцами кончик галстука, будто собирался его продавать. Одним словом - настоящий пень.

Однажды в баре Пеппино торжественно объявил, что заказал на заводе в Турине автомашину и получит ее через четыре месяца. Мои друзья - всё народ стреляный, не вчера на свет родились и машин на своем веку повидали достаточно. Можете себе представить поэтому, какой им был интерес слушать малыша Пеппино, когда тот, как всегда дотошно, принялся объяснять:

- Поскольку у меня есть приятель в агентстве, а он родственник родственника директора в Турине, я смогу получить машину через четыре месяца... Иначе мне пришлось бы дожидаться неизвестно сколько... Их выпускают вдвое меньше, чем требуется... Но моя машина будет совсем особенная.

- А что, - спросил кто-то из стоявших у стойки, потягивая аперитив, разве у нее будет пять колес?

У Пеппино была еще одна черта: он не понимал шуток.

- Конечно, у нее будет пять колес... четыре и одно запасное... Но она особенная потому, что у нее будет новая форма кузова... его уже много лет конструировали в Турине, и, представьте себе, такую машину первый получу я.

И тут он пустился в бесконечные объяснения, держа своего собеседника за лацкан пиджака, словно опасаясь, как бы тот не удрал. Один из присутствующих, не утерпев, сказал спокойно, чуть ли не с сочувствием:

- Пеппино, да нам-то какое дело до всего этого?

Растерявшись, тот пробормотал:

- Я думал, что вам интересно...

Потом, обернувшись и увидев, что я стою в стороне один, подошел ко мне со словами:

- Чезаре, как только я получу машину, увидишь, мы часто будем на ней кататься... Скажи правду, Чезаре, ты ведь ждешь не дождешься того часа, когда у меня будет машина, чтобы вволю покататься?

- Поживем - увидим, - сухо ответил я.

А он, повернувшись к приятелям, продолжал:

- Я пообещал Чезаре, что как только раздобуду машину, покатаю его... Уж я такой, не люблю один получать удовольствие... Только ты, Чезаре, не должен злоупотреблять этим... Я тебя охотно покатаю, но не воображай, что я стану твоим шофером... Что вы все на это скажете? Прав я? Друг - одно дело, а шофер - совсем другое... Прав я?

- Ты прав, как никогда, - отвечал один из приятелей, прикинувшись дурачком. - Чего доброго, Чезаре уже вообразил, что станет тебя эксплуатировать... Поэтому лучше заранее договориться.

- Уговор дороже денег... В конце концов, машина ведь моя. Я хочу доставить тебе удовольствие, но вовсе не хочу, чтобы это вошло у тебя в привычку... Прогулки и все такое.

Наконец, разозлившись, я заявил:

- Да по правде сказать, Пеппино, мне на твою машину ровным счетом наплевать, - но тут же раскаялся в своих словах, потому что на лице Пеппино отразились обида и растерянность. Хлопнув меня по плечу, он сказал:

- Да полно, не сердись, дружище, я ведь это сказал так, шутки ради... Вот увидишь, машина будет служить больше тебе, чем мне.

И при этом он смотрел на меня с таким озабоченным, почти испуганным видом, что я даже пожалел его и сказал, что мы договорились и, как только машина прибудет, мы совершим вместе славную прогулку по окрестностям Рима.

Не думал я тогда, что он поймает меня на слове; но, как известно, у пней хорошая память. Ровно через четыре месяца он позвонил мне утром по телефону:

- Она уже здесь!

- Кто?

- Очень уж хороша... Сейчас заеду за тобой, и мы вместе отправимся завтракать в Браччано.

- Да кто? Неужели та самая девушка?..

- Да какая там девушка... Машина... Значит, через минутку я буду у тебя... Будь наготове.

И в самом деле, вскоре Пеппино был тут как тут, но на самой обычной малолитражке, каких в Риме тысячи. Он вылез, наклонился, осмотрел машину и наконец с ликующим видом подошел ко мне.

- Ну как твое мнение?

- Скажу, - ответил я сухо, - что машина недурна.

- Да ты только взгляни сюда, - он схватил меня за руку, потащил к машине и пустился в объяснения. Послушал я его минут десять и перебил:

- Кстати, Пеппино... сегодня я никак не смогу поехать в Браччано... у меня дела.

Лицо его выразило искреннее огорчение:

- Но ведь ты мне обещал... Нехорошо подводить.

Словом, прилип, как смола, и я сдался - скорее от изнеможения. Но он сразу же разозлил меня, предупредив перед самым выездом:

- Да ты поосторожней... Не упирайся всеми своими лапищами в пол, неужели ты не видишь, что расшатываешь мне сиденье?

Я сдержался и ничего не ответил. И так, мы отправились. Мы выехали из Рима и взяли направление на Кассию. Поскольку машина была еще на ограничителе, Пеппино вел ее медленно, примерно со скоростью тридцать километров в час, и так бережно придерживал двумя руками руль, словно это была талия невесты. Солнце жгло немилосердно, и казалось, что камни на дороге раскаляются от жары. Пеппино, как я уже сказал, державшийся за руль со всей осторожностью, принялся, конечно, говорить со мной о машине: для того он меня и повез.

Тем, кто не знаком с Пеппино, надо знать, что говорит он монотонным, немного гнусавым голосом, ни громким, ни тихим, наводящим на мысль о медленно стекающем цементном растворе, тягучем и жидким, который, застыв, становится твердым, как железо. Мало-помалу этот голос наполняет ваш мозг такой скукой, что голова делается тяжелая, как жернов, и человека начинает неудержимо клонить ко сну. Так произошло и со мной. Пока он говорил, рассказывая мне что-то своим гнусавым голосом о коробке скоростей, у меня отяжелела голова и в конце концов я заснул. Проснулся я от рева автомобильных гудков и криков. Машина стояла перед шлагбаумом, и из окошек выстроившихся за нами грузовиков и легковых машин высывались сердитые физиономии шоферов. Пеппино, как всегда нудно, объяснял:

- Я ехал по правой стороне, просто улица узкая.

- Нет, синьор, ты ехал не по правой стороне, а посреди улицы и полз, как улитка.

- Сонная муха! - кричал ему какой-то шофер грузовика. - И кто только подпустил такого к рулю?

Весь потный, я с трудом вылез из автомобиля и тогда только увидел, что позади нас вырос целый хвост легковых и грузовых машин. Пока я спал, Пеппино с досады не давал проехать всем этим несчастным, вынуждая их тащиться под палящим солнцем со скоростью тридцать километров в час. По счастью, прошел поезд и шлагбаум поднялся.

Я сказал Пеппино, забираясь в машину:

- Теперь шутки в сторону, пропусти их, а не то нам плохо придется.

Видели ли вы когда-нибудь, как выбегают из школы ребята, когда у них кончились уроки? Вот так же, словно с цепи сорвавшиеся, рванулись по улице, едва лишь мы отъехали в сторону, все эти автомобили и грузовики, обдавая нас облаком пыли и дыма.

Ну так вот, только к трем часам прибыли мы в Ангуиллара и тут же пошли в

тратторию, что возле самого озера. Жара стояла невыносимая, и озеро между высохшими, желтыми, как солома, берегами казалось почти белым от поднимающихся испарений.

Солнце обжигало потное лицо Пеппино, а он продолжал говорить о своей машине все тем же размеренным голосом, доводившим меня до изнеможения. Потеряв от жары и скуки всякий аппетит, я налег на вино. Оно было, по крайней мере, холодное, прямо из погреба, хоть и с каким-то непонятным металлическим привкусом, - хотелось пить его снова и снова, чтобы определить, что же это такое... Я выпил пол-литра, потом еще и еще, Пеппино же все говорил и говорил о своей машине. Наконец, изрядно напившись, я после целого часа молчания произнес свои первые слова:

- Ну что ж, поехали?

Пеппино огорченно ответил:

- Да, поедem... Хочешь, отправимся в объезд, к озеру Вико?

- Помилуй... поедem кратчайшим путем... Мне нужно пораньше вернуться в Рим.

Мы снова выехали на римское шоссе. На каком-то перекрестке красивая девушка-блондинка жестом попросила нас подвезти ее. Я сказал Пеппино:

- Стой, возьмем ее с собой.

А он в ответ:

- С ума ты спятил! Я никому не позволю пачкать машину... Малейшая случайность - и можно испортить сиденье, да к тому же нам и одним не плохо.

Я ничего не ответил, но почувствовал, что теперь, особенно после выпитого вина, моя неприязнь к нему укрепилась окончательно и я уже не смогу больше сдерживаться.

Тем временем мы, с божьей помощью, добрались до Рима. Он продолжал разглагольствовать, а я подремывал. Пеппино захотел подвезти меня к дому. Я живу на бульваре Реджина, и Пеппино отправился по виа Венето, которую в это время уже начал заполнять народ. Внезапно шедшая впереди нас машина с французским номером резко затормозила, и Пеппино, ехавший следом за ней, загнал свой передний бампер на задний бампер этой машины. Он тут же вылез, внимательно изучил, что произошло, и подошел к дверце французской машины. В ней сидела одна лишь молодая и изящная блондинка, ее руки с накрашенными ногтями лежали на руле.

- Синьора, пожалуйста ваши права, номер машины, фамилию, - начал Пеппино, вынимая записную книжку и карандаш. - Поймите же, не для того я покупал машину, чтобы вы мне ее ломали. Вы причинили мне ущерб в тысячу лир... Кто мне его возместит? Я купил машину только сегодня утром, новенькую с иголки, совсем не для того, чтобы вы мне ее уродовали.

Понятно, такого рода происшествие давало ему повод не скупиться на слова, и тут уж было ясно видно, какой это дотошный и нудный человек.

- Да ты бы сначала попробовал расцепить машины! - закричал не лишенный здравого смысла молодой человек из обступившей нас толпы бездельников.

И он был прав - это было пустяковым делом: чтобы расцепить машины, Пеппино достаточно было бы дать задний ход. Но Пеппино понял его слова на свой лад.

- Отцепите мою машину, - принялся он кричать повелительным тоном. Отцепите мою машину... Отцепите ее, коли вы такой прыткий.

Толпа росла и поглядывала на нас недружелюбно. Француженка, ничего не понимая, смотрела на Пеппино и улыбалась.

Пеппино настаивал:

- Синьора, прошу, прошу: ваша фамилия, ваши права, номер машины?

- И сколько лет, и есть ли дети, - выкрикнул чей-то голос из толпы.

- Да ты сначала попробуй отцепить машину, - опять закричал первый голос.

А Пеппино, совершенно обнаглев:

- Я вам уже сказал, отцепите мне ее. Давайте принимайтесь за дело. Вы, верно, механик, коли разбираетесь в этом лучше меня.

Тогда, подойдя ближе, высоченный здоровый парень поднес к самому носу Пеппино

кулак и сказал:

- Никакой я не механик... а чемпион по вольной борьбе.

- Тем лучше, вы с вашей силой наверняка сможете отцепить машину.

Дело для Пеппино могло бы принять дурной оборот, не окажись здесь я. Я крикнул:

- А ну ребята, взяли, приподнимем машину... Это же пустячное дело.

Сказано - сделано: мы взялись впятером - машина Пеппино была легонькой - и разом отцепили ее от французской машины. Потом я повернулся к Пеппино и сказал:

- Теперь бери книжку и пиши.

- Что с тобой... ты с ума спятил?

- Говорю тебе, пиши: я - пень, надоедливый и докучный... Пиши, пиши.

Послышался громкий смех и даже свистки. Пеппино с записной книжкой в руке стоял словно потерянный. Я добавил:

- А теперь садись в свою машину и убирайся отсюда.

На этот раз он послушался, сел в машину и поспешно уехал. Собравшаяся толпа проводила его криками. Французенка тоже уехала. Я перешел улицу и направился в бар пропустить рюмочку аперитива.

Девушка из Чочарии

Когда профессор настаивал, я не раз говорил ему:

- Смотрите, профессор, это ведь простые девушки... Деревенщина... Подумайте, что вы делаете... Лучше вам взять римлянку... Крестьянки из Чочарии - неотесанные и неграмотные.

Последнее обстоятельство особенно нравилось профессору.

- Неграмотная!.. Этого-то мне и надо... По крайней мере, не будет читать комиксы... Неграмотная!

Профессор, старик с острой бородкой и седыми усами, преподавал в лицее. Но главным предметом его занятий были руины. Каждое воскресенье, а также и в другие дни недели он бродил по виа Аппиа, по римскому Форуму, по термам Каракаллы и ворошил развалины древнего Рима. Квартира его была битком набита археологическими и всякими другими книгами и напоминала книжную лавку. Начиная с прихожей, где они были свалены грудой за зеленой занавеской, книги занимали всю квартиру - коридоры, комнаты, кладовки. Не было их только на кухне и в ванной.

Профессор берег свои книги, как зеницу ока, и горе тому, кто к ним прикасался. Невозможно себе представить, чтобы он мог их все прочитать. И все-таки, как говорим мы в Чочарии, он никак не мог набить себе брюхо: когда он не был занят в лицее и не давал уроков на дому или не изучал развалины, то обычно отправлялся к букинистам - порыться в их тележках - и всегда возвращался домой со связкой книг под мышкой. Словом, профессор коллекционировал книги, как мальчишки коллекционируют марки. Почему он так упорно хотел взять себе служанку из моей деревни - это мне было совершенно непонятно. Профессор говорил, что деревенские девушки честнее и что голова у них не забита всякой дурью. Говорил, что его веселят румяные, словно яблочко, щеки крестьянок, что они хорошо готовят. Короче говоря, так как не проходило дня, чтобы профессор не заглянул ко мне в швейцарскую, упорно требуя неграмотную девушку из Чочарии, я написал домой своему куманьку. Он ответил, что у него есть как раз то, что требуется: девушка из Валлекорса, зовут ее Туда и ей нет еще двадцати. Но, писал мне в своем письме кум, у Туды есть один недостаток: она не умеет ни писать, ни читать. Тогда я ему ответил, что это именно то, что надо профессору: неграмотная девушка.

И вот в один прекрасный вечер Туда вместе с моим кумом приехала в Рим, и я пошел на вокзал встретить ее. С первого же взгляда я понял, что Туда настоящая чочарка, из тех, что целый день без усталости могут вскапывать землю мотыгой и носить по горным тропинкам на голове корзину весом в полцентнера. У Туды были розовые щеки, которые так нравились профессору, косы вокруг головы, черные, сходящиеся на переносице брови, круглое лицо, а когда она смеялась, во рту у нее сверкали очень ровные, белые зубы - в Чочарии женщины чистят их листьями мальвы. Правда, одета она была не как чочарка, но походка у нее была

как у всех наших крестьянок - она ставила на землю всю ступню и не носила туфель на высоких каблуках. У нее были мускулистые икры, которые так хороши, когда вокруг них завязаны шнурки от сандалий.

Туда держала под мышкой корзину; она сказала, что это для меня. В корзинке на соломе лежала дюжина свежих яиц, прикрытых листьями смоковницы. Я посоветовал ей отдать подарок профессору: это произведет на него хорошее впечатление. Туда ответила, что она не подумала о профессоре, ведь он синьор и, конечно, у него имеется собственный курятник. Я рассмеялся; пока мы ехали домой на трамвае, я расспросил ее о том о сем и понял, что Туда настоящая дикарка: она никогда не видела поезда, трамвая, шестиэтажных домов. Словом, как и хотелось профессору, она была необразованная.

Мы приехали домой; сначала я провел Туду в швейцарскую, чтобы познакомить ее с моей женой, а потом мы поднялись на лифте к профессору. Он открыл нам сам, потому что у него не было прислуги - обычно моя жена убирала его квартиру, а иногда и готовила ему обед. Едва мы вошли, как Туда сунула профессору корзинку со словами:

- Держи, профессор, я привезла тебе свежих яиц.

Я сказал ей:

- Профессору не говорят "ты".

Но профессор подбодрил Туду, сказав:

- Ничего, девочка, обращай ко мне на "ты".

Профессор объяснил мне, что это ее "ты" шло от древних римлян, что древние римляне, так же как чочарцы, не знали обращения на "вы" и обходились друг с другом запросто, словно все они были одна большая семья.

Потом профессор провел Туду на кухню. Кухня у него была большая, с газовой плитой, алюминиевыми кастрюлями и всем, что требуется. Он разъяснил Туде, как этим пользоваться. Туда выслушала все молча и серьезно. Потом звонко сказала:

- А я не умею готовить.

- Но как же? - сказал растерянно профессор. - Мне говорили, что ты умеешь готовить.

Туда сказала:

- В деревне я работала... Копала землю мотыгой... Конечно, я готовила, но только лишь бы поесть... Такой кухни у меня никогда не было.

- А где ты готовила?

- В шалаше.

- Ну что же, - сказал профессор, теребя бородку, - мы здесь тоже готовим - лишь бы поесть... Допустим, что тебе надо приготовить мне обед... Что ты сделаешь?

Туда улыбнулась и сказала:

- Я сделаю тебе макароны с фасолью... Потом ты выпьешь стакан вина... Ну, потом можешь съесть еще несколько грецких орехов и немного фиг.

- И это все... Никакого второго?

- Как так второго?

- Говорю, никакого второго блюда... рыбы, мяса? Туда весело расхохоталась:

- Макарон с фасолью и хлеба тебе мало?.. Чего же тебе еще?.. Я съедала тарелку макарон с фасолью и хлебом и копала землю целый день... А ведь ты не работаешь.

- Я занимаюсь, пишу, я тоже работаю.

- Вот именно - занимаешься... А мы работаем по-настоящему.

Короче, Туда никак не хотела согласиться, что надо готовить, как говорил профессор, "второе". Наконец, после долгих споров, было решено, что моя жена некоторое время будет приходить и учить Туду готовить. Потом мы прошли в комнату для прислуги. Это была хорошая комната, выходящая во двор, с кроватью, комодом и шкафом. Оглядевшись вокруг, Туда сразу же спросила:

- Я буду спать одна?

- А с кем бы ты хотела спать?

- В деревне мы спим по пять человек в комнате, - Нет, эта комната только для тебя.

Я ушел, наказав Туде быть старательной и хорошо работать, потому что я отвечаю за нее и перед профессором и перед своим кумом, который ее рекомендовал. Уходя, я слышал, как профессор объяснял ей:

- Смотри, ты должна ежедневно метелочкой и тряпкой стирать пыль со всех этих книг.
- Что ты делаешь с этими книгами? - спросила Туда. - На что они тебе?
- Книги для меня то же, что для тебя мотыга... Они нужны мне для работы.
- Но мотыга-то у меня только одна.

Начиная с этого дня профессор, проходя мимо швейцарской, всякий раз сообщал мне какую-нибудь новость о Туде. Сказать по правде, профессор не был в большом восторге. Однажды он пожаловался мне:

- Неотесанная она, совсем неотесанная... Знаете, что она вчера сделала? Взяла с моего стола листок бумаги - работу моего ученика - и заткнула ею бутылку с вином.
- Профессор, - сказал я, - ведь я предупреждал вас... Деревенская девушка...
- Да, - согласился он, - но все-таки она милая девочка... Добрая, услужливая... очень милая девочка.

Прошло некоторое время, и эта милая девочка, как ее называл профессор, стала настоящей городской девицей. Получив жалованье, она начала с того, что сшила себе модное платье и стала похожа на настоящую синьорину. Потом купила туфельки на высоком каблуке. Потом сумочку под крокодилову кожу. Потом - и это было уж совсем напрасно - отрезала косу. Правда щеки у нее по-прежнему были румяные, как два яблока; они не могли так скоро стать бледными, как у девушек, родившихся в городе, и это как раз нравилось в ней не одному профессору. Когда я первый раз увидел ее с этим мерзавцем Марио, шофером синьоры с четвертого этажа, я сразу же сказал ей:

- Смотри, этот тебе не пара... А то, что он говорит тебе, он повторяет всем девушкам.

Туда ответила:

- Вчера он возил меня на машине в Монте-Марио.

- Ну и что же?

- Хорошо прокатиться на машине... А посмотри, что он мне дал, - и она показала булавку из белого металла со слоненком, какие продают галантерейщики на рынке Кампо деи Фьори.

Я сказал ей:

- Ты глупая и не понимаешь, что он тебя водит за нос... Кроме того, ему не следовало бы без спросу катать тебя на машине... Если об этом узнает синьора, ему достанется. И потом - будь осторожна, еще раз говорю тебе будь осторожна.

Но Туда только улыбнулась и продолжала гулять с Марио.

Прошло две недели. И вот однажды профессор заглянул ко мне в швейцарскую, отозвал меня в сторону и, понизив голос, спросил:

- Послушайте, Джованни... Туда честная девушка?

- Да, конечно, - сказал я. - Глупая, но честная.

- Пусть так, - заметил он, не слишком убежденный, - но у меня пропало пять ценных книг... Мне не хотелось бы...

Я еще раз решительно заявил, что Туда тут ни при чем и что книги, конечно, найдутся. Но признаюсь, все это меня встревожило, и я решил быть начеку. Однажды вечером, несколько дней спустя, я увидел, как Туда вместе с Марио входит в лифт. Марио сказал, что ему нужно поехать на четвертый этаж, чтобы узнать, каковы будут приказания синьоры. Он врал, синьора ушла час назад, и Марио это было известно. Я позволил им подняться, а потом поднялся сам на лифте и направился прямехонько к квартире профессора. Случайно они оставили дверь полуоткрытой. Я проник туда, прошел по коридору. Их голоса доносились из кабинета - значит, я не ошибся. Я осторожно заглянул в дверь - и что же я увидел? Марио влез на придвинутое к книжному шкафу кресло и шарил рукой по стоящим под самым потолком книгам. А она, эта краснощекая святоша, придерживала кресло и говорила:

- Вот ту, наверху... Ту, что потолще... в кожаном переплете.

Тогда я сказал, выходя из засады:

- Ай да молодчина! Молодцы и только!.. Попались голубчики!.. А я еще не поверил профессору, когда он мне сказал... Ну что за молодцы!..

Видели ли вы когда-нибудь кота, на которого вылили из окна ведро воды? Вот так же и Марио - услышав мой голос, он спрыгнул с кресла и удрал, оставив меня одного с Тудой. Я начал распекать ее и так и этак; другая бы на ее месте разревелась. Но нет - от чочарки этого не добьешься. Туда выслушала меня, опустив голову и не проронив ни звука. Потом подняла на меня глаза - в них не было ни слезинки - и сказала:

- А кто у него воровал? Я всегда приношу назад сдачу от денег, которые он дает мне на покупки... Никогда я не говорю, как некоторые кухарки, что заплатила за что-нибудь вдвое больше, чем на самом деле.

- Несчастливая... а книги ты не крала? Или это не называется воровством?

- Но ведь книг-то у него очень много.

- Много или мало, а ты не должна к ним прикасаться... Берегись! Если я тебя еще раз поймаю, ты у меня в два счета вылетишь в деревню...

Упрямая башка, она так и не захотела мне поверить, она даже на секунду не допускала мысли, что совершила кражу.

Но вот несколько дней спустя Туда входит ко мне в швейцарскую с пачкой книг под мышкой и говорит:

- Вот они - книги профессора... Сейчас я ему их отнесу, и пусть он больше не жалуется.

Я сказал ей, что она поступила хорошо, а про себя подумал: в конце концов, Туда неплохая девушка, во всем виноват Марио. Я поднялся с ней на лифте и вошел в квартиру профессора, чтобы помочь ей поставить книги на место. В ту самую минуту, когда мы развязывали пакет с книгами, домой вернулся профессор.

- Профессор, - сказал я, - вот ваши книги... Туда их отыскала... Она давала их подруге посмотреть картинки.

- Хорошо, хорошо... Не будем больше об этом говорить...

Не снимая пальто и шляпы, профессор бросился к книгам, взял одну из них, раскрыл и вдруг закричал:

- Но это же не мои книги!

- То есть как не ваши?

- Те были книги по археологии, - говорил он, лихорадочно листая другие тома, - а это пять томов юриспруденции и к тому же разрозненных.

- Можно узнать, что все это значит? - спросил я у Туды.

На этот раз Туда решительно запротестовала.

- Пять книг взяла, пять книг и вернула. Что вы от меня хотите?.. Я заплатила за них много денег... больше, чем получила за проданные.

Профессор был так ошеломлен, что смотрел на меня и на Туду, открыв рот и не говоря ни слова.

- Погляди... - продолжала Туда. - Переплеты такие же... даже красивее... Посмотри... Даже весят столько же... Мне их взвесили... Они весят четыре с половиной кило, столько же, сколько твои.

На этот раз профессор рассмеялся, хотя и грустным смехом.

- Книги не вешают, как телят... Каждая книга отлична от другой... Что я буду делать с этими книгами?.. Ты понимаешь?.. Каждая книга рассказывает о своем. У каждой свой автор.

Но Туда не хотела ничего понимать. Она упрямо повторяла:

- Пять было, пять и есть... Те в переплетах и эти в переплетах... Знать ничего не знаю.

В конце концов профессор отправил ее на кухню, сказав:

- Иди готовить обед... Хватит... Я не желаю больше портить себе кровь.

Когда Туда ушла, он сказал:

- Мне очень жаль... Она милая девочка... Но слишком уж неотесанная.

- Такая, какую вы хотели, профессор.

- Mea culpa \*, - промолвил он.

\* Моя вина (лат.).

Туда еще некоторое время жила у профессора, подыскивая себе место; потом она устроилась судомойкой в молочную. Иногда она заходит навестить меня. О случае с книгами мы не говорим. Но Туда сказала мне, что учится читать и писать.

Римская монета

Была пятница и тринадцатое число. Но я не придавал этому никакого значения. Одежда, взял пятьдесят тысяч лир, которые был должен Оттавио, сунул их в карман и вышел из дому. Эти пятьдесят тысяч были долей Оттавио в одном дельце с фальшивыми бриллиантами, которое мы вместе обтяпали. Я должен был отдать их еще неделю назад.

Я ждал трамвая, и вдруг мне стало как-то ужасно досадно, что я должен отдавать деньги, которые оченьгодились бы мне самому. Оттавио ничем не рисковал. Он был хороший ювелир и просто поставлял мне товар. Я делал все сам и к тому же подвергался опасности угодить за решетку. Если бы меня сцапали, я, конечно, не выдал бы Оттавио. Я попал бы в тюрьму, а он по-прежнему спокойно работал бы в своем магазинчике и все так же сидел бы за стеклянной перегородкой с лупой в глазу. Мысль об этом не давала мне покоя. Садясь в трамвай, я почти решил, что не отдам ему ни гроша. Но это означало бы, что я не смогу больше прибегать к его помощи, а он был мастером своего дела; это означало бы также, что мне надо искать другого Оттавио, который может оказаться еще хуже. И потом это означало бы, что я, честный человек, не сдержал своего слова. Такого со мной еще никогда не случалось. И все-таки мне было очень жаль отдавать Оттавио эти деньги. Держа руку в кармане, я время от времени перебирал и ласково поглаживал ассигнации. Как-никак пятьдесят тысяч; когда я отдам их Оттавио, я выполню свой долг, но пятидесяти тысяч у меня не будет.

Меня одолевали сомнения. Вдруг я почувствовал, что кто-то трогает меня за локоть.

- Не узнаешь меня, Аттилио?

Это был Чезаре, неудачник из неудачников. Я познакомился с ним после войны, во времена черного рынка, он торговал сигаретами. Невидимому, он, как говорится, так и остался сидеть в той же позиции. Вид у него был еще более жалкий, чем когда-либо: залатанное, выцветшее пальто было застегнуто до самого подбородка, но все равно видно было, что шея у него голая - без воротника и галстука; голова не покрыта, а в растрепанных, запыхавшихся волосах, как мне показалось, было полно всякого мусора, которого набираешься, ночуя по баракам. Сказать по правде, на него страшно было смотреть,

- Как дела, Чезаре? - спросил я растерянно.

- Сойдем на минутку, - сказал он. - Мне надо поговорить с тобой.

Не знаю почему, у меня мелькнула надежда, что я найду способ оставить у себя деньги, которые я был должен Оттавио. Я кивнул в знак согласия и стал пробираться к выходу. Трамвай остановился у вокзального скверика, расположенного неподалеку от виа Вольтурно, и мы сошли.

Чезаре отвел меня в укромный уголок и прошамкал:

- Есть у тебя тысяча?

- Тысяча чего?

- Тысяча лир... Я не ел два дня.

- Bravo! - воскликнул я. - Ты попал в самую точку... А я-то только что думал, как бы мне лучше пристроить тысячу лир.

Он понял, что я над ним смеюсь, и сказал жалобно:

- Ладно, если не хочешь одолжить денег, то хотя бы помоги мне.

Я осторожно спросил, чем я могу помочь ему.

- Взгляни сюда, - сказал он.

Я опустил глаза и увидел на его ладони испачканную в земле позолоченную монету с изображением женщины.

- Помоги мне продать эту римскую монету... Выручку пополам.



Я посмотрел на него и, сам не знаю почему, громко расхохотался:

- Римская монета... Римская монета... Докатился до подделки римских монет... Ну и ну... Римская монета...

Чем чаще я повторял "римская", тем больше смеялся. А он угрюмо смотрел на меня, держа монету в руке. Наконец он спросил:

- Позволь узнать, над чем ты смеешься?

Я посмеялся еще немного, а затем ответил:

- О таком деле не стоит и говорить.

- Почему?

- А потому, дорогой мой, что теперь даже дети знают, что такое эти римские монеты...

Времена римских монет прошли.

Покорно положив монету в карман, Цезаре попросил:

- Одолжи мне тогда хотя бы двести лир.

В эту минуту я снова вспомнил об Оттавио и о деньгах, которые должен ему отдать. У меня теперь появилась надежда возместить их. В конце концов, чуть не каждый день читаешь в газетах о людях, которые попались на эти римские монеты. Почему бы эта штука не удалась и нам? Я сказал Цезаре:

- Мне жаль тебя... Я готов помочь... Но договоримся... Если засыпешься, ты меня не знаешь... Я - синьор, любитель древних монет... У меня есть деньги... Смотри.

Возможно, просто из чистого хвастовства я вытащил из кармана пачку ассигнаций и потряс ею у него под носом.

- У меня есть деньги, и что бы ни случилось, ты - жулик, а я тот, кого ты собирался обмануть... Договорились?

Он тут же с восторгом ответил:

- Договорились!

Я продолжал уверенно:

- Так вот, давай условимся, какую мы назначим цену за эту монету.

- Тридцать тысяч.

- Нет, тридцать тысяч - это мало... По меньшей мере шестьдесят... Сорок тысяч мне, двадцать тебе... Идет?

- Погоди, ведь мы же сказали пополам.

- Так ничего не выйдет.

- Ну ладно, двадцать тысяч.

- А теперь давай посмотрим, - продолжал я, - как нам лучше обделать это дельце...

Ты - землекоп... Рыл здесь котлован для нового вокзала... Нашел эту монету и спрятал... Ясно?

- Ясно.

- Монету сбываем так: я вмешиваюсь в разговор и говорю, что монета представляет большую ценность... Но надо найти имя какого-нибудь римского императора... Кого бы?

- Нерон.

- Нет, только не Нерон... Видишь, какой ты неуч... Кто же в Риме не знает Нерона?.. Это первый, кто приходит на ум... Надо другого.

Цезаре смущенно почесал подбородок.

- Я знаю только Нерона... О других я не слышал.

- Но римских императоров было очень много, - сказал я. - Не меньше сотни... Веспасиан, например, тот, что придумал писсуары... Неужели не знаешь?

- Ах, да - Веспасиан.

- Но Веспасиан тоже не годится... Пожалуй, поднимут на смех... Посмотри-ка, что написано на твоей монете... А ну дай мне ее.

Цезаре протянул мне монету, и я принялся ее разглядывать. На ней были какие-то стертые буквы: разобрать их было невозможно. Вдруг меня осенило:

- Каракалла... Тот, чьи термы... Понял? Каракалла.

- Пусть будет Каракалла.

- Значит, сделаем так... Разойдемся и будем держаться неподалеку друг от друга... Подходящего типа подыскиваю я... Когда я закашляю, значит, это он... И ты берешь его в оборот... Идет?

- Можешь не сомневаться.

Мы разошлись в разные стороны. Чезаре прохаживался по скверику, а я наблюдал за прохожими, стоя на тротуаре. Я знал, что в этом районе попадают приезжие из окрестностей Рима - народ грубый и неотесанный, но с туго набитыми бумажниками. Они считают себя бог весть какими пройдохами. Не спорю, может быть, у себя в деревне, среди овец каждый из них действительно молодец, но в Риме все они кажутся сосунками. Теперь они проходили мимо меня с мешками и чемоданами, но я никак не мог выбрать подходящую жертву. Чтобы не было скучно ждать и чтобы напустить на себя солидность, я вынул из пачки сигарету и закурил. Не знаю уж почему, но первая же затяжка попала мне не в то горло, и я закашлялся. А этот болван Чезаре тут же бросился к какому-то белобрысому малому, который уже несколько минут вертелся в скверике, и тронул его за локоть. Все случилось так быстро, что я не успел вмешаться.

Пока Чезаре что-то говорил, я присматривался к этому парню. Он был небольшого роста и одет по-крестьянски: на нем была широкая куртка с лисьим воротником, широкие вельветовые штаны коричневого цвета и желтые, забрызганные грязью сапоги. У него было бледное и остренькое лицо, коротко остриженные волосы и под рябоватым носом светлые усики. Вид у него был дошлый. Но, по счастью, он смахивал на деревенщину. Он слушал Чезаре с любопытством, пожалуй даже с интересом. Наконец Чезаре сунул руку в карман и вытащил монету. Настал мой черед. Я понял, что отступать уже поздно.

Парень разглядывал монету, вертел ее так и сяк, а Чезаре что-то ему втолковывал. Я подошел к ним и важно спросил:

- Простите за нескромность... Это случайно не римская монета?

Чезаре обалдело взглянул на меня, а парень тихо ответил:

- Похоже, что да.

- Разрешите взглянуть, - сказал я, - я в этом кое-что понимаю... Я антиквар... Разрешите...

Парень протянул мне монету, и я, притворяясь очень заинтересованным, принялся ее тщательно рассматривать. Потом повернулся к Чезаре и строго спросил:

- Где ты ее взял?

Надо сказать, что грязный и ободранный Чезаре очень хорошо подходил для своей роли. Он захныкал:

- Чего вы ко мне пристали... Я человек бедный.

- Ладно, ладно, - сказал я, - не бойся... Я не шпик... Мне ты можешь сказать. Где ты ее взял?

- Я землекоп, - ответил Чезаре все так же жалобно. - Я нашел эту монету здесь, рыл котлован для нового вокзала... Может, вы скажете, сколько она стоит?

- Стоить-то она, конечно, кое-что стоит... Это монета императора Каракаллы.

- Вот, вот, Каракаллы, - сказал Чезаре. - Кто-то уже называл мне это имя.

Настал решающий момент. Я сухо спросил:

- Сколько?

- Чего сколько?

- Сколько ты за нее хочешь?

- Давайте шестьдесят тысяч.

Это была та сумма, о которой мы договорились, но если бы Чезаре не был таким дураком, он не ляпнул бы ее сразу, а прежде спросил бы: "А сколько вы мне дадите?" - или что-нибудь вроде этого. Все так же решительно, как человек, не желающий упускать подвернувшийся счастливый случай, я сказал:

- Даю за нее пятьдесят тысяч... Идет?

Тем временем я поглядывал на парня, который, как мне показалось, заглотив приманку. И действительно, он тут же предложил:

- Даю на десять тысяч больше... Уступаешь мне?

Он сказал это мягко и как бы уговаривая. Чезаре поднял на меня глаза и произнес извиняющимся тоном:

- Знаете... он первый... Мне очень жаль... но я должен отдать монету ему.

Парень, глядя на нас, покусывал свои белесые усики.

- Только вот денег у меня с собой нет, - сказал он. - Пойдем со мной, и я тебе заплачу.

- А куда?

- В полицию!

Чезаре, испугавшись до полусмерти, вытаращил на него глаза. Я понял, что должен вмешаться и притом со всею решительностью.

- Позвольте, а по какому праву?.. Кто вы такой?.. Вы что, полицейский агент?

- Нет, я совсем не полицейский агент, - ответил тот насмешливо, - но я и не такой дурак, каким вы оба меня считаете... Вам захотелось всучить мне фальшивую монету, не так ли?.. Пошли в полицию, там разберемся.

Чезаре с отчаянием во взгляде смотрел на меня. Вдруг меня осенило и я сказал:

- Вы ошибаетесь... Возможно, по виду он похож на жулика, я - на его напарника, а вы - на одураченную жертву... В действительности же я его не знаю, вы - не одураченная жертва, а я в самом деле антиквар... И монета подлинная... Я покупаю ее.

Я обернулся к Чезаре и скомандовал:

- Давай сюда монету и получай.

Чезаре повиновался, я отсчитал ему пятьдесят тысяч лир, принадлежащих Оттавио.

- Пусть это послужит вам уроком, - сказал я, обращаясь к парню. Поучитесь отличать честных людей от жуликов... Поучитесь разбираться в людях.

- А кто мне докажет, что вы не сговорились? - продолжал тот упорствовать.

Теперь, когда я заплатил за фальшивую монету, мне захотелось обругать его. Я уже ненавидел этого парня.

- Это мы-то сговорились?.. - сказал я, пожимая плечами. - Сразу видно, что ты из деревни... Может, в сыре ты и разбираешься, а в честных людях ни капли... Возвращайся-ка лучше домой.

- Вот как! - ответил тот задиристо. - Кому ты это говоришь? Не ори... Свинья.

- Сам ты свинья... и к тому же вонючая.

Я почему-то рассвирепел, может быть потому, что теперь считал себя правым. Он ответил:

- Мерзавец.

Я бросился на него, стараясь ухватиться за лисий воротник. Вокруг нас собралась толпа зевак, и нас разняли. Но я продолжал вырываться и кричать:

- Отправляйся торговать сыром... Неуч, чурбан, деревенщина.

Он ушел, пожимая плечами, и скрылся в толпе. Тогда я повернулся к Чезаре.

Когда я увидел, что его нет, кровь застыла у меня в жилах. Прохожие, оттащив меня от парня, пошли по своим делам. Чезаре не было ни перед вокзалом, ни в скверике, ни на площади дель Эедра. Он исчез. А вместе с ним и пятьдесят тысяч лир. Я сделал такой отчаянный жест, что кто-то спросил:

- Вам дурно?

Дрожа от ярости, весь в поту, я бежал, задыхаясь, от площади до виа Виченца, где находился магазин Оттавио.

Оттавио, как обычно, сидел за своей стеклянной перегородкой. Толстый, неопрятный и небритый, он что-то разглядывал через лупу. Я вошел и, переведя дух, сказал:

- Знаешь, Оттавио, я не могу отдать тебе деньги... Если хочешь, возьми вместо них вот эту римскую монету.

Оттавио спокойно, не глядя на меня, взял монету, поднес ее к глазам и тут же

расхохотался. Потом встал и, продолжая смеяться, похлопал меня по плечу:

- Римская монета! Римская монета! Ну и ну... Ты докатился до подделки римских монет!

Забавы Феррагосто

В то лето дела у меня шли из рук вон плохо. Когда наступил праздник Феррагосто, я остался в Риме без друзей, без женщин, без родных - один как перст. Магазин, в котором я работал, на праздники закрыли, а то, пожалуй, с горя, лишь бы быть среди людей, я стал бы продавать остатки сезонных товаров: кальсоны, носки, рубашки - в общем, всякую дрянь. Так что в то утро, пятнадцатого августа, когда Торелло подъехал на машине и стал сигналить у меня под окном, а потом пригласил отправиться вместе с ним во Фреджене, я подумал: "Он, конечно, человек неприятный, даже противный... Но не пропадать же одному с тоски". И охотно согласился. Торелло был парень молодой, коренастый, плотный, с мертвенно-бледным лицом, нахально вытянутым вперед. У него были выпученные глаза, жесткие и глупые, - так и хотелось проколоть их булавкой. Как я уже сказал, он был мне неприятен, но, по-видимому, он не нравился только мне одному - вообще-то его считали симпатичным парнем, а женщины просто вешались ему на шею. Денег у него всегда было полно - он держал хороший гараж, поэтому к его прирожденному нахальству прибавлялось нахальство чистогана. Но нахальство еще можно стерпеть; я не любил Торелло по другой причине - он всегда говорил и делал совсем не то, что было нужно. Он был безнадежно вывихнутый, никогда не мог попасть в нужную колею, вечно раздражал и оскорблял других. Стали бы вы слушать певца, который перевирает каждую ноту? Нет, вы бы даже приплатили ему, лишь бы он молчал. И вот точно так действовал на меня Торелло. Все нервы, бывало, из меня вытянет. Хоть у меня и хороший характер и я готов со всеми ладить, но с ним поладить мне никак не удавалось, и поэтому я его всячески избегал. Но в этот праздник Феррагосто я не стал от него прятаться и плохо сделал.

Первую глупость Торелло сказал, как только я сел в его машину:

- Будь мне благодарен, что я пригласил тебя, да... А то бы пришлось тебе праздники проводить на Вилле Боргезе.

"Ну, - думаю, - начинается". Но я не обмолвился ни словом, потому что у него не только такта, но и ума не хватало и он все равно ничего бы не понял. Мы поехали к воротам Аурелиа.

У Торелло был автомобиль с внесерийным кузовом, зеленый и низкий. Он им ужасно гордился. Еще в черте города, сразу как только мы миновали собор Святого Петра, он поехал с бешеной скоростью - девяносто, сто, сто десять, сто двадцать километров. Я ему говорю:

- Поезжай тише... Нас никто ведь не дожидается.

А он вместо ответа нажимает на педаль. Мы молнией промчались мимо церкви Мадонны ди Рипозо и продолжали мчаться по виа Аурелиа. По случаю Феррагосто здесь было полно автомобилей, и Торелло считал для себя делом чести обгонять их все. Он не нажимал на клаксон, не смотрел, свободен путь или нет, а мчался вперед, нагнув голову, как бык. Наконец мы выехали на прямую. Вдалеке ехал большой американский автомобиль. Эта черная, блестящая на солнце машина тоже шла быстро.

- Сейчас и ее обгоним, - заявил Торелло и прибавил ходу.

Та машина была мощнее нашей, но мужчина, сидевший за рулем, вел ее осторожно и осмотрительно. Рядом с ним сидела женщина. Торелло нагнал автомобиль на повороте и поравнялся с ним; я разглядел женщину - белокурая, с круглым лицом, черными бархатными глазами, с недовольным и порочным взглядом, она была похожа на большую кошку. Мужчина был, по-видимому, низкого роста, у него была короткая шея, сливавшаяся с затылком, лысый череп и нос, как слива. В зубах зажата сигара, рубашка расстегнута, волосатые руки лежат на руле. Торелло закричал:

- До свиданья, прекрасная блондинка!

Женщина, обернувшись, улыбнулась ему. Вдруг из-за поворота выскочил огромный грузовик; мужчина с сигарой быстро свернул на обочину дороги. Торелло едва успел

повернуть вслед за американской машиной. Между тем мужчина с сигарой махнул рукой и помчался, как стрела.

- А та бабенка мне нравится, - сказал Торелло, нажимая на педаль. Видал, как она мне улыbnулась?

Я посоветовал:

- Оставь ее в покое, она не для тебя.

А он нахально отрезал:

- Я попрошу у тебя совета, когда буду покупать пижаму. - Ему ничего не стоило обидеть человека.

Мы мчались изо всех сил за американской машиной и остановились рядом с ней у переезда через железную дорогу. Блондинка взглянула на нас и улыbnулась Торелло, тот ответил ей понимающим жестом. Мужчина с сигарой, заметивший этот жест, вынул сигару изо рта и тут же у переезда, при мне, при стороже и нескольких крестьянах, ожидавших, пока пройдет поезд, ударил женщину тыльной стороной руки по губам. В этот момент шлагбаум поднялся и машина тронулась; мы не видели выражения лица блондинки. Можете себе представить, что было с Торелло! Когда мужчина ударил свою спутницу, Торелло показалось, будто ему объяснились в любви.

- Все в порядке, - мычал он, согнувшись над рулем, - посмотришь, как я уведу ее у него из-под самого носа!

Американская машина развила адскую скорость, и нам удалось догнать ее только у самой рощи Фреджене.

Вот мы и в сосновой роще, на перекрестке; здесь продают лимонад, гуляющие разлеглись в тени сосен, из машин доносятся звуки радио, кругом разбросаны кульки и бутылки, как и полагается во время Феррагосто. Американская машина ехала впереди, а мы медленно двигались за ней. Она выехала на открытую площадку и остановилась в тени, под навесом. Торелло, описав полукруг, поставил свою машину рядом с американской. Мужчина с сигарой вышел в одну дверцу, женщина - в другую. Торелло быстро подбежал и помог ей сойти. Она, улыbnувшись, поблагодарила его и удалилась со своим спутником. Она была на голову выше его, гибкая, как змея, при ходьбе она вертела бедрами и покачивала головой. Мужчина был широк в плечах, но невысокого роста, руки у него висели, как у гориллы. Они вошли на пляж. И мы тоже. Они купили билеты. Купили и мы. Они направились по цементной дорожке к кабинам - мы пошли за ними. Служащий купален, видя, что мы идем вместе, повернулся и спросил:

- Вы все вместе, в одну кабину?

Блондинка рассмеялась, глядя на Торелло, а тот громко сказал:

- Что ж, мы не прочь.

Мужчина с сигарой сказал служащему:

- Нет, мы отдельно.

Блондинка вошла в одну кабину, а Торелло - в соседнюю. Мы с тем мужчиной остались вдвоем. Он вынул из кармана большой портсигар и протянул мне:

- Не хотите ли сигару?

Я сказал, что не курю. Он настаивал мрачным, почти угрожающим тоном:

- Тогда возьмите для вашего друга.

Мне показалось, что у него южный выговор и вдобавок какой-то иностранный акцент; я решил, что это итальянец из Америки. Потом, слышу, Торелло стучит в стенку между двумя кабинами, а блондинка фыркает... Мужчина сказал:

- Ваш друг - весельчак.

И что-то крикнул по-английски.

Блондинка вышла из кабины, а мужчина вошел. Вышел и Торелло. Я ему сказал:

- Эту сигару подарил тебе он.

И показал на закрытую дверь. Торелло взял сигару и крикнул:

- Алло, спасибо за сигару!

- Не за что, - ответил мужчина, просовывая голову в дверь и смотря на него в упор, - не хотите ли халат? Или этот кошелек? А может, предпочитаете портсигар? Он золотой.

Так он по-своему проучил Торелло. Тот покраснел до ушей. Дверь закрылась. Тогда Торелло посмотрел на меня, подмигнул и бросился за блондинкой, которая между тем направилась к морю.

Из кабины я увидел, как он догнал блондинку, заговорил с ней, а потом взял ее под руку. Я не верил своим глазам и уже готов был признать, что он прав. Блондинка покачивала бедрами и плечами так, словно у нее совсем не было ни суставов, ни мускулов; казалось, тело ее было из резины. Они вошли в воду, море было не очень спокойное, волна накрыла их, а когда отхлынула, я увидел блондинку в объятиях Торелло; она повисла у него на шее и хохотала. Потом они уплыли далеко, и я потерял их из виду.

Мужчина вышел из кабинки в черных трусах и белой майке. У него были короткие ноги, кожа белая, как сало, а бедра и грудь покрыты черными волосами. В руке у него была газета, а во рту - неизменная сигара. Он не пошел к морю, а велел принести к кабине шезлонг, сел и положил газету на колени. Торелло и блондинка выходили из воды, шутливо толкая друг друга. Мужчина поглядел на них, потом развернул газету и начал читать.

Блондинка прошла через пляж и села на корточки около мужчины. Торелло стал посреди пляжа делать гимнастические упражнения, нагибаясь вперед, назад, направо, налево - все для того, чтобы покрасоваться перед блондинкой. Я пошел купаться и целый час не видел их.

Когда я вернулся, Торелло был уже одет и с нетерпением дожидался меня.

- Где ты пропадаешь? Одевайся скорее; они уже пошли обедать.

Я оделся, и мы отправились в ресторан. Те двое сидели за столиком в глубине галереи, увитой виноградом; ресторан был полон. Торелло направился прямо к ним и остановился у соседнего столика. Мужчина громко сказал Торелло:

- Зачем вы садитесь там? Можете сразу сесть за наш стол.

Как и раньше, он над ним издевался, но Торелло был настолько глуп, что уже готов был принять предложение. Мужчина не унимался:

- А может быть, мне лучше уйти и оставить вас одного с синьорой?

Торелло сел рядом со мной и некоторое время не раскрывал рта. Мы ели молча; но когда подали фрукты, блондинка воспользовалась тем, что мужчина не смотрел на нее, и улыбнулась Торелло. Ободрившись, он заказал игристого Фраскати, встал и с бутылкой в руке подошел к соседнему столику. Блондинка расхохоталась, глядя на него. Мужчина поднял глаза и посмотрел на Торелло.

- Давайте выпьем? - предложил Торелло. - Зачем нам коситься друг на друга? Выпьем, не будем ссориться.

Мужчина попросил:

- Дайте-ка ее сюда.

И, взяв бутылку, стал лить вино в цветочный вазон, стоявший рядом. Вылив все, он отдал бутылку Торелло и сказал:

- Спасибо.

Блондинка рассмеялась. Вскоре мужчина поднялся и пошел к буфету. Блондинка сказала Торелло:

- Спасибо за вино... Я оценила вашу любезность.

Они начали болтать о том о сем, Торелло все больше и больше расходился; вдруг между ними появился мужчина с сигарой в зубах. Он сказал Торелло вполне вежливо:

- Мы едем в сосновую рощу. Поедьте с нами?

Торелло колебался, боясь, что это опять издевка, но блондинка уверила его:

- Раз он вас приглашает, поезжайте.

Мы согласились.

И вот мы снова в роще. Американская машина ехала впереди, мягко покачиваясь на заросшей травой тропинке в гуще леса. Мы отъехали довольно далеко; через заднее стекло

американской машины я видел головы блондинки и мужчины с сигарой, Я подумал, что слишком уж легко все удавалось Торелло, чтобы можно было в это поверить. Но Торелло был возбужден, он сказал мне:

- Сейчас он пойдет спать, и не будь я Торелло, если не уведу у него эту очаровательную девчонку.

Никогда еще он не был мне так противен.

Мы выехали на полянку, место было довольно уединенное - кругом сосны, а вверху, над кронами деревьев, качавшимися на ветру, раскаленное голубое небо. Американская машина описала полукруг и повернулась к тропинке, по которой мы ехали. Торелло затормозил, весело и смело пошел навстречу мужчине, который тоже вышел из машины.

Торелло протянул ему руку - наверно, хотел представиться. Мужчина неподвижно стоял на поляне. Потом с расстояния в два-три метра он, нагнув голову, внезапно бросился на Торелло, словно собирался протаранить его, и со страшной силой ударил его головой под ложечку. Да, да, головой, как в вольной борьбе. Торелло хотел было защититься, но мужчина, нагнувшись, заехал ему кулаком в лицо. Торелло отступил на два шага и получил новый удар - кулаком под ложечку. Он оперся о сосну, поднес руку к лицу. Мужчина сел в свою машину, запустил мотор, и они уехали.

Я чуть было не рассмеялся: признаюсь, я был доволен, что Торелло избили. Я подошел к нему и увидел, что у него весь рот в крови. Держась одной рукой за живот, он ушел за сосну: его вырвало. Я сел в машину и довольно долго ждал его там. Царило глубокое молчание, только временами, когда я прислушивался, я слышал в чаще леса щелканье какой-то птицы. Наконец Торелло вернулся, держа платок у рта. Он запустил мотор, и мы тронулись.

Несколько минут мы ехали молча. Потом Торелло сказал:

- Во всем виновата эта ведьма.

Я хотел было сказать, что виноват он сам, но промолчал - все равно это ни к чему бы не привело. В Риме мы расстались, и с того дня я уже больше не видел Торелло.

Гроза Рима

Мне так хотелось иметь новую пару ботинок, что в то лето они мне даже частенько снились - там, в подвале, на койке, за которую я платил швейцару по сто лир за ночь.

Не то чтобы я ходил совсем босиком; но обувь, которую я носил, досталась мне еще от американцев - это были легкие полуботинки, каблуки у них совсем сбились, один башмак лопнул у самого мизинца, а другой так расшлепался, что соскакивал с ноги и походил на ночную туфлю.

Торгуя кое-какой мелочью на черном рынке, разнося пакеты и бегая на посылках, я в общем не голодал, но денег на ботинки - как-никак несколько тысяч лир - мне прикопить никак не удавалось. Эти ботинки стали для меня каким-то наваждением, они, как черная точка, вечно маячили у меня перед глазами, куда ни пойду. Мне казалось, что без новых ботинок я просто больше жить не могу; иной раз я приходил от этого в такое уныние, что даже подумывал о самоубийстве. Шагая по улицам, я только и делал, что смотрел людям на ноги или часами торчал у витрин обувных магазинов, разглядывая ботинки, сравнивая цены, фасоны, цвет, мысленно подбирая себе подходящую пару.

В подвале, где я ночевал, я свел знакомство с неким Лоруссо, таким же бездомным, как и я. Это был молодой парень, белокурый и кудрявый, пониже меня ростом. И я стал ему горько завидовать только потому, что он, неведомо каким путем, раздобыл себе действительно чудесные ботинки: высокие, со шнуровкой, из толстой кожи, на двойной подошве с подковками, какие носят американские офицеры. Эти ботинки были велики Лоруссо, и он каждый день напихивал в них газеты, чтобы они не соскакивали с ноги. А я был покрупнее его, и они пришлись бы мне как раз впору. Я знал, что у Лоруссо тоже было свое заветное желание: он умел играть на свирели - потому что до приезда в Рим жил в горах с пастухами - и мечтал купить себе флейту. Он говорил, что с его внешностью - он был маленький, белокурый, голубоглазый, в спортивной куртке и американских штанах,

заправленных в американские ботинки - он может ходить с флейтой по ресторанам и заработает много денег: будет играть на флейте пастушьи песни и всякие другие, которым научился, пока был на побегушках у американцев. Но флейта стоила дорого, пожалуй, подороже ботинок, а у Лоруссо, который, как и я, подрабатывал чем придется, таких денег не было. Вот он и мечтал о флейте, как я о ботинках; это нас и свело: сначала я ему говорил про ботинки, а потом он мне про флейту. Но все это были одни разговоры, - ни флейты, ни ботинок мы добыть не могли.

В конце концов мы по обоюдному согласию пришли к одному решению; собственно, я первый набрел на эту мысль, но Лоруссо сейчас же одобрил ее, словно он всю жизнь только об этом и думал. Мы решили пойти в какое-нибудь немногочисленное место, где гуляют влюбленные, например на Виллу Боргезе, и напасть на одну из тех парочек, что уединяются, чтобы на свободе обниматься и чмокаться. Тут я с удивлением обнаружил, что мой Лоруссо не прочь пойти на преступление; вот уж никогда бы этого не подумал, глядя на его лицо невинного пастушка. Он сейчас же с воодушевлением стал говорить, что выведет в расход и мужчину и женщину; он с таким смаком повторял это выражение - "выведу в расход", которое невесть где услышал, словно уже предвкушал момент, когда он это действительно сделает. Раз даже, чтобы показать, как это он будет с ними расправляться, он кинулся на меня и, схватив за горло, сделал вид, будто бьет по голове тяжелым гаечным ключом:

- Вот я их так... и так... и так... пока не выведу в расход обоих.

А я человек очень нервный, потому что мне пришлось сутки просидеть в подвале под развалинами дома, в который попала бомба. С тех пор у меня то и дело все лицо дергается и из-за любого пустяка я выхожу из себя. Я пихнул Лоруссо так, что он отлетел к стенке подвала, и говорю ему:

- Руки прочь... Если ты меня еще тронешь, честное слово, возьму этот ключ и на самом деле тебя выведу в расход.

Потом я успокоился и стал ему объяснять:

- Вот видишь, какой ты дурень!.. Ничего не понимаешь, тупица... Разве ты не знаешь, что те парочки, что занимаются любовью под открытым небом, скрываются от людей? Иначе они бы все это дома проделывали... А раз так, то, если мы их оберем, они жаловаться не пойдут. Будут бояться, что муж или мамаша проведают тогда про их любовь... А если ты их прикончишь, то об этом напишут в газетах, все узнают, и полиция в конце концов тебя сцапает... Надо прикинуться полицейскими агентами в штатском: вы, мол, что тут делаете? Целуетесь? А вы знаете, что это запрещено? Нарушаете правила... И под видом штрафа заберем у них денежки и уберемся восвояси.

Лоруссо слушал меня, разинув рот и выпучив свои голубые глаза; он тупой малый: глаза у него как стеклянные, а волосы растут низко, с середины лба. Наконец он сказал:

- Да, но зато... покойник молчит - живому спокойней.

Но сказал он это заученно, вроде как свое: "выведу в расход", которое повторял, как попугай; кто его знает, где он подхватил такую поговорку.

- Не будь дураком, - отвечаю я ему. - Делай то, что я тебе говорю, и помалкивай.

На этот раз он больше не протестовал, и таким образом дело было решено.

В назначенный день мы отправились вечером на Виллу Боргезе. Лоруссо положил в карман своей куртки гаечный ключ, а у меня был с собой немецкий пистолет, который мне поручили продать, но я пока не нашел покупателя. Из предосторожности я разрядил его, рассудив так: или наш налет удастся сразу, или же надо будет стрелять, а в таком случае лучше от этого дела совсем отказаться. Мы пошли по аллее, где на каждой скамейке сидела парочка; но здесь горели фонари, и было много прохожих, как на улице. Мы свернули в аллею, которая ведет на Пинчо. Тут самый темный уголок во всем парке, и парочки всегда его предпочитают. К тому же отсюда очень близко до площади дель Пополо.

На Пинчо под деревьями было действительно очень темно, фонарей горело мало, а парочек на скамейках - просто не счесть. На некоторых скамьях сидели даже по две парочки, и каждая устраивалась по-своему, беззастенчиво обнимаясь и целуясь на виду у другой,



которая проделывала то же самое.

Тут у Лоруссо пропала охота "выводить в расход" людей. Настроение у него легко менялось - такой уж он был человек. Увидев все эти целующиеся парочки, он стал вздыхать, глаза у него заблестели, на лице отразилась зависть.

- Я ведь тоже молод, - говорит, - и когда я вижу всех этих влюбленных, которые тут целуются, то, скажу тебе правду, - будь я не в Риме, а в деревне, припугнул бы я парня, чтобы он убрался, а девушке сказал бы: "Красотка... пойдём со мной, красотка, я тебя не обижу; иди, красотка, я твой Томмазино".

Он шел посреди аллеи, поодаль от меня, и оборачивался на каждую бесстыжую парочку, облизывая губы своим толстым красным языком, ну совсем как телок; он и меня заставлял смотреть, как мужчины лезли женщинам под блузки, а те прижимались к своим кавалерам и позволяли им давать рукам волю.

- Какой же ты кретин, - говорю я ему. - Хочешь ты, чтобы у тебя была флейта?

А он отвечает, оборачиваясь, чтобы взглянуть на очередную парочку:

- Сейчас я, по правде сказать, хочу девушку... какую-нибудь... хоть вот эту...

- В таком случае нечего было тебе брать гаечный ключ и идти со мной, говорю.

А он мне:

- Да, пожалуй, лучше и не стоило бы.

Но он говорил так по легкомыслию. У него мысли все время прыгали с одного на другое. Увидел он на Пинчо несколько голых женских ног, несколько поцелуев и объятий, вот ему и достаточно, чтоб обмирать от любовного желания. Ну, а меня отвлечь не так-то легко, и уж если я чего хочу, так буду добиваться именно этого, а не чего другого. Словом, я хотел иметь ботинки и твердо решил добыть их в этот же вечер во что бы то ни стало.

Мы немножко прошлись по Пинчо, по разным аллеям, от скамьи к скамье, мимо всех этих мраморных бюстов \*, выстроенных в ряд под деревьями. Нам никак не удавалось набрести на подходящую парочку, потому что мы боялись, как бы нас не увидели с соседних скамеек. А Лоруссо тем временем снова отвлекся. Теперь он уж стал думать не о любви, а об этих мраморных бюстах.

\* На холме Пинчо находится "Аллея Гарибальди", украшенная бюстами выдающихся итальянцев, в том числе соратников Гарибальди, и большим памятником самого Гарибальди на коне. - Прим. перев.

- Что это за статуи такие? - вдруг спрашивает он. - Кто они были?

- Видишь, какой ты неуч, - отвечаю я ему. - Это все великие люди... А раз они были великие люди, то им сделали памятники и поставили здесь...

Он подошел к одной статуе, посмотрел и говорит:

- Но ведь это женщина...

- Значит, и она была великая, - отвечаю.

Он, видно, не поверил и опять спрашивает:

- Что ж, если б я был великим человеком, мне тоже поставили бы статую?

- Конечно... но только ты-то никогда великим не будешь.

- Откуда ты знаешь? А вот я стану грозой Рима, выведу в расход кучу народу, газеты обо мне будут писать, а поймать никто не сможет... Тогда и мне поставят памятник.

Я засмеялся, хоть мне и не до смеха было: я знал, почему ему взбрело в голову стать грозой Рима - за день до этого мы с ним видели фильм, который назывался "Гроза Чикаго".

- Выводя людей в расход, великим не станешь, - говорю я ему. - Ну и темный же ты парень... Эти великие люди никого не убивали.

- А что же они делали?

- Ну, например, книги писали.

Его эти слова заделали, потому что сам-то он был малограмотный. В конце концов он говорит:

- А все-таки хотелось бы мне, чтобы здесь была моя статуя... правда хотелось бы... Люди бы помнили тогда обо мне...

Я говорю:

- Ты просто болван. Мне стыдно за тебя... Да тебе и объяснять бесполезно... напрасный труд.

Ладно, походили мы туда-сюда и вышли на террасу Пинчо. Там стояло несколько машин, и люди, приехавшие в них, восхищались панорамой Рима. Мы тоже подошли к балюстраде: отсюда был виден весь Рим как на ладони, словно черный подгорелый торт с светлыми прожилками, каждая прожилка - улица. Луна не появлялась, но было довольно светло, и я показал Лоруссо купол собора Святого Петра, черневший на фоне звездного неба.

Он говорит:

- Подумай, если б я был грозой Рима, то все эти люди там в домах только обо мне бы и думали. А я, - и тут он сделал жест, словно грозил Риму, - я выходил бы каждую ночь и убивал кого-нибудь, и никто б меня не мог словить.

Я ему отвечаю:

- Да ты совсем спятил, тебе нельзя ходить в кино... В Америке у бандитов и автоматы и машины есть, у них своя организация... Эти люди работают серьезно. А ты кто такой? Пастушок-дурачок с гаечным ключом в кармане.

Он обиделся и примолк, а потом говорит:

- Красивая панорама, ничего не скажешь, красиво... Но в общем, я вижу, что сегодня вечером ничего не выйдет... Пойдем спать.

- Как это так? - спрашиваю.

- А так, что ты потерял охоту и трусишь.

Он всегда так поступал: отвлекался, думал о другом, а потом все сваливал на меня, обвиняя в трусости.

- Пойдем, болван, - говорю, - и я тебе покажу, какой я трус.

Мы пошли по очень темной аллее вдоль парапета, который выходит на улицу Муро Торто. Там тоже сидело на скамейках много парочек, но по разным причинам ничего сделать было невозможно, и я подал Лоруссо знак двигаться дальше. В одном месте, очень темном и пустынном, мы заметили парочку, и я уж почти решился. Но в это время проехали двое конных полицейских, и влюбленные, боясь, что их увидят, ушли. Так, все время держась парапета, мы добрались до того склона Пинчо, который ведет к виадуку на Муро Торто. Тут стоит беседка, окруженная живой изгородью из лавров, переплетенных колючей проволокой. Но там с одной стороны есть деревянная калиточка, которая всегда отперта. Я знал эту беседку потому, что спал в ней иной раз, когда у меня не хватало денег даже на то, чтобы заплатить за койку швейцару. Это что-то вроде оранжереи; стеклянная стена выходит на виадук, а внутри сложены всякие садовые инструменты, цветочные горшки и те мраморные бюсты, которые идут на реставрацию, потому что у них ребята поотбивали носы или головы.

Мы подошли к парапету, Лоруссо уселся на него и закурил сигаретку. Он сидел, покачиваясь, болтая ногами, и курил с вызывающим видом; в этот момент он мне показался настолько противным, что у меня даже всерьез мелькнула мысль пихнуть его, да и сбросить вниз. Пролетел бы он метров пятьдесят и разбился, как яйцо, на мостовой Муро Торто; а я бы быстро сбежал туда и забрал эти чудесные ботинки, которые меня так соблазняли. Эта мысль просто привела меня в ярость, я тут же сообразил, что сам себя обманываю, будто так уж ненавижу Лоруссо, что способен убить его. А на самом деле истинной причиной были все те же проклятые ботинки; Лоруссо или кто другой - лишь бы в ботинках - для меня было все равно.

Может, я и вправду столкнул бы его, потому что очень устал от этого шатанья, а он мне действовал на нервы. Но, к счастью, в это время мимо, едва не задев нас, проскользнули две темные фигуры: влюбленная парочка. Они прошли совсем рядом со мной; мужчина был пониже своей дамы, а лиц я в темноте не разглядел. У калитки женщина как будто стала упираться, и я слышал, как он пробормотал:

- Зайдем сюда.

- Но здесь темно, - ответила она.

- Ну так что ж?

Словом, она уступила, они открыли калитку, вошли и исчезли за оградой.

Тогда я повернулся к Лоруссо и сказал:

- Вот то, что нам нужно... Они забрались в оранжерею, чтоб им не мешали... Теперь мы явимся, как агенты в штатском... изобразим, будто требуем штраф и заберем у них монету.

Лоруссо бросил сигаретку, спрыгнул с парапета и говорит:

- Хорошо, но только девушка будет моей.

Я даже растерялся.

- Ты что говоришь? - спрашиваю.

Он повторяет:

- Я эту девушку хочу. Не понимаешь? Хочу с ней дело иметь.

Тогда я понял и говорю:

- Да ты что, с ума сошел? Штатские агенты женщин не трогают.

А он:

- Ну, а мне что до этого?

Голос у него был странный, сдавленный какой-то, и хотя лица его я не видел, но по тону понял, что он говорит серьезно.

Я отвечаю решительно:

- В таком случае ничего не выйдет.

- Почему?

- Потому что потому. При мне женщин не трогают.

- А если я захочу?

- Я тебя изобью, клянусь богом.

Мы стояли носом к носу у парапета.

Он сказал:

- Ты трус!

А я сухо:

- А ты болван.

Тогда он в ярости от любовного желания, которое я мешал ему удовлетворить, заявляет вдруг:

- Ладно, я девушку не трону... но мужчину выведу в расход.

- Но зачем, кретин ты несчастный, зачем?

- А вот так: или девушку или мужчину.

А время шло, и я дрожал от нетерпения, потому что второго такого случая могло не представиться.

В конце концов я говорю:

- Ладно... если это нужно будет... Но ты его прикончишь, только если я сделаю вот так.  
- И провел рукой по лбу.

Неизвестно отчего, наверное просто по глупости своей, Лоруссо сразу успокоился и заявил, что он согласен.

Я заставил его повторить обещание ничего не предпринимать без моего знака, и тогда мы толкнули калитку и тоже вошли за ограду. В углу у парапета стоял маленький вагончик, в который днем впрягают ослика и катают ребят по аллеям Пинчо. В другом углу, между парапетом и калиткой, горел фонарь, свет которого проникал через стекла в оранжерею. Там виднелись цветочные горшки, расставленные в ряд по размеру, а за горшками - несколько мраморных бюстов прямо на земле; забавно они выглядели тут, такие белые и неподвижные, словно люди, которые вылезли из земли только по грудь. В первый момент я не увидел парочки, но потом понял, что они были в глубине оранжереи, там, куда не достигал луч фонаря. Они стояли в темном углу, но на девушку все же падало немного света, и я заметил ее по белой руке, которая во время поцелуя бессильно свисала на темном фоне платья.

Тогда я распахнул дверь со словами:

- Кто здесь? Что вы здесь делаете?

Девушка осталась в углу, вероятно надеясь, что ее не заметят, а мужчина решительно шагнул вперед. Это был юноша маленького роста, большеголовый и почти без шеи, с пухлым лицом, глазами навывкате и выпяченными губами. Сразу видно, что самоуверенный и неприятный. Машинально я взглянул ему на ноги и увидел, что ботинки у него новые, как раз того типа, что мне нравятся: в американском стиле, на очень толстой подошве, простроченные на манер мокассин.

Он вовсе не казался испуганным, и это меня так взвинтило, что щека у меня запрыгала от тика хуже, чем когда-либо.

- А вы кто такие? - спрашивает он.

- Полиция, - отвечаю я. - Разве вы не знаете, что воспрещается целоваться в общественных местах? Платите штраф... А вы, синьорина, тоже подойдите... Напрасно вы прячетесь...

Она послушалась, подошла и стала рядом со своим другом. Как я уже сказал, она была повыше его, тоненькая и стройная, в черной юбке клеш до колен. Хорошенькая была девушка, с личиком мадонны, пышными черными волосами и большими черными глазами; она даже не была накрашена и выглядела такой серьезной, что я никогда б не поверил, что она целовалась, если бы сам этого не видел.

- Разве вы не знаете, синьорина, что целоваться в общественных местах запрещено? - говорю я ей строго, как полагается полицейскому агенту. Такая воспитанная барышня, стыдитесь... Целоваться в парке, в темноте, как проститутка какая-нибудь...

Синьорина хотела возразить, но он остановил ее жестом и, повернувшись ко мне, говорит нахально:

- Ах, я оштрафован?.. А ну, покажите удостоверения.

- Какие удостоверения?

- Документы, которые доказывают, что вы действительно агенты.

У меня сначала мелькнула мысль, что он сам из квестуры: я б не удивился этому - ведь мне всегда не везло. Но тем не менее я сказал резко:

- Довольно болтать... Вы оштрафованы и должны платить...

- Да чего там платить, - заговорил он уверенно, как адвокат, и было заметно, что он действительно не боится. - Агенты с такими рожами? Этот в куртке и ты в таких ботинках... Вы меня за дурака принимаете, что ли?

При упоминании о моих ботинках, которые, действительно, были такие рваные и стоптанные, что не могли принадлежать агенту, мной овладело настоящее бешенство. Я вытащил из плаща пистолет, ткнул ему в живот и говорю:

- Ладно, мы не агенты... но все равно, вытаскивай денежки, и без шума...

До этого времени Лоруссо стоял рядом со мной, не произнося ни слова и разинув рот, как дурак, каким он в самом деле и был. Но увидев, что я бросил ломать комедию, он тоже встрепенулся.

- Понял? - сказал он, суя юноше под нос свой гаечный ключ. Выкладывай монету, не то как дам по башке!

Это вмешательство разозлило меня больше, чем нахальное обращение молодого человека. Девушка, увидя ключ, вскрикнула, но я сказал ей вежливо, - я умею быть вежливым, когда захочу:

- Синьорина, не слушайте его - он дурак... Не бойтесь, вам никакого зла не сделают... Отойдите вон в тот угол, не мешайте нам... А ты убери эту железку. - Потом я обратился к мужчине: - Ну, живо, раскошеливайся!

Надо сказать, что этот юноша, хоть рожа у него и была препротивная, не трусил и даже в тот момент, когда я ткнул ему пистолет в брюхо, не выказал страха. Он полез в карман и вытащил бумажник.

- Вот бумажник, - говорит.

Кладя его себе в карман, я убедился на ощупь, что денег в нем немного.

- Теперь давай часы.

Он снял с руки часы и протянул мне:

- Вот часы.

Часы были металлические, недорогие.

- Теперь, - говорю, - отдай вечную ручку.

Он вынул ручку.

- Вот ручка.

Ручка была хорошая: американская, с закрытым пером и капилляром.

Теперь с него нечего было больше взять. Нечего, за исключением этих чудесных новых ботинок, которые мне с самого начала понравились. Он говорит насмешливо:

- Еще что-нибудь хотите?

А я решительно:

- Да. Снимай ботинки!

На этот раз он запротестовал:

- Нет, ботинки не отдам.

Тут уж я не мог удержаться. С первой же минуты меня так и подмывало заехать в эту толстую, противную рожу; хотелось посмотреть, какое это произведет впечатление и на меня и на него. Я говорю:

- А ну, снимай ботинки... Не валяй дурака. - И свободной рукой легонько стукнул его по физиономии. Он побагровел, потом побледнел и, вижу: вот-вот на меня бросится. Но, к счастью, девушка закричала ему из своего угла:

- Джино, Джино, отдай им все, что они хотят!

Он до крови закусил губу, пристально поглядел мне в глаза и сказал:

- Хорошо же.

И опустил голову. Потом наклонился и принялся расшнуровывать ботинки. Он стащил их один за другим и, прежде чем отдать мне, оглядел с сожалением: они, видно, и ему нравились.

Босиком он был совсем маленький, даже ниже Лоруссо, и я понял, почему он купил себе ботинки на такой толстой подошве.

Тут-то и произошло недоразумение... Он, стоя в носках, спросил:

- Чего ты теперь хочешь? Может, рубашку снять?

Я с ботинками в руке собирался ответить, что с меня довольно, как вдруг что-то пощекотало мой лоб.

Это был маленький паучок, спустившийся на своей нити с потолка; я его сразу же увидел. Я поднес руку ко лбу, чтоб смахнуть его, а этот дурень Лоруссо решил, что я подаю ему знак, взмахнул ключом да как хватит сзади мужчину по голове. Удар был сильный и глухой, словно стукнули по кирпичу. Тот сразу повалился на меня, обхватывая меня, словно пьяный, а потом рухнул на землю, запрокинув лицо и закатив глаза, так что видны были одни белки. Девушка пронзительно взвизгнула и кинулась к нему, зовя его по имени, а он неподвижно лежал на земле...

Чтобы понять, каким идиотом был Лоруссо, достаточно сказать, что в этой кутерьме он снова занес свой ключ - над головой девушки, стоящей на коленях, взглядом спрашивая меня, сделать ли и с ней такую же штуку, как с ее дружкой.

- Ты спятил, что ли! - заорал я. - Пошли скорей отсюда!

И мы выскочили наружу.

Когда мы добрались до аллеи, я сказал Лоруссо:

- Ну, теперь иди медленно, как будто гуляешь. Ты сегодня достаточно глупостей наделал.

Он замедлил шаг, и я на ходу рассовал ботинки по карманам плаща.

Потом обратился к Лоруссо:

- Бесплезно говорить тебе, что ты кретин... Чего это тебе взбрело в голову ударить его?

Он посмотрел на меня и отвечает:

- Ты же мне дал знак.

- Да какой там знак! Мне паук на лоб спустился.

- А я откуда мог знать? Ты мне дал знак.

В этот момент мне хотелось придушить его. Я говорю в бешенстве:

- Ты настоящий идиот... Ведь ты, наверно, убил его.

Тут он стал протестовать, словно я на него клевету взвел:

- Нет... я его стукнул обратной стороной... Там нет острого... Если бы я хотел его убить, то стукнул бы острым.

Я ничего не сказал, потому что весь кипел от ярости, и лицо у меня до того дергалось от тика, что я стал придерживать щеки рукой.

А Лоруссо говорит:

- Видел ты, какая красивая девушка... Мне так и хотелось сказать ей: ну же, красотка, пойдем со мной, красотка... Может быть, она и согласилась бы... Жаль, что я не попробовал...

Он шел, довольный собой, и так и пыхился. Потом он пустился рассказывать, как ему хотелось побыть с девушкой и как бы это у него вышло. Наконец я сказал ему:

- Знаешь что, заткни свою противную глотку... иначе я за себя не ручаюсь.

Он замолчал, и мы молча прошли по площади Фламинио, вдоль набережной, перешли мост и добрались до площади Либерта. Там под деревьями есть скамеечки; площадь была пустынной, и с Тибра тянул туман.

- Посидим тут немного, - говорю я... - Посмотрим, сколько мы взяли. А кроме того, я хочу примерить ботинки.

Присели мы на скамейку, и я первым делом открыл бумажник. Оказалось в нем всего две тысячи лир, и мы их поделили поровну. Потом я говорю Лоруссо:

- Тебе по-настоящему ничего бы не полагалось... Но я человек справедливый... Я тебе отдам бумажник и часы, а себе возьму ботинки и ручку... Согласен?

Он сейчас же запротестовал:

- Вообще не согласен... Что это за дележка? Где ж тут половина?

- Но ведь ты наделал глупостей, - говорю я раздраженно, - и должен поплатиться за это.

Словом, мы немного поспорили, но в конце концов согласились на том, что я оставлю себе ботинки, а он получит бумажник, ручку и часы.

Я ему говорю:

- На что тебе ручка? Ты ведь и имени своего подписать не умеешь...

- К твоему сведению, - отвечает, - я умею и читать и писать - я три класса кончил... А к тому же такую ручку у меня всегда купят на площади Колонна.

Я уступил ему только потому, что не мог дожидаться, когда, наконец, скину свои старые ботинки; кроме того, я устал с ним ссориться, и у меня начались даже нервные колики в желудке. Снял я, значит, свои ботинки и примерил новые. И тут оказалось, что они мне малы! А уж известно, что все можно поправить, кроме ботинок, которые тебе не лезут.

Я говорю Лоруссо:

- Смотри-ка, эти ботинки мне малы... Они как раз на твою ногу... Давай поменяемся... Ты мне дай свои - ведь они тебе велики, а я тебе отдам эти... Они красивей и поновее твоих.

Он тут как засвистит с презрением и отвечает:

- Эх, бедняга!.. Пусть уж я кретин, как ты говоришь, но не до такой степени.

- Что ты хочешь сказать?

- А то, что время ложиться спать.

Он гордо посмотрел на часы того парня и добавил:

- На моих часах половина двенадцатого... а на твоих?

Я ему ничего не ответил, снова засунул ботинки в карманы плаща и пошел за ним.

Сели мы в трамвай, а меня так и грызло сознание своей неудачливости; я все думал, какой дурак Лоруссо и как мне добиться, чтобы он все-таки обменял мне ботинки. Когда мы вышли из трамвая в нашем квартале, я снова пристал к нему и наконец, видя, что на него никакие доводы не действуют, стал просто умолять:

- Лоруссо, для меня эти ботинки - вся жизнь... Без ботинок я больше не могу жить на свете... Если не хочешь сделать этого ради меня, сделай хоть ради бога.

Мы были на пустынной улице в районе Сан-Джованни. Он остановился под фонарем и начал выставлять свои ноги нарочно, чтоб позлить меня:

- Хороши мои ботиночки?... Завидно тебе, а? Нечего ко мне приставать... Все равно тебе не отдам. - А потом начал распевать: - Трам-там-там, не получишь - не отдам.

Одним словом, он еще меня дразнил... Я прикусил губу и поклялся мысленно, что если бы была у меня сейчас пуля в пистолете, я убил бы его, и не столько за ботинки, а потому, что больше не было моего терпения.

Так мы добрались до подвала, где ночевали, и постучали в окошечко; швейцар, как всегда ворча, открыл нам, и мы спустились вниз. В подвале стояло пять коек: на трех спали швейцар и двое его сыновей, парней нашего возраста, а на двух других - мы с Лоруссо. Швейцар взял с нас деньги вперед, потушил свет и пошел спать, мы в темноте добрались до коек и тоже улеглись. Но я, укрывшись своим легоньким одеяльцем, все продолжал думать о ботинках и наконец придумал, Лоруссо спал не раздеваясь, но я знал, что ботинки он снимает и ставит на пол между нашими двумя койками. Я решил, что потихоньку встану в темноте, надену его ботинки, оставлю ему свои, а потом удеру отсюда, прикинувшись, будто иду в уборную, которая была снаружи, у входа в подвал. Это было бы хорошо еще и потому, что если Лоруссо и в самом деле пришиб того человека в оранжерее, то мне опасно было оставаться с ним вместе. Лоруссо моей фамилии не знал, звал меня всегда только по имени, и если его арестуют, он не сможет сказать, кто я такой.

Сказано - сделано; я поднялся, спустил ноги, тихонько наклонился и надел ботинки Лоруссо. Я уже зашнуровывал их, когда вдруг на меня обрушился сильнейший удар; хорошо, что я в этот момент двинулся, и удар только задел меня по уху и пришелся по плечу. Это был Лоруссо, который в темноте стукнул меня своим проклятым гаечным ключом. Тут я от боли окончательно потерял голову, вскочил и ударил его вслепую кулаком. Он схватил меня за грудь, снова пытаюсь нанести удар ключом, и мы оба покатались на землю. От этой кутерьмы проснулись швейцар и его сыновья и зажгли свет.

Я кричу:

- Убийца!

А Лоруссо в свою очередь вопит:

- Вор!

Остальные тоже начали кричать и пытались разнять нас. Тут Лоруссо стукнул ключом швейцара, а тот был здоровенный детина и приходил в бешенство от всякого пустяка: он схватил стул и хотел ударить Лоруссо по голове. Тогда Лоруссо забился в угол подвала, прижался к стене и, размахивая ключом, начал вопить:

- А ну, подходите, если у вас хватит духа... Всех вас выведу в расход... Я - гроза Рима! - Ну совсем как сумасшедший, весь красный, с выпученными глазами.

Тут я, совсем вне себя, неосторожно крикнул:

- Берегитесь, он только что убил человека... Это убийца!

Ну, короче говоря, пока мы пытались удержать Лоруссо, который все вопил и отбивался как одержимый, один из сыновей швейцара сбегал и позвал полицию. И в результате частично от меня, частично от Лоруссо выплыла наружу вся история с оранжереей. И нас обоих арестовали.

Когда нас привели в полицию, достаточно было телефонного звонка, чтобы в нас сейчас же опознали тех, кто совершил налет на Вилле Боргезе. Я заявил, что это все сделал Лоруссо, а он на этот раз, может быть, от полученных побоев, даже не пикнул. Комиссар сказал:

- Молодцы, вот уж, право, молодцы... Вооруженное ограбление и покушение на убийство...

Но чтоб вы поняли, каким идиотом был Лоруссо, достаточно сказать, что он вдруг, словно очухавшись, спросил:

- Какой завтра день?

Ему отвечают:

- Пятница.

Тогда, он, потирая руки, говорит:

- Ух, здорово, завтра в Реджина Чели бобовую похлебку дают!

Так он и проболтался, что уже сидел в тюрьме, а мне-то всегда клялся, что никогда там не бывал.

А я посмотрел себе на ноги, увидел на себе ботинки Лоруссо и подумал, что в конце концов я добился того, чего хотел.

Дружба

Мария-Роза - двойное имя, и у женщины, которую так звали, внешность тоже была какая-то двойная и нрав двуличный. Лицо у нее было свежее, румяное - кровь с молоком, круглое и широкое, как полная луна, совсем не подходящее для ее тоненькой фигурки. Она походила на те розы, что зовутся капустными, потому что цветы у них плотные и крупные, как кочны. Одним словом, при взгляде на нее невольно думалось, что из такого лица смело можно целых два выкроить. Это круглое личико всегда оставалось спокойным, улыбающимся, безмятежным - в полную противоположность характеру, который, как мне пришлось убедиться на своей шкуре, был просто чертовским. Поэтому-то я и говорю, что нрав у нее был двуличный.

Ухаживал я за ней по-всякому: сначала почтительно, вежливо, неотступно. Потом, увидев, что она не поддается, попробовал быть смелее, настойчивее; поджидал ее на темных площадках на лестнице и пытался поцеловать насильно. Но на этом я заработал только несколько пинков, а потом и пощечину. Тогда я решил прикинуться оскорбленным, презрительным, перестал с ней здороваться и отворачивался при встрече. Это оказалось еще хуже: она вела себя так, будто меня никогда и на свете не было. Под конец я уж дошел до того, что слезно просил и умолял ее полюбить меня хоть немножко; ничего не помогало. И хоть бы она меня раз и навсегда отвадила окончательно! Так нет же: эта хитрюга лишь заметит, бывало, что я готов послать ее к дьяволу, сейчас же приманивает меня обратно какой-нибудь фразой, взглядом, жестом. Потом только я понял, что для женщины ухажеры все равно что украшения - бусы и браслеты, с которыми по возможности лучше не расставаться. Но тогда-то, приметив такой взгляд или жест, я думал: "Все-таки это неспроста... Надо еще попробовать".

И вдруг я узнаю, что эта кокетка обручилась с Аттилио, моим лучшим другом. Это меня взбесило по многим причинам: во-первых, потому что она это проделала у меня под самым носом, ничего мне не сказав, а во-вторых, ведь это же я познакомил ее с Аттилио; как говорится, свечку подержал, сам того не зная.

Но я хороший друг, и для меня дружба превыше всего. Я любил Марию-Розу, но с того момента, как она обручилась с Аттилио, она для меня стала священна. Сама-то она была, пожалуй, не прочь снова раззадорить меня, но я ей всячески давал понять, что не желаю этого, и в один прекрасный день заявил напрямик:

- Ты женщина - и дружбы не понимаешь... С тех пор как ты поладила с Аттилио, ты для меня больше не существуешь. Я тебя не вижу и не слышу... Поняла?

Она вроде как со мной согласилась, но все-таки продолжала свое кокетство; поэтому я решил больше с ней не встречаться и сдержал слово. Позже я узнал, что они с Аттилио поженились и стали жить вместе с ее сестрой, которая работала сиделкой. Узнал я также, что Аттилио, который из десяти дней девять всегда был безработным, нанялся грузчиком в какую-то транспортную контору. А Мария-Роза по-прежнему работала гладильщицей, но только поденно. Эти новости меня успокоили. Я знал, что им живется неважно и что вообще из этого брака ничего хорошего выйти не может. Но как настоящий добрый друг, я к ним не показывался. Друг - это друг, и дружба дело священное.

По ремеслу я слесарь-водопроводчик. А как известно, водопроводчики ходят из дома в дом и иной раз попадают туда, куда вовсе и не собирались. Вот однажды шел я к одному



клиенту, неся в сумке инструменты и два витка свинцовых труб на руке. На виа Рипетта вдруг слышу, как кто-то меня окликает:

- Эрнесто!

Оборачиваюсь - это она.

Как увидел я ее круглое спокойное лицо, осиную талию и округлые бедра и грудь, во мне снова вспыхнула любовь, так что даже дыхание перехватило. Но потом я сказал себе: "Коли ты друг, так и веди себя, как друг".

И говорю ей сухо:

- Сколько лет, сколько зим...

У нее в руках была сумка с покупками: овощи и пакеты в желтой бумаге. Она говорит мне улыбаясь: - Ты что, не узнаешь меня?

- Я ж тебе сказал: сколько лет, сколько зим.

- Проводи меня домой, - продолжает она. - Я как раз сегодня утром заметила, что в кухонной раковине вода не проходит... Право, пойдём.

Я отвечаю по-честному:

- Если для починки - то ладно.

Она бросила на меня такой взгляд, от какого бывало у меня всегда голова кружилась, и добавляет:

- Но все-таки ты должен понести мою сумку.

И вот я, нагруженный, как осел, с инструментами, трубами и покупками тащусь позади нее.

Прошли мы недалеко, в переулочек, выходящий на виа Рипетта, вошли в подъезд, который был больше похож на вход в пещеру, поднялись по сырой, темной и вонючей лестнице. На полдороге она повернулась и говорит с улыбкой:

- А помнишь, как ты подстерегал меня в темноте на площадках... как ты меня пугал... Или уже забыл?

Я отвечаю твердо:

- Мария-Роза, я ничего не помню... Я помню только, что я друг Аттилио и что дружба превыше всего.

Она сказала растерянно:

- А разве я говорю, что ты не должен быть ему другом?

Вошли мы в квартиру: три комнатухи под крышей, окна выходят во двор темный колодец без солнца. В кухне не повернешься; стеклянная дверь ведет на балкончик, а там - отхожее место. Мария-Роза уселась на скамеечку, насыпала полный передник фасоли и принялась ее лущить. А я, поставив свою сумку на пол, стал осматривать раковину. Я сразу увидел, что труба проржавела и надо ставить новую. Предупреждаю:

- Имей в виду, надо поставить новую трубу... Ты заплатишь?

- А дружба?

- Ладно, - говорю я со вздохом, - я тебе поставлю трубу бесплатно. А ты меня поцелуешь за это.

- А дружба?

Я прикусил губу и думаю: "Дружба-то, выходит, оружие обоюдоострое", но ничего ей не сказал. Взял клещи, отвинтил трубу, вынул прокладку, которая вся прогнила, вытащил из сумки паяльную лампу, налил туда бензина; все это молча. Тут, слышу, она меня спрашивает:

- Вы действительно хорошие друзья с Аттилио?

Я повернулся, чтобы посмотреть на нее: сидит, опустив глаза, тихая, улыбающаяся и занимается своей фасолью.

- Конечно, - отвечаю.

- В таком случае, - продолжает она спокойно, - я с тобой могу говорить откровенно. Ты его хорошо знаешь, и я хочу проверить, верны ли мои предположения.

Я говорю, что готов ее слушать; разжег паяльную лампу и регулирую пламя.

- Вот, например, - говорит она, - не кажется ли тебе, что его теперешняя работа не очень-то хороша... Не подходит ему быть носильщиком...

- Ты хочешь сказать, грузчиком?

- Что это за ремесло - быть носильщиком. Я говорю ему, чтобы он учился на санитара... Моя сестра могла бы устроить его на работу в клинику...

За это время я присоединил новую трубу. Беру паяльник и, держа его в руках, спрашиваю, не подумав дважды:

- Ты хочешь правды или комплиментов?

- Правды.

- Ну так вот: я друг Аттилио, но это не мешает мне видеть его недостатки... Прежде всего - он лентяй.

Я взял кусок олова, поднес паяльную лампу к трубе и начал пайку. Огонь в паяльнике сильно гудел, и из-за шума я повысил голос:

- Да, он лентяй... Ты, моя дорогая, привыкай к мужу-бездельнику... Я вот человек работающий, а он лодырь, он любит поздно вставать, пошляться без дела, пойти в кафе, прочесть спортивные новости в газете, поболтать... Это, может быть, подходит для грузчика... но санитар - профессия ответственная... Нет, для этого он не годится.

- Но я, - продолжает она так же спокойно и задумчиво, - даже не уверена, что он на самом деле где-то работает... Он говорит, что ходит на работу, а никаких денег я еще не видела... Я начинаю думать, что он, может, мне и солгал. Что ты об этом скажешь?

- Солгал? - снова отвечаю я необдуманно. - Да ведь он самый большой врун из всех, кого я знаю. Он тебе наговорит с три короба... Уж что касается вранья - можешь быть спокойна.

- Мне как раз так и казалось... Но если он не ходит на работу, так что ж он делает? Не думаю, чтоб он только шлялся да сидел в кафе... Тут что-то другое... Он всегда уходит так поспешно, с таким озабоченным видом...

Она приостановилась, чтобы взять со стола кастрюлю, всыпала туда вылущенную фасоль. Я смотрел на нее через плечо: сидит такая смиренная, спокойная, улыбающаяся. Потом она снова начала:

- Видишь ли, что я думаю. Он завел себе кого-нибудь. Ты его знаешь, скажи, правда ли это?

Какой-то внутренний голос предупреждал меня: "Эй, Эрнесто, полегче, будь осторожней... здесь ловушка". Но то ли потому, что обида во мне была сильнее осторожности, то ли, когда я слышал, как она дурно отзывается о муже, у меня снова ожила надежда, я не удержался и ответил:

- Скажу тебе, что это правда... Для него женщины - всё на свете, красивые или уродины, молодые или старые, ему все равно... А ты и не знала?

Тем временем я закончил пайку, потушил паяльную лампу и приглаживал пальцем еще мягкое олово. Потом стал навинчивать гайку гаечным ключом.

Она, все такая же спокойная, говорит:

- Да, я кое-что знала, но ничего определенного... А теперь, мне кажется, я догадываюсь... он связался с Эмилией, ты помнишь, с той рыжей, которая вместе со мной работала в прачечной... Что ты на это скажешь?

Я поднялся на ноги. Мария-Роза ссыпала свою фасоль в кастрюлю и тоже встала, стряхивая с одежды шелуху. Потом подошла к раковине, подставила кастрюлю под кран и пустила воду. Я приблизился к ней сзади и, обняв ее за талию, такую стройную и тоненькую, сказал:

- Да, это правда, он видится с Эмилией каждый день под вечер: поджидает ее у прачечной и провожает домой. Теперь ты знаешь все: чего ж ты ждешь?

Она чуть-чуть повернула ко мне свое улыбающееся лицо и ответила:

- Эрнесто, ведь ты говорил, что ты друг Аттилио? Оставь меня!

Вместо ответа я снова попытался ее обнять, но она вывернулась и говорит резко:

- Ну, теперь ты кончил починку и тебе лучше уйти.

Я прикусил себе язык и ответил:

- Ты права... Но я из-за тебя теряю голову... Мне нужно всегда помнить, что я друг Аттилио, а ты его жена.

Сказав это, я, разозленный, собрал инструменты, кивнул ей на прощанье и приготовился уходить. В эту минуту дверь кухни открылась и появился Аттилио.

- Здравствуй, Эрнесто, - говорит он мне по-дружески. Я отвечаю:

- Мария-Роза просила меня починить трубу. Я это сделал: поставил новую.

- Спасибо, - говорит он мне, подходя ближе, - большое спасибо...

В это время спокойный, но напряженный голосок Марии-Розы заставил нас обоих обернуться.

- Аттилио...

Она, улыбаясь, стояла у плиты, опершись на мраморную доску стола, и заговорила, не повышая голоса:

- Аттилио, Эрнесто тоже говорит, что ты лентяй и не хочешь работать...

- Ты это говорил?

- И как я и думала, он тоже сказал, что ты большой лгун и, наверное, никакого места грузчика у тебя нет...

- Ты это говорил?

- И потом он мне подтвердил то, что я уже знала: что ты видишься с Эмилией каждый день и крутишь с ней любовь... Пока я работаю, как последняя служанка, и гну спину над гладильной доской, ты развлекаешься с Эмилией... а мне говоришь, что ходишь на работу... Теперь уж бесполезно отнекиваться... Эрнесто твой друг, он знает тебя и все мне подтвердил...

Она говорила все это самым спокойным голосом, и тут только я понял, что наделал, пустившись в откровенности с такой психопаткой. Аттилио с перекосившимся лицом шагнул ко мне, повторяя: "Ты это говорил?" Но тут Мария-Роза замолчала, схватила с плиты чугунный утюг и запустила ему прямо в голову. И довольно метко запустила: если бы он не успел наклонить голову, она бы его убила. А потом началось такое, что я просто передать не могу. Эта сумасшедшая совершенно спокойно хватала всякие тяжелые, опасные предметы - ножи, скалки, кастрюли - и швыряла в Аттилио; он, попытавшись раза два увернуться, в конце концов шмыгнул в дверь на лестницу. Удрал и я, оставив на полу метра два-три свинцовых труб; я со всех ног кинулся вниз по лестнице, а Аттилио орал мне вслед:

- Не показывайся больше... Увижу - убью.

Я почувствовал себя в безопасности, только когда перешел через мост и оказался в скверике на площади Либерта. Тут я присел на скамеечку, чтобы отдышаться. Обдумав происшедшее, я решил, что наговорил все это только по дружбе, потому что мне не нравилось, что у Аттилио такой характер; и я поклялся себе, что с этого дня никому больше не буду другом.

Бич человечества

К середине февраля утихла трамонтана, приносившая мне зимой немало страданий, небо заволокло тучами и подул влажный ветер, который, казалось, шел с моря. Хотя на душе у меня было грустно, дыхание этого ветра бодрило меня, он словно нашептывал: "Ну-ну, мужайся; пока есть жизнь, есть и надежда". Но я знал, что зима прошла и наступала весна, и понимал, что поэтому я не смогу больше работать в мастерской моего дяди.

В эту мастерскую я поступил год назад; я вошел туда, как входит поезд в туннель, но еще не вышел оттуда и даже не видел просвета у выхода. Не то чтобы работа была неприятной или совсем не нравилась мне, нет, бывает и хуже. Мастерская помещалась в большом сарае, построенном в глубине отгороженного участка, служившего складом кирпичного завода, на полдороге к виа делла Мальяна. Воздух в сарае всегда был насыщен белой пылью опилок, как мукой на мельнице. И все мы, работавшие там, в том числе и мой дядюшка, были белые, словно мельники, а кругом стояло облако пыли, непрерывно

завывали пилы и токарные станки; целые дни мы трудились, изготавливая мебель и рамы. Дядюшка, бедняга, любил меня, как сына, все рабочие были хорошими парнями, а сама работа, как я уже говорил, вовсе не казалась мне неприятной: сперва брали ствол дуба, клена или каштана, искривленный и длинный, покрытый корой, в которой, возможно, еще оставались муравьи, обитавшие там в ту пору, когда этот ствол был деревом. Затем пилой распиливали ствол на много белых и чистых досок. А потом пускали в ход станки, рубанки и другой инструмент, и из этих досок выделяли ножки для столов, разные части для шкафа, карнизы. И наконец, когда все это бывало сколочено, свинчено и склеено, красили и полировали. Того, кто работает с охотой, превращение древесного ствола в какое-нибудь изделие может даже увлечь, да это и правда интересно и уж, во всяком случае, не скучно. Но, видно, я устроен не так, как все люди; через несколько месяцев работа уже стояла у меня поперек горла. И не потому, что я не трудолюбив. Просто я люблю иногда оставить работу и оглядеться вокруг, поразмыслить, кто же я такой, где нахожусь, что успел сделать. А дядюшка мой, наоборот, человек совсем иного склада: он работал не размышляя, работал с упорством, с увлечением, без передышки. И так, переходя от стула к раме, от рамы к шкафу, от шкафа к тумбочке, от тумбочки снова к стулу, дожил он до пятидесяти лет, и было ясно, что так будет продолжаться до самой его смерти, которая скорее будет походить на гибель сломавшегося станка или беззубой пилы - словом, на смерть инструмента, а не человека. И в самом деле, в воскресные дни, когда дядюшка надевал праздничный костюм и вместе с женой и детьми медленно и чинно шествовал по виа Аренула, он со своими прищуренными глазами, искривленным ртом и двумя глубокими морщинами, прорезавшими его лицо от глаз до рта, очень напоминал какой-то вышедший из употребления, бесполезный, сломанный инструмент. И меня не оставляла мысль, что лицо его стало таким оттого, что он постоянно гнул спину над станком и пилой и щурил глаза, чтобы в них не попали опилки. Я говорил себе, что не стоит жить, если нельзя даже оторваться от работы и подумать, зачем ты существуешь.

Автобус, отправляющийся от станции Трастевере, курсирует между городом и близлежащими селениями. Крестьяне, рабочие и разный бедный люд привозят с собой грязь на башмаках, зловоние пота, пропитавшего их одежду, а может быть, и насекомых. Поэтому пол и даже скамьи на конечной станции посыпают каким-то неприятно пахнущим дезинфицирующим порошком, от которого слезятся глаза, как от лука, и становится трудно дышать. В одно чудесное февральское утро я сидел в автобусе, ожидая отправления, и это самое дезинфицирующее средство разъедало мне глаза. Морской ветер, проникавший в окна автобуса, пробуждал во мне желание укрыться где-нибудь, побыть немного одному и поразмыслить о своей жизни. Поэтому, когда я сошел с автобуса и очутился возле мастерской, я повернул не направо, к сараю, а налево, в сторону лугов, раскинувшихся между шоссе и Тибром. Я зашагал по поблекшей траве, чуть колыхавшейся от слабого влажного ветра, навстречу небу, затянутому белыми облаками. Тибра я не видел, потому что его здесь скрывает неровная местность. За Тибром виднелись заброшенные корпуса завода E-42, похожий на голубятню дворец с большими арками, церковь с куполом и ничего не поддерживающими колоннами, напоминающими деревянные колонки из детского строительного набора. Позади меня раскинулся промышленный район Рима: доменные печи, из которых торчали длинные перья черного дыма; заводские корпуса с огромными окнами; низкие и широкие цилиндры газгольдеров, высокие и узкие силосные башни. Я подумал о рабочих, трудившихся на этих заводах и фабриках, и праздность, которой я предавался, показалась мне еще более привлекательной. У меня было такое ощущение, будто я отправился на охоту и теперь сижу в засаде, выслеживая дичь. Это и правда была охота, но не за птичками, а за самим собой.

Подойдя к Тибру в том месте, где берег не так крут и обрывист, я стал спускаться по склону и, добравшись почти до самой воды, уселся подле растущего там кустарника. В двух шагах от меня бежал Тибр, я смотрел, как он извивается, словно змея, среди берегов, подставляя свою желтую чешую под слепящий свет облачного неба. По ту сторону Тибра

тоже тянулись луга с такой же поблекшей зеленью. На них виднелось множество овец с густой и грязной шерстью. Овцы жадно щипали траву, а около них то здесь, то там мелькали совершенно белые ягнята, шерсть которых еще не успела загрязниться. Я сидел, обхватив руками колени, и пристально смотрел на желтую воду реки. Как раз в этом месте бурлил водоворот, а неподалеку от него торчала почерневшая ветка, усеянная колючками, сучья ее спутались, как волосы утопленника. И вот среди этой тишины, глядя на черную, как эбеновое дерево, ветку, вздрагивавшую под напором воды, но все не сдвигающуюся с места, я вдруг почувствовал прилив вдохновения. И мне почудилось, что не мысль, а какое-то ощущение, более глубокое, чем мысль, помогло мне понять нечто очень значительное; вернее, я мог бы понять это, если бы сделал над собой усилие. Это "нечто" еще не определилось и напоминало слова, которые, как говорят, вертятся на кончике языка. И чтобы удержать его, не дать ему снова уйти во мрак, я неожиданно громко произнес вслух:

- Меня зовут Джерардо Муккетто.

И вдруг я услышал чей-то насмешливый голос, доносившийся откуда-то сверху:

- По прозвищу Муккьо... Ты что это, разговариваешь сам с собой?

Я обернулся и прямо над своей головой увидел стоявшую на пригорке Джоконду, дочь сторожа кирпичного завода. На ней была черная бархатная юбка и розовый свитер; она была без чулок, волосы ее развевались по ветру. Ее-то как раз я меньше всего хотел видеть в тот момент. Она была влюблена в меня и всюду ходила за мной по пятам, хотя я всячески давал ей понять, что она мне не нравится. И тут я внезапно ощутил непреодолимое желание сказать ей что-нибудь неприятное, чтобы она ушла прочь. И я мог опять остаться один и вернуться к тому "нечто", которое я начал было уже постигать, до того как она появилась... Не двинувшись с места, я сказал ей:

- Эй, ты! Что ты ноги-то показываешь?

А она, нисколько не смутившись, соскользнула с пригорка и подошла ко мне.

- Можно мне составить тебе компанию? - спросила она.

- Ни к чему мне твоя компания, - ответил я, по-прежнему не глядя на нее. - Да и как ты тут сядешь? Ведь здесь такая пыль...

И вдруг я вижу: она приподнимает юбку и садится на землю.

- Это ничего, штанов-то на мне нет, - с довольным видом сказала Джоконда.

К счастью, то "нечто", о котором мне хотелось думать, все еще держалось на самом краешке моего сознания, как птица, готовая вот-вот сорхнуть с карниза. А совершенно разомлевшая Джоконда, уцепившись за мою руку, говорила тем временем:

- Джерардо, почему ты такой коварный?.. Ведь я тебя так люблю.

- Почему коварный?.. Ты мне не нравишься, вот и все.

- Но почему я тебе не нравлюсь?

Боясь, как бы наш разговор не отогнал то "нечто", о котором я хотел думать, я поспешно ответил:

- Ты мне не нравишься потому, что у тебя красная рожа вся в прыщах... и ты похожа на кочан красной капусты.

Как поступила бы другая девушка, услышав подобное признание? Она тут же ушла бы. А Джоконда, наоборот, прижалась ко мне и стала кокетничать:

- Джерардино, почему бы тебе не быть поласковее со мной?

- Хорошо, я буду поласковее, - сказал я в отчаянии, - но только уходи сейчас.

- Ты что, ждал другую женщину, Джерардино?

- Никого я не ждал. Мне просто хотелось побыть одному.

- Почему одному? Побудем вместе... Ведь вместе так хорошо.

На этот раз я ничего не ответил. То "нечто" еще не совсем ускользнуло от меня, но я понимал, что достаточно самой малости, чтобы оно кануло во тьму, туда, откуда появилось. И словно нарочно в этот момент Джоконда воскликнула:

- Хочешь я отгадаю, о чем ты сейчас думаешь?

- Не отгадаешь, хоть будешь гадать сотню лет, - ответил я, задетый за живое.

- А я говорю, отгадаю... Увидишь, права я или нет... Ты думал о моих подвернутых носочках; они в цвет свитера... Скажи правду, ты об этом думал?

И она вытянула свою толстую красную ногу, покрытую светлыми волосами, выставив напоказ носок земляничного цвета. Я не мог удержаться, чтобы не взглянуть на эту ногу, и вдруг почувствовал, как мое "нечто" вновь погрузилось во мрак. И теперь я уже ничего больше не ощущал, ничего не понимал, я был опустошен, инертен, мертв, как те бревна, которые были расставлены для сушки вдоль стен дядюшкиной мастерской. Мысль, что прекрасное и значительное "нечто" ускользнуло из моего сознания по вине этой болтливой дуры, привела меня в такое бешенство, что я, резко повернувшись к ней, заорал:

- Зачем ты пришла?.. Ты мое несчастье!.. Неужели ты не можешь оставить меня в покое?

Она все продолжала сжимать мою руку, я вырвался и ударил ее по лицу. Я стал колотить ее, но она по-прежнему упрямо цеплялась за меня. Тогда я вскочил, схватил ее за волосы и, швырнув на прибрежные камни, стал бить ногами куда попало, даже по голове. Она же, скрючившись и закрыв лицо ладонями, только стонала и несколько раз даже громко вскрикнула, но не сопротивлялась: возможно, она была довольна. А когда я устал ее бить, она поднялась, вся перепачканная в пыли, и, всхлипывая, пошла прочь.

- Вы, женщины, - бич человечества! - громко закричал я ей вслед.

А она, не переставая всхлипывать, шла все дальше по узкой тропинке вдоль каменистого берега Тибра и вскоре скрылась из виду.

Но "нечто" исчезло бесследно, и хотя теперь я был один, я ощущал такую же вялость, скованность и опустошенность, как и тогда, когда Джоконда находилась рядом со мной. Ничего уже нельзя было поделать в этот день, а кто знает, представится ли мне когда-нибудь еще такой случай. Разозленный, терзаемый сомнениями и беспокойством, бродил я все утро по лугам, проклиная Джоконду и свою судьбу, не в состоянии ни остановиться, ни задержать поток своих мыслей. В конце концов я понял, что мне ничего не оставалось, как вернуться в мастерскую. Так я и сделал. Джоконда стояла среди груды кирпичей, держа в руках кастрюлю, и кормила кур. Еще издали она приветливо улыбнулась мне, но я, не ответив ей, молча прошел в сарай.

- Работа не ждет! - крикнул дядя, завидев меня.

Я ничего не сказал, надел комбинезон и, подойдя к верстаку, начал с того, на чем остановился накануне.

Неудачник

Мне не везло с самого рождения. А все из-за того, что у меня совершенно нет подбородка. И ведь нельзя сказать, что это важная часть лица. Нос или глаза, например, гораздо важнее, но человека без подбородка все почему-то считают кретином.

Как не повезло мне с самого начала, так и пошло, и пошло... Тринадцати лет я остался сиротой, уехал к тетке в деревню, в Чочарию. Жизнь у меня там была, прямо скажу, собачья. А тут еще во время бомбежки в наш дом попала бомба, и я целые сутки пролежал под развалинами. И так чем дальше, тем все хуже и хуже... Известное дело: война, немцы, союзники, черный рынок, голод, никакой еды, кроме консервов...

Если верить пословице, что жизнь - это лестница, одни по ней поднимаются, другие спускаются, то я по этой лестнице жизни только и делал, что спускался. И все из-за подбородка, которого у меня нет, но которому полагается быть.

Докатился я по этой лестнице до такой точки, что, когда год назад мне удалось снять угол у одного швейцара в центре города и я начал кое-как перебиваться - то милостыню подадут, то какими-нибудь услугами заработаю на той самой улице, где жил, - мне показалось, что впервые в жизни я стал подниматься.

Вы не поверите, но выручило меня именно отсутствие подбородка. На этой улице было много больших магазинов - колбасных, винных, булочных, мясных, бакалейных. Клиентура у них была обширная, так что все они нуждались в человеке, который бы доставлял покупки, забирал пустую тару, бегал по поручениям. Когда владельцы этих магазинов увидели, что

парень я крепкий, хоть у меня и нет подбородка, они сжалились надо мной: то один, то другой стали давать мне какую-нибудь работенку, так что я частенько получал чаевые.

На нашей улице было, кроме того, четыре или пять остерий и тракторий, - глядишь, иногда и тарелка супа перепадет. И все это из жалости - потому что у меня не было подбородка.

На мне была военная гимнастерка и заплатанные на коленках брюки. Дали мне пиджак; локти у него, правда, были продранные, но в общем он был вполне приличный. Другой добрый человек подарил мне пару ботинок. Короче говоря, через месяц я про себя решил, что невезение мое кончилось, больше того, что я и правда пошел в гору.

Вот иногда смотришь, едет по улице человек в машине или идет пешком... Ему все равно, что эта улица, что другая. Но если жить на ней, как я, проводить безвылазно целые дни, с раннего утра и до позднего вечера, тогда это для вас уже не просто улица, а целый мир, и каждый день открываешь в нем что-нибудь новое.

На этой улице, где я знал всех, вплоть до кошек, одни меня любили, другие относились ко мне безразлично, но были и такие, которые меня ненавидели. Хозяева магазинов и ресторанов меня любили, потому что я человек услужливый и покладистый. Парикмахер, хозяйка галантерейной лавки, хозяин парфюмерного магазина, аптекарь и многие другие относились ко мне безразлично, потому что я не нуждался в них, а они не нуждались во мне. Но была здесь группа молодых людей, которые ежедневно встречались у стойки в баре, - вот эти меня попросту ненавидели. Все они были спортсмены и только и делали, что спорили о футбольных командах да велосипедных гонках. Что ни говорите, а спорт делает человека безжалостным, заставляет держать сторону сильного и ненавидеть слабого.

А я был слабый. И вот стоило мне войти в бар, как они набрасывались на меня, начинали насмехаться, давать всякие прозвища.

Они прозвали меня "Неудачником". А произошло это так. Один раз затащили они меня в остерию, подпоили, а я под пьяную руку возьми да и пожалуйся, что, мол, меня с самого рождения неудачи преследуют. Отсюда и пошло. Как они только надо мной не измывались! Бывало, выдумают нарочно для меня какое-нибудь поручение, я и бегаю понапрасну. Или начнут с издевкой допрашивать:

- Ну как, Неудачник, какие у тебя еще неудачи были?

Или же с серьезным видом начнут советовать:

- Послушай, отрасти ты себе бороду, лучше будет... Никто и не догадается, что у тебя нет подбородка.

Вот уж правда коварный совет, борода у меня почему-то не растет. Появится несколько длинных тонких волосков - и все тут.

Бессердечная публика, скажу я вам. И все-таки, как я уже говорил, я шел в гору, то есть кое-как перебивался. Больше того: впервые в жизни я был одет-обут, сыт, имел кровать, крышу над головой и даже кое-какую мелочь в кармане. До того мне это было чудно, что даже не верилось... Я, бывало, все твержу себе: "Только бы не сглазили... Неужели долго будет так продолжаться?.. Только бы не сглазили".

И верно, счастье мое длилось недолго. Однажды, было это летом, вхожу я утром в бар - надо было взять ящик канистр с керосином и отнести клиенту и вижу в глубине зала стоят мои спортсмены, сбились в кучу и кого-то разглядывают. Я виду не подаю, направляюсь к стойке, будто не замечаю их вовсе. Но они меня заметили и позвали:

- Эй, Неудачник, поди сюда, взгляни-ка.

Я было хотел не обращать внимания, но один из них схватил меня за руку - пришлось уступить.

В глубине зала на стуле, прислонившись к груде рулонов туалетной бумаги, сидел какой-то субъект. Он рвал на себе волосы, бил себя кулаком по голове и плакал. На нем были вельветовые штаны и майка. Он все плакал, стонал, но рвал он на себе волосы и бил себя по голове только одной рукой: на месте второй у него была круглая гладкая култышка, похожая на маленькое колено. Когда он поднял обросшее черной щетиной помятое лицо, я увидел,

что он к тому же одноглазый. Но этот его единственный глаз стоил двух - такой он был живой, блестящий, лукавый.

Спортсмены стали мне наперебой объяснять, что это очень несчастный человек - еще несчастнее меня: мало того, что он сирота, пострадал от войны, беженец, однорукий, одноглазый, - он еще и хромой. Затем они заявили, что он теперь мой конкурент, так как тоже нашел себе чулан где-то на нашей улице и будет заниматься тем же, чем и я,- иначе говоря, что он намерен меня отсюда вытеснить.

- У тебя не хватает только подбородка и, может, немного мозгов, заявил один из них, - а у него нет руки, нет глаза, и к тому же он хромой... Так что плохи твои дела, Неудачник.

Я сказал, что мне некогда, и хотел было уйти, но они меня не пустили:

- Раз вы два самых несчастных человека на этой улице, вы должны пожать друг другу руки.

Пришлось согласиться. Потом однорукий - вот продувная бестия - снова начал ломать комедию, рвать на себе волосы, бить себя по голове. И при этом кричал:

- Оставьте меня... Не хочу я больше жить... Дайте мне умереть... Пойду брошусь в Тибр... Да-да, пойду брошусь в Тибр.

В общем, такую разыгрывал комедию, что тошно смотреть было. Я в конце концов не выдержал и говорю:

- Да ни в какой Тибр ты не бросишься, можешь быть спокоен, уверяю тебя.

Он как зыркнет на меня своим хитрым глазом да как заорет:

- Ах так, не брошусь? Увидишь... Пойду сейчас же, - и сделал вид, будто действительно вот-вот встанет и пойдет топиться. А до Тибра как раз недалеко было.

Кончилось все тем, что его, конечно, не пустили да еще денег дали впридачу. После этого подхожу я к стойке.

- Давайте, - говорю, - канистры-то.

А хозяин мне:

- Ты уж извини, Неудачник, пусть эти канистры снесет он - он же гораздо несчастнее тебя... Каждому понемногу - человеку подмога.

В общем, не прошло и минуты, как тот утер слезы, ухватил своей единственной рукой ящик с канистрами, подбросил его на плечо и, прихрамывая, бодро-весело вышел из бара. А я остался с пустыми руками. Да еще эти спортсмены стоят вокруг меня, издеваются - мол, конкурент у тебя появился, гляди в оба, не то он выживет тебя отсюда.

Они, конечно, шутили, а вышло-то все именно так, как они предсказывали. Эта каналья Беттолино \* (его так прозвали за то, что он любил выпить и все вечера просиживал в трактире) знай дубасит себя по голове, по всякому поводу горькими слезами заливается. И до того доплакался - дескать, убогий я, однорукий, одноглазый, хромой, - что сумел вскоре перехватить у меня большую часть работы. Вхожу я, бывало, в магазин, чтобы отнести, как всегда, покупку или выполнить очередное поручение, а мне говорят:

\* Беттола - трактир (итал.).

- Мы уже договорились с Беттолино... Ты уж потерпи... он нуждается больше тебя... А ты приходи в другой раз.

Так продолжалось больше месяца. Только, бывало, и слышу:

- Беттолино нуждается больше тебя... Ты уж потерпи.

Ладно, я терпел, но знал, что долго так продолжаться

не может. Беттолино плакал, бил себя по голове, твердил, что утопится в Тибре, а сам процветал. Мне же снова не везло, как прежде, да что там хуже прежнего!

Терпению моему пришел конец после одного разговора с хозяином пекарни. Я обращаюсь к нему с просьбой, нет ли какой работы, а он мне заявляет:

- Послушай, Неудачник, мне кажется, ты немного зарвался. Ты же молодой, здоровый парень, полный сил, почему бы тебе не поискать нормальной работы! Ну, я понимаю - Беттолино. У него нет руки, нет глаза, он хромой... Но у тебя ведь все на месте, почему ты не идешь работать?



Что мне было ему отвечать? Что у меня нет подбородка? Но не подбородком же работают. Я промолчал, но с того дня понял, что на нашей улице нам двоим места нет: или я, или он.

Как-то утром, вскоре после этого разговора, я вспомнил, что надо отнести одному клиенту ящик минеральной воды. Беттолино выполнил точно такое поручение накануне - значит, в этот день была моя очередь. Иду я в бар, подхожу прямо к кассе и говорю хозяину, что пришел за бутылками. Хозяин в это время что-то подсчитывал, поэтому ответил мне не сразу. Потом, не отрываясь от бумаг, крикнул приказчику:

- Дайте-ка ему эти бутылки.

А тот отвечает:

- Мы уже дали их Беттолино. Ты, Неудачник, опоздал, вот мы и отдали ему... думали, ты уже не придешь.

- Да ведь еще рано, - говорю я растерянно, а сам чувствую, что весь дрожу от злости.

- Ну, он пришел раньше тебя, что ж теперь делать.

- Давно он ушел? - спрашиваю.

- Нет, только что.

- Ладно, я ему покажу, - говорю и выбегаю из бара.

Надо думать, у меня от ярости физиономия перекосилась, потому что спортсмены, присутствовавшие при этом разговоре, гурьбой повалили за мной на улицу.

Действительно, Беттолино с ящиком бутылок на плече ковылял по тротуару в пятидесяти шагах от меня. Я догнал его, схватил за руку, которой он придерживал ящик, и, задыхаясь, крикнул:

- Давай бутылки. Сегодня моя очередь.

А он повернулся и спрашивает:

- Ты что, ошалел?

- Говорят тебе, отдавай бутылки!

- А кто ты такой, чтобы тут командовать?

- Если не отдашь ящик, я отобью у тебя охоту жить на белом свете. Тогда узнаешь, кто я такой.

- Это кто говорит?

- Я говорю.

С минуту мы с ним препирались, потом я толкнул его, ящик упал, бутылки разбились и минеральная вода разлилась по тротуару. Беттолино, хитрая бестия, видит - парни идут за нами следом, и давай вопить:

- Вы свидетели... Это он разбил бутылки... вы свидетели.

Тут я совсем потерял голову. В кармане у меня был небольшой ножик. Я вытащил его и бросился на Беттолино... Схватил его за грудь, размахиваю ножом, а сам кричу:

- Убирайся отсюда, понял? Убирайся!

При виде ножа поднялся крик. Кто-то схватил меня за руку и начал ее выворачивать - нож упал на землю. Какой-то мальчишка изловчился и подобрал его. А Беттолино прыгает с места на место и вопит:

- Он меня убить хочет, караул! Он меня убить хочет!

Потом этот подлый трус, видя, что меня держат и что он вне опасности, как ударит меня своей култышкой в лицо, будто камнем саданул. Я взвыл, вырвался и бросился на него. А он, даром что хромой, ловко юркнул в толпу и давай прятаться за спины людей. А сам все кричит, что его убить хотят.

Тут я совсем обезумел. Я был словно разъяренный бык. Однажды я видел такого: от него все разбегаются, а он мечется, бодает рожищами и все впустую...

Бросился я на Беттолино, он - от меня... Толпа то расступится, то опять сомкнется. И каждый раз ему удавалось как-то от меня ускользнуть. Наконец Ренато - самый сильный из парней - схватил меня за руки.

- Довольно, стой! - говорит.

Надо сказать, что я был зол на него не меньше, чем на Беттолино. Повернулся я, да как дам ему кулаком по физиономии. Этот удар меня и погубил. Я тут же получил сдачи, да так, что свалился на землю. А когда поднялся, рядом стоял полицейский. Меня поволокли в участок. Из носа у меня текла кровь. Сзади шла толпа, а Беттолино где-то вдали все еще кричал, что его хотят убить.

Нож мой потом нашелся, и меня осудили. Когда же я вышел из тюрьмы, я понял, что история с Беттолино меня доконала окончательно. На своей улице я больше не показывался. Где раз не повезло, туда уж лучше не возвращаться.

Старый дурак

Человеку, привыкшему ухаживать за женщинами, трудно заметить, что его время ушло и что женщины уже смотрят на него как на отца, а то и деда. Трудно прежде всего потому, что у всякого мужчины в зрелом возрасте как бы два внешних облика: один снаружи, другой внутри. Снаружи - морщины, седые волосы, испорченные зубы, потухшие глаза, а внутри - все как в молодости: черные густые волосы, гладкое лицо, белые зубы, живые глаза. Именно эти "внутренние" глаза и засматриваются на женщин, воображая, что те их видят. А на самом деле женщины видят то, что снаружи, и говорят: "Что этому старому хрычу надо? Он что, не понимает, что годится мне в дедушки?"

В тот год парикмахерскую, в которой я работаю вот уже почти тридцать лет, расширили - сменили зеркала и умывальники, заново покрасили стены, шкафы. В довершение всего хозяин счел нужным взять маникюршу. Звали ее Йоле.

Кроме хозяина, нас в парикмахерской работало трое: Амато - серьезный смуглый молодой человек лет двадцати пяти, бывший карабинер, Джузеппе небольшого роста тучный лысый мужчина, старше меня лет на пять, и я. Вскоре я заметил, что мы все трое упорно посматриваем на Йоле (вполне обычное явление, когда в мужском обществе появляется женщина). Что касается самой Йоле, то она принадлежала к весьма распространенному типу женщин - из тех, что изображаются на открытках: пышная, яркая, с правильными чертами лица, с черными волосами. Таких, как она, у нас миллионы.

Могу сказать без всякого хвастовства, что я красивый мужчина. Я худощав, рост у меня хороший, лицо бледное, нервное, по отзывам женщин интересное. И в самом деле, взгляд у меня - особенно когда я смотрю искоса - проникновенный, нежный, полный чувства и чуть-чуть скептический. Но самое лучшее у меня - это волосы, светло-каштановые, тонкие, волнистые, с блеском, подстриженные по последней моде, и удлиненные до половины щеки бачки.

К тому же я элегантен. Одет всегда как полагается. Галстук, носки, платок - обязательно в тон. А халат у меня такой ослепительной белизны, что под стать скорее хирургу, чем парикмахеру. Неудивительно поэтому, что мне везет с женщинами. И так как фортуна в этом плане никогда мне не изменяла, я усвоил привычку: если дама мне нравится, смотреть на нее настойчивым, многозначительным взглядом - такой взгляд стоит ста комплиментов. Подойдешь к ней после этого и видишь, что плод вполне созрел - остается только протянуть руку и сорвать.

Насчет Йоле самые большие опасения мне внушал Амато. Не то чтобы он был красив или интересен - нет. Но он был молод. Джузеппе я совсем не принимал в расчет: как я уже сказал, он был старше меня и безнадежно некрасив.

Йоле все время сидела в углу у своего столика, отупевшая от скуки и неподвижности. В ожидании клиентов она читала и перечитывала две-три газеты, которые приходили в парикмахерскую, или занималась собственными ногтями.

Сам не знаю почему, инстинктивно, я принялся, как говорится, испепелять ее взглядами. Бывало, входит клиент, садится в кресло, я беру полотенце, изящным жестом - одним взмахом руки - накрываю его и в этот момент бросаю на Йоле долгий взгляд. Или массирую обеими руками намыленную голову клиента - и снова взгляд в ее сторону. Или подравниваю прическу легким прикосновением ножниц и поглядываю на нее через каждые четыре взмаха ножницами. Если же она встает и лениво направляется к шкафу за

каким-нибудь инструментом, я слежу за ней в зеркало.

Должен сказать, что Йоле отнюдь нельзя было назвать вертушкой или кокеткой. У нее, напротив, был какой-то сонный, угрюмый, отупевший вид, как у разморенного сном толстого кота. Но недаром говорят - капля камень точит: сначала она заметила, что я на нее смотрю, потом стала позволять на себя смотреть, и в конце концов сама начала отвечать на мои взгляды, без всякого лукавства - оно ей было совершенно несвойственно, - я бы даже сказал неуклюже, тяжеловесно. Но сам факт не подлежал сомнению.

Тогда я решил, что плод, как говорится, созрел, и однажды в субботу пригласил ее поехать со мной в воскресенье в Остию, купаться. Она сразу же согласилась, только просила не осуждать ее за купальный костюм: она последнее время растолстела и единственный купальный костюм стал ей узок. Она сказала это без тени кокетства:

- Я последнее время немного разжирела. Да и неудивительно: сижу целый день без движения.

Так может сказать о себе только бесхитрое создание. И она мне этим как раз и нравилась.

Мы сговорились встретиться на следующий день на вокзале Сан-Паоло. Перед тем как отправиться на свиданье, я тщательно привел себя в порядок побрился, напудрился, расчесал волосы густым гребешком, чтобы не осталось даже следов перхоти. Голову и платок надушил "фиалкой". Надел рубашку-апаш, легкую куртку, белые брюки.

Йоле явилась без опоздания: ровно в два я увидел, как она пробирается ко мне через толпу отъезжающих, - вся в белом, чуть грузноватая и приземистая, но молодая и такая свеженькая. Поздоровавшись, она сказала:

- Сколько народу... вот увидите, нам придется всю дорогу стоять.

Я, как человек галантный, ответил:

- Можете не беспокоиться, для вас место будет. Предоставьте это мне.

Тут подошел поезд, и толпа на перроне ринулась в панике - как будто на нее налетел кавалерийский эскадрон, Все стали кричать, звать друг друга. Я бросаюсь вперед, хватаюсь за ручку двери, вскакиваю на подножку и только собираюсь войти в вагон, как какой-то загорелый юнец отталкивает меня и пытается опередить. Я, в свою очередь, толкаю его и вырываюсь вперед, он тянет меня за рукав, я ударяю его локтем под ложечку и бегу в купе. Но из-за этого хулигана драгоценное время было упущено - купе оказалось занято, оставалось только одно свободное место. Я устремляюсь к нему, он тоже, и мы почти одновременно бросаем на сиденье я - купальный костюм, а он - куртку. Тут мы набрасываемся друг на друга,

- Я подошел первый, - заявляю я,

- Кто это сказал?

- Я сказал, - отвечаю я и швыряю ему в физиономию его куртку.

В это время подходит Йоле, усаживается как ни в чем не бывало и говорит:

- Спасибо, Луиджи.

Парень подобрал свою куртку, с минуту постоял в нерешительности, потом, поняв, что не может согнать с места иоле, пошел из купе, громко бросив в мою сторону:

- Старый дурак!

Поезд вскоре тронулся. Я стоял возле Йоле, ухватившись за поручни. Но настроение у меня было испорчено. Я бы охотно вылез и пошел домой. Эти два слова - "старый дурак" - настигли меня врасплох, когда я меньше всего ожидал этого. Я стоял и думал о том, что в слова "старый дурак" было вложено два разных смысла. Оскорбление заключалось в слове "дурак", но в этом как раз ничего страшного не было. Просто меня хотели обругать и поэтому назвали дураком. Но слово "старый" было произнесено не для того, чтобы меня оскорбить: он сказал "старый", просто констатируя факт. Если бы, предположим, мне было не пятьдесят лет, а шестнадцать, он с таким же успехом мог бы обозвать меня "безмозглым мальчишкой". Короче говоря, для него, так же как и для всех остальных, в том числе и для Йоле, я был стариком. И разве имело какое-нибудь значение то, что он считал меня дураком,

а Йоле - умным? Может, не надо было даже занимать для нее место этот парень в конце концов все равно бы мне его уступил из уважения к моим годам.

Что я не ошибался, когда так думал, подтвердил сидевший напротив Йоле мужчина, который был свидетелем всей сцены. Он сказал:

- Мальчишка... Хоть бы из уважения к возрасту уступил.

Я как-то весь оцепенел и чувствовал себя растерянным.

Трогая лицо рукой, я пытался определить на ощупь, за отсутствием зеркала, насколько я стар. Йоле, разумеется, ни о чем не догадывалась. Когда мы проехали полпути, она сказала:

- Мне очень жаль, что вы стоите всю дорогу.

Я не мог удержаться, чтобы не ответить:

- Я, конечно, стар, но не настолько, чтобы мне было трудно постоять полчаса, - в тайной надежде, что она скажет: "Что вы, Луиджи, какой же вы старик?" Но эта дуреха ничего не ответила, и я окончательно убедился в том, что был прав.

На пляже в Остии Йоле разделась первая. Она вышла из кабины такая белотелая, свежая, упругая, молодая, что меня даже зло взяло. Купальный костюм на ней чуть не лопался. Потом в кабину вошел я. Прежде всего я бросился к висевшему на стене поломанному зеркалу. И правда, я совсем старик! Как это я раньше не замечал? Мутные глаза окружены морщинами, в волосах полно седины, кожа на щеках дряблая, зубы желтые. Мне стало стыдно, что на мне рубашка-апаш - совсем не по возрасту, из воротника выглядывала голая дряблая шея, вся в складках.

Я разделся. Когда я наклонился, чтобы надеть трусы, живот у меня пополз кверху, потом снова обвис, как пустой мешок. "Старый дурак", - со злостью твердил я про себя. Вот какие сюрпризы преподносит нам жизнь, размышляя я с горечью, - еще час назад я считал себя молодым - во всяком случае настолько, чтобы ухаживать за Йоле, - но оказалось достаточно каких-то двух слов, услышанных в поезде, чтобы я понял, что стар и гожусь ей в отцы. И мне стало совестно, что я так настойчиво глазел на нее в парикмахерской и что пригласил ее сюда. Что она обо мне думает? За кого меня считает?

А что она обо мне думала, я узнал позже. Мы держались за канат (море было беспокойное), и когда накатывалась волна, у меня перехватывало дыхание и я твердил себе: "Это потому, что я старый". А она, сияя от удовольствия, заявила:

- Знаете, Луиджи, я не думала, что вы такой спортсмен.

- Почему же? - спрашиваю. - Что же вы обо мне думали?

- Ну, обычно люди вашего возраста уже не любят плавать... Это занятие для молодых.

В этот момент на нас обрушилась высокая пенная волна, я свалился прямо на Йоле и, чтобы удержаться, схватил ее за руку, - рука у нее была плотная, круглая, рука молодой девушки. Рот у меня был полон соленой воды.

- Я мог бы быть вашим отцом, - крикнул я ей.

А она, смеясь и барахтаясь в бурлящей пене, ответила:

- Отцом, положим, нет, а вот дядей...

В общем, когда мы вылезли из воды, я чувствовал такую неловкость, такой стыд, что у меня даже не было сил разговаривать. Мне казалось, будто во рту у меня защелкнулась какая-то пружинка и, чтобы разжать ее, надо просунуть между зубами железный ломик.

Йоле шла впереди, натягивая купальный костюм на грудь и на бедра - в мокром виде он стал просто неприличен. Потом она бросилась ничком на берег и стала валяться в песке. Тело у нее было такое гладкое, что песок к нему не прилипал, а отваливался мокрыми пластами. Я молча, съжившись, сел рядом, не в состоянии ни двинуться, ни разговаривать. Даже Йоле, при всей своей слоновьей толстокожести, должно быть, заметила, что мне не по себе, потому что вдруг спросила, как я себя чувствую.

- Я думал о вас, - сказал я. - Кто у нас в парикмахерской нравится вам больше всех - Амато, Джузеппе или я?

Она долго и добросовестно размышляла, потом ответила:

- Пожалуй, вы мне одинаково нравитесь все трое.

Я упорствовал:

- Но ведь Амато молодой.

- Да, - ответила она, - молодой

- По-моему, он в вас влюблен, - продолжал я после минутного молчания.

- Правда? - сказала она. - А я не замечала.

Она была рассеянна и явно чем-то озабочена. Наконец она заявила:

- Луиджи, у меня случилась беда - распоролся сзади купальник. Дайте мне полотенце, я пойду оденусь.

По правде говоря, я даже обрадовался. Я дал ей полотенце, она завернулась в него и побежала в кабину. Полчаса спустя мы уже сидели в поезде, в пустом купе. Я старался закрыть шею воротником рубашки-апаш и думал о том, что все кончено, что я совсем старик.

В тот день я дал себе слово, что не взгляну больше ни на Йоле, ни на других женщин. И я сдержал его. По-моему, Йоле была немного удивлена и иной раз смотрела на меня укоризненно. Впрочем, может быть, мне это только казалось.

Прошел месяц. За это время я разговаривал с ней самое большее четыре-пять раз. Между тем она особенно сдружилась с Джузеппе. Правда, он вел себя с ней по-отечески, без всякого намека на ухаживание, добродушно и серьезно. Я же больше чем когда-либо чувствовал себя стариком, стриг, брил, брал чаевые и не подавал голоса.

Однажды перед закрытием парикмахерской, когда я снимал халат в служебной комнате, хозяин - он у нас славный малый - сказал мне:

- Если вы не заняты, давайте поужинаем сегодня все вместе... Я плачу... Йоле обрuchилась с Джузеппе.

Я выглянул в зал: Йоле сидела в своем углу за маникюрным столиком и улыбалась. Джузеппе, в другом углу, вытирал бритву и тоже улыбался. И вдруг я почувствовал огромное облегчение: ведь Джузеппе старше меня, к тому же некрасив, и все же Йоле предпочла его, а не Амато! Я бросился к Джузеппе с распростертыми объятиями и закричал:

- Поздравляю, горячо поздравляю!

Потом я обнял Йоле и расцеловал ее в обе щеки. Словом, в парикмахерской из всех присутствовавших самым счастливым был я.

На следующий день было воскресенье. После обеда я вышел пройтись.

Гуляя, я поймал себя на том, что снова, как и раньше, разглядываю женщин и в лицо и со спины, не пропуская ни одной.

Катерина

Женился я восемнадцати лет. Мог ли я тогда предвидеть, что характер Катерины так изменится? Нет, все что угодно, только не это.

В то время Катерина была ничем не приметная девушка с гладкими, причесанными на прямой пробор волосами. Лицо у нее было правильное, но невыразительное, бесцветное, бледное. Вся ее красота заключалась в глазах больших, немного блеклых, но ласковых. Сложена она была не очень хорошо, но мне ее фигура нравилась: пышная грудь, широкие бедра, а руки, ноги, плечи хрупкие, как у девочки. Достоинство ее было не в красоте, а в кротости, и думаю, за эту кротость я и полюбил ее.

Тот кто не знал Катерину в те годы, не может даже себе представить, что это было за милое существо. Движения у нее были сдержанные, плавные, прямо любо смотреть. Ни резкого слова, ни неприветливого взгляда. Она всегда и во всем мне уступала, во всем на меня полагалась и, прежде чем сделать что-нибудь, бывало, обязательно взглянет на меня, словно спрашивая разрешения. Иногда меня это даже смущало. Порой я думал: нет, не заслуживаю я такой жены. Такая она была терпеливая, послушная, преданная. А как умела себя вести, какая была приветливая!

Кроткий нрав ее знали во всем нашем квартале. На базаре женщины говорили моей матери:

- Повезло твоему сыну... святую берет в жены.

Я даже порой желал, чтобы она была не такой кроткой. Я ее, бывало, в шутку

спрашиваю:

- Катерина, неужели тебе никогда в жизни не случилось сказать грубое слово, сделать резкое движение? - Мне и впрямь иногда хотелось, чтобы она что-нибудь такое сказала или сделала.

После свадьбы мы поселились в том же доме, где жила моя мать, - в переулке Чинкуэ. Там наверху было несколько свободных мансард. Моя мать жила под нами, а в первом этаже помещался наш магазин хлебных и макаронных изделий, так что все мы жили и работали в одном доме. Первые два года Катерина была такой же кроткой, как в те дни, когда я с ней познакомился, а может быть, даже еще более кроткой, потому что она меня любила и была мне благодарна за то, что я на ней женился, дал ей дом и позаботился создать для нее лучшие условия. Она была кротка и со мной и с моей матерью и не менялась даже тогда, когда оставалась одна и никто не мог ее видеть. Иной раз возвращаюсь я из магазина около полудня домой и на цыпочках - прямо на кухню, посмотреть, как она там снует от плиты к столу. Я любил наблюдать, как она не спеша, плавно, мелкими шажками двигалась по тесной кухне, как она стряпала без суеты и недовольства, аккуратно, прилежно, молча. Казалось, будто она не в кухне за плитой, а в церкви перед алтарем. Тогда я неожиданно входил и обнимал ее, а она, поцеловав меня, улыбаясь говорила своим нежным, чуть жалобным голосом: - Ты так меня напутал!

Через два года после нашей женитьбы стало ясно, что у Катерины не может быть детей. Сейчас я об этом говорю так, сразу, но пришли мы к этому выводу не скоро. Нам хотелось ребенка, а его все не было и не было. Сначала мы без конца толковали об этом в семье, а потом собрались с духом и отправились к врачам - к одному, к другому, к третьему. Катерина прошла курс лечения. Стоило оно очень дорого, но в конце концов мы убедились, что все это бесполезно. "Ну что ж, - решил я, - ничего не поделаешь... Никто не виноват... такова, видно, судьба". Одно время казалось, что Катерина тоже с этим примирилась. Но ведь не всегда поступаешь, как хочется, - может, она и хотела примириться, да не смогла. Вот тут-то и начал меняться у нее характер.

Пожалуй, прежде всего она изменилась внешне. Взгляд ее, когда-то такой ласковый, стал угрюмым, углы губ опустились, а вокруг рта появились две тонкие злые морщинки. Голос, который раньше звучал, как музыка, стал резким. Быть может, она старалась себя сдерживать, но, как это часто бывает, изменения, происшедшие в ее внешности, выдавали перемену в ее характере. Не осталось и следа от ее былой кротости, потом появилась враждебность, агрессивность, злость. Бывало, так ответит, что даже дух перехватывает: "А мне все равно, нравится тебе или нет", "Не надоедай", "Иди к черту", "Оставь меня в покое". На первых порах она как будто сама удивлялась своей грубости, но потом до того дала себе волю, что иначе почти и не разговаривала. У нее появилась привычка хлопать из-за всякого пустяка дверью. В доме у нас то и дело слышалось хлопанье дверей. И каждый раз у меня было такое чувство, будто это мне дали пощечину. Раньше она обращалась ко мне со всякими ласковыми словечками, как все женщины, когда они любят: дорогой, любимый, золотко. А теперь - какое там "золотко"! Только и слышишь: дурак, идиот, болван, невежа, а то и похуже. Она не терпела никаких возражений; бывало, не успею я еще рта раскрыть, а она уже называет меня кретином:

- Молчи, ты - кретин, ничего не смыслишь.

Когда же не было никакого повода для ссоры, она сама старалась вызвать меня на это. Как она изощрялась в своих злобных выходках! Если бы они были не так оскорбительны, я бы только диву давался, откуда у нее эта изобретательность и хитрость. Она умела нащупать, как говорится, самое больное место, и сколько я ни твердил себе: "Стисни зубы, не отвечай, делай вид, что это тебе безразлично", - она всегда ухитрялась сказать что-нибудь такое, что задевало меня за живое и выводило из себя.

То заведет разговор о моей семье; послушать ее, так мы - подонки, а вот она, видите ли, дочь служащего (если же сказать правду, отец ее был всего-навсего жалким писарем в муниципалитете и всю жизнь перебивался с хлеба на воду) ; то прицепится к моей

внешности. Я на один глаз не вижу, на зрачке у меня пятно, вроде как бы кровь запеклась, - так вот, она, бывало, губы скривит и скажет:

- Не подходи ко мне... Мне противно смотреть на твой глаз... Он похож на тухлое яйцо.

А нет ничего неприятнее для человека, чем когда задевают его семью или его физический недостаток. Ну, и действительно, терпение мое лопалось, и я начинал кричать. Тогда с язвительной улыбкой на бледных губах она говорила:

- Вот видишь, ты кричишь... с тобой невозможно разговаривать... Ты только и знаешь, что орать... Я не виновата, что ты не умеешь себя вести.

В общем, мне не оставалось ничего другого, как уходить из дома. И я уходил и бродил один по набережной Тибра, злой и несчастный.

Но все же я не мог ее ненавидеть. Я даже жалел ее: я понимал, что это было сильнее ее и что она сама первая страдала от этого. Она мучилась из-за своей болезни, поэтому-то она и выходила из себя. Это было особенно заметно по ее походке и по выражению глаз: взгляд у нее стал тревожный, жадный, злобный, как у зверя, который что-то ищет и не находит. В голосе ее, когда она отвечала мне грубостью, звучало не просто раздражение или антипатия, нет, он скорее напоминал рычание зверя, который страдает, и не знает отчего, и срывает свою злость на тех, кто ни в чем перед ним не повинен.

Мои догадки относительно того, что характер Катерины изменился, потому что у нее не было детей, подтвердила ее мать. Однажды в ответ на мои жалобы она рассказала мне, что в детстве самым любимым занятием Катерины было убаюкивать кукол и что она непременно хотела нянчить своих младших братишек. Когда Катерина подросла, она сформировалась физически именно как женщина, у которой должно было быть много детей, и она это знала и ждала этого. Но детей не было, и она, против своей воли, теряла самообладание.

Так прожили мы с ней еще пять лет. Торговля наша процветала, дела шли хорошо, но я был несчастлив: жизни у меня не было. Катерина становилась все хуже и уже иначе ко мне не обращалась, как со злобными окриками и оскорблениями. Соседи не говорили больше, что я взял в жены святую, теперь всем было известно, что не святую ввел я к себе в дом, а дьявола. Бедная моя мать пыталась меня утешить - может быть, говорила она, ребенок все-таки появится и Катерина снова станет такой же кроткой, как когда-то. Но я на это не надеялся. Видя, как она бродит по дому - вытянув вперед шею, мрачная, злая, - я испытывал страх, и про себя думал, что когда-нибудь она убьет меня - загрызет, как собака, которая вдруг выходит из повиновения и набрасывается на хозяина.

Конца этому не было видно. Брожу я, бывало, один по набережной и, глядя на реку, думаю: мне двадцать пять лет - я еще, можно сказать, совсем молод... а жизнь моя кончена и нет для меня больше никакой надежды... Видно, суждено мне прожить свои дни с дьяволом. Я знал, что не смогу с ней расстаться, потому что любил ее, да и у нее, кроме меня, никого не было; но в то же время я чувствовал, что, если останусь с ней, жизни у меня не будет.

И до того мне от этих мыслей становилось тяжело, что хоть в реку кидайся...

Раз ночью, возвращаясь домой, сам не знаю как, спустился я по грязной лестнице к Тибру, выбрал место в тени под мостом, снял пиджак, свернул его, положил на землю, потом в темноте написал записку и бросил ее на пиджак. В записке было сказано: "Я кончаю с собой из-за жены" - и подпись.

Дело было в начале зимы. Тибр вздулся, на него страшно было смотреть: черный, по воде сучья и разный мусор плывут, холодом от него несет, как из пещеры. Я уже хотел броситься в воду, но мне вдруг стало страшно. Тут я заплакал. Не переставая плакать, повернул обратно, поднялся по лестнице и побежал домой. Прошел прямо в спальню, схватил Катерину за руку. Она уже спала. Я разбудил ее и говорю:

- Идем со мной.

На этот раз она перепугалась и пошла за мной без звука. Может быть, она подумала, что я хочу убить ее, потому что на лестнице попыталась от меня вырваться. Но было темно, вокруг - ни души, и я силой заставил ее спуститься. Пошли по берегу - она впереди, а я, в одной рубашке и жилетке, сзади. Под мостом я показал ей на пиджак, поднял записку, дал ей

прочесть и говорю:

- Вот до чего ты меня довела... Катерина, почему ты так изменилась? Ты была такая добрая, а теперь сущий дьявол... Почему?

При этих словах она вдруг тоже заплакала, обняла меня и несколько раз повторила, что будет себя сдерживать. Потом помогла мне надеть пиджак, и мы вернулись домой.

Я рассказываю об этом, чтобы показать, до какого отчаяния я дошел. Но Катерина не исправилась. Наоборот, с того дня она стала надо мной насмехаться еще и за то, что у меня не хватило смелости покончить с собой.

Был 1943 год. После первых же бомбежек мать решила, что надо закрыть лавку и уехать в ее деревню - в Валлекорса, в районе Чочариа. Катерина, как обычно, то соглашалась ехать, то вдруг отказывалась. В эти дни она меня просто извела. Наконец мы все-таки поехали - на попутной грузовой машине, которая отправлялась за мукой и другими продуктами для черного рынка.

Мы уселись в кузове на каких-то скамейках, чемоданы поставили тут же у ног. Солнце палило нещадно. И вот мы тронулись. После Фрозиноне выехали на равнину, горы остались далеко позади, вокруг тянулись сжатые поля. От жары меня разморило, я задремал. Вдруг машина на полном ходу останавливается, шофер кричит:

- Самолет... лезьте все в канаву.

Самого самолета не было видно, но гул мотора - яростный, металлический, скрежещущий - слышался где-то совсем близко. Вдоль дороги росли тополя и еще какие-то большие деревья, шум мотора доносился с той стороны - значит, самолет был за деревьями.

Я говорю Катерине:

- Слезай же скорее.

Но она пожала плечами и зло ответила:

- Я останусь здесь.

- Да слезай же, - крикнул я, - ты что, хочешь, чтобы тебя убило?

- Мне все равно.

Ее ответ долетел до меня, когда я уже стоял на дороге. Я бросился к канаве... И сразу небо будто тучей заволочло - появился самолет. Треск мотора оглушал, как раскаты грома. Сквозь грохот я различил дробный звук пулемета. Грузовик стоял посреди шоссе, а в нем - Катерина. Пулеметные очереди вздымали на дороге облака пыли, быстро убегавшие вдаль. Самолет улетел, скрылся за деревьями. Теперь он набирал высоту и, словно белая стрекоза, удалялся в раскаленном от зноя небе.

А грузовик все стоял на дороге. Катерина была в кузове, одна-одинешенька. Я подбежал, позвал ее, она не ответила. Тогда я вскочил в кузов... Она была мертва.

Так в двадцать пять лет я остался вдовцом. Жизнь - широкая, вольная, о которой я мечтал во время своих прогулок по набережной, - расстилалась передо мной. Но я любил Катерину и долго не мог утешиться. Я часто думал о том, как она мучилась, к чему-то стремилась, чего-то искала, но чего - сама не знала и, не найдя этого, стала, не желая того, злой. Но она была не виновата. В конце концов, вместо того, что она искала, она нашла смерть. И мы тут ничего не могли поделать, Катерина переменялась и умерла по причинам, которые от нее не зависели, и по тем же причинам я сначала страдал, а потом был избавлен от страданий. Кротость, которую я когда-то так любил в ней, она получила в дар, точно так же, как злость и как смерть.

Слово "мама"

Чего только не бывает в жизни! Как-то вечером встретился я в трактире со Стефанини и, болтая с ним о том о сем, спросил, не может ли он написать для меня письмо якобы от человека голодающего, безработного, имеющего на иждивении тяжело больную мать, который взывает к доброму сердцу благодетеля и просит у него денег на пропитание и на лечение своей матери. Стефанини был голодранец из голодранцев, всегда без гроша в кармане, но всю жизнь надеялся на какой-нибудь счастливый случай; а надо сказать, перо у него было, что называется, бойкое. Он пописывал, посылая время от времени статейки в



газету своего края, и от нечего делать мог даже набросать в один присест стихотворение на какую угодно тему, причем все строчки и рифмы были на месте. Моя просьба заинтересовала его, и он сразу спросил, зачем мне понадобилось такое письмо. Я объяснил ему, что в жизни, мол, бывает всякое: я человек необразованный, и может случиться, что такое письмо сослужит мне службу, а ведь не каждый день имеешь под рукой грамотея вроде Стефанини, который может написать письмо по всем правилам. Все более любопытствуя, он осведомился, действительно ли моя мать больна. Я ответил, что, насколько мне известно, моя мать, деревенская акушерка, находится в добром здравии, но, в конце концов, все может произойти. Короче говоря, он так приставал ко мне и расспрашивал меня, что в конце концов я сказал ему всю правду. Живу я, как говорится, мелкими аферами, и за неимением лучшего, одной из таких афер могло бы как раз оказаться письмо, которое я прошу его написать. К моему удивлению, это признание ничуть его не покорило, и он только поинтересовался, как я собираюсь действовать. Увидев, что он относится ко мне сочувственно, я выложил все начистоту. Я сказал, что пойду с этим письмом к богатому человеку и передам его вместе с каким-нибудь художественным изделием - бронзовой статуэткой или картиной, - предупредив, что через час зайду, чтобы получить пожертвование. Я сделаю вид, что дарю произведение искусства в знак благодарности, на самом же деле оно нужно только для того, чтобы увеличить пожертвование, - ведь не захочет же благодетель получить больше, чем дает. Под конец я сказал, что если письмо будет написано хорошо, то неудачи быть не может, и уж во всяком случае тут нет опасности попасть в полицию. Речь-то ведь идет о небольших суммах, и потом никто не захочет признать, что его надули таким образом, перед кем бы то ни было, даже перед полицией.

Стефанини выслушал все мои объяснения с величайшим вниманием, а затем заявил, что готов написать мне письмо. Я сказал, что особенно нужно напирать на три пункта: голод, безработицу и болезнь мамы, и он попросил меня предоставить это ему, а уж он, мол, постарается угодить мне по всем статьям. Затем он велел хозяину принести лист бумаги, достал из кармана авторучку, подумал немного, задрал вверх нос, и быстро набросал письмо без единой помарки, без единого исправления. Это показалось мне просто чудом, я даже не поверил своим глазам. Его, видно, подхлестывало самолюбие, так как я польстил ему, сказав, что у него бойкое перо и ему известны все тайны искусства. Закончив, он протянул мне листок. Я начал читать и был просто поражен. Здесь было все: и голод, и безработица, и болезнь мамы - и все было написано именно так, как надо, такими правдивыми и искренними словами, что они чуть было не растрогали меня самого, хоть я и знал, что это ложь. С чутьем настоящего писателя Стефанини много раз употреблял слово "мама"; он писал: "моя обожаемая мама", или "моя бедная мама", или еще "моя дорогая мама", - хорошо зная, что это слово особенно трогает сердце. Кроме того, он прекрасно понял мой трюк с произведением искусства. И та часть письма, где шла об этом речь, была просто жемчужиной, настолько искусно были разбросаны намеки и умолчания, просьбы и оговорки. В общем, удочка закидывалась так, что рыбке и заметить ее нельзя было. Я откровенно сказал ему, что это письмо - настоящий шедевр; а он, улыбнувшись с польщенным видом, согласился, что оно написано хорошо, настолько хорошо, что ему хочется сохранить для себя экземпляр, и попросил дать ему переписать это послание. Итак, он списал письмо, а потом я, в благодарность за услугу, заплатил за его ужин, и мы расстались добрыми друзьями.

Несколько дней спустя я решил пустить письмо в ход. Болтая со Стефанини о всякой всячине, я услышал от него имя одного человека, который, по его мнению, непременно попался бы на удочку. Речь шла о некоем адвокате Дзампикелли, у которого, по словам Стефанини, около года назад как раз умерла мать. Это было для него тяжелым ударом, сказал Стефанини, и адвокат занялся благотворительностью, помогая бедным чем только мог. В общем, это был как раз такой человек, который требовался, и не только потому, что письмо Стефанини было трогательным и убедительным, но и потому, что адвокат был подготовлен обстоятельствами своей собственной жизни к тому, чтобы в него поверить.

Итак, в одно прекрасное утро я взял письмо и художественное изделие - маленького льва из позолоченного чугуна, державшего лапу на шаре из поддельного мрамора, - и отправился к адвокату.

Он жил в небольшом особняке в районе Прати, в глубине старого сада. На мой звонок вышла служанка, и я ей сразу выпалил:

- Передайте этот предмет и письмо адвокату. Скажите ему, что дело срочное и что я зайду через час.

Я сунул ей в руки сверток и письмо и ушел. Час ожидания я провел, шагая по прямым и пустым улицам Прати и повторяя в уме то, что я должен буду сказать, очутившись перед адвокатом. Настроение у меня было хорошее, голова ясная, и я был уверен, что сумею найти нужные слова и тон. Через час я вернулся к особняку и снова позвонил.

Я ожидал увидеть молодого человека, примерно моего возраста, но адвокат оказался мужчиной лет пятидесяти, с красным, дряблым, одутловатым лицом, плешивый, со слезящимися глазами, похожий на сенбернара. Я подумал, что его покойной матери было по меньшей мере лет восемьдесят, и действительно, на письменном столе стояла фотография очень старой дамы со сморщенным лицом и седыми волосами. Адвокат в шелковой полосатой пижаме с расстегнутым воротом сидел за столом, заваленным бумагами, его длинная борода почти касалась стола. Кабинет был большой, и полки вдоль стен уставлены книгами до самого потолка. Здесь было множество картин, статуэток, оружия, ваз с цветами. Адвокат встретил меня, как встречал, наверное, своих клиентов, сразу же печальным голосом пригласив садиться. Затем он горестно сжал голову руками, как бы для того, чтобы сосредоточиться, и наконец сказал:

- Я получил ваше письмо... Очень трогательно.

Я с благодарностью подумал о Стефанини и ответил:

- Синьор адвокат, это письмо искреннее... потому оно и трогает... Оно вылилось у меня прямо из сердца.

- Но почему вы обратились именно ко мне?

- Синьор адвокат, я буду говорить правду: я знаю, что вы понесли бесконечно тяжелую утрату. - Адвокат слушал меня, полузакрыв глаза. - И я подумал: человек, так глубоко переживающий смерть своей матери, поймет страдания сына, который видит, как его мама умирает, можно сказать, у него на глазах, слабея день ото дня, и не имеет возможности ей помочь...

При этих словах, которые я произнес взволнованным голосом, потому что начал входить в роль, адвокат несколько раз утвердительно кивнул головой, как бы показывая, что он меня понимает, а затем, подняв на меня глаза, спросил:

- Вы безработный?

Я ответил:

- Безработный? Мало сказать безработный, синьор адвокат... Я дошел до отчаяния... Это целая одиссея... Я обошел все учреждения... вот уже два года я обиваю пороги и не могу найти места... Я просто не знаю больше, что делать, синьор адвокат...

Я говорил с жаром. Адвокат снова стиснул голову руками и, помедлив, спросил:

- А что с вашей матерью?

- Синьор адвокат, у нее болит здесь, - сказал я и, чтобы произвести на него впечатление, сделал сокрушенное лицо и ткнул себя пальцем в грудь.

Он вздохнул и сказал:

- А этот предмет... эта бронза?

Я предвидел такой вопрос и бойко ответил:

- Синьор адвокат. Мы бедные люди, просто нищие, но не всегда так было... Когда-то мы жили, можно сказать, в достатке... Мой папа...

- Папа?

Я удивился и спросил:

- Да, а что? Разве так не говорят?

- Да, - сказал он, сжимая виски, - именно так говорят - папа. Продолжайте.

- У папы была лавка, он торговал тканями... Наш дом был хорошо обставлен... Потом нам пришлось продать все, синьор адвокат, одну вещь за другой... Эта статуэтка - последнее, что оставалось... Она стояла у папы на папином письменном столе.

- У папы?

Я опять смешался и на этот раз, не знаю почему, поправился:

- Да, у отца... В общем, это все, что у нас осталось. Но, синьор адвокат, я хочу, чтобы вы это приняли как свидетельство моей благодарности за все то, что вы сможете сделать для меня...

- Да, да, да... - продолжая сжимать виски, трижды повторил адвокат, точно желая подтвердить, что он все понимает...

Довольно долго он молча сидел, опустив голову. Казалось, он размышлял. Наконец, словно очнувшись, он спросил:

- Сколько "м" вы пишете в слове "мама"?

На сей раз я и впрямь опешил. Я подумал, что сделал ошибку, переписывая письмо Стефанини, и неуверенно сказал:

- Я пишу два "м" - одно в начале и одно посередине. Он застонал и сказал почти страдальческим голосом:

- Видите ли, именно из-за всех этих "м" это слово мне глубоко неприятно.

Теперь я спрашивал себя, не свихнулся ли он часом от горя, потеряв мать. На всякий случай я сказал:

- Но так говорят... Дети говорят "мама", и став взрослыми продолжают так говорить всю жизнь, пока мать жива... и даже после...

- И все же, - вдруг закричал он очень громко, ударив кулаком по столу так, что я подскочил, - это слово, именно потому, что там столько "м", мне неприятно, в высшей степени неприятно... Вы понимаете, Лопресто?.. В высшей степени неприятно...

Я пробормотал:

- Но, синьор адвокат, что я могу тут поделать?

- Я знаю, - продолжал он обычным голосом, снова стиснув голову руками, - я знаю, что говорят и пишут "мама", так же как говорят и пишут "папа"... Даже наш Данте так говорил... Вы когда-нибудь читали Данте, Лопресто?

- Да, синьор адвокат, читал... читал кое-что...

- Но несмотря на то, что так говорил Данте, эти два слова мне неприятны, - продолжал он, - и, пожалуй, слово "мама" мне еще более неприятно, чем "папа".

На этот раз я промолчал, не зная, что сказать. Потом, после длинной паузы, все-таки отважился пробормотать:

- Синьор адвокат, я понимаю, что вам неприятно слышать слово "мама", потому что вас постигло такое несчастье... Но все же вы могли бы иметь немного сочувствия ко мне... У каждого есть мам... я хочу сказать, мать.

- Да, у каждого... - проговорил он.

Снова молчание. Затем он взял со стола моего львенка и протянул мне, говоря:

- Возьмите, Лопресто, заберите вашу бронзу.

Я взял статуэтку и поднялся. Он вытащил из кармана бумажник, со вздохом достал оттуда бумажку в тысячу лир и сказал, протягивая ее мне:

- По-моему, вы славный юноша... Почему бы вам не попробовать работать?.. Иначе дело может скоро кончиться каторгой, Лопресто. Вот вам тысяча лир.

Ни жив ни мертв, я взял тысячу лир и направился к двери.

Он проводил меня и уже у порога спросил:

- Кстати, Лопресто, у вас есть брат?

- Нет, синьор адвокат...

- А знаете, два дня назад приходил ко мне один субъект с таким же точно письмом, как ваше... Большая мать... в общем все то же самое... И статуэтка была - правда, не лев, а орел...

Поскольку письма совершенно одинаковые, я и подумал, что это ваш брат.

Я не мог удержаться, чтобы не спросить его:

- Молодой человек невысокого роста... брюнет с блестящими глазами?

- Именно так, Лопресто.

С этими словами он вытолкнул меня из кабинета, и я, не успев опомниться, очутился в саду, прижимая к груди львенка из поддельной бронзы.

Вы поняли? Стефанини по моим наставлениям успел раньше меня воспользоваться письмом. И обратился к тому же лицу. Сказать по правде, я был возмущен. Когда бедняк, горемыка, вроде меня, прибегает к проделке с письмом, это еще куда ни шло. Но чтобы такую штуку отмочил Стефанини писатель, поэт, журналист, хотя бы и неудачливый, человек, который прочел столько книг и знает даже французский язык, - это мне казалось нелепостью. Черт побери, если тебя зовут Стефанини, непозволительно делать некоторые вещи. Но тут же я решил, что здесь, видно, известную роль сыграло тщеславие. Он, наверное, подумал: "Это - прекрасное письмо, зачем ему пропадать зря?" И отправился к адвокату Дзампикелли.

Очки

Портниху Несполу \* прозвали так недаром: необычайно маленького роста, с лицом, которое, казалось, состояло из черных и желтых пятен, она и в самом деле походила на спелую мушмулу. У нее были черные, обведенные темными кругами глаза, черные брови и усики, а нос, лоб и щеки - желтые.

\* Неспола - мушмула (итал.).

В коротенькой юбочке, из-под которой торчали большие отекавшие ноги, Неспола напоминала тряпичную куклу, которую тащат за собой лицом по земле ребятишки.

Неспола работала у себя дома, на третьем этаже, на виа делль Аранчо. У нее было три комнаты: спальня, в которой так тесно прижавшись друг к другу стояли двуспальная кровать, комод с мраморной доской, зеркальный шкаф, ночные столики, большой стол и стулья, что пройти между ними было почти невозможно. Вторая комнатка служила ей примерочной, и здесь, кроме трельяжа, другой мебели не было. Наконец, третья комнатка, где спал ее сын Натале, была по существу закрытым балконом, который выходил во внутренний двор между выступом уборной и кухней.

Неспола обычно работала, сидя в плетеном детском креслице, стоявшем в оконной нише ее спальни. Вошедшему в комнату нелегко было заметить ее внутри этой ниши за опущенной занавеской, расшитой птицами и корзиночками с цветами.

Кроме креслица, в нише умещался еще рабочий столик и висела клетка с канарейкой. Если Несполе приходилось что-нибудь размечать или кроить, она раскладывала материю на постели, сама туда взбиралась и работала, стоя на коленях.

Платья, как я уже сказал, она примеряла в крошечной гостиной; где заказчицы раздевались, стоя перед зеркалом. Неспола, зажав в зубах булавки, влезала на табуретку и таким образом становилась одного роста с заказчицами.

Во время примерки она не переставая что-то быстро и услужливо говорила доверительным тоном. Чаще всего это были комплименты заказчицам. Она восхищалась белизной их кожи, красотой волос, цветом глаз, фигурой. Если заказчица была особенно привлекательна, Неспола непременно звала в свидетели своего сына:

- Иди сюда, Натале, и посмотри - не сама ли Мадонна спустилась к нам на землю!

Заказчицы - по большей части это были девушки, живущие по соседству, не возражали против этого. К тому же Натале не принадлежал к тем мужчинам, которых стесняются. А эти комплименты - впрочем, вполне искренние помогали Несполе сохранять большую клиентуру.

Все эти подробности я узнал в то время, когда мы дружили с Натале и я часто бывал в их доме. Натале тогда искал работу, потом наконец устроился на завод по вулканизации каучука, где я работал механиком. Но месяца через два он сказал, что работа на заводе его не устраивает, что здесь не преуспеешь, и взял расчет. Его слова произвели на меня большое

впечатление, потому что сам я никогда не смотрел на завод как на место, где я мог бы преуспеть; достаточно и того, что работа давала мне кусок хлеба.

И вообще многое из того, что он говорил, казалось мне любопытным, и я продолжал встречаться с ним, хотя, по правде говоря, сам он никогда не был мне симпатичен. Это был коренастый, толстый парень с бесстрастным, одутловатым и бесцветным лицом. Глядя на него, я почему-то всегда представлял себе рыбу, у которой вдруг выросли щеки. Но стоило ему надеть свои круглые очки с двойными стеклами, как лицо его сразу же делалось серьезным и значительным, так что его даже принимали за учителя, хотя, как мне кажется, он кончил только начальную школу. Его лицо и степенные манеры внушали доверие. До завода по вулканизации каучука он переменял много мест, работал рассыльным, кладовщиком, переписчиком, сторожем, но никогда не был простым рабочим. И все эти должности он получал благодаря тому доверию, которое внушало его круглое, луноподобное лицо и его очки. Но затем в дело как будто вмешивался сам черт: Натале не мог долго продержаться ни на одной работе. Стоило ему устроиться куда-нибудь, как вскоре там обнаруживалась более или менее крупная кража, растрата или подлог. Насколько я понимаю, вечно происходила одна и та же история: сначала хозяин доверял ему так, что готов был поручиться за его честность и даже оставить ему ключи от несгораемого шкафа, а через некоторое время выгонял его, и на прощанье неизбежно повторялись всегда одни и те же слова:

- Убирайся отсюда и смотри не попадайся мне больше на глаза! Да скажи спасибо своей матери. Только ради этой святой женщины я не хочу отдавать тебя под суд!

До меня доходили кое-какие слухи, но я им не особенно верил, потому что, бывая у них в доме по-прежнему, я не замечал там ничего, что могло бы подтвердить эти предположения. Разве только Неспола, обычно такая живая и всегда занятая работой, иногда вздыхала. Ну а Натале смутить вообще было невозможно - даже если плюнуть ему в физиономию. Словом, внешне они старались соблюдать приличия. Но между собой у них, вероятно, происходили тяжелые объяснения - мать горько плакала, сын обещал исправиться. Но едва он находил себе новую работу, как все повторялось сначала.

Среднего роста, тучный, в костюме, из которого, казалось, он давно вырос, Натале не производил впечатления очень сильного человека. А между тем это был настоящий бык. Я видел однажды на заводе, как он один приподнял малолитражку. Эта скрытая сила была как бы символом его настоящего характера, спрятанного под внешностью скромного и серьезного человека. Он был одним из тех, у кого под личиной простака скрывается совсем иное нутро. Одна только мать знала, что он собой представлял на самом деле. Ей открыл глаза случай, который произошел с ним в Неаполе несколько лет назад. На севере тогда еще шла война... Натале, который в то время вел себя вполне прилично и своими очками и благонравным видом вводил в заблуждение даже собственную мать, сумел уговорить ее и нескольких ее приятельниц собрать ему денег, с тем чтобы он мог съездить в Неаполь и купить там партию женских чулок.

В Риме чулки достать было трудно, поэтому здесь их можно было перепродать с большой выгодой и всем хорошо заработать. Кто-то распустил слух, что Натале большой спец по таким делам, и бедные женщины собрали ему кто сколько мог, а мать отдала все свои сбережения.

В Неаполь Натале отправился на машине, но он не только не привез оттуда чулок, но даже сам вернулся без пиджака. Он рассказал целую историю о том, как около Формиа его ограбили бандиты. Однако от шофера, который возил его в Неаполь, все скоро узнали, что произошло на самом деле.

Натале повстречался там с какими-то неаполитанцами - отчаянными игроками - и проиграл им все деньги, которые у него были. Неспола, как мне говорили, просто заболела от огорчения, особенно она переживала за своих приятельниц, которые так доверились ей. Она решила выплатить им все, что они потеряли, и работала для этого целый год. Натале же вел себя так, как будто ничего и не произошло. Но мать, как мне кажется, после этого случая

навсегда потеряла к нему доверие.

Словом, Натале был игроком, но отнюдь не из любви к картам, а лишь потому, что, как он говорил, рано понял одну истину: бедняк не может пробить себе дорогу в жизни честным трудом, и одна только удача может избавить его от нищеты. У Натале были свои взгляды на жизнь и на то, как достигать жизненных успехов, и он охотно делился ими.

Как я уже говорил, даже после того, как он ушел с нашего завода, я продолжал бывать у него, потому что меня интересовали его мысли. Этот вор с внешностью учителя, юнец, который казался зрелым мужчиной, разглагольствующий неуч возмущал меня и покорял в одно и то же время.

Итак, Натале, считал, что главное в жизни - это удача, что счастье достается тому, кто сумеет им завладеть, что все зависит от собственной ловкости: надо только подстеречь свое счастье, выждать благоприятный момент и схватить его.

Беда Натале заключалась лишь в том, что, страстно желая поймать свое счастье, он был не слишком разборчив в средствах. Но, поглядывая через очки, он с такой поразительной уверенностью излагал свои мысли, что, казалось, они взяты, по крайней мере, из Евангелия и перед вами не жалкий бедняк, каким он был на самом деле, а один из тех, кто сумел схватить фортуна за волосы и крепко ее держит.

Меня это бесило, и однажды, не устояв перед искушением, я спросил:

- Но почему же ты сам...

Однако он ничуть не смутился, потому что был первосортным наглецом. Он только пожал плечами и ответил:

- При чем тут я? И Рим не сразу строился...

Итак, в ожидании, пока Рим построится, Натале ловил свое счастье, играя в карты где и с кем придется. Чаще всего это происходило в молочной, находившейся неподалеку от его дома. Вечером, когда молочная уже закрывалась и бармен опускал железные шторы, мыл прилавок и насыпал на пол опилки, в задней комнате шла игра. Партию составляли Натале, хозяин лавки, официант и еще один игрок.

Удавалось ли Натале выигрывать? Или он всегда проигрывал?

Вероятно, иногда ему все-таки везло, потому что иначе я не представляю себе, откуда он брал деньги для игры. Но в конце концов бедняк, сын простой портнихи, всегда проигрывал тем, кто был богаче его. Ведь рядом с ними он был все равно, что глиняный горшок рядом с бронзовой вазой.

Окончательно проигравшись и не зная, как расплатиться, он злоупотреблял доверием тех, кто брал его к себе на работу. Он крал и обманывал. В этом и заключался секрет его внезапных увольнений с напутственными словами, которые заставили бы покраснеть даже негра, но от которых Натале не было ни жарко, ни холодно.

Несполе, которая теперь хорошо его знала, никогда не приходилось говорить ему, как это делают другие матери: "Не бегай за женщинами", "Не теряй зря времени на спорт". Она всегда просила его только об одном: "Брось карты, солнышко мое".

Даже зная, что он давно потерял совесть и стал вором, она продолжала называть его "солнышком" и "золотком", потому что была матерью и не переставала надеяться, что рано или поздно ее сын возьмется за ум, начнет правильную жизнь и станет честным тружеником.

Но вместо этого как-то утром, когда Неспола понесла готовое платье заказчице, ее солнышко и золотко взял ломик, сломал замок у шкафа и вытащил оттуда все деньги. Как я потом узнал, он объяснил матери, что деньги ему были необходимы, чтобы отыграться, и он собрался сразу же вернуть ей в сто раз больше, чем взял. К несчастью, вместо того чтобы выиграть, он проиграл.

Я думаю, что Неспола сразу же поставила крест на украденных деньгах, для нее это уже не было новостью, но этим ломиком Натале глубоко ранил сердце матери. С тех пор она всегда была печальной и, влезая во время примерок на табуретку, перестала даже говорить комплименты своим заказчицам.

Однажды, вернувшись домой к вечеру, Натале сказал матери, что ходил искать работу.

На нем не было очков, - по его словам, он забыл их в каком-то кафе, где снял, читая газету. Действительно, когда ему приходилось делать что-нибудь, что требовало особого внимания, он всегда снимал очки и откладывал их в сторонку - оттого ли, что боялся разбить, или просто потому, что вблизи он лучше видел без очков.

Мать, как обычно, приготовила ему ужин на своем рабочем столике в оконной нише спальни. Он с жадностью проглотил целую тарелку вермишели с анчоусами, потом тарелку жареной свеклы и булку. Как видно, он был очень голоден. Неспола говорила потом, что никогда не видела, чтобы он ел с таким удовольствием. Поужинав, он выкурил папиросу и, растянувшись на кровати в комнате матери, проспал около часа. Проснувшись, он попросил у Несполы денег и отправился в соседнее кино, где шла какая-то американская комедия.

Я тоже был в зале и видел, как он сидел в первом ряду - потому что был без очков - и то и дело хохотал, сотрясаясь всем телом, словно от кашля.

А при выходе из кино агенты полиции, которые уже успели побывать у него дома, арестовали его и отвели в квестуру.

На следующее утро все газеты сообщали о том, что Натале, придя вносить плату за квартиру, воспользовался удобным случаем и ударом молотка убил хозяина дома - больного старика. Если бы не его методичность, его, возможно, никогда не уличили бы в этом преступлении. Но чтобы не промахнуться, он снял очки и положил их на подоконник. А потом в возбуждении забыл их взять. И они сразу же были обнаружены полицией.

Несчастливая мать, которой казалось, что ее уже невозможно ничем удивить, получила в то утро новый удар, который был страшнее всех прежних. Не представляю даже, как она пережила первые дни, когда все газеты только и писали, что о ее сыне и о ней.

Но потом, так как она была религиозна, она вверилась Мадонне, и святая дева дала ей силу перенести все эти испытания.

А когда спустя некоторое время Неспола решила навестить сына в тюрьме, она узнала, что благодаря серьезному виду и примерному поведению Натале ему доверили должность в тюремной больнице.

Марио

Дело было так. Утром я встал пораньше, пока Филомена еще спала, взял инструменты, вышел на цыпочках из дому и отправился в Монте Париоли, на виа Грамши, где нужно было починить колонку в ванной. Сколько времени у меня ушло на работу? Наверное, часа два: нужно было снять старую трубу и поставить новую. Кончив работу, я на автобусе и потом на трамвае вернулся на виа деи Коронари, где я живу и где находится моя мастерская. Прикиньте время: два часа в Монте Париоли, полчаса туда, полчаса обратно, всего три часа. Что такое три часа? И много и мало, скажу я вам. Все зависит от обстоятельств. Я потратил три часа на то, чтобы сменить свинцовую трубу, а другие за это время...

Расскажу по порядку. Только я вышел на виа деи Коронари и зашагал по тротуару, слышу меня кто-то окликает. Оборачиваюсь - это старая Федэ, что сдает комнаты в доме напротив нас. У этой бедняжки Федэ так распухли от подагры ноги, прямо как у слона. Она говорит мне, тяжело дыша:

- Ну и сильный же сирокко сегодня... Ты домой? Не сможешь ли донести кошелку?

Я отвечаю, что с удовольствием. Перекинул сумку с инструментами на другое плечо и подхватил ее кошелку. Пошли мы рядом, она еле волочит свои ножищи. Потом спрашивает:

- А где Филомена?

- А где же ей быть? - отвечаю. - Дома.

- Ах, дома, - говорит она, наклонив голову. - Понятно...

Я спрашиваю просто так, для разговора:

- А почему "понятно"?

- А она:

- Понятно... Эх, бедняжка ты мой!

Мне это показалось что-то подозрительным. Я подождал немного и опять спрашиваю:

- А почему же я бедняжка?

- А потому, что жаль мне тебя, - говорит старая карга, глядя в сторону.  
- Это как же понимать?  
- А так, что нынче не то, что в старину... Женщины не такие стали, как в мое время.  
- Почему?  
- В мое время мужчина мог спокойно оставить жену дома. Какой оставил, такой и нашел. А теперь...  
- А теперь?  
- Теперь не так... Ну довольно... Дай мне кошелку. Спасибо.  
Все удовольствие этого славного утра было мне отравлено. Я тяну к себе кошелку и говорю:

- Не отдам, пока вы мне не объясните... При чем тут Филомена?  
- Я ничего не знаю, - говорит она, - но предупредить не мешает.  
- Да в конце концов, - кричу, - что такое сделала Филомена?!  
- Спроси у Адальджизы, - ответила она и, вырвав кошелку, засеменила прочь в своей длинной накидке, да так резво, как я и ожидать не мог.

Ну, я решил, что не стоит сейчас идти в мастерскую, и отправился обратно - искать Адальджизу. К счастью, она тоже живет на виа деи Коронари. До того как я встретил Филомену, мы с Адальджизой были помолвлены. Она осталась в девушках, и я заподозрил, что эту историю с Филоменой выдумала именно она. Я поднялся на пятый этаж и сильно застучал кулаком, так что чуть-чуть не попал ей по лицу, когда она внезапно открыла дверь. У нее были засучены рукава, в руках половая щетка. Спрашивает меня очень сухо:

- Тебе что, Джино?

Адальджиза - миловидная девушка среднего роста. Только голова у нее немного великовата и подбородок уж очень вперед выдается. Из-за этого подбородка ее и прозвали "Щелкунчиком". Но этого ей говорить не следует. А я от злости как раз и выпалил:

- Это ты, Щелкунчик, всюду болтаешь, будто, пока я сижу в мастерской, Филомена невесть чем дома занимается?

Она на меня посмотрела взбешенная и говорит:

- Ты свою Филомену хотел - ты ее и получил.

Я шагнул вперед и схватил ее за руку, но сейчас же отпустил, потому что она на меня как-то нежно посмотрела. Говорю ей:

- Так, значит, это ты выдумала?

- Нет, не я... А я за что купила, за то и продаю.

- А кто тебе сказал?

- Джаннина.

Я ничего не ответил и повернулся, чтоб уйти. Но она меня удержала и говорит вызывающе:

- Не смей меня звать Щелкунчиком!

- А что, разве у тебя не щелкушка вместо подбородка? - отвечаю я, выдергивая руку и сбегая вниз по лестнице через три ступеньки.

- Лучше иметь щелкушку, чем рога! - кричит она, перегнувшись через перила.

Тут уж мне стало совсем не по себе. Мне казалось просто невероятным, чтоб Филомена мне изменила: ведь за те три года, что мы женаты, я от нее ничего, кроме ласки да нежностей, не видел. Но смотри, что за штука ревность: после разговора с Федэ и Адальджизой именно эти нежности мне вдруг представились доказательством измены.

Джаннина работает кассиршей в баре по соседству - все тут же на нашей виз деи Коронари. Джаннина - бесцветная блондинка, у нее гладкие волосы и голубые, словно фарфоровые, глаза. Спокойная, медлительная, рассудительная такая. Я подошел к кассе и говорю шепотом:

- Скажи-ка, это ты выдумала, что Филомена принимает гостей, когда меня дома нет?

В этот момент Джаннина обслуживала клиента. Она не спеша потыкала пальцем в клавиши кассы, выбила чек, негромко повторила заказ: "Два кофе" и наконец спокойно



спрашивает:

- Что ты говоришь, Джино?

Я повторил свой вопрос. Она дала клиенту сдачу и отвечает:

- Помилуй, Джино, неужели я могу выдумать такую вещь про Филомену, мою лучшую подругу?

- Что ж, Адальджизе приснилось, что ли?

- Нет, - поправилась она, - нет, не приснилось... Но я этого не выдумывала, я только повторила!

- Что и говорить, хорошая подруга, - не вытерпел я.

- Но я ведь добавила, что я этому не верю... Этого тебе, конечно, Адальджиза не передала?

- Ну, а тебе-то кто наболтал?

- Винченцина... Она нарочно пришла из прачечной, чтобы мне рассказать...

Я вышел не простившись и направился прямо в прачечную.

Еще с улицы я увидел Винченцину, которая гладила, стоя у стола, нажимая на утюг обеими руками. Винченцина - миниатюрная девушка с лукавой кошачьей мордочкой, смуглая и очень живая. Я знаю, что нравлюсь ей, и действительно, едва я поманил ее пальцем, как она бросила утюг и выскочила наружу.

- Джино, как приятно тебя видеть! - говорит она обрадованно.

- Ведьма, - говорю я ей, - это ты всюду болтаешь, что, пока я сижу в мастерской, Филомена принимает дома мужчин?

Она, видно, не такого разговора ожидала; засунула руки в карманы передника, покачивается и спрашивает насмешливо:

- А тебе это не нравится?

- Отвечай, - настаиваю я, - это ты выдумала такую гнусность?

- Ух, какой ты ревнивый! - говорит она, пожимая плечами. - А что ж тут такого? Неужели женщине нельзя пять минут поболтать с дружкой?

- Значит, это ты! Ты!

- Слушай, мне тебя просто жаль, - говорит эта гадюка. - Какое мне дело до твоей жены? Ничего я не выдумывала. Мне это сказала Аньезе, она знает и его имя...

- Как его зовут?

- Это ты у нее спроси.

Теперь-то я был уверен, что Филомена мне изменяет: уж и имя всем известно! "Хорошо, что у меня в сумке ни одного тяжелого инструмента, думаю, - не то бы я сгоряча, чего доброго, мог и убить ее". Нет, никак это у меня в голове не укладывается: Филомена, моя жена, - с другим...

Я вошел в табачную лавочку отца Аньезе, где она торговала сигаретами, и бросил на прилавок деньги.

- Пару "Национальных", - говорю.

Аньезе - девчонка лет семнадцати, с копной курчавых жестких волос. У нее толстое бледное лицо, вечно обсыпанное розовой пудрой, а глаза черные, как ягоды лавровишни. Ее на виа деи Коронари все знают. Мне, как и всем прочим, было известно, что она ужас до чего жадная и готова душу продать за деньги. Дает она мне сигареты, а я наклонился к ней и говорю:

- Ну-ка, скажи, как его зовут?

- Кого? - спрашивает она удивленно.

- Дружка моей жены.

Она посмотрела на меня испуганно - у меня, наверное, была в этот момент препротивная физиономия - и говорит:

- Я ничего не знаю.

Я выдавил улыбку.

- Да ну, скажи мне... Всем уж известно, один только я не знаю.

Она посмотрела на меня пристально и покачала головой. Тогда я добавил:

- Смотри-ка, если ты мне скажешь, то получишь вот это,- и вытащил из кармана тысячу лир, что заработал утром.

При виде денег она так заволновалась, словно я заговорил с ней о любви. Губы у нее задрожали, она осмотрелась вокруг, схватила деньги и говорит тихонько:

- Марио...

- Откуда ты узнала?

- От твоей привратницы.

Значит, это была правда! Я, как в игре "холодно - жарко", дошел до своего дома, значит, скоро доберусь и до квартиры. Я выскочил из табачной и побежал домой; мы живем совсем рядом, через несколько подъездов. На бегу я повторял "Марио, Марио...", и от этого имени все Марио, каких я знал, завертели у меня в голове: Марио - молочник, Марио - столяр, Марио продавец фруктов, Марио, который был в солдатах, а теперь безработный, Марио - сын колбасника, Марио, Марио, Марио... В Риме, наверное, миллион Марио, а на виа деи Коронари их добрая сотня наберется.

Я влетел в подъезд нашего дома - и напрямик в каморку привратницы. Она у нас старая и усатая, как Федэ. Смотрю: сидит у жаровни и перебирает салат. Я спрашиваю ее в упор:

- Скажите, это вы выдумали, что Филомена в мое отсутствие принимает какого-то Марио?

Она отвечает сердито:

- Никто ничего не выдумывает! Мне твоя жена сама сказала.

- Филомена?!

- Ну да... Она мне сказала: "Должен прийти такой-то и такой-то парень, зовут его Марио... Если Джино будет дома, то передайте, чтоб он не заходил, а если Джино не будет, то пусть поднимется". Он и сейчас там.

- Там?

- Ну да... Он пришел час назад.

Значит, Марио не только на самом деле существует, но уже целый час сидит у меня дома, с Филоменой. Я опрометью бросился по лестнице, взбежал на третий этаж, застучал. Филомена мне сама открыла. Я сразу заметил, что она, всегда такая уверенная и спокойная, казалась испуганной.

- Ловко, - говорю, - когда меня нет дома, ты принимаешь Марио.

- Да как же... - начала она.

- Я все знаю! - заорал я и хотел войти, но она загородила мне дорогу и говорит:

- Ну, оставь, не все ли тебе равно... Приди попозже.

Ну, тут уж я просто света не взвидел. Дал ей пощечину и кричу:

- Ах, так, мне все равно? - отшвырнул ее в сторону и ворвался в кухню.

Пропади пропадом бабьи сплетни и провались все бабы на свете! Действительно, сидел там за столом Марио и собирался пить кофе, только это был не Марио - столяр, и не Марио - продавец фруктов, и не Марио - сын колбасника, в общем, ни один из этих Марио, о которых я думал на улице. А просто-напросто это был Марио - брат Филомены, который отсидел два года в тюрьме за кражу со взломом. Я знал, что он скоро должен выйти, и говорил ей: "Смотри, я не желаю его видеть у себя в доме... И разговаривать-то о нем не хочу". А она, бедняжка, любила брата, хоть он и жулик, и хотела принять его в мое отсутствие. Увидя меня в таком бешенстве, он вскочил, а я говорю, задыхаясь:

- Здравствуй, Марио.

- Я уйду, - говорит он поспешно. - Не беспокойся, я уйду. В чем дело? Что я, чумной, что ли?

Я слышу, Филомена в коридоре всхлипывает, и стыдно мне стало от всего, что я натворил. Я говорю смущенно:

- Да нет, останься... останься на сегодня... Позавтракаем... Правда, Филомена, - говорю я жене, которая стоит на пороге и утирает слезы, правда, Марио может остаться

позавтракать?

В общем, я вывернулся, как мог, потом пошел в спальню, позвал Филомену, поцеловал ее и мы помирились.

Теперь надо было покончить со сплетнями. Я подумал-подумал и говорю Марио:

- Марио, идем со мной в мастерскую - может, хозяин найдет для тебя какую-нибудь работу.

Он пошел со мной, а когда мы вышли на лестницу, я говорю:

- Тебя здесь никто не знает... Ты эти годы работал в Милане. Договорились?

- Договорились.

Спустились мы по лестнице. Когда проходили мимо привратничкой, я взял Марио под руку и познакомил его со старухой.

- Это Марио, - говорю, - мой шурин, приехал из Милана, теперь будет жить у нас.

- Очень приятно, очень приятно!

"Приятно-то больше всех мне, - подумал я, выходя на улицу. - Из-за бабьих сплетен я выбросил тысячу лир и ко всему прочему у меня теперь воришка в доме".

Друзья до черного дня

Столько говорят о дружбе, а что же все-таки значит быть другом?

Достаточно ли, как это было со мной, пять лет подряд встречаться в баре на площади Мастаи всегда с одной и той же компанией, играть в карты всегда с одними и теми же игроками, спорить о футболе с одними и теми же болельщиками, ездить вместе на прогулки, на стадион, на реку, есть и пить в одной и той же остерии?

А может быть, отныне, чтобы считаться друзьями, надо спать на одной и той же постели, есть одной и той же ложкой, сморкаться в один и тот же платок? Чем больше я думаю об этом, тем больше путаются мои мысли.

Долгие годы вы считали людей близкими друзьями, с которыми, как говорят, вас водой не разольешь, думали, что любите друг друга, как братья. И вдруг вы узнаете, что эти самые друзья все время держались от вас на должном расстоянии, критиковали вас, а то даже и злословили по вашему адресу - в общем, не испытывали к вам не только чувства дружбы, но и простой симпатии.

Тогда, спрашивается, неужели дружба - это просто привычка, как, например, привычка пить кофе или покупать газету? Может, это предмет комфорта, как кресло или кровать, или это развлечение, как кино или поллитра?

И если так, то почему это называют дружбой, а не как-нибудь иначе?

Но хватит об этом. Я оптимист и верю в добро. И поэтому нынешней зимой, едва оправившись после воспаления легких, я сказал матери, что те тридцать тысяч лир, которые мне нужны, я займу у друзей из бара на площади Мастаи. Дело в том, что врач предписал мне провести после болезни хотя бы месяц на море, а денег у меня не было, так как все наши незначительные сбережения ушли на лекарства и лечение. Надо сказать, что мама совсем не такая, как я: насколько я восторжен, доверчив и легкомыслен, настолько она человек скептический, разочарованный и осторожный. Вот и в тот день она мне ответила, не поворачивая головы от плиты:

- Что это за друзья, если во время болезни ни одна собака не пришла тебя навестить?

Я был смущен этими словами, потому что ведь так оно и было на самом деле, но тотчас же принялся оправдывать своих друзей, говоря, что они люди занятые. Мама покачала головой, но ничего не сказала. Был вечер, время, когда мы все собирались в баре. Я тепло оделся, потому что впервые после болезни выходил на улицу, и отправился туда.

Сказать по правде, я был страшно слаб и едва держался на ногах, но я все-таки улыбался и чувствовал, что улыбка эта, как луч солнца, освещает мое похудевшее и бледное после болезни лицо. Я заранее радовался, потому что представлял себе такую сцену: вот я приближаюсь к бару, приятели смотрят на меня одно мгновение, а потом все вскакивают и бросаются мне навстречу; один кладет мне руку на плечо, другой спрашивает о моем здоровье, третий рассказывает о событиях, происшедших в мое отсутствие. Словом, я понял

по этой своей улыбке, что люблю моих друзей, и предстоящая встреча с ними вызывала у меня даже некоторый трепет, подобный тому, какой испытываешь, встречаясь с любимой женщиной после долгой разлуки. Я был преисполнен дружеских чувств, и, как это часто бывает, то, что переживал я, казалось мне, должны были переживать и все остальные.

Но войдя в бар, я увидел, что он пуст. Тут не было никого, кроме бармена Саверио, начищавшего стойку и кипятильник, и Марио, хозяина бара, который сидел за кассой и читал газету. Приглушенно звучала танцевальная музыка, которую передавали по радио. Марио - высокий и вялый парень с маленькой головкой, с глазами женщины, заплывшими и томными, - и я были, можно сказать, как братья. Мы выросли на одной улице, вместе ходили в школу, вместе служили в армии. Счастливым, взволнованным, приблизился я к нему. А он в это время продолжал читать газету. От слабости и волнения у меня почти пропал голос. Я проговорил едва слышно:

- Марио...

- А, Джиджи, - сказал он своим обычным тоном, поднимая глаза от газеты. - Недаром говорят: кто не умирает, на новую встречу надежд не теряет... Что с тобой было?

- Воспаление легких, мне было так плохо, что пришлось делать уколы пенициллина... Не хочется и говорить, что я перенес.

- В самом деле? - сказал он, глядя на меня и складывая газету. - Это заметно... Ты немного сдал... Но теперь ты здоров?

- Да, я, можно сказать, выздоровел, но все же еле держусь на ногах... Доктор говорит, что я должен провести на море по крайней мере месяц.

- Он прав... Это болезнь опасная... Не хочешь ли кофе?

- Спасибо... А где все?

- Саверио, чашку крепкого кофе для Джиджи... Друзья? Они только что ушли в кино.

Он снова развернул газету, как будто собирался продолжать чтение. Я обратился к нему:

- Марио...

- В чем дело?

- Послушай, ты должен оказать мне услугу... Для того чтобы провести месяц на море, нужны деньги... У меня их нет... Не мог бы ты одолжить мне десять тысяч лир? Как только я снова начну работать на бирже, я тебе их верну.

Он посмотрел на меня долгим взглядом своих черных томных глаз, потом сказал:

- Посмотрим, - и открыл ящичек кассы. - Смотри, - показал он мне почти пустой ящик. - У меня сейчас как раз их нет... Я недавно заплатил долг... мне очень жаль...

- Как так нет? - проговорил я растерянно. - Ведь десять тысяч - это не так уж много...

- Больше того, это мало, - сказал он, - но нужно их иметь. - Тут его как будто осенило, он обернулся к стойке и крикнул: - Саверио, нет ли у тебя десяти тысяч лир? Джиджи просит взаймы.

Саверио был беден и обременен семьей. Он, конечно, ответил:

- Синьор Марио... откуда у меня десять тысяч?

Тогда Марио, обернувшись ко мне, сказал:

- Знаешь, кто может тебе одолжить? Эджисто... У него ведь магазин, который приносит большой доход... Эджисто тебе, конечно, одолжит.

Я ничего не ответил: я просто онемел. Я выпил из приличия чашку кофе и хотел заплатить сам. Марио все понял и сказал:

- Я очень сожалею, ты знаешь...

- Ну, что ты, что ты, - ответил я и вышел.

Эджисто был одним из тех близких друзей, с которыми я виделся каждый день вот уже несколько лет подряд. На следующее утро я рано вышел из дому и отправился к нему. У него был магазин подержанной мебели на виа Парионе, что за площадью Навоны. Когда я подошел к магазину, я сразу же через стеклянную дверь увидел Эджисто. Он стоял среди нагромождения стульев и скамеек, перед комодом - в пальто, воротник поднят, руки в

карманах. Внешность у Эджисто была самая заурядная: не большой и не маленький, не худой и не толстый, лицо благообразное и недовольное. На веках у него то и дело вскакивали ячмени, и от этого глаза были всегда красные и полузакрытые; он постоянно грыз ногти, и они у него все были обкусаны. Хотя я уже не был так восторженно настроен, как прежде, все же, когда я окликнул его: "Эджисто" - в моем голосе еще был радостный трепет. Он холодно ответил:

- Привет, Джиджи!

Но я не обратил на это внимания, так как знал его сдержанный характер. Я вошел и решительно сказал:

- Эджисто, я пришел просить тебя об одолжении.

Он ответил:

- Прежде всего закрой дверь, а то холодно.

Я закрыл дверь и повторил свои слова. Эджисто прошел в глубь магазина, в темный угол, где стоял старый письменный стол и кресло, и, усаживаясь, сказал:

- Ты был болен... Расскажи мне, что с тобой было?

Я понял по его тону, что он хочет говорить о моей болезни, чтоб уклониться от разговора об услуге, о которой я собирался его попросить. Я оборвал его, сухо ответив:

- У меня было воспаление легких.

- Да неужели? И ты так просто об этом говоришь? Да ты расскажи подробнее...

- Я хотел поговорить с тобой не об этом, - сказал я, - у меня к тебе просьба... мне срочно нужны пятнадцать тысяч лир... Одолжи мне их, а через месяц я тебе верну.

Я увеличил сумму, потому что теперь Марио был не в счет и оставались только два человека, у которых я мог занять денег.

Эджисто начал тотчас же грызть ноготь на указательном пальце, потом принялся за средний. В конце концов он сказал, не глядя на меня:

- Я не могу одолжить тебе пятнадцать тысяч лир... но я могу указать тебе способ заработать без особого труда пятьсот и даже тысячу лир в день.

Я, признаюсь, посмотрел на него почти с надеждой:

- Каким образом?

- Он выдвинул ящик стола, вытащил оттуда вырезку из газеты и, протянув ее мне, сказал:

- Прочти это.

Я взял и прочел:

"От пятисот до тысячи лир в день вы можете без труда заработать, сидя дома, изготавливая художественные изделия, посвященные празднованию "святого года" \*. Вышлите пятьсот лир по адресу: почтовый ящик номер такой-то..."

\* "Святой год" или "юбилей" - одно из средств, придуманных папами для привлечения в Рим паломников. Отмечается каждые 25 лет. Последний "святой год" праздновался в 1950 году. - Прим. перев.

В первый момент я так и остался сидеть с разинутым ртом. Нужно сказать, что я еще раньше слышал об этом объявлении. Таким путем некоторые провинциальные аферисты ловили на удочку простаков. Вы посылаете пятьсот лир и получаете взамен бумажный трафарет. Если положить его на открытку и обвести тушью, то появляется силуэт собора Святого Петра. Потом открытки нужно было распродавать, и, по утверждению аферистов, благодаря большому наплыву паломников можно было легко сбывать от пятидесяти до ста открыток в день по пятьдесят "лир за штуку. Я вернул газету Эджисто со словами:

- А я-то считал тебя другом...

Теперь он обгладывал ноготь на безымянном пальце и, не поднимая глаз, ответил:

- А я и есть твой друг.

- Прощай, Эджисто.

- Прощай, Джиджи.

С виа Ларионе я пошел на проспект Виктора Эммануила, сел в автобус и направился на

виа деи Куатро Санти Коронати. Там жил Аттилио, еще один мой приятель, у которого я рассчитывал занять денег. Он был третьим и последним, на кого я надеялся, потому что все остальные товарищи из нашей компании были бедняки и, даже если бы захотели, не смогли бы ссудить мне ни одного чентезимо. Я все заранее обдумал и рассчитал, вы сами можете в этом убедиться: Марио владел баром, где всегда бывало много посетителей, Эджисто наживался неведомо как на своем магазине подержанной мебели, а Аттилио тот просто занимался мародерством в своем гараже, отдавая напрокат машины и ремонтируя их. Мы с Аттилио тоже были вроде как братья, я был даже крестным отцом его дочки. Когда я вошел, Аттилио лежал под машиной, голова и грудь его не были видны, только ноги торчали наружу.

- Аттилио, - позвал я, но на этот раз в моем голосе уже не было никакого трепета.

Он повожился там еще немного, а потом осторожно вылез, вытирая залитое маслом лицо рукавом комбинезона. Это был коренастый мужчина с мрачным лицом цвета непропеченного хлеба, с маленькими глазками, низким лбом, со шрамом над правой бровью. Он тотчас же сказал:

- Знаешь, Джиджи, если ты пришел насчет машины - ничего не выйдет, они все заняты, а большой рыдван сейчас в ремонте.

Я ответил:

- Да нет, дело не в машине... Я пришел просить тебя об одном одолжении: дай мне займы двадцать пять тысяч лир.

Он хмуро посмотрел на меня, потом сказал:

- Двадцать пять тысяч лир... Сейчас я тебе их дам... подожди.

Я был поражен, потому что больше уже ни на что не надеялся. Он медленно подошел к куртке, висевшей в гараже на гвозде, вытащил из кармана бумажник и, подойдя ко мне, спросил:

- Дать тебе бумажками по тысяче или по пять тысяч лир?

- Как тебе удобнее, мне безразлично.

Аттилио пристально посмотрел на меня. В глазах его появилась какая-то непонятная угроза. Он продолжал настаивать:

- А может быть, ты хочешь получить частично в сотенных бумажках?

- Большое спасибо, в бумажках по тысяче лир было бы в самый раз.

- Так, может быть, - сказал он, как будто осененный догадкой, - тебе дать тридцать тысяч? Если нужно, скажи, не бойся.

- Да, ты угадал, давай тридцать тысяч... мне как раз нужна такая сумма.

- Давай руку.

Я протянул ему руку. Тогда он отступил на шаг назад и сказал свирепым голосом:

- Скажи, курицын сын, ты что, и вправду решил, что деньги, которые я зарабатываю с таким трудом, я должен тратить на бездельника, вроде тебя? Ты так решил, да? Но ты ошибся.

- Да я...

- Да ты болван... Я не дам тебе и сотни лир... Нужно работать, взялся бы лучше за дело, вместо того чтобы проводить время в кафе...

- Мог бы сразу это сказать, - разозлился я, - кто же поступает так...

- А теперь проваливай, - заявил Аттилио, - уходи сию же минуту... Скатертью дорога.

Я не мог больше сдерживаться и сказал:

- Мерзавец!

- Что? Что ты сказал? - закричал он, схватив железный ломик. - А ну-ка повтори!

Словом, мне пришлось спасаться бегством, иначе бы он меня избил. Вернувшись в то утро домой, я почувствовал себя постаревшим лет на десять. Мать из кухни спросила меня:

- Ну, одолжили тебе деньги твои друзья?

Я ответил:

- Я не застал их.

Но за столом, видя, что я расстроен, мать сказала:

- Признайся: они ведь не захотели одолжить тебе денег... К счастью, у тебя есть мать... вот, возьми.

Она достала из кармана три бумажки по десять тысяч лир и показала их мне. Я поинтересовался, где она их раздобыла, и мать ответила, что у бедняков есть один друг - это ломбард; оказалось, что она заложила там кое-какие вещи, чтобы добыть мне эти деньги. Она и до сих пор еще не может выкупить золотые вещицы, которые отнесла туда.

Ну, об этом хватит. Я провел целый месяц в Санта-Маринелла. По утрам в солнечную погоду я катался на лодке и иногда, наклоняясь к воде, смотрел на дно, где плавали разные рыбы, большие и маленькие, и спрашивал себя, есть ли, по крайней мере, дружба среди рыб. Среди людей дружки нет, хотя слово это придумали они сами.

Бу-бу-бу

Около полуночи я отвез хозяев домой, а затем, вместо того чтобы поставить машину в гараж, поехал к себе, снял комбинезон, надел синий выходной костюм и, не торопясь, отправился, как было условлено, на виа Венето. Джорджо ждал меня в баре с двумя приезжими из Южной Америки, его клиентами в эту ночь: перезрелой дамой с черными, видимо крашеными, волосами, увядшим размалеванным лицом и голубыми бесноватыми глазами, и мужчиной намного моложе ее, с гладким, нагловатым лицом, непроницаемым, как у манекена. Вы знаете Джордже? Когда я встретил его в первый раз, он был еще мальчишкой с ангельским личиком, белокурый и розовый. Было это во времена высадки союзников. В эти дни, когда дула трамонтана, Джордже в спортивной куртке и военных брюках бегал вприпрыжку взад и вперед по тротуару у фонтана Тритоне, нашептывая прохожим: "Америка". Вот так, немножко на "Америке", немножко на других вещах, он научился болтать по-английски, а потом, когда союзники ушли, стал в качестве гида показывать туристам, как он сам говорил, днем - памятники, а ночью - дансинги все в том же районе Тритоне и виа Венето. Конечно, он приоделся: теперь он ходил в плаще с капюшоном, из тех, что появились у нас после высадки союзников, в узеньких брюках, в ботинках с медными пряжками. Но зато он очень подурнел и уже не был похож на ангелочка, как в дни черной биржи; на лбу и висках появились залысины, голубые глаза стали какими-то стеклянными, лицо осунулось и посерело, а чересчур красные губы кривились улыбкой, в которой было что-то тупое и жестокое. Джордже представил меня чете иностранцев как своего друга, и те сразу же заговорили со мной как они думали, по-итальянски, а на самом деле на чистейшем испанском языке. Джордже, видимо, был чем-то недоволен. Он сказал мне вполголоса, что эти двое помешались на подозрительных заведениях, посещаемых преступниками, а в Риме таких притонов нет, и он не знает, как им угодить.

Действительно, дама, смеясь, сказала мне на своем скорее испанском, чем итальянском языке, что Джорджо нелюбезен и не умеет быть хорошим гидом: они хотят пойти в какой-нибудь кабачок, где собираются пистолерос, а он артачится. Я спросил, что это за чертовщина - пистолерос, и Джорджо с досадой пояснил, что пистолерос - это убийцы, воры, взломщики и тому подобные субъекты, которые в городах Южной Америки собираются вместе со своими дамами в определенных заведениях, чтобы тихо и мирно подготовить какое-нибудь дельце.

Тогда я решительно сказал:

- В Риме нет пистолерос... В Риме есть папа, и все римляне - добрые отцы семейств... Понятно?

Дама спросила, уставившись на меня своими наэлектризованными глазищами:

- Нет пистолерос?.. А почему?

- Потому что Рим так устроен... без пистолерос.

- Нет пистолерос? - не унималась она, глядя на меня почти с нежностью. - Так-таки нет ни одного?

- Ни одного.

Муж спросил:

- Что же тогда в Риме люди делают по вечерам?

Я отвечал наугад:

- Что делают? Сидят в трапториях, едят спагетти с мясной подливкой или аббакио... Ходят в кино... Некоторые ходят на танцы. - Я взглянул на него и, как будто играя на руку Джорджо, добавил с тайной мыслью: - Я знаю одно местечко, где можно потанцевать. Как раз здесь поблизости.

- Как оно называется?

- "Гроты Поппеи".

- А там есть пистолерос?

Дались им эти пистолерос! Чтобы не огорчать их, я проронил:

- Попадают... один, а то и двое, как когда.

- Ваш друг любезнее вас, - сказала дама, повернувшись к Джорджо. Видите, здесь все же есть заведения с пистолерос... Поедьте, поедьте в "Гроты Поппеи".

Мы поднялись и вышли из бара. "Гроты Поппеи" помещались не очень далеко - в подвальчике в районе площади Эздра. Пока я вел машину, а синьора, сидевшая рядом со мной, продолжала говорить о пистолерос, я готовился к волнующей встрече с Корсиньяной, которую так давно не видел. Я уже думал, что не люблю ее больше, но по тому, как тревожно сжималось сейчас мое сердце, я понял, что чувство еще не умерло. Я не видел ее со времени нашей ссоры - мы поссорились как раз из-за "Гротов Поппеи", где она пела и танцевала: я не хотел, чтобы она там работала. Меня приводила в волнение мысль о том, что я сейчас вновь увижу ее. Даже синьора, видно, заметила это, потому что она вдруг спросила:

- Луиджи... вы позволите мне называть вас Луиджи, не правда ли?.. Луиджи, о чем вы думаете, почему вы так рассеяны?

- Ни о чем.

- Неправда, вы думаете о чем-то, держу пари - о какой-нибудь женщине.

Но вот и дом в переулке, фонарь, низенькая дверь под черепичным навесом в сельском вкусе - "Гроты Поппеи". Мы спустились вниз по старинной римской лесенке с полуразрушенными плитами и амфорами в освещенных неоновыми нишах. Синьор-иностранец теперь был, по-видимому, доволен, но заметил:

- Вы, итальянцы, никак не можете забыть о Римской империи... Всюду ее суете, даже в ночные заведения.

Мы подошли к вешалке, помещавшейся под небольшой аркой из ракушечника; отдавая пальто гардеробщице, я ответил:

- Мы не забываем о Римской империи, потому что мы все те же римляне... Вот в чем дело.

"Гроты Поппеи" представляют собой анфиладу маленьких зал с низкими потолками, как бы выдвигающихся одна из другой напоподобие колен подзорной трубы. В последней и самой просторной из них находится стойка бара, покрытая линолеумом площадка для танцев и подмости, на которых размещается оркестр. Всюду было накурено; голоса и музыка звучали приглушенно, словно стены были обиты войлоком. Пока мы проходили через залы, я осмотрелся вокруг; народу было мало, человек пять-шесть в каждой зале, и никаких пистолерос: несколько американцев, помолвленные парочки, парни вроде Джорджо, девицы, ищущие клиентов. Но Корсиньяны, которую я боялся увидеть за одним из столиков, здесь не было. Мы расположились в зале со стойкой, как раз напротив микрофона, и нас сразу же окружили официанты. Я спросил, будто невзначай, с притворным равнодушием:

- Между прочим, здесь поет девушка по имени Корсиньяна?

- Корсиньяна?.. Нет, сегодня ее что-то не видно,- услужливо сказал один из официантов.

- Такая очень смуглая девушка с вьющимися волосами, черноглазая, со шрамом на щеке?

- А, синьорина Тамара, - почтительно сказал хозяин. - Скоро она будет петь... Прислать ее к вам?



Синьора, казалось, была в нерешительности, но муж вмешался, сказав, что ему было бы приятно предложить выпить рюмочку синьорине Тамаре. Мы заказали вина. Оркестр заиграл самбу, и Джордже поднялся, приглашая синьору на танец. Мы с синьором остались сидеть.

И вот появилась Корсиньяна. Она вышла из маленькой двери, которой я прежде не заметил, подошла к микрофону и начала петь. Я внимательно взглянул на нее - да, это была она и вместе с тем не она. Во-первых, она теперь была уже не брюнетка, у нее были рыжие, морковного цвета волосы, а глаза по контрасту казались совсем темными, двумя угольками; и потом она была покрашена, плохо покрашена - над губами были наведены помадой другие губы. На ней была зеленая кофточка с большим вырезом и черная юбка. Единственное, что у нее осталось от той Корсиньяны, которую я прежде знал, это сильные, мускулистые руки с красноватыми, немного пухлыми кистями, руки девушки из народа, рабочие руки. Даже пела теперь она другим голосом: хриплым, грубоватым, с какими-то приглушенными низкими нотами, с претензией на чувствительность. В песенке, которую она пела, припев напоминал вой собаки на луну:

Бу-бу-бу, ты знаешь, что ты врун,  
Бу-бу-бу, ты знаешь, что ты врун,  
Бу-бу-бу, и все ж я не осмелюсь,  
Бу-бу-бу, сказать я не осмелюсь,  
Бу-бу-бу, ты настоящий врун.

Это была идиотская песенка; когда Корсиньяна повторяла "бу-бу-бу", она поднимала руки к вискам, почти касаясь растопыренными пальцами волос, в которые был воткнут красный цветок, и покачивала бедрами и грудью, Я спросил у синьора:

- Вам нравится?  
- Негмоса \*, - убежденно ответил он.  
\* Хорошо (испан.).

Я не совсем понял это слово, но промолчал.

Корсиньяна пела, пока не кончился танец, тогда Джордже и синьора вернулись к столику. Хозяин что-то сказал Корсиньяне, и она развинченной походкой, напевая, подошла к нам. Мы представили ее, и она небрежно сказала:

- Привет, Луиджи.

И я ответил:

- Привет, Корсиньяна.

Потом она села за столик, и наш американец спросил, что она хочет пить. Она, не заставив себя просить, ответила, что хочет виски, и хозяин почтительно подал ей виски. Оркестр заиграл румбу. Я поднялся и пригласил Корсиньяну танцевать. Она согласилась, и мы начали кружиться на площадке. Я тотчас спросил ее:

- Не ожидала увидеть меня, а?

Положив в рот жевательную резинку и принимаясь жевать ее, она ответила:

- Почему же? Сюда может прийти каждый, вход никому не заказан.

- Ну как ты, довольна?

- Так себе.

Она избегала смотреть на меня и, жуя резинку, отворачивалась. Я толкнул ее в бок:

- Эй, смотри на меня.

- Ну, - произнесла она, поворачиваясь ко мне лицом.

- Вот так... А сколько ты зарабатываешь?

- Двадцать пять тысяч в месяц.

- И ради такой ерунды...

Но она, вдруг оживившись, с задором возразила?

- Погоди, не спеши... Двадцать пять тысяч в месяц - это твердых... А еще двести лир за каждый бокал виски, которым меня угощают... Потом я играю в кости с клиентами, получается кругленькая сумма. - Она сунула руку в карман, вытащила кости и показала их мне. - Да еще случайные заработки.

- Это что такое?

- Ну так, всего понемножку.

Тут она заговорила более дружески, почти доверительно:

- Но все это только трамплин... Я собираюсь перейти в другое заведение, получше этого... Здесь все скряги и жулики... Понимаешь, вместо виски мне в стакан наливают какие-то помои, да еще норовят меня надуть, и если я не запишу себе, что выпила стакан этой бурды, делают вид, что забыли, чтобы не платить... Хозяин, правда, говорит, что если я докажу, что хорошо к нему отношусь, то мы легко поладим... но это дудки...

В общем, теперь она чувствовала себя здесь как рыба в воде и говорила легко и свободно. Но мне это было противно. Я оставил ее славной, почти робкой девушкой, а нашел наглой и расчетливой. Она говорила резко и самоуверенно, и было видно, что теперь для нее имеют значение деньги и только деньги. Правда, песенки она пела и прежде, но когда-то она пела их для меня одного, гуляя со мною весной, а теперь и их она продавала, делала из них деньги.

- Ну, - сказал я внезапно, - мне надоело... Пойдем сядем...

- Как хочешь.

Мы вернулись к столику, и Корсиньяна сразу же потребовала еще стакан виски, а потом вытащила из кармана кости и предложила американцу сыграть. Синьора уже не обращала внимания на Джордже, своими бесноватыми глазами она следила за мужем. Корсиньяна сыграла и выиграла тысячу лир. И так три раза подряд. Американец достал из кармана деньги, взял руку Корсиньяны, вложил в нее кредитки, потом поцеловал и пригласил Корсиньяну танцевать. Они ушли. Синьора проводила их взглядом, потом сказала мне с досадой:

- Это заведение мне не нравится... Не уйти ли нам отсюда?

Когда танец кончился, американец и Корсиньяна сели на свои места. Потом Корсиньяна подошла к микрофону и запела песенку еще более идиотскую, чем первая. Вернувшись к нашему столику, она заказала себе еще стакан виски и опять стала играть в кости с американцем. Теперь синьора уже настаивала, чтобы мы ушли, но муж не слушал ее и приказал принести вина для всех. Тогда Джордже пригласил синьору танцевать, и она нехотя согласилась. Не успела синьора отойти, как американец и Корсиньяна начали флиртовать. Придвинувшись к ней, он касался коленями ее колен. Глядя на них, я страдал, но в глубине души был рад этому страданию, потому что хотел окончательно порвать с Корсиньяной, чтобы уже не страдать больше. Наконец американец сказал что-то Корсиньяне на ухо, и она что-то ответила ему тоже на ухо. А потом он вытащил из кармана крупный банковский билет и вложил его в руку Корсиньяны. Вдруг перед столиком появилась синьора и, схватив Корсиньяну за запястье, крикнула:

- Разожми руку!

Та разжала руку, и бумажка выпала на стол. Корсиньяна вскочила с места и выпалила:

- Дорогая синьора, если вы так дорожите вашим мужем, то держите его дома... Я здесь работаю, а не развлекаюсь... Он сказал мне на ухо, что хочет сделать мне подарок за мои песни, и я ответила, пусть делает... Почему это я должна отказываться?

- Нахалка, кухарка!

Синьора подняла руку и ударила Корсиньяну сначала по одной, а потом по другой щеке.

Не знаю, что со мной произошло, но эти две пощечины доставили мне такое удовольствие, как будто я сам их дал. Правда, потом, когда я увидел лицо Корсиньяны, красное, униженное, я вдруг представил ее такой, как в те дни, когда мы были помолвлены, и мне стало жаль ее. Между тем прибежали хозяин, официанты, и разъяренная синьора вышла в сопровождении мужа и Джордже. Я подошел к Корсиньяне и, воспользовавшись суматохой, сказал ей вполголоса:

- Я буду ждать тебя на улице. У меня машина... В котором часу ты уходишь?

- В четыре, - сказала она, и в глазах у нее блеснула надежда: - Ты отвезешь меня домой

на машине?

Я сразу понял, что теперь она действительно во всем видит только корысть; она придет ко мне в четыре часа, но не ради меня, а ради машины. В этом был прямой расчет - она ведь жила в Сан-Джованни. Мне стало ясно, что для меня она потеряна; я бы не выдержал муки видеть, что она во всем всегда будет искать только выгоду. Итак, я сказал, что буду ждать ее, и вышел. На улице я уже не нашел ни Джорджо ни иностранцев. Я сел в машину и поехал домой спать. Прощай, Корсиньяна!

Воры в церкви

Что делает волк, когда волчица и волчата голодны и, сидя с пустым брюхом, скулят и грызутся между собой? Что делает волк, спрашиваю я вас? Я скажу вам, что он тогда делает: он выходит из логова и идет искать добычу; бывает, что, отчаявшись, он спускается в деревню и забирается в дома. И крестьяне, которые убивают его, правы; но и он прав, когда забирается в дома и бросается на людей. Выходит, что все правы и ничьей вины тут нет" А из этой правоты рождается смерть.

Этой зимой волком был я, и я даже жил по-волчьи - не в доме, а в пещере у подножия Монте-Марио, в заброшенных карьерах. Там много таких пещер, но почти все они заросли колючим кустарником - не подобраться; жить можно было только в двух - в моей и еще в пещере одного старика, который просил милостыню и собирал тряпье; звали его Пулити. Местность кругом была желтая, голая, отверстия пещер - черные, закопченные. Перед пещерой Пулити вечно лежала груда тряпок, в которой он копошился; перед моей стоял большой бидон из-под бензина, который служил нам печуркой, и жена моя с ребенком на руках без конца раздувала угли.

Внутри пещера была, пожалуй, получше, чем иная комната: просторная, сухая, чистая, на земле тюфяк, вещи развешаны на гвоздях. Я оставлял семью в пещере, а сам ходил в Рим искать работу: я чернорабочий и чаще всего нанимался землекопом. Но пришла зима, и, не знаю отчего, земляных работ становилось все меньше. Теперь мне часто приходилось менять профессию, и наконец я вовсе остался без работы. Вечером, когда я возвращался в пещеру и при свете масляной коптилки жена, сидевшая на тюфяке, смотрела на меня, и младенец у ее груди смотрел на меня, и двое старших ребят, что играли на земле, смотрели на меня, я, видя в этих четырех парах глаз одно и то же голодное выражение, чувствовал себя и вправду волком в волчьей семье и думал: "Когда-нибудь, если я не принесу им поесть, они меня разорвут на куски".

Старикашка Пулити со своей великолепной седой бородой казался настоящим святым, но стоило ему открыть рот, как сразу видно было, что он жулик. Он часто говорил мне:

- Чего вы столько детей наплодили? Чтоб они мучились? Да и почему ты не собираешь окурки? За них хоть что-нибудь выручишь.

Но я не мог заставить себя собирать окурки, я хотел настоящей работы. И вот однажды вечером я с отчаяния говорю жене:

- Я больше так не могу... Знаешь что? Стану за углом и первого же прохожего...

Жена меня перебила:

- В тюрьму захотелось?

Я говорю:

- В тюрьме хоть накормят.

А она:

- Тебя - да, а нас?

Это меня, надо сказать, убедило.

Мысль обокрасть церковь подал мне Пулити. Он часто ходил попрошайничать по церквям и, можно сказать, знал их все наизусть. Он уверял, что если я сумею спрятаться в церкви вечером, перед тем как ее запирают, то утром можно будет незаметно удрать. Но он предупредил:

- Смотри... Попы не дураки... Хорошие вещи они держат в сейфах, а напоказ выставляют стекляшки.

Кроме того, он обещал перепродать вещи, если мне удастся обделать это дельце. В общем, пустил он мне, как говорится, блоху в ухо, хоть я сначала об этом ни думать, ни говорить не хотел. А мысли то же, что блохи: коли залезут, так и гуляют без спросу и вдруг кусанут тебя, да так, что подскакиваешь от неожиданности.

Так и меня укусило однажды вечером, и я заговорил об этом с женой. А надо вам сказать, жена у меня набожная, и когда мы жили в деревне, то она больше времени проводила в церкви, чем дома. Она мне говорит:

- Да ты с ума сошел!

Я ожидал, что она будет возражать, и отвечаю:

- Это не воровство... Зачем эти вещи дарят церкви?

Чтоб творить благо... Если мы что и возьмем, так для чего? Для блага... Для кого же и творить благо, как не для нас, когда мы так в нем нуждаемся?

Она растерялась и говорит:

- Как ты до этого додумался?

Я говорю:

- Это дело не твое. Ты мне отвечай: разве не сказано, что надо насытить алчущих?

- Да.

- Мы алчущие или нет?

- Да.

- Так, значит, мы только выполним свой долг... сделаем доброе дело.

В общем, я ей много в таком роде наговорил, все напирая на религию - а это у нее было слабое место, - и в конце концов убедил ее. А потом добавил:

- Только я не хочу, чтоб ты осталась одна... Пойдем со мной. Если нас поймают, то хоть в тюрьме будем вместе.

- А ребята?

- Ребят оставим на Пулити... Потом о них господь позаботится.

В общем, мы договорились и сообщили обо всем Пулити. Он обсудил наш план и одобрил его. Но под конец сказал, поглаживая бороду:

- Доменико, послушай меня, старика, не трогай серебряных сердец. Это дешевка. Бери драгоценности.

Когда я вспоминаю о Пулити и его бороде, о советах, которые он давал так серьезно, мне даже смешно становится.

И вот в назначенный день оставили мы детей у Пулити и поехали трамваем в Рим. Ну совсем как два голодных волка, что спускаются с гор в деревню; а посмотреть на нас - и впрямь волки: моя жена низенькая, коренастая, широкоплечая, с густыми курчавыми волосами, словно костер на голове, лицо решительное; а я худой, как с живодерни, щеки ввалились, заросший весь, впалые глаза сверкают. Мы выбрали старинную церковь на одной из тех улиц, что выходят на Корсо. Церковь была большая и очень темная, потому что кругом стояли высокие дома; внутри - два ряда колонн, а за колоннами - два нефа, узкие и темные, и несколько приделов, полных всякого добра. На стенах под стеклом висело очень много серебряных и золоченых сердец, но я заприметил маленькую витринку, где на красном бархате среди нескольких более дорогих сердец было выставлено ожерелье из лазурита. Эта витрина находилась в приделе, посвященном Мадонне; над алтарем стояла статуя Мадонны в натуральную величину, под балдахином, вся раскрашенная, голова в нимбе лампадок, а в ногах много цветов и канделябры со свечами.

Мы вошли в церковь уже в сумерки и, улучив момент, когда в этом приделе никого не было, спрятались за алтарь. Там, позади статуи, было несколько ступеней; мы на них присели. Час был поздний, и пономарь стал ходить по церкви, шаркая ногами и бормоча: "Закрывается". Но за этот алтарь он не заглянул и только погасил все лампадки, кроме двух красных светильников по обе стороны алтаря. Потом, слышим, он двери позапирал и прошел через всю церковь в ризницу. Мы остались в темном коридорчике между алтарем и стеной абсиды. Меня трясло словно в лихорадке, и я тихонько сказал жене:

- Ну, давай быстро... откроем витрину.

А жена говорит:

- Подожди... куда спешить?

Слышу, выходит она из тайника. Встала посередине придела, перекрестилась в полутьме, поклонилась, потом попятилась и опять перекрестилась и поклонилась. Наконец, вижу, опустилась на колени в углу и сложила руки для молитвы. О чем она молилась - не знаю, но я понял, что она не так-то уж была уверена, что творит благо, как я ей говорил, и хотела оправдаться, насколько возможно. Наклоняет она голову, так что из-за копны волос лица не видно, потом поднимает ее в этом красноватом свете, потом снова опускает, шевеля губами, словно четки перебирает. Я подошел и шепчу с опаской:

- Помолиться ведь можно и дома!

А она мне грубо:

- Оставь меня, церковь большая, пройдишь, чего ты тут стоишь?

Я шепчу:

- Хочешь, пока ты молишься, я открою витрину?

Она опять мне резко:

- Нет, ничего не хочу... Дай-ка мне эту железку.

У меня с собой был дверной засов, вполне подходящий, чтоб открыть эту хлипкую витрину. Я его отдал и отошел. Стал ходить по церкви, не зная, что делать. Мне было страшно в этом полутемном храме с высокими гулкими сводами, с поблескивающим в глубине таким огромным главным алтарем, с черными закрытыми исповедальнями в боковых нефях. Я пробрался на цыпочках через два ряда пустых скамеек к двери, и по спине у меня прошел холодок, словно кто-то следил за мной. Попробовал открыть дверь, но она была крепко заперта; тогда я вернулся и сел в левом нефе у какой-то гробницы, освещенной красным ночником.

Гробница была вделана в стену, и на ней лежала большая плита гладкого черного мрамора, а по обеим сторонам - фигуры: скелет с косой и нагая женщина, закутанная в собственные волосы. Это были замечательные статуи из желтоватого блестящего мрамора.

Стал я рассматривать их, и мне в полумраке показалось, что они шевелятся и что женщина пытается бежать от скелета, а он любезно поддерживает ее под руку. Тогда, чтоб отвлечься, я стал думать о пещере, о детях, о Пулители и сказал себе, что, если бы мне сейчас предложили вернуться назад и снова решить, что мне делать, я сделал бы то же самое или что-нибудь в таком же роде.

В общем, не случайно попал я в эту церковь, не случайно задумал такое дело и не случайно не нашел для себя в жизни ничего лучшего. И среди всех этих размышлений меня вдруг охватил сон, и я заснул. Это был тяжелый сон без сновидений, и меня все пробирала дрожь в этой церкви, холодной, как погреб. Я спал и больше уже ничего не ведал.

Потом кто-то стал меня трясти, а я сквозь сон бормочу:

- Оставь, чего привязался!

Но меня все продолжали трясти, я открыл глаза и вижу - народ: пономарь, который выпучил на меня глаза, священник - старик с растрепанными седыми волосами, в наспех наброшенной одежде, два или три полицейских и среди них - моя жена с угрюмым лицом. Я говорю, не двигаясь с места:

- Оставьте нас... Мы бездомные и пришли поспать в церковь...

Тогда полицейский мне что-то сует под нос; я сначала со сна думал, что это четки, потом вижу - ожерелье из лазурита.

- А это что - для сновидений? - говорит.

В общем, после недолгих разговоров полицейские забрали нас и повели из церкви.

Была еще ночь, но рассвет уже близился; улицы были пустынные, мокрые от росы. И мы, окруженные полицейскими, молча торопливо шагали, понутив головы. Я вижу, как впереди идет моя жена, такая низенькая, бедняжка, в коротенькой юбке, волосы на голове дыбом, и мне до того стало жаль ее, что я сказал одному из полицейских:

- Жаль мне ее и детей.

Он спрашивает:

- А где у тебя дети?

Я объяснил. Он мне:

- Ты отец семейства... Как тебе это в голову взбрело? Ты б о детях подумал.

Я ему ответил:

- Я это и сделал, потому что о детях думал.

В полиции какой-то белокурый молодой человек, сидящий за письменным столом, увидев нас, говорит:

- А, похитители священной утвари...

Вдруг моя жена как закричит страшным голосом:

- Как перед господом богом, я не виновата!..

Я никогда у нее такого голоса не слышал, даже рот разинул.

Полицейский комиссар говорит:

- Значит, твой муж виноват?

- Тоже нет.

- Выходит - я виноват... А как у тебя ожерелье очутилось?

А жена:

- Мадонна сошла с алтаря, своими руками открыла витрину и дала мне ожерелье.

- Ах, Мадонна... А отмычку тебе тоже Мадонна дала?

Но жена, подняв вверх руку, продолжала кричать тем же исступленным голосом:

- Умереть мне на этом месте, если я говорю неправду!

Они допрашивали нас не знаю сколько времени, но я говорил, что ничего не видел, как оно и было на самом деле, а жена все твердила, что ожерелье ей дала Мадонна. Время от времени она выкрикивала:

- Люди, на колени перед чудом!

В общем, она казалась какой-то одержимой или помешанной. Кончилось тем, что ее увели, а она все кричала и призывала Мадонну. Я думаю, они ее в лазарет отправили. Полицейский комиссар стал спрашивать меня, считаю ли я, что моя жена спятила, а я ему ответил:

- Может, и так.

Ведь сумасшедшие - не больные, просто им все по-другому представляется. А потом я подумал, что, может статься, моя жена сказала правду, и так мне стало обидно, что я не видел своими глазами, как Мадонна сошла с алтаря, открыла витрину и отдала жене ожерелье.

Жребий выпадет тебе

Мальчишкой я играл со своими сверстниками в разные игры. У нас была одна считалочка, которая начинается так:

Сто пятнадцать и пятьсот,

На заре петух поет.

А кончается:

Кошка села на трубе,

Жребий выпадет тебе.

Как мне всегда хотелось, чтобы палец считавшего уткнулся в мою грудь и мне бы выпало быть главарем в игре! Самолюбие, что поделаешь. Известно, что в жизни самолюбие - это главное: кто этого не понимает, тот ровно ничего не понимает в жизни. Сделавшись взрослым, я по-прежнему остался человеком, который всегда надеется, что "жребий выпадет" ему. Но только не очень уж часто выпадал он мне, вернее - почти никогда. А вот не так давно к неудобствам моего характера - уж больно я скромный - присоединилось еще и незавидное занятие: я стал работать на вывозке мусора.

Чего только не болтают о мусорщиках! Уж ниже мусорщиков, говорят, никого нет, даже нищие и те повыше. Может, конечно, оно и так. Но только что произошло бы, если б

мусорщиков не было? Это сразу видно в дни, когда мы бастуем: весь город грязный, засоренный бумагой, помойки переполнены. А на самых хороших улицах грязнее всего, потому что богатые ведь мусорят больше бедняков; по мусору всегда видно, как люди живут. Именно в такие-то дни и выясняется, как важен мусорщик при теперешней жизни.

Ну так вот, разъезжая на своей повозке с мусором, я считал, что уж никогда не услышу слов: "Жребий выпадет тебе". Выпадало все другим, в особенности с женщинами. Каждый раз, как я говорил какой-нибудь девушке, которая мне нравилась: "Я работаю мусорщиком", она морщила нос и хмурилась. А потом, рано или поздно, она со мной расставалась. Как будто я говорил: "воровством занимаюсь". Поначалу до меня не доходило, а потом постепенно я стал понимать, что вроде лучше скрывать свое ремесло. Можно сказать, окончательно открыл мне глаза старый Сильвестро, с которым мы вместе работали. Однажды утром, когда мы, как обычно, собирали мусор по домам, я ему пожаловался, что женщинам, мол, не нравится наше занятие. Он мне ответил без всякого:

- Да, потому что это грязное ремесло, а женщины таких не любят... Ты скрывай его.

- А что говорить?

- Говори, что ты служащий городского управления. Ведь это в конце концов правда... Все мы муниципальные служащие, и кто мусор собирает, и кто сидит в адресном столе за окошечками - и те и другие служащие.

Вмешался другой мой товарищ, Фердинандо, рыжий, веснушчатый, очкастый парень моего возраста:

- А по-моему, ты неправ... зачем скрывать свое занятие? Оно не хуже других. Работа как работа... Мы такие же трудящиеся, как и все... Если ты скрываешь - значит, поддаешься предрассудку.

- Ишь ты какой, - говорит Сильвестро. - Ну а предрассудок-то существует или нет? Что для Луиджи важнее: с предрассудками бороться или чтоб его девушка полюбила? И потом посмотри на грузчиков... они тоже трудящиеся, а, однако, они себя называют то носильщиками, то посыльными, то еще как-нибудь. Они меняют название, а не дело, тоже из предрассудка.

- Послушай меня, Луиджи, - упрямо сказал Фердинандо, - не скрывай ничего. Если женщина придает значение предрассудку - значит, он для нее важнее, чем ты.

В общем, мы спорили довольно долго, пока наша повозка, полная мусора, медленно двигалась по улицам в утреннем ноябрьском тумане. Потом мы остановились у одного из домов. Фердинандо взял мешок, вылез из повозки и, посвистывая, вошел в ворота. Я сказал Сильвестро:

- Ты стар и знаешь жизнь, научи меня, как быть.

Он вынул трубку изо рта и ответил:

- Фердинандо предпочитает хвастаться своим ремеслом, но, по-моему, это просто другая манера его стыдиться... А вот я не стыжусь... Не хвастаюсь, но и не скрываю. Я мусорщик - и баста.

- Да, но я...

- Ты - другое дело... Тебе выгодно скрывать, я тебе уж сказал: говори, что ты муниципальный служащий.

Правду сказать, мне этот совет не понравился. Я был мусорщиком и не считал, что это надо скрывать. Но через несколько дней, сидя в свободный час, без фуражки и фартука, на скамеечке парка Вилла Боргезе, я снова поразмыслил обо всем и сказал себе, что в конце концов Сильвестро, вероятно, прав. От этой мысли я вдруг испытал такое чувство, какое иной раз бывает во сне, когда снится, будто гуляешь в одной рубашке, с голым задом и не знаешь этого, и вдруг кто-то тебе говорит - и ты видишь, что ты голый, и тебя охватывает стыд, и тут ты просыпаешься. Значит, целых два года я был мусорщиком и не замечал этого. Значит, я вроде как гулял в одной рубашке и только сам этого не видел. Значит...

Был славный ноябрьский денек, теплый и немного туманный, на деревьях листья желтые и красные, и на бульварах полно женщин с ребятами. Я так погрузился в свои

размышления, что и не заметил, как на ту же скамеечку села девушка с маленькой девочкой, наверное, горничная или гувернантка. Потом слышу голос:

- Беатриче, не убегай далеко.

Я обернулся и посмотрел на нее. Девушка была молодая, статная такая, личико круглое, румяное, вокруг головы обернута белокурая коса, толстая, как канат. Мне особенно глаза понравились - черные, мерцающие, словно бархатные, улыбающиеся. Она держала в руках ведерочко и пальто девочки, которая, сидя на корточках, играла в песок. Заметив, что я гляжу на нее, девушка обернулась ко мне и сказала спокойно:

- Вы меня не знаете, а я вас знаю.

Как всякие разговоры могут повлиять на человека! Я почувствовал, что краснею, и подумал: "Она меня, наверное, видела с мешком мусора за плечами". И отвечаю ей поспешно:

- Синьорина, вы меня с кем-то путаете... Я вас никогда не видел.

- А все-таки я вас знаю.

Тут уж я решил соврать:

- Не может быть... Если только вы меня видели в справочном бюро, я там служу... Там бывает очень много пароду...

На этот раз она ничего не сказала, а только посмотрела на меня как-то странно. Потом говорит:

- Вы служите в справочном бюро?

- Именно.

- А в каком отделе?

- Да то в одном, то в другом... как придется. Там ведь много отделов.

- Значит, - говорит она медленно, - я, должно быть, вас там и видела... Я туда ходила два дня назад.

- Безусловно так.

В это время девочка немного отошла и стала обеими руками рыться в куче сора и сухих листьев. Девушка крикнула ей:

- Оставь, Беатриче, это мусор... хорошие девочки не трогают мусора.

При слове "мусор" я невольно вздрогнул и опять покраснел, и тут будто назло явился метельщик в своей противной серой спецовке, с тележкой и метлой и начал убирать эту кучу. Девушка говорит:

- Вот, наверное, много возни дворникам с этими опавшими листьями.

Я снова покраснел и говорю в надежде, что она со мной согласится:

- Это их ремесло, они муниципальные служащие, как и я... Они метут, я пишу - вот и вся разница.

Она снова на меня посмотрела как-то странно, потом говорит:

- Меня зовут Джачинта... А вас?

- Луиджи.

Так началось наше знакомство. Она не дала мне своего адреса, говоря, что не хочет, чтоб хозяйка узнала о нашем знакомстве. Но, как я понял, она жила в том районе, который мы каждое утро объезжали.

Мы стали видеться часто, несколько раз в неделю, а в воскресенье уж обязательно. Ходили в кино или на футбол, иногда в кафе. Я влюбился в нее, можно сказать, главным образом за характер. Я такой девушки никогда не встречал: спокойная, мягкая, тихая, может, немножко скрытная - все всегда затаит внутри, в себе, словно глубокие тихие воды. Она любила молчать и, когда я говорил, только кивала головой ласково, словно одобряя меня, словно говоря: "Верно, именно так, ты прав". Но хоть она мало говорила сама, глаза говорили за нее: всегда улыбающиеся, всегда внимательные, таинственные и мерцающие мягко, как черный бархат. Никогда она мне никаких вольностей не позволяла: так, два или три раза в кино разрешила взять ее за руку. Я все говорил ей, что служу в справочном, и постоянно добавлял всякие подробности, чтоб было правдоподобнее. Но все-таки иногда я



выдавал себя, потому что мусор и мусорщик приходили мне на язык чаще, чем нужно! Один раз она сильно опоздала на свидание. Я попрекнул ее и вдруг говорю невольно:

- Ведь я человек... а не мусор.

Я тут же прикусил себе язык и покраснел до ушей. Мне показалось, что она улыbnулась, но ни слова не сказала.

Я так был влюблен, что начал подумывать, не обручиться ли нам. Но тут же сообразил, что если я хочу жениться, то прежде всего надо сменить работу. Я слишком много ей наврал, а если теперь признаться, что я мусорщик, все пойдет прахом. Во-первых, она будет разочарована: мусорщик! А потом я выйду лгуном, а женщины, известно, лгунов не любят. Но не так-то легко было найти другую работу. Мне ведь надо было сменить разом два места - и настоящее и выдуманное. Я начал в свободное время ходить по Риму и искать работу. Но мне ничего не удавалось найти, и я уже стал подумывать, не лучше ли мне уволиться и остаться совсем без работы. Безработным все-таки лучше быть, чем мусорщиком. Но вот тут-то и случилось то, чего я все время боялся.

По утрам мы всегда объезжали один и тот же участок. Как я говорил, нас на повозке было трое: мы с Фердинандо по очереди ходили наполнять мешки, а Сильвестро правил лошадьми и помогал нам вываливать мусор. Разговаривали мы мало: Сильвестро, сидя на козлах, с вожжами в руках, сосал свою трубку; Фердинандо, устроившись на мусоре, читал газету или журнал, выуженный из какой-нибудь помойки; а я думал о Джачинте и о моем вранье.

Вот однажды утром, когда был мой черед наполнять мешки, повозка, как всегда, остановилась у желтого трехэтажного дома поблизости от площади Либерта. Я молча взял мешок, слез с повозки и пошел. Это был дом без лифта, старый и такой тихий, что казался нежилым; там было всего три квартиры. Я, шагая через две ступеньки, поднялся по лестнице с мешком в руках и, дойдя до площадки, постучался в первую квартиру. На двери была дощечка с фамилией вроде "Джинези". Я смутно помнил, что эту дверь всегда открывала пожилая кухарка - фриулийка, хмурая, здоровая, как мужик. И в то утро, когда дверь открылась, я, как и обычно, не поднимая глаз, подставил мешок и говорю машинально:

- Мусорщик.

Но видя руки, которые держали алюминиевое мусорное ведро - не темные грубые кухаркины руки, а маленькие и беленькие, - я невольно поднял глаза.

Это была она. Потом уж я узнал, что в доме были две прислуги: она и кухарка. Она, чистенькая горничная, никогда не выносила мусор, но не раз видела меня из окна. А в то утро кухарка заболела. Узнал я еще, что когда она увидела меня на пороге, то оробела и никак не могла заговорить. Все это я уж потом узнал и сообразил - задним умом крепок. Но в тот момент, когда она мне молча протянула ведро, мне показалось, что в ее черных глазах, смотревших на меня, была какая-то насмешка. Я покраснел, потом побледнел, опрокинул мусор в мешок, закинул его за спину и ушел. Представил себе я тут, какой я есть: фуражка набоку, полосатый вонючий фартук: мусорщик, никакой не служащий, а мусорщик. Я подумал, что у меня никогда не хватит мужества снова ее увидеть. И я не пошел в другие квартиры. Вернувшись на улицу, бросил Фердинандо на повозку полупустой мешок, а потом туда же швырнул фуражку и фартук и говорю:

- Забери и это... С меня хватит... я ухожу... Скажи в управлении...

- Да что с тобой? Ты спятил?

- Не спятил я... До свидания.

На этот день у нас с Джачинтой было назначено свиданье, но я не пошел. Провалился на постели в каморке под лестницей, которую мне сдавала одна портниха. Мне хотелось плакать, но слезы не шли, вроде как бывает, когда в носу свербит, а никак не чихнешь. К вечеру я заснул, а когда проснулся, то понял, что действительно всему конец.

Я очень боялся, что долго останусь безработным. Но мне повезло, и через несколько дней я нашел место сторожа на стройке за городом, в районе Мальяна.

Я просидел на этом строительстве, как сторожевая собака, четыре месяца безвыходно.

Но однажды в воскресенье я отправился в Рим и на площади Рисорджименто встретил Сильвестро. Увидев меня, он сказал:

- Мы потом узнали, почему ты ушел... из-за этой девушки... Но ты скверно поступил... Она тебя любила по-настоящему, любила потому, что это был именно ты, а не кто другой... Она сказала, что теперь полюбит только кого-нибудь из нашей братии... Она говорила, что от одного вида человека с мешком за плечами и в фуражке городского управления у нее бьется сердце... Для меня, говорит, мусорная телега лучше, чем самая шикарная машина... Кончилось тем, что она теперь с Фердинандо.

- Как с Фердинандо?

- Ну да, ей нужен был мусорщик, она его и получила... Он ведь не скрывал своего ремесла и даже хвалился им. Они обручились.

Я повернулся и пошел прочь, оставив его с открытым ртом. Мне хотелось руки себе искушать. Один раз в жизни, действительно, выпало мне, как говорится в считалке, а я этого не понял. Среди всех женщин на свете нашлась такая, которой нравилось ремесло мусорщика, и я этого не угадал.

Да, век живи - век учишься и век будешь ошибаться; так вот и на этот раз жребий выпал, да не мне.

Лицо негодяя

Я никогда не получаю посылку, но в ближайшие дни я собираюсь отправить на свое имя посылочку, чтобы доставить себе удовольствие пойти на почту и заглянуть в отдел посылок. Ведь как раз там, в этом помещении, таком невзрачном и таком ветхом, где затхлый воздух пропитан запахом мокрых опилок, среди множества разнообразных посылок и чернильных пятен, впервые явилась ко мне фортуна. Конечно, не бог весть какая фортуна, но все же это было лучше, чем выдавать посылки.

Кто знает, там ли еще Валентина, девушка в черном переднике с вьющимися каштановыми волосами, рассыпанными по плечам, как у воспитанниц пансиона, с глазами, похожими на две тихие звездочки, с круглым бледным личиком - черный передник еще больше оттенял его, и оно казалось почти прозрачным. Я знаю, что, несмотря на всю свою кротость, Валентина очень горда и, заметив меня у окошечка, наверно, сделает вид, что не узнает старого знакомого. Должно быть, она просто протянет мне книгу записей - всю в пятнах и очень растрепанную - и, указав розовым пальчиком на то место, где следует поставить подпись, скажет тоном серьезной девицы, которая даже не делает маникюра: "Распишитесь здесь". А потом, вероятно, швырнет мне посылку в лицо и, даже не взглянув на меня, уйдет в заднюю комнату, где среди полок, сплошь заставленных посылками, примется за чтение своих любимых киножурналов.

Так вот, фортуна моя, как я уже сказал, явилась ко мне именно в отделе посылок. По сути дела, все началось из-за Валентины, вернее, из-за ее страсти к кино. Сидя в этом отделе, я со своим некрасивым и мрачным лицом, лишенным всякой привлекательности, ни о чем другом, кроме выдачи посылок, и не думал. Я был вполне доволен, что наконец после нескольких лет безработицы нашлось для меня занятие. Но Валентина с ее прелестным личиком вовсе не была довольна и мечтала о кино. Почему она об этом мечтала, не знаю. Быть может потому, что часто ходила в кино. А для некоторых людей ведь достаточно смотреть фильмы, чтобы вообразить, что они сами могут стать киноактерами. И Валентина была просто помешана на этом.

Между нами никогда не возникало разговора о любви, хотя я и был немного влюблен в нее и даже как-то сказал ей об этом. Больше того, мы никогда не договаривались с ней пойти куда-нибудь погулять вместе или посидеть в каком-нибудь кафе. На всех работавших в отделе, Валентина посматривала свысока; она предпочитала держаться в стороне и не общаться с нами, такими ничтожными людишками. А однажды она заявила мне откровенно:

- Ренато, я не хочу нигде бывать с тобой, слишком уж у тебя лицо страшное.

- Как страшное?

- Не обижайся. Я знаю, ты хороший человек, но у тебя, прости меня, лицо негодяя.

Однажды, вскоре после этого разговора, в окошечко просунулась голова светловолосого франта с галстуком-бабочкой под подбородком. Валентина взяла у него извещение и не спеша направилась к полкам. Но молодой человек неожиданно окликнул ее:

- Синьорина!

Она сразу же обернулась.

- Синьорина, - повторил молодой человек, - вам никто не говорил, что вы могли бы сниматься в кино?

Стоя в стороне и наблюдая за этой сценой, я заметил, как Валентина покраснела до корней волос: впервые в жизни лицо ее покрылось румянцем.

- Нет, никто, - ответила она. - А что?

- А то, что у вас, - с той же легкой непринужденностью произнес молодой человек, - прехорошенькое личико.

- Благодарю вас, - пролепетала Валентина, стоя посреди комнаты и теребя пальцами передник.

Между тем молодой человек, казалось, не собирался больше ничего прибавить. Он еще раз внимательно взглянул на Валентину и сказал:

- Ну что ж, а пока принесите мою посылку.

И она послушно пошла за посылкой, а я, не выдавая своего волнения, направился вслед за ней. Я подошел к Валентине в тот момент, когда она дрожащими руками переставляла посылки на полках, и тихо сказал:

- Ты что, веришь этому типу?

- Отстань от меня, - так же тихо ответила мне Валентина.

- Значит, ты поверила ему?

- Отстань, говорю.

Она разыскала посылку и понесла ее молодому человеку, который в это время, достав авторучку, что-то писал на листке блокнота. Взяв посылку, он протянул Валентине листок и сказал:

- Приходите во вторник по этому адресу на студию... Нам как раз нужна девушка с таким лицом, как ваше... Спросите меня.

Ни жива ни мертва, Валентина сунула записку в карман передника, а молодой человек удалился.

Я уже говорил, что Валентина никогда не принимала моих приглашений. Но накануне знаменательного дня она обратилась именно ко мне.

- Проводи меня, - сказала она. - Одной мне как-то неловко.

Я и сейчас не понимаю, почему Валентина попросила меня проводить ее. Быть может потому, что она была очень робка, а может, ей, пусть даже безотчетно, хотелось унижить меня, сделать свидетелем своего триумфа.

Во вторник Валентина явилась, как было условлено, на площадь Фламинио, разодетая, точно собралась на бал: в новом красивом пальто из голубой шерсти, в шелковых чулках, в туфлях с бантиками и с красным зонтиком, к которому тоже был привязан бантик; четвертый бантик красовался у нее на макушке, а волосы, как обычно, были рассыпаны по плечам. Сказать по правде, она с ее кроткими, похожими на две звездочки глазами показалась мне тогда такой прекрасной, что я испытал прилив нежности.

- Будь спокойна, - сказал я ей, - тебя непременно возьмут... Не видать нам больше тебя в отделе.

Студия расположена у подножья Монте-Марио, на самом верху поросшей травой тихой улочки, которая после недавних дождей была вся залита водой. Мы пошли по дорожке, перепрыгивая через лужи и поглядывая на видневшуюся вдали ограду, решетчатую калитку и торчавшие над ними крыши павильонов студии. Впустивший нас привратник пробормотал что-то непонятное, а мы, испугавшись, не осмелились переспросить. Мы вошли на территорию студии, не зная, куда нам следует идти дальше. Территория студии очень обширна; справа и слева у ограды стояло множество автомобилей, взад и вперед

прогуливались группы людей. Мы обратили внимание, что некоторые из них были в такой же, как у нас, одежде, а другие расхаживали в каких-то смешных костюмах, и лица их были покрыты гримом кирпичного цвета.

- Это артисты, - сказал я Валентине. - Скоро и ты будешь разгуливать здесь в таком же виде.

Валентина ничего мне не ответила; от радости и волнения она лишилась дара речи. Мы не знали, где находится само здание студии, но потом заметили какие-то номера на дверях павильонов. Я подошел к первой попавшейся двери и, схватившись за ручку, открыл ее. Дверь была обита толстой материей и оказалась тяжелой, как дверца несгораемого шкафа. Я переступил порог, а вслед за мной на цыпочках вошла Валентина. Теперь мы находились в помещении самой студии. Кругом была почти полная темнота, и лишь в одном месте сильная лампа освещала какое-то невысокое сооружение, которое, казалось, было сделано из папье-маше. У этого сооружения была только половинка черепичной крыши над половинкой кирпичной стены и одна половинка двери, в которую было видно полкомнаты с половинкой внутренней стенки и с половинкой кровати. На кровати лежала полураздетая женщина, пучок яркого света был направлен прямо на нее. Женщина ломала руки, а какой-то мужчина наклонился над ней, опершись коленом на постель и грозно подняв кулак.

- Видишь, это они играют, - вполголоса сказал я Валентине.

Но в этот самый момент раздался чей-то крик: "Тишина!" - который заставил меня подскочить на месте, так как я решил, что он относился ко мне. Мы подошли ближе и позади этой полукровати увидели киноаппарат, вокруг которого собралась довольно большая группа людей. Где-то наверху, в темноте павильона, словно куры на насесте, сидели еще какие-то люди. Бедной полуобнаженной актрисе пришлось еще раз заламывать руки, а мужчина должен был снова заносить над ней кулак. Затем кто-то схватил две дощечки и, взмахнув рукой, щелкнул ими, точно кастаньетами. Вслед за этим послышался новый вопль, требовавший тишины, и затрещал съемочный аппарат. Аппарат трещал и трещал, а актриса, лежа на постели, продолжала ломать руки, и актер, опустив наконец кулак, ударил ее и, должно быть, всерьез, потому что она застонала, и, по-моему, это не было притворством.

Такой представилась мне студия, когда я впервые попал туда, и такой же она должна была показаться бедняжке Валентине, так долго о ней мечтавшей, но никогда не видевшей ее прежде.

Затем раздался возглас: "Стоп!", и треск прекратился, актриса поднялась с постели, лампы погасли, и все кругом задвигались. Я понял, что настал удобный момент, и, подойдя к одному из рабочих, спросил:

- Скажите, пожалуйста, где можно найти синьора Дзангарини?

- А кто такой Дзангарини? - спросил рабочий не очень приветливо.

Я смутился. К счастью, в разговор вмешался другой рабочий, оказавшийся полюбезнее.

- Дзангарини? Его здесь нет... Он в третьем павильоне.

Мы поспешно вышли и, пройдя по территории студии, направились к павильону № 3. Нам пришлось снова открыть такую же тяжелую дверь и войти в павильон, очень похожий на первый. Съемка здесь не производилась; тут было много света и много людей, которые о чем-то шумно спорили. Мы подошли к ним, но не слишком близко, потому что нас испугали их дикие крики. Казалось, они были чем-то не на шутку взбешены. Один из этих людей, тощий, как гвоздь, в очках в черепашьей оправе и с длинными черными усами, плясавшими над белоснежным рядом зубов, орал, размахивая руками:

- Не подходит, не подходит, не подходит...

- Но почему же не подходит? - спросил его какой-то человек, который и оказался Дзангарини.

- А потому, что он чересчур симпатичен, - продолжал кричать усатый. Потому, что у него лицо честного парня... А мне, наоборот, нужно лицо преступника, бандита, лицо Вараввы...

- Тогда возьми Проетти.

- Нет, нет, он тоже слишком симпатичен. Простодушный малый, одним словом - добряк... Не подходит, не подходит...

- Возьми Серафими.

- Не подходит, не подходит... Серафими не просто добрый человек - это ангел, больше того - серафим... Кто поверит, что он способен на дурной поступок?.. Кто поверит?

Я понял, что мы пришли не вовремя, но делать было нечего: явился на бал - изволь плясать. Улучив момент, когда режиссер, продолжая кричать и жестикулировать, куда-то отошел, я приблизился к Дзангарини и тихо сказал ему:

- Синьор Дзангарини, мы пришли.

- Кто это мы? - спросил он раздраженно.

- Синьорина Валентина, - ответил я, становясь в сторонку. Валентина подошла и сделала легкий поклон. - Синьорина из отдела посылок. Вы просили ее прийти.

Должно быть, Дзангарини обо всем забыл. Он посмотрел на Валентину, казалось, что-то припомнил и, стараясь придать мягкость своему голосу, сказал:

- Мне очень неприятно, синьорина, но у нас ничего нет для вас.

- Как же так? В пятницу вы говорили, что вам нужна именно такая девушка.

- Была нужна... Но теперь уже не нужна; мы ее нашли.

- Но позвольте, - вспыхнул я, - разве так поступают?.. Сначала пригласили, а потом заявляете, что нашли другую.

- А что я могу поделать? - воскликнул Дзангарини.

Я уже готов был наругать ему, когда неожиданно раздался громкий крик:

- Вот он!.. Вот он!.. Это как раз то, что нам нужно!

Это кричал режиссер. Он стоял теперь передо мной со сверкающими глазами, тыча мне в грудь указательным пальцем.

- Но кто - он? - спросил я растерянно.

- Вы негодяй, - заорал режиссер, - вы соблазнитель женщин, вы бандит, сводник... Ну, разве не так?

- Как вы смеете так говорить, - ответил я, чувствуя себя оскорбленным. - Я государственный служащий... Меня зовут Ренато Париджини.

- Нет, вы негодяй, тот самый негодяй, который нам нужен... Вы, с вашим лицом, именно то, что я искал... Вы негодяй!..

Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы в дело не вмешался Дзангарини. Он объяснил мне, что они как раз подыскивали для небольшой характерной роли человека с лицом негодяя, что мое лицо вполне им подходит и что, если мне угодно, проба может быть сделана тут же. А Валентина?

- Нет, это впустую. У нас таких сколько хотите, - снова заорал режиссер в порыве восторга. Но заметив слезы в глазах Валентины, он спохватился и участливо прибавил: - Синьорина, сегодня нам требовалось лицо негодяя, и мы нашли его... Когда нам понадобится лицо ангела, мы вспомним о вас.

С этим мы и ушли. Но как только мы оказались за пределами студии, на поросшей травой улочке, Валентина отошла от меня и всю дорогу не проронила ни слова. На трамвайной остановке стояла обычная толпа. Валентина растерянно оглянулась. После того, как она уже размышляла о богатстве, ей, должно быть, показалось унижительным ехать в трамвае, точно бедной девушке.

- Пока, Ренато, - сказала она неожиданно, - я возьму такси, мне некогда... Я не приглашаю тебя ехать со мной, ведь мы живем в разных концах города.

И не дав мне опомниться, она, вместе со всеми своими бантиками, двинулась через залитую водой улицу по направлению к стоянке такси.

С тех пор я больше не видел ее, так как на следующий же день на студии была сделана проба, которая оказалась удачной. После этого я начал сниматься в кино и с того времени почти не прекращал этого занятия. Я наспециализировался на эпизодических ролях - в том числе и бессловесных бандитов, развратников, мошенников, шулеров, воришек и им

подобных, А недавно я встретил одного из прежних товарищей по работе на почте и от него узнал, что Валентина обручилась со служащим из отдела "До востребования", который находится через четыре окошечка от нее.

Не везет

Меня вечно преследуют неудачи, и я уверен, что в день моего появления на свет в небе сияла какая-нибудь несчастливая звезда или комета, а может, и какое-либо другое зловещее светило.

Помню, познакомился я как-то с одним механиком, который поехал работать во Францию, а потом вернулся. Он тоже жаловался, что ему не везет. Этот механик связался с какими-то парнями и ездил с ними ночью по городу на автомашине; подъехав к магазину, они прикрепляли цепь к железной шторе, потом машина трогалась, штора срывалась и, свертываясь, поднималась вверх, а они заходили в магазин и грабили. Так вот, у этого механика на груди была татуировка - гильотина, а над ней надпись: "Pas de chance", что по-французски означает: "Не везет!" Когда он играл своими мускулами, то казалось, что нож гильотины вот-вот сорвется и упадет; при этом он обычно говорил, что его ждет именно такой конец. Правда, на гильотину он не попал, но в тюрьму все же угодил на пять лет. Мне, пожалуй, тоже не мешало бы иметь такую надпись на груди, а еще лучше на лбу: "Не везет!" Я делаю то же, что и все, только у других это получается, а у меня нет. Значит, я невезучий, и уж ясно - кто-то желает мне зла, а вернее, весь мир ополчился против меня.

Я всегда старался работать честно - конечно, не честнее, чем другие, ведь, в конце концов, все мы рождаемся с грешками, и только один бог безгрешен. Вскоре после женитьбы я открыл на деньги жены сапожную мастерскую. Выбрал я квартал, где проживали разные служащие, и не ошибся. Дело в том, что служащие, бедняги, берегут свою обувь. Они работают в учреждениях, а поэтому у них должен быть приличный вид, они не могут ходить, как мы, простолюдины, в рваной обуви. Моя мастерская находилась в самом центре квартала, среди больших домов, в каждом из которых насчитывалось, самое меньшее, тысяча жильцов. На той же улице, как раз напротив меня, работал другой сапожник - полуслепой старик лет семидесяти. В тот день, когда я открыл свою мастерскую, он заявился ко мне и устроил скандал. Это был злой старикашка с совиными глазками, и моя жена даже посоветовала мне остерегаться дурного глаза. Я не послушался ее и плохо сделал. Сначала все шло гладко; я был ловким и симпатичным парнем, во время работы любил напевать, а для служанок, приносивших мне чинить хозяйскую обувь, всегда находил ласковое словечко, всегда шутил с ними. Моя мастерская превратилась чуть ли не в салон, ко мне приходили со всего квартала, и довольно скоро я переманил к себе всех клиентов старого сапожника. Старик злился, но поделаться ничего не мог, так как я к тому же, стараясь избавиться от конкурента, брал за работу меньше. У меня, ясно, был свой план, и как только я увидел, что вся клиентура перешла в мои руки, я стал его осуществлять. Я применил систему чередования: одному клиенту ставил кожаную подметку, другому - из заменителя. Так продолжалось некоторое время. Когда же я увидел, что никто этого не замечает, я совсем осмелел и начал всем без разбора ставить картонные подметки. Правда, это был не обычный картон, а синтетический продукт, изготовленный во время войны, и я готов поклясться, что он был чуть ли не лучше кожи. Итак, работал я усердно, был всегда весел, всегда любезен, всегда в хорошем настроении, и все меня любили, за исключением, конечно, старика-сапожника. Я начал прилично зарабатывать, и как раз в эту пору у меня родился первый сын. Но однажды приключилась беда - один из починенных мною башмаков разъехался. Как это случилось, не знаю; возможно, виной тому был дождь. Пострадавший клиент явился ко мне с жалобой. И тут, как нарочно, все мои ботинки стали расклеиваться. А что в таких случаях бывает, всем известно: один сказал другому, и по всему кварталу пошли толки и пересуды, ко мне перестали ходить, и все вернулись к старику. Сидя у окна своей мастерской, старик теперь посмеивался и только знай постукивал молотком да подшивал подметки. А я тем временем надрывал глотку, пытаюсь всем объяснить, что не моя здесь вина, что меня надул лавочник, но никто мне не верил. В конце концов нашелся человек,

который откупил у меня мастерскую, а я взял вырученные за нее гроши и покинул квартал.

Я понял, что не стоило больше возиться с ботинками, и решил сменить ремесло. Еще мальчишкой я работал у одного водопроводчика и мечтал о своей собственной слесарной мастерской. На этот раз я тоже все хорошо обдумал. Выбрал один из центральных кварталов, где все дома были очень старые и водопроводные и канализационные устройства успели уже обветшать и проржаветь. Подыскал помещение на одной из мрачных сырых улочек, куда никогда не заглядывало солнце, - сущую дыру, между лавкой угольщика и прачечной. Накупил инструментов, несколько свинцовых труб, несколько раковин, кранов и заказал себе вывеску, на которой было написано: "Слесарно-механическая мастерская. Вызовы на дом. Предварительный расчет по требованию". Вскоре дело у меня пошло на лад. В ту зиму было очень холодно и даже выпал снег, так что трубы во всех этих старых, прогнивших домах лопались без конца. Кроме того, хороший слесарь встречается редко, и когда портится колонка в ванной или кипятильник для кофе, люди доверяются ему, как богу. Трудно даже представить себе, до какого отчаяния они доходят, когда в доме не идет вода или же когда заливает ванную: они звонят, умоляют, уговаривают, а как только работа выполнена, расплачиваются без звука. И в самом деле, слесарь - человек незаменимый. Поэтому-то все слесари держатся с достоинством, и горе тому, кто с ними плохо обойдется. Вначале у меня, как я уже сказал, все шло гладко. Правда, мастерская была темная и тесная, а на витрине только и было выставлено, что дюжина кранов, но меня часто вызывали, и довольно скоро работы стало мне хватать на целый день. И все было бы хорошо, если бы не появился другой слесарь, открывший свою мастерскую как раз напротив моей. Это был молчаливый белобрысый парень, небольшого роста, с головой, вросшей в плечи, словно у него вообще не было шеи. Этот малый задался целью переманить моих клиентов, и было ясно, что он решил добиться этого во что бы то ни стало. Я понял, что если не принять должных мер, то ему это может удалиться. После долгих размышлений я наконец додумался, как удержать клиентов и, может быть, даже поставить дело на более широкую ногу. Предположим, мне нужно было исправить кому-нибудь колонку в ванной. Завинчивая гаечным ключом гайки, я слегка перекашивал старую, изношенную трубу с таким расчетом, чтобы она лопнула внутри стены. Ночью дом заливало водой, клиент вызывал меня, я ломал стену, менял трубу, а это уже была большая работа. Одним словом, я всякий раз что-нибудь портил, причем старался делать это не в том месте, которое я чинил. Благодаря этой системе я мог выдерживать конкуренцию и даже улучшил свое положение. К тому времени у нас родился второй сын, и мне дышалось легко, потому что на этот раз никаких неудач не было еще и в помине. Но никогда не следует торжествовать раньше времени. В своем рвении я зашел слишком далеко: в одной ванной комнате неожиданно взорвалась испорченная мной колонка, огонь перекинулся на стоявший там шкаф, а затем распространился по всей квартире. На беду за моей работой наблюдал какой-то мальчишка, по-видимому, страстный любитель техники. Стоит ли говорить о том, что пришлось мне пережить, - я едва не угодил на каторгу. И снова я вынужден был прикрыть свою мастерскую и обратиться из того квартала.

Но я был упрям и решил в третий раз открыть мастерскую. Денег у меня оставалось к тому времени уже немного, а с двумя детьми на руках и с третьим в перспективе не на что было особенно надеяться. Я выбрал густо населенный квартал на окраине города, неподалеку от скотобойни, и открыл там небольшую матрацную мастерскую. На этот раз идея принадлежала жене, потому что мой тесть тоже был матрацником. Я купил швейную машину, металлические сетки, складные кровати, несколько кусков матрацной ткани, немного шерсти и конского волоса. Бедняжке жене, ожидавшей ребенка, приходилось шить на машине, а я выполнял более тяжелую работу, например расчесывал шерсть. Квартал был очень бедный, и заказы поступали редко. Нам лишь с трудом удавалось прокормиться, и я понимал, что на этот раз справиться с нуждой будет гораздо труднее. Однако ближе к весне дела наши стали поправляться: беднякам тоже хочется жить в чистоте, и они идут на любые жертвы, лишь бы содержать дом в порядке. И вот с наступлением весны многие женщины квартала стали приходить ко мне с просьбой починить им матрацы. Известное дело, так ведь

всегда бывает: еще месяц назад никто ко мне не заглядывал, а теперь у меня просто рук не хватало. Стало ясно, что одному мне не справиться, и я взял себе подмастерье. Это был паренек лет семнадцати, и звали его Негусом, потому что он был смуглый и курчавый, совсем как абиссинский негус. Он относил и приносил матрацы, а я трудился в мастерской. Этот Негус приводил в отчаяние свою мать, работавшую прачкой. Однажды, когда я послал его оплатить какой-то счет, он не вернулся сразу в мастерскую. Он отправился на футбол и оттуда еще куда-то, а деньги прикарманил. И у этого парня хватило нахальства прийти потом в мою мастерскую и доложить мне, что у него украли бумажник. Я заявил ему, что он вор, а он ответил мне какой-то грубостью; тогда я дал ему затрещину и вытолкал вон из мастерской. С этого-то и начались мои новые неудачи. Негодяй стал разгуливать по кварталу и всем рассказывать, что, мол, недавно, когда у меня в починке было пять матрацев, я обнаружил в одном из них клопов и не только оставил их там, но еще пустил по парочке и в остальные четыре матраца. И это для того, чтобы к будущей весне мне снова прислали их для переделки. Сказать по правде, так оно и было, но что подделаешь, приходится как-то изворачиваться. Все люди как-то изворачиваются. И надо быть таким невезучим, как я, чтобы об этом узнали. В общем, началась чуть ли не революция: женщины осадили мою мастерскую и готовы были избить меня. Пришли даже из квестуры и отобрали у меня патент. После этого я продал швейную машину и прочее имущество, которого было не так уж много, и скрылся тайком, ночью, как вор.

Вот я и говорю, можно ли быть большим неудачником, чем я? Я хотел работать честно, спокойно, ну иногда немножко схитрить, но не больше, чем многие другие. Одним словом, я хотел быть хорошим тружеником, а вместо этого оказался безработным. Если бы у меня было немного денег, я открыл бы остерию, и поскольку ни для кого не секрет, что в вино добавляют воду, мне, может быть, удалось бы выбраться из трудного положения. Но у меня больше нет денег, и мне придется наняться к кому-нибудь в подмастерья, хотя известно, что тот, кто живет на жалованье, помирает с голоду. Да, я неудачник, а скорее всего, меня сглазили. Жена зашила мне в бумажник образок, и я всегда ношу при себе невесть сколько амулетов и талисманов. Кроме того, на входной двери я повесил подкову вместе со всеми гвоздями, которые были в ней. И все же я неудачник, был неудачником и умру неудачником. Гадалка, к которой я обратился, чтобы узнать у нее, кто же мне желает зла, взглянув на мою ладонь, воздела руки к небу и воскликнула:

- О! Что я вижу! Что я вижу!

Перепугавшись, я спросил, что же она там увидела.

И она ответила:

- Черную-пречерную звезду, сын мой... Все люди желают тебе зла.

- Что же мне делать?

- Что делать?.. Не падай духом и доверься богу.

- Но ведь я всегда выполнял свой долг, - попытался протестовать я.

- Сын мой, - вздохнула гадалка, - уж очень много людей желают тебе зла... К чему выполнять свой долг, когда люди желают нам зла? Разве только чтобы совесть была чиста.

- Совесть-то у меня чиста, - ответил я, - и этого мне достаточно. Все остальное меня мало касается.

Жребий

Часто по воскресеньям мы - Ремо, Этторе, Луиджи и я - собирались вместе; встречались мы около кино, расположенного за воротами Сан-Паоло. В этом кино фильмы шли третьим экраном, но мы их тоже в большинстве случаев не видели, ведь у нас не было денег на билеты. Было нам в то время по восемнадцати лет, все мы были безработные и в кармане - ни гроша. Вернее, у нас бывало иногда несколько сольди, но мы приберегали их на сигареты - это ведь, как-никак, поважнее кино. Сигареты мы расходовали тоже очень экономно: выкуривали все вместе одну сигарету за раз, передавая ее друг другу и делая каждый по затяжке.

В воскресенье все обычно надевают свои лучшие костюмы. А у нас лучшими



костюмами были обноски с наших братьев и отцов, которые переходили к нам совсем уж в непригодном виде. На мне, например, был костюм моего брата; рукава у пиджака и брюки мне укоротили домашними средствами, но плечи свисали, потому что были вдвое шире моих. Хорошо еще, что под пиджаком у меня была надета красная фуфайка с высоким воротом, которая мне очень шла, потому что я блондин и глаза у меня голубые. Остальные трое выглядели не лучше меня: бесформенные штаны и куртки, спортивные фуфайки.

Мы были друзьями, нас объединяла нищета, общие несбыточные желания; мы вместе, забравшись на забор, глазели на футбольные матчи (денег на билеты у нас, конечно, не было), вместе смотрели летом из окна Луиджи кино, демонстрировавшееся под открытым небом, вместе играли в карты где-нибудь в укромном местечке у стены (правда, играли мы не на деньги, а на камешки или на пуговицы).

И вот в один из таких воскресных дней мы, как обычно, встретились около кино. А надо сказать, что Ремо был знаком с хозяином кинотеатра, тучным молодым парнем по имени Альфредо, и тот иной раз, когда в зале были свободные места, пускал нас без билетов. Но в тот день Альфредо сразу заявил нам:

- Сегодня, ребята, не смогу пропустить вас без билетов.

И показал на висевшее над кассой объявление: "Вход по контрамаркам отменен".

Ремо стал упрашивать:

- Послушай... пропусти нас по двое... двоих сейчас и двоих на следующий сеанс.

Но Альфредо, не отрывая глаз от билетной книжечки, отрицательно качал головой. Однако уходить нам не хотелось, и мы так и остались стоять около кино под навесом, рассматривая афиши и людей, которые входили в кино. Вот к афишам неуверенно подходят две девушки, одна брюнетка, другая блондинка. На брюнетке черный бархатный жилет, немного потертый, и красная юбка из легкой ткани, мятая и грязная. Но она сразу понравилась мне: загорелая, как цыганка, глаза живые, черные, словно угольки, большой рот, красные губы, гибкая, стройная фигурка. А блондинка мне совсем не понравилась: толстая, с расплывшимися боками и грудью, в коричневом, похожем на паутину платье, в заштопанных чулках на толстых бледных ногах, лицо широкое, красное и покрытое пушком, как персик. У блондинки не было с собой сумочки, а черная бархатная сумочка брюнетки была такая плоская и тощая, что можно было поклясться, что там не лежало даже носового платка. Я толкаю локтем Ремо, показываю ему глазами, он подбадривает меня взглядом. Тогда я подхожу к девушкам и говорю: - Синьорины, разрешите пригласить вас в кино?

Брюнетка резко поворачивается.

- Нет, спасибо, мы ждем, - отвечает она.

- Кого же вы ждете? Женихов? - спрашиваю я с иронией.

Она сухо отвечает:

- А почему бы и нет? Вы не верите, что у нас есть женихи?

- Никто ничего не говорит, - отвечаю я, - раз курица кудахчет, значит снеслась.

- Что же, по-вашему, мы курицы?

- Конечно.

- А вы петухи?

- Ясно.

- Да вы желторотые цыплята, - говорит она своим сиплым голосом, неоперившиеся птенцы.

- Вы что, решили посмеяться над нами?

- И не собираемся, - отвечает она, неожиданно приняв какое-то решение. - Наоборот, если вы хотите пригласить нас в кино - то мы согласны, - и она сделала небольшой реверанс, придерживая обеими руками края юбки, словно желая этим сказать: что ж, приглашайте!

Мне стало не по себе. Собственно, я затеял разговор о кино, чтобы сломать лед молчания. Ведь у нас не было денег на билеты не только для девушек, но даже и для себя.

Я отвечаю:

- По правде говоря, денег на кино у нас нет. Это я так просто сказал.

Брюнетка начала смеяться, показывая два ряда красивых белых зубов.

- Да мы давно это поняли!

Блондинка что-то шепнула ей. Но та, вызывающе поглядывая на меня, только пожала плечами. Потом говорит:

- Ничего, неважно. Вы нам нравитесь и без денег. Не обязательно идти в кино. Может быть, прогуляемся немного?

- С удовольствием.

И мы пошли от кино по пустынной улице, которая вела вдоль стены за воротами Сан-Паоло. Брюнетка шла впереди, а мы четверо увивались около нее, потому что, как я сразу заметил, она понравилась всем четверым. А блондинка, насупившись, плелась позади одна-одинешенька. Брюнетка кокетничала, смеялась, шутила; у нее была такая походка, что при каждом шаге ее красная юбка развевалась, словно знамя; мы четверо наперебой заигрывали с ней, а с блондинкой - никто ни слова. Как я уже сказал, мне самому очень понравилась брюнетка, но остальные трое мешали мне, они все время лезли к ней со своими ухаживаниями, и это ужасно злило меня. Я беру ее под руку - глядь, Ремо, Этторе или Луиджи подхватывает ее с другой стороны; я взгляну на нее - и кто-нибудь из них забегает и тоже смотрит на нее; я отпускаю ей комплимент - и другой тут как тут. Наконец терпение мое лопнуло и я говорю Луиджи, самому замухрышке из четверых:

- Да отстань ты от нее... Почему бы тебе не составить компанию Элизе?

Элиза, блондинка, молча шла немного в стороне, покусывая травинку. Брюнетка, смеясь, заметила:

- Ах, да, Элизу-то одну оставили.

- Я не нуждаюсь в компании... Мне и одной хорошо, - зло бросила Элиза.

- А почему ты сам не составишь компанию Элизе? - говорит мне Луиджи.

- Да, - засмеялась брюнетка, - почему вы не составите компанию Элизе?

Тут меня вдруг взорвало, и я ответил:

- Знаете что... столько собак на одну кость... Я, пожалуй, составлю компанию Элизе, а вы тут развлекайтесь...

И без колебаний направился к Элизе. Взяв ее под руку, я сказал:

- Значит, Элиза... мир?

- А мы и не ссорились, - ответила она сдержанно.

Так мы шли по пыльной дороге мимо башен на стене.

Скоро я понял, что мой маневр удался; действительно, брюнетка казалась уже не такой веселой: смеясь и кокетничая, она то и дело бросала на нас с Элизой, шедших сзади, ревнивые взгляды.

Я спрашиваю Элизу:

- Что нужно твоей подруге?... Чего она хочет?

- Она кокетка... И любит, чтобы все мужчины ухаживали за ней.

Я говорю:

- А я вот буду ухаживать за тобой... хочешь?

Она ничего не ответила, может быть из робости, только покраснела и протянула мне руку.

Так мы дошли до конца улицы, потом повернули обратно; смех и шутки не смолкали, и вот мы опять вернулись к кино. Вдруг брюнетка поворачивается и говорит решительно:

- Послушайте-ка... Вот уже целый час вы заставляете нас таскаться по этой пыли... Может, вы наконец предложите нам что-нибудь другое? А если вам нечего предложить, то лучше расстаться...

Элиза, счастливая оттого, что я держал ее под руку, вдруг расхрабрилась:

- Они предлагают нам побыть в их компании.

Брюнетка, не обращая внимания на ее слова, продолжала:

- Послушайте, мне пришла в голову идея... У вас у четверых наберется денег хотя бы на два билета?

Мы переглянулись. Я сказал:

- Наверно, наберется... как, Ремо?

- Конечно, - говорит тот.

- Хорошо... тогда я пишу ваши имена на четырех бумажках... Потом мы кладем эти бумажки в чью-нибудь кепку и тянем жребий... Выигравший выбирает одну из нас и идет с ней в кино за счет остальных трех... Согласны?

Мы снова переглянулись. С одной стороны, это было очень соблазнительно, потому что брюнетка нравилась нам всем и мы прекрасно знали, что каждый выберет, конечно, ее; но, с другой стороны, никому не улыбалась перспектива оплачивать кино и девушку для другого. Наконец я сказал:

- Я согласен.

Остальным тоже пришлось согласиться, чтобы не ударить в грязь лицом.

- Прекрасно, - говорит брюнетка, - давайте мне деньги, кепку и карандаш.

Мы без особого удовольствия вывернули свои карманы и набрали на два билета, даже немного осталось еще. Ремо дал свою кепку, Луиджи - огрызок карандаша. Брюнетка берет деньги, подбирает старую газету, отрывает от нее четыре полоски и, отбежав к груде развалин у стены, кричит нам издали:

- Скажите скорее ваши имена!

Мы говорим. Она пишет их, кладет бумажки в кепку, перемешивает их, подходит к подруге и говорит ей:

- Тяни.

Элиза тянет, разворачивает бумажку и торжественно читает:

- Джулио.

Это я. Я подхожу и говорю:

- Я выиграл. - И, не колеблясь, показываю на брюнетку. - Я выбираю ее.

Брюнетка громко смеется, делает пируэт, подходит ко мне и берет меня под руку. Все произошло в одно мгновение; теперь брюнетка была рядом, кино было на другой стороне улицы, а блондинка осталась стоять ошеломленная, с кепкой в руках.

Вдруг Ремо кричит:

- Что-то подозрительно... Ей хотелось, чтобы выиграл Джулио, и так оно и получилось.

Другой говорит:

- Это не считается.

- Почему не считается? - вмешиваюсь я. - Мы тянули жребий.

Тогда Ремо берет свою кепку, разворачивает оставшиеся три записки. И вдруг кричит:

- Не считается, не считается... На всех четырех бумажках написано "Джулио".

- Откуда ты взял?

- Смотри сам.

И это была правда. Брюнетка нахально засмеялась.

- Ну, все равно, дело сделано, - говорит она, - мы идем в кино, до свиданья.

Ремо решительно преградил нам дорогу.

- Тогда верни деньги.

Я отвечаю:

- Я верну их вам завтра.

- Никаких завтра... ты вернешь их сейчас.

Брюнетка тихо шепчет мне:

- Не сдавайся!

Приободренный, я перехожу в наступление и заявляю Ремо:

- Я верну вам их завтра, понятно?.. А теперь отвяжись, убирайся отсюда!

Едва я успел сказать это, как он бросился на меня, и двое других тоже, и вот мы все четверо уже на земле и, сцепившись, принялись дубасить и колотить друг друга. Вообще-то я сильный, но их было трое, а я один, и они, конечно, одержали бы в конце концов верх, если бы не полицейский, который случайно оказался рядом; он подошел к нам и властно крикнул:

- Эй, вы, сорванцы!.. Вы где находитесь?.. Я вам говорю... Эй!

Мы поднялись, тяжело дыша, все в пыли. Ремо в ярости крикнул:

- Верни деньги.

Но брюнетка, решительная и находчивая, быстро подходит к полицейскому и говорит:

- Мы с ним жених и невеста... Мы тут гуляли... А эти трое все время ходили следом и приставали к нам... Синьор полицейский, скажите им, чтобы они оставили нас в покое... Что им надо? Кто они такие?.. Мы хотим спокойно погулять.

Поверите ли, такое нахальство поразило не только их, но и меня. Полицейский говорит им строго:

- Ну-ка, ну-ка, идите отсюда... не то...

И те, ошеломленные, попятились назад, не сводя с нас глаз.

Кино было рядом, через улицу, я беру брюнетку под руку и мы переходим на другую сторону.

Ремо кричит мне:

- Завтра мы сведем с тобой счеты!

Но сейчас никто из них не осмеливается шевельнуться, потому что рядом стоит полицейский.

Я подхожу к кассе и говорю Альфредо:

- Два билета в партер.

Брюнетка швыряет кассиру деньги.

Когда мы вошли в зал, она заявила:

- Все-таки мы их обставили!

Я спросил ее:

- Как тебя зовут?

- Ассунта, - ответила она.

"Скушай бульончику"

Работа обойщика - дело трудное. Я уж не говорю, как должен быть наметан глаз, чтобы натянуть материю на мебель без единой морщинки, какое нужно терпение, чтобы сшивать на руках, скажем, четыре или пять полотнищ ситца и какая нужна аккуратность - ведь имеешь дело с маркой тканью. Я хочу сказать о помещении. Допустим, обойщик должен перетянуть пару диванов и пять или шесть кресел, стульев и пуфов, а это обычно так и бывает, - вот все место и занято, даже если у тебя довольно просторная мастерская. Поэтому подходящую для обойщиков мастерскую подыскать трудно. Вот я занимаюсь обойным делом больше сорока лет (я начал работать шестнадцати лет вместе с отцом, который тоже был обойщиком) и должен сказать, что все это время я работал дома.

Я живу на виа делль Лунгара, неподалеку от Реджина Чели, в длинной и широкой комнате с высоким потолком, выходящей четырьмя окнами на Тибр. Пока жива была первая жена, я не только работал в этой комнате, но и спал тут со всем семейством: в одном углу стояла кровать моего сына Фердинандо, в углу напротив, за ширмой - постель моя и жены. Приходилось так устроиваться, потому что, кроме этой комнаты, в квартире было еще только два закутка для кухни и для отхожего места. Потом жена умерла, всего лишь пятидесяти лет от роду; мне в то время было под шестьдесят, и я сначала попробовал прожить без жены, но потом понял, что не смогу, да и женился вторично. И тут все переменялось.

Джудитта, моя вторая жена, была моложе меня лет на тридцать, и ее можно было бы даже назвать красивой, хотя многие мужчины утверждали, будто в ней было что-то отталкивающее: бледная как смерть, с черными глазами, выпученными словно у зарезанного ягненка из мясной лавки, черные волосы, тело белое и упругое, но холодное. До замужества Джудитта была бедной работницей, выйдя замуж, она стала корчить из себя синьору; до замужества она была ангелом, выйдя замуж - превратилась в черта; до замужества ее устраивали и я и дом - решительно все, после замужества ей уже не нравилось ничего - ни я, ни дом, ни все остальное. Что ж, женитьба нередко приносит нам такие сюрпризы. Начну с того, что она не желала спать в одной комнате с Фердинандо и заставила меня соорудить

кирпичную перегородку, чтобы отделить каморку для кровати. Потом она захотела, чтобы я поставил на кухне новую плиту. Потом - чтобы я установил в отхожем месте ванну. Наконец, она нашла способ разругаться с нашими соседями, телефоном которых я пользовался в течение двадцати лет. Так что мне пришлось еще и заводить телефон.

И вот установили мне телефон, было это, допустим, в понедельник, а в среду в полдень, когда я обивал атласом креслице стиля ампир и вздыхал про себя, размышляя о своей жизни, зазвонил телефон. Я подошел, снял трубку и говорю:

- Периколи слушает. С кем имею честь?..

С другого конца провода грубый, резкий, настоящий римский голосина спросил:

- Обойщик Периколи?

- Да, к вашим услугам, синьор, - ответил я, думая, что звонит какой-нибудь заказчик.

- Ну тогда, - произнес голос, - не скажешь ли, зачем ты женился, Периколи? Разве тебе не известно, что в твоём возрасте не женятся? И потом, не воображаешь ли ты, что жена тебя любит? Жалкий дурень...

Кровь так и бросилась мне в голову, потому что этот голос, пусть грубо, выразил сомнения, терзавшие меня как раз в данный момент. Я спросил:

- Да кто ты такой?

А он, растягивая слова, продолжал:

- Кто я такой - тебе не догадаться, хоть родись сызнова... Лучше послушай, что я тебе посоветую...

- Да что тебе нужно? Кто ты такой?

- Просто дружеский совет: скушай бульончику.

Я принял этот телефонный звонок за шутку какого-нибудь бездельника, знавшего нас, и все же был взбешен, так как с некоторого времени, как я уже говорил, мне и самому не раз приходило в голову, что женитьба моя была ошибкой.

Я, конечно, ничего не рассказал Джудитте, которая, замечу кстати, с некоторых пор стала просто невыносима и обходилась со мной хуже, чем с собакой.

Прошло с неделю, и вот почти в то же самое время, что и в первый раз, зазвонил телефон, и тот же голос спрашивает меня:

- Здравствуй, Периколи, что поделываешь?

А я:

- Что надо, то и делаю.

- Ну, так я скажу, что ты делаешь: обиваешь стульчики, которые тебе принесли вчера вечером... Молодчина, трудись... А я могу тебе рассказать, что делает сейчас твоя жена.

- Да кто ты такой, скажи на милость!

- Твоя жена кокетничает с буфетчиком в баре у ворот Сеттимиана... вот что она делает.

- Кто тебе сказал?

- Я тебе говорю. Да чего там, ступай туда, сам убедишься... Послушай, Периколи, ведь ты уже старикашка, а женщинам такие не по вкусу.

- Да кто ты такой, негодяй?

- Вместо того, чтобы выходить из себя, послушай: скушай бульончику!

Тут уж я не удержался, и когда Джудитта вернулась домой и начала опять огрызаться, как базарная торговка, я сказал:

- Пока я работаю, ты кокетничает с буфетчиком в баре у ворот Сеттимиана.

Уж лучше бы я этого не говорил: сначала она осыпала меня бранью, потом пожелала узнать, откуда у меня такие сведения, а когда я ей сказал, опять принялась ругаться.

- Ах, так! Ты слушаешь любого негодяя, который тебе позвонит... Веришь ему больше, чем мне... Да знаешь, кто ты такой? Ты выживший из ума старик... Ты и вправду заслуживаешь, чтобы я наставила тебе рога... да такие, чтобы ты в двери не мог пролезть!

И пошла, и пошла. Кончилось тем, что она довела меня до слез, и я ползал перед ней на коленях, вымаливая прощение - при моей-то седине и солидности! Да что уж там, чтобы задобрить ее, мне пришлось дать ей денег на шелковые чулки. А одному лишь богу известно,

какие у меня деньги при всех расходах, на которые она меня вынуждала.

Но потом мне стало грустно и тошно: я испытывал стыд и в то же время был совершенно уверен, что она меня не любит.

Прошло еще несколько дней, и тут вдруг опять зазвонил телефон, и все тот же голос спросил:

- Как живешь, Периколи?

Я ответил с деланным безразличием:

- Хорошо, а ты?

- Я-то очень хорошо... не то что твоя жена.

- Почему?

- Потому что ты, Периколи, уже стар и для нее не подходишь.

Видали, куда хватил? Я поклялся сохранять спокойствие. Но услышав такой разговор, прямо подскочил:

- Смотри, негодяй, теперь как услышу твой голос, тут же бросаю трубку.

- Ишь ты какой прыткий... Но не волнуйся, Периколи, скоро твоя жена заживет на славу!

- Замолчи, негодяй!

- Периколи, почему ты так изменился? Вместо того, чтобы злиться, сделай, как я тебе говорю: скушай бульончику.

На этот раз я ничего не сказал Джудитте. Но зато все следующие дни я ходил злой, как черт, потому что телефонные звонки продолжались. Голос твердил все одно и то же: Джудитта, мол, молодая, а я старый, она мне изменяет направо и налево, и все это знают, и тому подобное. Или же говорил мне без всяких церемоний:

- Периколи, жена твоя... - и добавлял подходящее словечко из обихода ломовых извозчиков.

Этот человек, видно, хорошо знал нас, он даже советовал мне бриться ежедневно и не показываться на глаза Джудитте с седой щетиной. И потом еще эти слова о бульончике... Что он хотел этим сказать? Я понимал, что в них заключался какой-то лукавый намек, ведь так говорят выздоравливающим или старикам: скушай бульончику. Но почему всегда одни и те же слова? Что-то подсказывало мне, будто я слышал их раньше, но я никак не мог припомнить где и когда.

Тем временем наши отношения с Джудиттой становились все хуже и хуже. Теперь она даже не могла со мной спокойно разговаривать, а только ворчала и шипела, как ведьма. Я проглатывал обиды из любви к покою, но все больше расстраивался и все яснее сознавал, что жизнь моя стала ни на что не похожа. И вдруг как-то вечером Джудитта ни с того ни с сего, впервые за долгое время, стала со мной нежна и даже предложила пойти всей семьей покушать в знакомую остерию в Трастевере. Это была та самая остерия, где мы устраивали свадебный обед. И когда мы пришли туда, я вдруг вспомнил одну подробность того вечера. То ли от волнения, то ли от вина, которого я хлебнул перед этим, только в тот вечер я чувствовал некоторую тяжесть в желудке. И вот, пока все заказывали спагетти, Джудитта, видя, что я в нерешительности, настаивала, - ну просто как хорошая жена, желающая мужу добра:

- Скушай бульончику, послушай, Мео... скушай бульончику!

Теперь я понял, откуда взялись эти слова, которые повторял мне по телефону голос. Только я не мог решить, кому он принадлежал, потому что в тот вечер, не говоря, конечно, об официантах и других посетителях, за нашим столом находилось около двадцати человек.

Я, понятно, никому о своем открытии не сказал, и все прошло довольно весело. Под конец Джудитта даже выразила желание выпить за мое здоровье и поцеловала меня. В тот вечер я много пил, может быть потому, что чувствовал себя счастливым, и потом, полный надежд, возвратился домой с Джудиттой и Фердинандо.

Спал я как убитый, а когда проснулся, Джудитта уже ушла за покупками. Я встал и принялся за работу, весь еще под впечатлением того, что Джудитта решила, наконец,

полюбить меня. Денек выдался хороший, в окно светило солнце, в клетке заливалась канарейка, и я был такой радостный, что, работая, и сам пел, как канарейка, только потихоньку.

Тут вдруг зазвонил телефон, я подошел, снимаю трубку, а знакомый голос мне и говорит:

- Звоню тебе, Периколи, в последний раз.

Я ему весело:

- Вот и славно. Понял, наконец, что все было ни к чему... Ну, до свиданья и будь здоров.

- Подожди, Периколи, а знаешь, почему я звоню тебе в последний раз?

- Почему?

- Потому что твоя жена тебя бросила... Сегодня утром она ушла от тебя с Джиди, ну, с тем, который дает напрокат машины. Он заехал за ней в семь часов на зеленом фиате.

И правда, это был его последний звонок. О Джудитте мне больше и говорить не хочется: одному богу известно, что я выстрадал, прежде чем она стала мне безразлична, а начнешь вспоминать, так, чего доброго, опять станешь переживать. Скажу только, что меня одолевало любопытство узнать, кто же все-таки мне звонил; этот человек был настолько хорошо осведомлен обо всем, что с самого первого дня предупреждал меня о том, какую ошибку, если можно так выразиться, я совершил. Мало сказать любопытство, я просто ни о чем другом не мог и думать, в конце концов это стало у меня навязчивой идеей. Обнаружил я это случайно, потому что чем больше размышлял, тем меньше понимал, в чем тут дело.

Фердинандо было теперь почти пятнадцать лет, и с некоторого времени я уже не заходил за ним в училище. Но однажды утром мне пришлось в голову пройтись к его техникуму, просто так, чтобы вместе с ним вернуться домой. У Фердинандо уже кончились занятия, и он играл во дворе с товарищами в футбол.

Была солнечная погода, и я постоял с минутку, наблюдая за их игрой. Не знаю почему, я сравнил тогда своего сына с другими детьми и подумал, что и тут мне не повезло. Может быть, потому что Фердинандо родился на свет от немолодых родителей, но он был некрасив: маленький, с большими ногами и руками, желтым лицом, носищем чуть не до самого рта, косыми глазами. Я заметил, что он был силен и запускал мяч в воздух такими уверенными ударами, что гул стоял кругом. Но даже и эта его сила была ненормальной, чрезмерной для его роста, как была бы она неестественной для карлика или горбуна.

Пока я предавался этим размышлениям и, прислонившись к стенке, грелся на солнышке, я услышал, как Фердинандо, выйдя из себя, громко крикнул:

- Не в счет... Ты коснулся мяча руками.

И тут-то меня озарило - я узнал этот голос. Это был тот же самый голосина, который говорил со мной по телефону, еще мальчишеский, но уже переходивший в мужской - неприятный, грубый, не вязавшийся с его возрастом. Потом, ударив ногой по мячу, Фердинандо добавил:

- На тебе, съешь!

Теперь я узнал и это слово.

В первый момент я хотел позвать его и, схватив за руку, гнать кулаками до самого дома. Обозвать отца старым дураком, старикашкой, обругать мачеху оскорбительными словами, какие я даже не решаюсь произнести, - пусть даже все это было справедливо, но сын, родной сын, должен уважать родителей.

Потом он заметил меня и, оставив мяч, запыхавшийся, бросился навстречу, крича все тем же голосом:

- А, пап... что ты тут делаешь?.. Я тебя и не заметил.

И тут я сразу почувствовал себя обезоруженным: он

был до того безобразен в своем слишком длинном пальто, с огромным носищем и косыми глазами, и в то же время было ясно, что, увидев меня, он страшно обрадовался. Я пробормотал:

- Фердинандо, если хочешь закончить игру, оставайся, я пойду домой.

А он:

- Я уже кончил... Пошли... - И очень довольный, он взял меня под руку, и мы направились к Тибру. Медленно шли мы по солнцу и молчали. И я думал, что, в конце концов, он говорил мне по телефону чистую правду и объяснял мою ошибку. А если сын не скажет правду отцу, то кто же тогда ее скажет?

Жизнь в деревне

После одной неприятной истории в игорном доме воздух Рима оказался для меня вредным, и друзья посоветовали мне уехать на некоторое время из города. То же самое советовала и мама... Хотя она и притворялась, будто ей ничего не известно, но по ее грустному и встревоженному виду ясно было, что она все знает. Она уговаривала меня:

- Ты переутомился, Аттилио... Почему бы тебе не поехать в Браччано, погостить у крестного?

Вначале я было заупрямился, - ведь я родился и вырос в городе, и деревня мне не по душе, я ее просто-напросто не перевариваю. Но в конце концов я все же согласился. Мама телеграфировала крестному и, как только получила от него ответ, стала укладывать мой чемодан. Она хотела дать мне с собой одежду похуже - ведь там, говорила она, деревня. Однако я объявил ей, что намерен взять самые лучшие костюмы, потому что, если я плохо одет будь то в деревне или в городе, - я чувствую себя не в своей тарелке. А она твердила:

- Ну перед кем ты собираешься там франтить? Перед коровами? Или перед свиньями?

Я отвечал:

- Оставь, пожалуйста. Ну хорошо, это моя слабость... Но ведь у тебя тоже есть свои слабости.

И маме пришлось укладывать в чемодан вещи, которые я требовал. Но укладывая их, она каждую сопровождала вздохом: положит рубашку - вздохнет, положит галстук - вздохнет, положит носки - вздохнет. Так что я в конце концов не выдержал и сказал:

- Да перестанешь ты наконец вздыхать? Смотри, накличешь на меня беду.

А она, взглянув, спрашивает:

- Сын мой... Разве твоя мать может накликать на тебя беду?

- Ну да, всеми этими вздохами.

- Сын мой, твоя мать желает тебе только добра... Если бы ты остерегался некоторых знакомств, тебе не пришлось бы теперь уезжать в Браччано.

Наконец с укладкой чемодана было покончено, и на следующий день, рано утром, обняв на прощанье мать, я вышел из дому; на улице меня уже ждал с машиной Джино, и мы отправились.

Мы выехали из Рима через Кассию. Дело происходило в июле и, хотя было всего девять часов утра, асфальтовое шоссе, лежащее среди открытых полей, было раскалено, солнце слепило и жгло так, словно был уже полдень. Мы направлялись, собственно, не в Браччано - Браччано все же селение и там даже есть озеро, - а на ферму, находившуюся в пустынной местности Кастельбручато. Уже самое название не предвещало ничего хорошего \*, но когда, после часа пути, мы наконец туда приехали, там оказалось еще хуже, чем я себе представлял. Первое, что мы увидели, подъезжая к ферме, был торчавший из-за голого холмика большой эвкалипт, мрачный и пыльный. Дальше шло гумно, вокруг которого стояли какие-то конюшни и сараи и, наконец, старый трехэтажный дом, словно прислонившийся к холму. Дом этот, с покосившимися стенами, грубосколоченный, почерневший, напоминал тюрьму. Это и было Кастельбручато. А вокруг - пустынная местность без единого деревца, без единого строения; одни лишь сжатые поля, щетинистые, оголенные.

\* Кастельбручато - сожженный замок (итал.).

- Тебе тут будет весело, вот увидишь, - подбодрил меня Джино, подавая чемодан. Я был настолько ошеломлен, что даже не нашелся, что ответить. А когда я наконец к нему обернулся, его уже и след простыл. Я остался один.



От дома через гумно шла по пыли босая девушка. Подойдя ко мне, она сказала:

- Я Филомена... Дочка твоего крестного.

Все гласные она произносила, как "у" - особенность выговора здешних крестьян. Это была настоящая деревенская девушка, с крупной головой, грубым смуглым лицом, курчавыми волосами, низким лбом и глубоко посаженными глазами. Она была крепкая, с пышной грудью, выпиравшей из-под кофточки, с боками, как у лошади. Она подняла, словно перышко, мой чемодан и направилась к дому, я пошел следом за ней, осторожно ступая, глядя под ноги, боясь угодить в одну из бесчисленных кучек, оставленных курами и прочими домашними тварями.

Мы вошли в просторную комнату, где было темно и прохладно, но пахло чем-то неприятным. Здесь был большой почерневший от колоти камин, громадный стол и несколько грубосколоченных стульев. С потолка свешивалось несколько полосок клейкой бумаги, черной от прилипших к ней мух, но в скудном свете, проникавшем сквозь зарешеченные окна, видны были новые полчища насекомых. На стенах, в качестве украшений, висели седла, сбруя лошадей и мулов, так что можно было подумать, что находишься в конюшне. По каменной лестнице со сводчатым потолком мы поднялись на второй этаж и очутились в коридоре, куда выходило несколько дверей. Девушка открыла одну из них и ввела меня в комнату с большой железной кроватью, комодом и треножником, на котором стоял умывальный таз. А где тут уборная? Она подала мне знак следовать за ней и привела в другую комнату, чуть побольше первой и совершенно пустую. В углу, в уровень с полом, зияло черное отверстие и над ним опять вились мухи. Сказав, что ей некогда, девушка ушла; я остался перед этой дырой в весьма затруднительном положении.

Так началась моя жизнь в деревне. Утро было для меня самой лучшей порой, потому что в воздухе еще сохранялась ночная свежесть и, кроме того, в это время я одевался. Но стоило мне покончить со своим туалетом, как начиналась суцая мука. Я спускался вниз и садился к столу завтракать. Иногда вместе со мной завтракал и хозяин, отец Филомены, - такой же грубый, как и его дочь, громадный, толстый, с черными усищами, обычно в одежде табунщика, в ботфортах и брюках с леями. Мама, когда я уезжал, уверяла меня: "Вот увидишь: у них чудесное парное молоко". Где уж там молоко! Жидкий цикорный кофе, колбаса с немолотым перцем, который здесь называют "кулателло", грубый хлеб, нарезанный ломтями по четверть кило каждый - вот и вся наша еда. Хозяин, несмотря на раннее утро, пил за завтраком вино, черное, густое, терпкое и теплое, похожее на сок тутовых ягод. Человек он был грубый и неотесанный и часто, воображая, что очень любезен, говорил самые оскорбительные вещи. Можете себе представить, что же было, когда он начинал ругаться по-настоящему? Он вечно насмеялся над моей одеждой:

- Да неужели же вы у себя в Риме и на работу ходите в шелковых рубашках?

Или:

- Для кого это ты вырядился? Ведь сегодня не воскресенье... Или ты собрался к мессе?

При этих словах дочка начинала смеяться, закрывая лицо рукой, - вот ведь деревенщина! После завтрака хозяин выходил во двор, садился на лошадь и говорил мне, показывая на опаленные солнцем поля:

- Поди погуляй... Разве тебе не нравится в деревне?.. Посмотри, какие поля, какой простор... Так и хочется побродить.

Одним словом, он посмеивался надо мной. Он уезжал, и я оставался наедине с дочкой. О крестьянах, живших по соседству, лучше и не говорить. Просто какие-то грубые животные, с ними даже словом нельзя было перемолвиться. Что же касается дочки, то она, мне кажется, была в меня немножко влюблена, заигрывала на свой деревенский манер. Проходя, например, мимо стола, за которым я сидел, она, как бы невзначай, толкала меня, но так сильно, что я чуть не падал со стула. Или же, когда я прогуливался перед домом, она становилась у раскрытого окна кухни и, нарезая мясо для жаркого, начинала петь, нарочно для меня, какую-нибудь любовную деревенскую песенку; голос у нее был низкий и хриплый и походил на мужской. Однажды, сам не знаю почему, я у нее спросил:

- Филомена, у тебя есть жених?

Она разразилась хохотом и так толкнула меня рукой в грудь, что чуть не посадила синяк. Я не хочу сказать, что как деревенская девушка она была лишена привлекательности; нет, в деревне она должна была нравиться. Только мне больше по вкусу городские женщины: белые, стройные, всегда чистенькие, хорошо одетые, пожалуй, даже подкрашенные. А она мне казалась просто коровой. "Старайся, старайся... - думал я про себя. - Ты-то корова... Только я быком не буду".

День тянулся бесконечно долго, казалось, он никогда не кончится. Чтобы хоть как-нибудь убить время, я, усевшись за большой стол в комнате нижнего этажа, играл в карты с самим собой. Но скоро карты мне надоели, тогда я вздумал было совершать прогулки, но сразу же убедился, что это невозможно: на многие километры вокруг не было ни одного дерева, кроме того эвкалипта, что торчал перед домом. Я шел к сеновалу и зарывался в солому, стараясь спастись от обжигающего зноя, но вскоре вскакивал и уходил, искусанный всевозможными насекомыми, кишевшими в соломе. Мух здесь было великое множество, ос - невероятное количество, а по ночам больно жалили, точно ножами кололи, огромные комары. Мне хотелось курить, и крестный купил для меня в деревенской лавке папирос, высушенных, почти высыпавшихся; они с треском вспыхивали, когда их зажигали, и от них сразу оставалась одна лишь бумага.

Вдобавок ко всему я очень разборчив в пище, а от деревенской кухни меня просто тошнило: все такое грубое, жирное - огромные куски мяса, нашпигованного чесноком и розмарином, густые черные соусы, бобы, фасоль с подливкой... После обеда я ложился на свою жесткую кровать, на тощий свалевшийся матрац и спал часа два как мертвый, с раскрытым ртом, потом просыпался весь в поту, с тяжелой головой, с распухшим и пересохшим от жары языком.

В общем, хозяин надо мной подтрунивал, дочь заигрывала, толкая меня и похлопывая, а я ни о чем не помышлял, кроме возвращения в Рим. По утрам, когда я вставал, подходил к окну и смотрел перед собой на эти бесконечные поля, желтые и сухие, с видневшимися кое-где развалинами древнего Рима, и замечал внизу во дворе Филомену, несущую бидоны с помоями для свиней, сердце мое сжималось, и я проклинал день, в который приехал сюда. А девушке, бедняжке, так хотелось быть со мной любезной; как-то раз она даже поставила мне на комод кружку с букетом полевых цветов. Но, как я уже сказал, мне вовсе не улыбалось заводить с ней шашни. А то, чего доброго, папаша еще заставит на ней жениться. В комнате нижнего этажа у него на стене висела двустволка, и я знал, что стоило мне хотя бы самую малость скомпрометировать себя с его дочкой, он с помощью этой вот двустволки может заставить меня на ней жениться. Нет, уж лучше от греха подальше!

Дочка меня все дразнила. Как-то раз, когда я пребывал в одиночестве если не считать мух, целыми стаями садившихся ко мне на карты, - она стала у меня допытываться:

- Ну как, нравится тебе в деревне?

Я сухо ответил ей:

- Нет, не нравится.

Мои слова огорчили ее - может быть, она ждала, что я из любезности скажу, что в деревне мне нравится. Она снова спросила:

- А почему тебе здесь не нравится?

Я ответил:

- Потому что это не жизнь.

- А что же тогда жизнь?

И я одним духом выпалил:

- Это значит жить в городе, где ярко освещенные кафе и магазины, кино и театры... Это значит встречаться в баре с друзьями, пить аперитивы, сидя за столиком под вентилятором, читать спортивную газету, обсуждать последние новости, играть после обеда в бильярд, а вечером смотреть в кино интересный фильм и потом до поздней ночи гулять по городу... Это значит отправиться в воскресенье на стадион смотреть футбольный матч, или на скачки, или

даже на собачьи бега... А летом поехать с какой-нибудь девушкой купаться на пляж в Остию... Жизнь - это значит ездить в автомобиле, а не на лошадях, и чтобы куры не толклись у тебя под ногами, а продавались в лавке; и кругом никаких мух - их всех уничтожили, и дома в кранах всегда холодная и горячая вода, и обед на газе готовится, а не в жаровне, и американские сигареты, и по утрам, вместо скверного вина, кофе со сливками или по-турецки.

Я высказал ей все это и тут же почувствовал раскаяние: бедная девушка была подавлена и, не произнеся больше ни слова, ушла на кухню. Но поверите ли? Дня через три она пригласила меня сходить с ней в погреб за вином. В погребе было темно и сыро, как в пещере, Филомена прислонилась к бочке и сказала:

- Понюхай, какие у меня духи.

И взяв меня обеими руками за голову, уткнула мой нос себе в грудь. Она залила духами, купленными, наверное, в Браччано, всю грудь, и запах духов смешался с запахом пота и с запахами деревни. Мы были одни под землей, и по ее лицу я видел, что она хочет, чтобы я поцеловал ее. Я поспешно сказал:

- Очень приятный запах, - и ушел, оставив ее одну. На лице ее отразилось разочарование.

Время от времени мама присылала мне открытки, в которых советовала не торопиться с возвращением. Но мне стало уже невозможно, и я решил уехать. В тот вечер, когда я объявил о своем отъезде, Филомена резко поднялась с места и ушла на кухню. А крестный удивился:

- Уже уезжаешь? А я думал, ты поживешь у нас хоть до ярмарки.

Я отвечал, что у меня в Риме важное дело, и сразу после ужина пошел укладываться. Немного спустя Филомена принесла мне на ночь кувшин с водой и, воспользовавшись этим предложением, вошла в комнату и присела на мою кровать. Помолчав немного, она сказала:

- Знаешь, прошлой ночью я видела тебя во сне. - Я укладывал в чемодан свои вещи и ничего ей не ответил. Она продолжала: - Ты был одет женихом, а я невестой, и мы с тобой венчались в церкви в Браччано.

Я резко ответил ей:

- А мне приснилось, что я в Риме, захожу в бар и заказываю себе кофе... Вот видишь, какие у нас с тобой разные сны.

Она спросила:

- Твоя мать - портниха, да?

- Совершенно верно.

- Ты бы попросил ее, чтобы она взяла меня к себе в Рим, я бы тоже стала портнихой.

Чтобы хоть немного ее утешить, я обещал поговорить об этом с матерью, а затем вытащил из чемодана большой шелковый платок и подарил ей на память. Она, очень довольная, начала примерять его перед зеркалом, стоявшим на комод; повязав платок на голову, она все вертелась перед зеркалом и, казалось, не думала уходить. Мне пришлось сказать ей:

- Филомена, сейчас я буду раздеваться и укладываться спать... Неприлично девушке смотреть, как мужчина раздевается.

Я снял с себя рубашку и остался до пояса голым. Тогда она подошла ко мне вплотную, дотронулась пальцем до моего голого плеча и проговорила:

- Ух, какой ты белый!..

Затем захохотала и убежала прочь.

На следующее утро она помогла мне донести чемодан, потом сказала:

- Прощай, Аттилио, - и лицо ее, наполовину закрытое моим платком, было суровым и отчужденным.

Маму встревожило мое возвращение в Рим. Но я отправился в бар, и друзья сообщили мне, что как раз накануне неприятная история с игорным домом уладилась. Все шло отлично, день выдался прекрасный - настоящий летний день, но воздух был свежий и не было мух. Я заказал себе кофе и, сев за столик, развернул газету, - точь-в-точь как в моем

сне. Мне казалось, что я родился заново, и почти не верилось, что я нахожусь в Риме, а не в Капельбручато.

Не в своей тарелке

Римляне говорят, что сирокко их ни капельки не беспокоит - с детства привыкли. Однако я римлянин, рожден и крещен на площади Кампителли, и все-таки сирокко положительно выводит меня из себя. Вот мама это знает, и поэтому, если она видит, что небо с утра побледнело и ветер бьет в лицо, она всегда с беспокойством поглядывает на меня, когда я одеваюсь, чтоб идти на работу. Заметив, что у меня мутный взгляд и слова застревают в горле, она обычно советует:

- Будь поспокойнее... Не волнуйся так... Держи себя в руках.

Бедненькая мама! Она говорит это потому, что, действительно, в такие дни я вполне свободно могу попасть в тюрьму или в больницу. Мама обычно добавляет:

- Он не в своей тарелке! - А потом рассказывает соседкам: - У Джиджи сегодня утром было такое лицо... Просто страх... Пошел на работу... С ним, знаете, бывает, - не в своей тарелке.

Я вообще-то маленький, щупленький, и мускулов особых у меня не замечается, но в те дни, когда дует сирокко, меня так и подмывает подражаться с кем-нибудь, или, как мы, римляне, говорим, "руки у меня зудят". Я начинаю ходить туда-сюда, посматриваю на людей, ищу кто посильнее да поздоровее и думаю: "Вот этому сейчас как дам - кровь из носу пойдет, а вон тому надо бы надавать пинков под зад, пусть попляшет... Ну а этот? У этого от двух оплеух всю рожу перекосит". Одни мечты! На деле все кругом сильнее меня. Если я и вправду могу кого одолеть, то разве что ребенка. Да и то еще смотря какой ребенок попадет. А то, знаете, свяжешься с каким-нибудь забиякой, а он как боднет тебя головой в живот раза три - своих не узнаешь.

И вот еще беда: работа у меня такая неподходящая - официантом я работаю, в кафе. Официант, он, известно, должен быть всегда вежливый, что бы там ни случилось. Вежливость для официанта - то же самое, что, например, салфетка, которую он всегда под мышкой зажимает, или, скажем, поднос, на который он ставит стаканы - одним словом, рабочий инструмент. Говорят, у официантов все ноги в мозолях. У меня мозолей нет, но мне все кажется, что они есть, потому что я каждую минуту так себя чувствую, словно клиенты все разом наступают мне на мозоль. Я такой чувствительный, что от каждого замечания, от каждого грубого слова готов просто на стену лезть. А я, видите ли, должен делать приятное лицо, кланяться, улыбаться, расшаркиваться. Не могу... У меня начинается нервный тик - это признак того, что желчь разливается. Наши официанты уже меня знают и, как только увидят, что у меня лицо перекошило, тотчас же скажут:

- Э-э, Джиджи, ты что-то не в себе... Кто тебя обидел?

В общем, - что говорить! - поднимают на смех.

Иногда, однако, мне удается найти отдушину для этого моего расположения к ссорам и дракам. И знаете как? Я выберу обычно людное место, например какую-нибудь площадь, подберу себе после долгого наблюдения подходящего типа и под каким-нибудь предлогом нападу на него и обругаю. Он, естественно, кинется на меня с кулаками, но тут всегда найдется три-четыре добровольца, которые вмешаются и схватят его за руки. Этого-то мне только и надо: тут я его хорошенько обругаю, а потом иду прочь. И в этот день я чувствую, что мне полегчало.

Ну так вот, в одно такое утро, когда сирокко резал, как ножом, я вышел из дому злой как черт. Одна и та же фраза почему-то все время жужжала у меня в ушах: "Если ты сейчас же отсюда не уберешься, то получишь по шапке". И где только я эту фразу услышал? Тайна... Может, это сирокко мне ее во сне нашептал? Я все повторял про себя эту фразу на разные лады, пока шел к трамвайной остановке и сидел в трамвай, чтоб ехать к площади Фьюме, неподалеку от которой находится наше кафе... Трамвай был битком набит и, несмотря на раннее утро, духота там была страшная. Делать нечего: я крепко стиснул зубы и встал в проходе. Но тут меня начали толкать со всех сторон, будто бы уж никак нельзя

пройти вперед, не пуская в ход локти. Трамвай медленно шел по берегу Тибра, пересек площадь Фламинио, прошел мимо Муро Торто и уже приближался к площади Фьюме. Я стал продвигаться к выходу.

Есть одна вещь, которая выводит меня из себя, даже если в этот день не дует сирокко, - это когда в трамвае народ спрашивает: "Вы выходите?.. Простите, вы выходите?" Мне кажется, что это ужасно нескромный вопрос, ну, как если б вас спросили: "Простите, ваша жена уже наставила вам рога?" Просто не знаю, чего бы я только не дал за то, чтобы ответить им: "Выхожу я или нет - это вас совершенно не касается". В это утро все, как всегда, толкались, и когда мы подъезжали к остановке, чей-то голос спросил: "Ну, силач, выходишь?"

У официантов тоже есть свое самолюбие. Я и так был совсем расстроен, а тут еще оскорбили мою гордость, назвали на ты, да еще силачом обозвали. Судя по голосу говорившего, это был какой-нибудь здоровенный парень - с таким я всю жизнь мечтал сразиться. Я огляделся кругом: толкучка, масса народу. Я рассудил, что опасности нет никакой, можно свободно нападать, и потому ответил:

- Выхожу я или нет - не твое дело.

А тот сразу говорит:

- Тогда отойди и дай дорогу другим.

Я бросил, не поворачивая головы:

- И не подумаю!

Вместо ответа я получил такой пинок, что у меня дух захватило, и этот тип в одну секунду протиснулся вперед меня. Я не ошибся: он был крепкий, плотный, с красной рожей, с черными усиками на американский манер и с бычьей шеей. Была на нем и шапка. И тут мне снова пришла на память фраза: "Если ты сейчас же отсюда не уберешься, то получишь по шапке". Когда он уже сходил, а я на ступеньке стоял, я вдруг собрался с силами и крикнул:

- Нахал! Дубина!

Он было совсем уже сошел, но тут обернулся и с такой силой рванул меня за руку, что я кубарем скатился с трамвая. Он орал:

- А ну-ка, негодяй, повтори, что ты только что сказал!

Но, как я и ожидал, в эту минуту человек пять или шесть схватили его за руки. Это получилось до крайности удачно. Пока он там отбивался и ревел, как бык, я выступил вперед и выкрикнул ему в лицо с большим гневом:

- Да ты что о себе воображаешь? Сволочь ты этакая, мошенник, бандит... За решетку бы тебя... Да если ты сейчас же отсюда не уберешься, то получишь по шапке, понял?

Я выпалил это, и мне сразу стало легче. Он вдруг перестал отбиваться, укусил себя за руку и поднял глаза к небу со словами:

- Эх, если б я только мог!

От этих слов я стал храбрее и полез на него с кулаками, крича:

- А ну, попробуй... Трус... посмотрим... А ну, попробуй!.. Разбойник, гадина ты этакая!

В конце концов нас разняли, и я ушел, не оборачиваясь, счастливый, насвистывая какую-то веселую песенку.

В кафе, пока мы выставляли столики на улицу, я рассказал об этом случае, разумеется, на свой лад. Я описал того типа, сказал, как я его обругал, как я ему угрожал, как я ему в конце концов и вправду хотел по шапке дать. Но я не рассказал, что пока я кричал, его шесть человек держали. Однако товарищи, как всегда, мне не поверили. Гоффредо, буфетчик, сказал:

- Ну и хвастун же ты, брат... Да ты на себя когда-нибудь в зеркало-то смотрел?

Я ответил:

- Все чистая правда... Я ему, тупорылому, прямо в лицо сказал все, что я о нем думаю, и он проглотил.

Я повеселел, на душе у меня было легко, в это утро мне даже работа моя нравилась. Я входил в дом, выходил из дома и двигался так легко, словно танцевал, и выкрикивал заказы

веселым звонким голосом. Гоффредо вдруг серьезно посмотрел на меня и спросил:

- Да что это ты? Выпил, что ли?

Я сделал пируэт и ответил:

- Так, малость... Рюмку анисовой и кружку холодного пива.

Я был всем доволен; даже к вечеру мое веселое настроение не прошло очень уж хорошо на меня подействовал утренний скандал! Часов в одиннадцать я пошел в буфет, чтобы взять две чашки кофе, и снова вышел в сад - ну просто выпорхнул, как воробышек. Мои столики - слева от двери, и когда я пошел в буфет, они все были заняты, только один, в самом углу, стоял пустой, но теперь я увидел, что кто-то уже сел за этот столик. Я быстро подал две чашки кофе, резво подскочил к этому столику, махнул по нему пару раз салфеткой, спросил:

- Что желаете, синьоры? - и только тогда поднял глаза.

Взглянул - и дыхание у меня перехватило: это был он. Он смотрел на меня насмешливо, а шапка была сдвинута на затылок. Рядом с ним сидел другой, из той же, видно, породы: весь черный, как мулат, волосы с проседью, а глаза налиты кровью.

- Смотри, смотри, кого мы повстречали... - сказал мой враг. - Синьоры желают две бутылки пива.

- Две бутылки пива, - повторил я, едва дыша.

- Только похолоднее, - сказал он. И для начала так сильно наступил мне на ногу, что я подскочил от боли.

Но я был так растерян, что даже не пытался защищаться, да к тому же страх убил во мне все другие чувства. Между тем он оглянулся вокруг и добавил:

- Недурное местечко... Много приходится работать, силач?

- Как когда.

- А в котором часу кончаешь, интересно знать?..

- В полночь.

- Прекрасно, еще час... Мы пока как раз разоьем пару бутылочек, а потом получишь на чай.

Я ничего не ответил и вернулся в буфет. Гоффредо, хлопотавший возле кипятильника для кофе, бросил на меня беглый взгляд и сразу же заметил, что я переменялся в лице. Я сказал каким-то не своим, тоненьким голосом:

- Две бутылки пива, - и оперся о стойку, чтоб не упасть.

Гоффредо дал мне пиво и спросил:

- Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?

Я не ответил, взял пиво и вышел. Тот, мой враг, сказал:

- Bravo, в официанты ты годишься вполне.

Но потом потрогал бутылки и добавил:

- Да пиво совсем теплое, оказывается.

Я положил руку на одну бутылку - как лед. Я сказал тихонько:

- Мне кажется, оно холодное.

Он положил руку на мою, сжал ее так, что чуть не раздавил мне пальцы, и повторил:

- Теплое... Скажи ты тоже, что пиво теплое.

- Пиво теплое.

- Так-то лучше... Принеси что-нибудь действительно холодное.

- Мороженое, - предложил я дрожащим голосом.

- Хорошо, мороженое... Только не забудь: холодное. - И при этих словах он снова ударил меня ногой.

Столик стоял так, что его видно было из буфета. Когда я снова подошел к стойке, Гоффредо засмеялся и сказал:

- Это он, да?

Другие официанты тоже смеялись. Я был весь бледный и дрожал и ничего не ответил.

- Но разве ты, - продолжал Гоффредо, беря из мороженицы две порции мороженого, -

разве ты не нагнал на него страху? Чего же ты теперь ждешь, дай ему хорошенько! Покажи, какой ты храбрый!

Я молча взял мороженое и отнес на тот столик. Он попробовал ложечку и спросил:

- Так, значит, ты освобождаешься в полночь?.. А по какой улице ты идешь домой?

Я ответил:

- Я живу недалеко от Клиник.

Неправда, на самом деле я живу на площади Кампителли. Он свирепо прорычал:

- Прекрасно, так тебя ближе будет везти в больницу.

Я подошел к буфету и тихонько сказал Гоффредо:

- Он хочет меня бить... ждет, пока закроют кафе. Что делать?.. Может, позвать полицию?

Гоффредо пожал плечами:

- Ты думаешь, это поможет?.. Они скажут, что не знают тебя... А полиция не станет забирать людей только по подозрению.

Он повернул кран кипятильника и прибавил:

- Знаешь, что я тебе посоветую? Постарайся задобрить его... Попроси извинения.

Не люблю я извиняться, я гордый. Но страх был сейчас во мне сильнее всех чувств. И я решился: подошел к их столику, постоял минутку и сказал тихо:

- Извините...

- Что?.. - бросил он, взглянув на меня.

- Я говорю: извините... за тот случай в трамвае.

Он с изумлением посмотрел на меня и сказал:

- Какой трамвай? Да я тебя знать не знаю! В жизни

тебя не видел... А, понимаю, ты боишься, что мы тебе на чай не дадим... Успокойся, получишь на чай... хорошо получишь.

У меня просто зубы стучали от страха. Теперь я твердо знал, что они меня будут ждать и пойдут за мной. Близ площади Кампителли, где я живу, не счесть таких переулочков, где можно человека убить и никто даже и не узнает. Свернут шею, как курице, и поминай как звали.

Я вернулся к стойке и робко сказал Гоффредо:

- Выйдем вместе, а?.. Ты сильный...

Но он прервал меня:

- Я-то сильный, а вот ты глупый... Да что тут такого? Получишь пару щелчков и тут же отдашь их обратно... Разве ты не говорил, что он тебя боится?

Ну, в общем, продолжал надо мной издеваться. Два других официанта тоже смеялись. Я подумал, что никто меня не жалеет, и у меня даже слезы на глазах навернулись.

А время шло, полночь приближалась. Официанты ушли, сначала один, потом другой. Гоффредо стал вытирать стойку и кипятильник; там, за дверью, столики стояли пустые, только за последним столиком все еще сидели эти двое. Вытерев стойку, Гоффредо вышел и стал вносить в дом столы и стулья. Я с ужасом оглядывался вокруг, думая, как бы ускользнуть. Но я знал, что в кафе только одна дверь, и о том, чтобы пройти незамеченным по улице, не могло быть и речи. Тем временем эти двое расплатились, встали и, перейдя улицу, остановились на тротуаре напротив. Гоффредо вернулся, прошел в заднюю комнату, снял куртку и собрался уходить. Проходя мимо меня, он улыбнулся и сказал:

- У волка в пасти.

У меня не хватило сил ответить на его улыбку.

Теперь в кафе оставались только двое - я и хозяин, который, стоя за кассой, считал дневную выручку. Он клал на мраморную стойку деньги и разделял их на кучки: крупные билеты - в одну сторону, помельче - в другую. Дела шли неплохо: одних билетов по тысяче было, наверно, не меньше чем на тридцать тысяч лир. Я выглянул за дверь: те двое все еще стояли напротив, на тротуаре, в тени дома. Неподалеку прогуливались взад-вперед два полицейских...

Теперь я принял решение и чувствовал себя уверенно. Я снял белую рабочую куртку, надел свою, подошел к стойке, словно затем, чтобы попрощаться с хозяином, внезапно быстрым движением схватил кучку билетов по тысяче и опрометью бросился к двери. Я понесся сломя голову по улице и слышал, как позади меня кричали: "Держи вора!" План удался! Я продолжал бежать, но нарочно все медленнее и медленнее; на площади Фьюме шоферы такси, услышав крик "держи вора!" окружили меня, а я не оказывал никакого сопротивления и остановился, как бегун у финиша. Потом подоспели полицейские, прибежал хозяин, вопивший, как свинья, которую режут; за ним Гоффридо, который, услышав шум, вернулся обратно. Увидев, что полицейский держит меня за плечо, а кругом уже собралась толпа, Гоффридо, верно, все понял и крикнул :

- Джиджи, что ты наделал? Зачем ты сделал это?

Я отвечал, пока меня тащили в участок:

- Я испугался... Лучше в тюрьму, чем в больницу.

Тем временем хозяину отдали его деньги, и он, добрый человек, стал просить:

- Отпустите его, это он в припадке был.

А я:

- Нет, нет, отведите меня, пожалуйста, в участок... Мало ли что может случиться!

Загородная прогулка

Прогулки по окрестностям Рима? Сплошное мучение! Чтобы объяснить вам, что такое прогулки по окрестностям Рима, я расскажу о последней поездке, которую мы, пятеро друзей, совершили несколько дней назад, в воскресенье. Признаюсь, главной ошибкой было то, что поехали только мужчины и ни одной женщины. А уж известно, что мужчины в таких случаях легко теряют над собой контроль, особенно если выпьют лишнее, как это и было в тот раз, и весь день проходит в ругани, криках, потасовках, так что к вечеру жалеешь, что ввязался в это дело. Кто был в это воскресенье? Да вся наша компания из бара на площади Мастаи, кроме Амилькара, который должен был тренироваться перед состязанием боксеров веса пера. Тут был Алессандро, высокий и толстый буфетчик с сальными волосами, которые блестят, как напомаженные, за что его и прозвали "Фиксатуаром"; белобрысый Альфред, прозванный "Бритвой" за то, что никто не может его переспорить, если дело касается спорта, - кого хочешь отбреет; бесноватый Теодоро, служащий гаража, по кличке "Гол" - он орет громче всех, когда мяч попадает в ворота; Уго, сын владельца бара, на машине которого мы поехали, и я. Мы тронулись с площади Фламинио около одиннадцати страшно веселые и все точно с цепи сорвались.

- Куда махнем? - спросил Уго.

- Куда глаза глядят... - ответили мы. - Езжай просто так, без маршрута...

Машина была небольшая, и впятером там было тесно, тем более что Алессандро и Теодоро - ребята не из тощих; поэтому сразу же началась возня, пошли пинки, тумачи и прочие шуточки. Уго, паренек с бледным и хитрым лицом, на вид само спокойствие, после моста Мильвио вдруг погнался с бешеной скоростью, догоняя и перегоняя одну за другой все машины. А машины попадались самые разнообразные: малолитражки, в которых ехали только мужчины; небольшие машины, битком набитые женщинами и ребятами; шикарные американские автомобили, просторные, как вагоны, такси, старые деревенские тархтелки. Всякий раз, поравнявшись с машиной, которую мы обгоняли, мы высовывались из окошек и принимались строить рожи и потешаться над теми, кто в ней ехал, получая огромное удовольствие при виде их сердитых или изумленных лиц. В этой забаве больше всех отличался Теодоро; надо было его видеть, когда он орал, как на матче, "Гол!", высунувшись из окошка, с багровым лицом и вздущимися от натуги жилами на шее. Но самые меткие и злые словечки отпускал Бритва.

Весело нам было и потому, что день был действительно чудесный. В чистом небе лишь изредка проплывало белое облачко, как бы напоминая, что теперь весна, и все кругом было покрыто той нежной, пышной, словно пенистой майской зеленью, которая приводит на



память парное молоко, и у вас чуть ли не появляется желание стать коровой, чтобы только уткнуться лицом в эту муравушку. Когда мы на минуту остановились, чтобы взглянуть на дорожную карту, Теодоро нашел выход обуревавшим нас чувствам, повалившись на высокую, свежую, покрытую росой траву и задрал кверху ноги, как осел в пору любви; поднялся он под наш дружный хохот весь мокрый и растрепанный, выплевывая набившийся в рот клевер. Так, смеясь и дурачась, миновали мы развилку Изола Фарнезе и добрались до дороги, ведущей на Браччано. Было уже около полудня, и Алессандро предложил отправиться к озеру поесть рыбы.

Сказано - сделано: поехали по дороге, которая ведет на Ангуилларе. Но вот за поворотом нам загораживает путь катафалк - черная машина с позолотой, высокая, как дом, без цветов и провожающих; должно быть, она ехала за покойником в Браччано. Дорога была не асфальтированная, и из-под трясущегося черного ящика вздымалось облако белой пыли. Уго, конечно, засигналил, чтоб нас пропустили, но не тут-то было: никакого внимания, как будто это не клаксон заревел, а флейта пискнула. Катафалк двигался медленно, как на прогулке, и мы кашляли и чихали от пыли. Уго, отличный водитель, несколько раз попытался обойти проклятый фургон, но тогда тот перемешался на середину дороги, прижимая нас к стене или к изгороди и угрожая раздавить. Шофера мы не видели, но уж, конечно, он был нахал и стервец; его характер проявлялся в том, как он вел машину. Между тем пыль по-прежнему летела нам в лицо, обволакивая нас облаком, сквозь которое мелькал желтый крест на черном гробу. Мы все просто надрывались от крика, а Уго, можно сказать, не снимал руки с клаксона. Больше всех выходил из себя Теодоро:

- Могильщик проклятый, падаль! - кричал он водителю катафалка.

Но тот притворялся глухим. Наконец, на одном повороте Уго видит, что можно проскочить по обочине, прибавляет скорость и обгоняет катафалк. Мы все высунулись в окна посмотреть на шофера. В кабине сидели двое, и физиономии у них были невозмутимо спокойные. Один вел машину, другой ел батон. Надо было видеть, как орал Теодоро:

- Могильщик, падаль, подлец, хам!

А тот, что уплетал батон, спокойно сказал, указывая на гроб у себя за спиной:

- Не желаете ли? Место свободное...

Мы промчались еще с километр, но у переезда нам пришлось остановиться; немного погодя подъехал и катафалк. Те двое вылезли, из нашей машины вышли Алессандро и Теодоро, и вот эти четверо встретились носом к носу перед шлагбаумом.

- Отвечайте, вы что, не слышали гудка?

- Но мы же вам давали дорогу не знаю сколько раз.

- Да когда ж это было? Могильщик!

- Ну, ну, потише!

- А что, скажешь, не могильщик? Да вдобавок еще мошенник!

- Негодяй!

В общем наговорили друг другу много любезностей, но рукам воли не давали: как известно, римляне на словах храбрее, чем на деле. Между тем поезд проехал, шлагбаум поднялся и парни с катафалка, оказавшись попроворнее нас, проскочили вперед и опять, как и раньше, поехали посередине дороги.

- Знаете что, ребята? - сказал Уго у одного перекрестка. - Бог с ней, с рыбой, поедем закусить куда-нибудь еще.

Сказано - сделано. Мы свернули на пустынную проселочную дорогу и спокойно поехали дальше.

Какая тишина, какой мир и покой кругом! На дороге ни души: по одну сторону, под живописной красной скалой, поросшей лесом, бежал по камням ручей, по другую, зеленея всходами, до самого горизонта тянулись поля. Мы примолкли, как будто задумавшись о чем-то. Наконец Теодоро выразил общую мысль, крикнув неожиданно:

- Жрать хочется!

В самом деле, мы были голодны, и тут, как по сигналу, все сразу заговорили о еде. Кто

принялся расхваливать спагетти с чесноком и оливковым маслом или с мясной подливкой, кто - жареного козленка только что из духовки или бараний бок, кто - просто деревенскую булку, свежую, хрустящую, из чистой пшеничной муки. Разыгравшийся аппетит делал нас красноречивыми; мы чуть не перессорились, обсуждая, что будем есть. Но вот на повороте дороги мы увидели указатель и прочли название деревни, которую искали: Марчано.

Она стояла на вершине скалы. Высокие черные дома издали были похожи на крепостные стены. Обогнув эту крепость по дороге, кружившей у подножья скалы, мы въехали в ворота и оказались перед узкой и темной улочкой, поднимавшейся в гору между домами бедняков. Мы вскарабкались вверх по этой улочке и выехали на пустынную площадь, окруженную большими старинными домами, с фонтаном для водопоя посередине. Ни лавки, ни бара, ни кино словом, ничего. "Я что-то не вижу trattorie", - сказал Уго, объезжая площадь.

К фонтану направлялся крестьянин с мулом на поводу; мы спросили у него, где тут можно поесть. Он молча указал на какой-то переулок. Уго тут же свернул в него, и через минуту мы оказались на маленькой площади, мрачной, как колодец: там на двери одного дома действительно была прибита дощечка с надписью "Osteria". Мы с облегчением вылезли из машины, и кто-то сказал:

- Видите, здесь есть садик, и мы можем закусить на свежем воздухе.

Но войдя в дом, мы очутились в длинной комнате с низким потолком, темной и затхлой. Здесь стояли три скамейки и три грубых стола и больше ничего. Ни стойки с бутылками, ни календаря на стенке, ни даже рекламы газированной воды. Мы стали звать хозяев, хлопать в ладоши; открылась дверь - и вошла, с трудом неся свой живот, беременная женщина, по меньшей мере на шестом месяце, в черном платье, с недоверчивым и недовольным желтым лицом, не предвещавшим ничего хорошего.

- Что у вас можно поесть?

- Ничего нет... Уже поздно.

- Может, кусок мяса найдется?

- Мясная закрыта... Разве немного овечьего сыра.

- А спагетти?

- Могу сварить, но придется подождать, огонь уже потух... И потом у меня нет ни масла, ни томата.

Бритва выступил вперед и развязно сказал:

- Ну, ну, мамаша, вы что, боитесь, что мы не заплатим?

Она, не смущаясь, ответила:

- Вы можете платить сколько угодно... но раз у меня ничего нет?

- Тогда зачем вы написали на вывеске "Osteria"?

Она пожала плечами и, шлепая туфлями, направилась к двери.

- Дура неотесанная! - крикнул ей вслед разъяренный Теодоро.

Женщина обернулась и спокойно сказала:

- От дурака слышу.

С этим она и ушла.

Не солоно хлебавши мы вышли на улицу, проклиная Марчано.

Сильно припекало солнце. Мы решили вернуться назад к озеру Браччано: быть может, там, в одной из этих красивых деревушек, Ангуилларе или Тревиньяно, найдется что-нибудь поесть. Мы мчались с бешеной скоростью и всю дорогу ругали здешний народ: "Грубияны, невежи, хамы, дикари, негодяи, навозные жуки, подлецы, мужланы". И это еще не самые крепкие словечки, которыми мы честили жителей римских пригородов. После нескольких минут этой сумасшедшей езды показалось голубое, сверкающее озеро. Оно так искрилось на ярком солнце, что на него было больно смотреть. Мы подъехали к Тревиньяно, остановились у trattorie над самым озером и вошли в помещение, очень похожее на харчевню в Марчано, но с той разницей, что здесь мы застали несколько охотников с ружьями и собаками.

- Угрей! - с порога сказал Уго.

- Есть только один, но зато большой, - ответила хозяйка, направляясь к чулану, где был садок.

Она ввела нас в темную каморку, похожую на прачечную. Здесь в цементном бассейне для стирки белья лежал, свернувшись кренделем в темной воде, грязновато-зеленый угорь. Женщина опустила туда ведро и стала ловить угря, все время ускользавшего от нее; наконец она поймала его и вытащила. Он продолжал извиваться в ведре. И тут Теодоро, у которого уже слюнки потекли, допустил оплошность. Он ухватил угря за шею, крича:

- Теперь не уйдешь!

Но угорь извернулся, и Теодоро в испуге выпустил добычу. Угорь упал на пол и юркнул под садок.

- Держи его, держи! - закричал Теодоро, бросаясь на пол.

Но где там!.. Женщина сказала:

- Он уполз в сточную трубу, его уже не поймаешь!.. Но вы должны уплатить за него.

В общем, мы потерпели полную неудачу.

Здесь, как и в Марчано, есть было нечего. Мы заказали свежие бобы, овечий сыр, хлеб и вино. Нечего сказать, подходящий воскресный обед, стоило проехать пятьдесят с лишним километров, чтобы съесть его в Тревиньяно! В траттории было полно охотников, толковавших об охоте, но, видно, все их разговоры были пустой болтовней, потому что ни у кого из них мы не заметили даже подстреленного жаворонка. Зато собак была пропасть: все худые до ужаса, рыжие, лохматые. Теодоро швырял им бобовые стручки, приговаривая:

- Нате, жрите, заморыши!

И бедняги набрасывались на них, думая, что это хлеб.

Но сыр был хорош, острый, пахучий, вино тоже недурное, а хлеба и бобов было вволю. Итак, мы набили животы сыром, бобами, хлебом и вином. Сколько мы выпили вина? Без преувеличения почти по два литра на брата. Под конец за столом, усыпанным бобовыми стручками, завязался спор о последнем футбольном матче, и Теодоро, не терпевший обычно никаких возражений, сказал Бритве, который своими доводами припирает его к стенке, что он не прочь дать ему в морду. Пришлось их разнимать.

Когда мы уезжали отсюда, нам снова стало весело, потому что мы основательно выпили, хотя и скверно поели. И вот, вместо того чтобы вернуться в Рим, мы отправились в Рончильоне выпить по чашке кофе. На одном подъеме нам попались два велогонщика с номерами на спине и на груди, нажимающие из последних сил. Кто-то вспомнил, что в этих местах как раз в воскресенье должен происходить велокросс; видно, эти двое отстали от основной группы. Когда мы проезжали мимо гонщиков, Теодоро, разгоряченный вином, высунулся из окошка и стал по своему обыкновению над ними насмехаться:

- Эй ты, тряпичные ноги, рога... Катаешься, а тем временем жена тебе рога наставляет, конопатый!

Мы надорвали животы от смеха, тем более что гонщики, усталые, потные, согнувшись над рулем, не отвечали, сберегая дыхание, и только метали на нас яростные взгляды. Мы опередили их, проехали с километр и в самом деле нагнали основную группу участников кросса: двадцать с лишним велосипедистов со свитой болельщиков, тоже на велосипедах, и две сопровождавшие их машины. Мы промчались мимо них на третьей скорости и через пару километров, не сбавляя хода, въехали в Рончильоне. Уго, выпивший не меньше других, на самой площади, вместо того чтобы затормозить, бог знает почему прибавил газу. Маленькая, сверкающая лаком темно-синяя машина, тихо проезжавшая впереди, загородила ему дорогу, и он, как сумасшедший, с разгону врезался в нее. Мы сразу остановились и вышли; вылез и хозяин пострадавшей машины высокий лысый господин с усами щеточкой, в клетчатом костюме и замшевых перчатках. Мы были кругом виноваты, но с пьяных глаз начали препираться с этим господином аристократической внешности. Он говорил спокойно и пренебрежительно, надменно меряя нас взглядом, а мы орали. На крик сбегались все, кто был на площади. Синьор раздраженно сказал, что мы пьяны, и это было верно. Но Теодоро

стал кричать ему прямо в лицо:

- Да, мы не картавим на французский манер и водим машину не в лайковых перчатках, но мы сбавим форсу синьору графу!

Откуда он взял, что это граф, одному богу известно. В этот момент толпа зашевелилась, чья-то рука схватила Теодоро за плечо и послышался чей-то голос:

- А ну, повтори, что ты там говорил, ну-ка, повтори!

Это были два гонщика, которых незадолго перед тем поносил из машины Теодоро. Один - долговязый, тощий, со впалыми щеками и блестящими глазами, другой - низкорослый, с приплюснутой головой, без шеи и с широченными плечами. Поднялась суматоха. Теодоро пятился, повторяя:

- Да кто ты такой? Откуда ты взялся?

А долговязый гонщик, толкая его и награвая тумачами, требовал, чтобы он повторил свои слова. "Граф", почувствовав поддержку, стал кричать, что мы пьяны; мы сцепились с низкорослым велосипедистом, который тоже лез на рожон. Толпа заволновалась. Потом долговязый размахнулся, чтобы ударить Теодоро, но угодил в "графа", тот дал сдачи, хватив его кулаком, маленький гонщик набросился на Теодоро, а мы, в свою очередь, взяли его в оборот, и все кругом начали кричать. К счастью, в эту трудную минуту явились два карабинера, суровые, вежливые, невозмутимые, и как по волшебству воцарились порядок и тишина. Все предъявили документы; толпа следила за сценой, затаив дыхание. Теперь слышен был только испуганный голос Теодоро, который оправдывался:

- Мы бедные люди... Так уж получилось... Известное дело, воскресенье...

На обратном пути настроение у нас, понятно, было кислое. Кто-то сказал:

- Это все из-за катафалка... Плохая примета.

Но Алессандро, более рассудительный, ответил:

- При чем тут катафалк? Сами виноваты. В другой раз знаете, что сделаем? Возьмем с собой девушек... Женщины не то, что наш брат... при них таких вещей не случается.

В Риме мы расстались, даже не попрощавшись, досадуя на себя и друг на друга. У машины был помят амортизатор и разбита одна фара, а у Теодоро рассечена губа.

Возмездие Тарзана

В то лето я не мог найти никакой другой, более серьезной и достойной меня работы и поэтому согласился развезать на велосипеде в компании пяти таких же, как я, рекламируя фильмы для одного нового кинотеатра. К каждому велосипеду был прикреплен раскрашенный щит, и на каждом щите - по слогу в две или три буквы, так что все шесть вместе составляли полное название фильма, который мы и рекламировали, медленно двигаясь по улицам города. В общем, "люди-сэндвичи" на двух колесах - вот что мы собой представляли. Спору нет, на свете существуют куда более привлекательные профессии; да к тому же, чтобы сделать нас более заметными, нас облекли в какие-то комбинезоны небесно-голубого цвета, так что мы походили на ангелочков, каких носят по улицам во время церковных процессий на пасху. Но ничего не поделаешь: коли кушать охота, возьмешься и за такую работу.

Я колесил по городу, возя на себе щиты с названиями вроде "Люби меня сегодняшнюю ночь", "Пламя над архипелагом", "Два сердца в бурю", "Дочь вулкана" и тому подобное. Ехал я всегда во главе нашей колонны, так как мне уже стукнуло пятьдесят, волосы у меня были совершенно седые и я неизменно оказывался самым старшим из своих товарищей; поэтому рекламное агентство и возлагало на меня ответственность за наш кортеж. Следующим за мной ехал Польдино, белокурый мальчуган лет семнадцати, с острым, как мордочка хорька, лицом, со стеклянно-голубыми глазами; характер у него был строптивый и непослушный, настоящий сорванец.

Остальные четверо были тоже мальчики от пятнадцати до двадцати лет. Я им всем пятерым в отцы годился, и они меня в шутку называли дядей. Все они были той же закваски, что и Польдино: ребята, выросшие после войны, во времена черной биржи, американских негров и "сеньорин". Я не пользовался у них никаким авторитетом, о чем своевременно и

предупредил агентство; всякий раз, когда им представлялся удобный случай, они вступали против меня в заговор.

Дело происходило летом, в июле, и было настоящей мукой медленно тащиться по улицам под палящим солнцем. К тому же маршрут у нас был очень длинный и без остановок. Мы отправлялись от кино, что за церковью Санта-Мария Маджоре, проезжали со скоростью пешехода виа Кавур, вокзальную площадь, виа Волтурно, виа Пьяве, виа Салариа, виа По, виа Венето, виа Биссолати, виа Национале, виа Депретис и наконец снова выезжали к церкви Санта-Мария Маджоре. Мы совершали несколько таких кругов утром и днем, смотря по договоренности с агентством. У агентства имелось две бригады: одна мужская, одетая, как я уже сказал, в небесно-голубые комбинезоны, и другая - женская, одетая еще ужаснее: в белые туники, усыпанные серебряными блестками, и золотисто-желтые шаровары.

Однажды утром мы, как обычно, отправились в путь. Небо было покрыто облаками, и я поначалу надеялся, что жара, державшаяся все эти дни, наконец спадет. Но когда мы немного проехали, я убедился, что как раз из-за этих-то темных, нависших предгрозовых туч зной стал еще нестерпимее. В наглухо застегнутом комбинезоне я обливался потом куда больше, чем в солнечный день. Духота стояла такая, что при каждом нажиме на педали руки, ноги и лицо так наливались кровью, что она, казалось, вот-вот должна была брызнуть из-под кожи.

В этот день мы рекламировали фильм с названием "Возмездие Тарзана", которое было изображено на щитах разноцветными буквами. Мне достался слог "ВОЗ", далее следовал Польдино со слогом "МЕЗ", а затем по порядку: "ДИЕ", "ТАР", "ЗА", "НА". На щитах красовался облаченный в звериные шкуры Тарзан, сражавшийся с огромной обезьяной, а в стороне стояла охваченная ужасом прекрасная девушка, тоже полуобнаженная. И вот, когда мы медленно-медленно продвигались вперед в этой душной точно перед землетрясением атмосфере, я сразу почувствовал, что у меня за спиной затевается обычный заговор.

Рекламное агентство настоятельно рекомендовало нам не производить шума, не курить, не переговариваться между собой. Одним словом, мы должны были казаться почти такими же машинами, как и велосипеды, на которых мы ехали: немые, медлительные, апатичные, ничего не выражающие. Тогда реклама, - говорили нам в агентстве, - окажется по-настоящему эффективной, потому что публика не станет интересоваться нами, а все свое внимание сосредоточит на щитах.

Я сказал, что пятеро моих товарищей затевали заговор, и сейчас объясню, что это значит. Едва мы выехали на вокзальную площадь, я услышал, как все пятеро за моей спиной стали перекликаться криком Тарзана, точь-в-точь как в кинокартине; правда, не так громко, но и этого было достаточно, чтобы услышали прохожие. Обернуться назад мне нельзя было, так как я вел колонну; обернись я назад в таком месте, как вокзальная площадь, и весь наш кортеж мог бы в конце концов угодить под колеса автобуса. И только когда мы выехали на виа Волтурно, я обернулся и громко спросил:

- Что вы там безобразничаете?

И знаете, что я услышал в ответ от Польдино? Неприличный стишок. Я больше ничего не сказал и поехал по направлению к министерству финансов.

Миновали министерство, свернули на виа Пьяве. На площади Фьюме регулировщик с высоты своей полосатой черно-белой будки остановил все движение, и нам тоже пришлось остановиться. Я воспользовался этим, сошел с велосипеда и посмотрел, как идут дела. И тут я убедился, что дела идут прескверно. Не знаю, условились ли они заранее или встретились с ними здесь случайно, но только Польдино и его товарищи раздобыли себе двух девчонок из тех, что ходят по ресторанам, продавая цветы. Девчонки были приземистые и кривоногие, одна блондинка, другая брюнетка. Они болтали и шутили, словно рекламного кортежа вовсе и не существовало. Затем, когда регулировщик движения поднял свой жезл, обе девчонки - прыг на рамы велосипедов: блондинка усаживается к Польдино, брюнетка - к следующему за ним. Тут уж я разозлился, у меня как-никак есть чувство долга, а это было уж слишком. Я снова слез с велосипеда, подошел к Польдино и сказал ему, не повышая голоса:

- Вели ей слезть, слышишь... и не затевать историй.

А он, желая, верно, пофорсить перед этой замухрышкой, вцепившейся в руль его велосипеда, дерзко отвечал:

- Что тебе надо? Кто ты такой?

- Слезай! - сказал я и тронул девчонку за плечо.

- Руки прочь! - заорала она.

А Польдино крикнул:

- Нет, вы посмотрите на этого старикашку! Он хватает мою девчонку!..

Между тем все движение остановилось, машины позади нас давали гудки, нас окружила публика, обсуждая происшествие; нечего и говорить, что все были против меня. Поняв, что здесь я ничего не могу поделать, я снова взобрался на велосипед и с сердцем, переполненным горечью, поехал по виа Салариа.

На перекрестке виа Салариа и виа По я свернул к проспекту Италия, но скоро обнаружил, что еду один, так как Польдино и остальные направились к площади Квадрата. В растерянности я остановился и закричал им вслед;

- Куда же вы поехали? Ведь надо сюда, сюда!

Польдино тоже остановился и ответил:

- Мы едем на Тибр, купаться.

- Что? Да вы с ума сошли!

А он, с презрением:

- Это ты сошел с ума - голова седая, а нарядился в голубое, как паяц.

Девчонки хохотали, а я почувствовал стыд и от злости готов был его убить, но смирился и на этот раз.

Мы двинулись по виа По, проехали бульвар Льеджи, площадь Унгерея, бульвар Париоли. Теперь кортеж возглавлял Польдино, а я плелся в хвосте: у меня одышка, а они сейчас не ехали, а летели. И теперь название фильма выглядело так: "МЕЗ", "ДИЕ", "ТАР", "ЗА", "НА", "ВОЗ", что было лишено всякого смысла. И прохожие на тротуарах останавливались и смотрели на пятерых юношей, одетых в небесно-голубое, мчавшихся во весь дух на велосипедах с двумя потаскушками и на едва поспевавшего за ними старика, тоже в небесно-голубом. И люди качали головами и смеялись. А ребята теперь кричали по-тарзаньи во все горло, как будто и в самом деле находились в диких лесных дебрях, а не под платанами улиц Рима.

От площади Сантьяго дель Чиле начинается спуск, и здесь они настолько от меня оторвались, что в конце концов к Акуа Ачетозе я приехал один. Раза два я сбивался с пути, возвращался обратно, наконец мне показалось, что вдали, на тропинке, шедшей вдоль берега реки, я различаю их. Взбешенный, обливаясь потом, я помчался в этом направлении.

Они выбрали себе место, где берег Тибра расширяется, образуя песчаную площадку, поросшую мелким кустарником. Здесь река изгибается, словно змея, и противоположный берег оказывается так близко, что можно различить закрепленные в воде сети, покачиваемые течением.

Я застал их в тот момент, когда они, бросив на землю велосипеды, щиты и прочие аксессуары, раздевались. Девушки - те хоть зашли в кусты, а ребята даже и не думали прятаться. Я соскочил с велосипеда и, кипя от ярости, бросился к Польдино, который в это время высвобождал из штанов ноги. Я закричал ему:

- Негодяй! Где у тебя совесть?

Он же нагло:

- Что тебе надо? Можно узнать, что тебе надо? Скажешь ты или нет, что тебе надо?

И при каждом "что тебе надо" он тыкал меня рукой в грудь, чуть не под самое горло, другой рукой он в это время придерживал трусы. А я все еще не мог отдышаться после такой гонки, да и возраст давал себя знать, я чувствовал, что ноги у меня подкашиваются, и наконец, после четвертого толчка, свалился на землю. Тут они словно по сигналу принялись безумствовать. Девчонки, держась за руки, выскочили из-за куста в одних нижних юбках из

грубого полотна. По правде сказать, красотой они не отличались; как я уже говорил, были они низкорослые, коренастые, со впалой грудью, но с крепкими бедрами, как все попрошайки и бродяжки, которым приходится мало есть и много ходить. А те пятеро, словно на танцах, выступали им навстречу, придерживая руками трусы; они начали танцевать среди кустов, затем стали бегать и гоняться друг за другом. Польдино орал:

- Я Тарзан! Я тебя похищаю и волоку к себе в пещеру!

И рыча по-тарзаньи, он бросился за брюнеткой. Был он вдвое ниже ее ростом, белый, тощий, хилый, так что жалко было на него смотреть. Наконец, бегом, вприпрыжку, они направились к реке, и один за другим бросились в воду.

И на берегу остался один только я - стеречь голубые куртки и женское тряпье. Седой, в небесно-голубом комбинезоне, словно паяц, с лицом вечного безработного, с наполовину высыпавшейся дешевой сигаретой в дрожащих губах.

Мне было горько, обидно до слез. Я ненавидел этих мальчишек за то, что они так со мной поступили, но вместе с тем я ненавидел и самого себя за то, что у меня не хватало мужества освободиться от этого чувства долга. И даже теперь, когда уже ничего нельзя было поправить, я, глядя на них, счастливых и беззаботных, плещущихся в водах Тибра, не мог не задаваться тревожным вопросом: "А что скажут в агентстве?" И приходил в бешенство, оттого что испытывал эту тревогу и не мог от нее освободиться. А мне хотелось бы стать таким же, как они: как и они, броситься в воду, кричать по-тарзаньи, шутить с девушками. Но я был стар и обременен чувством долга, и с этим уже ничего нельзя было поделать.

Им во всем везло. Они плескались в воде до тех пор, пока небо не почернело и первые капли дождя не упали в желтые волны Тибра. Тогда они вышли из воды, и Польдино закричал, что этот дождь подоспел очень кстати: если в агентстве их станут упрекать, они смогут сказать в свое оправдание, что были вынуждены спрятаться от дождя. Одна из девушек, брюнетка, одевшись, подошла ко мне и попросила сигарету. Я дал ей, и тогда захотелось курить и блондинке и всем пятерым ребятам, и так я остался без сигарет, но зато мы помирились.

Между тем тучи, уронив несколько скудных капель, прошли над Тибром и удалились в сторону от города. Мы снова сели на велосипеды, в том порядке, какого требовало название фильма, и поехали вдоль песчаного берега к Акуа Ачетоза. Там обе девушки пересели на автобус, а мы опять двинулись по бульвару Париоли. Немного спустя мы уже ехали в темпе похоронной процессии среди роскошных автомобилей, мимо кафе по виа Венето.

Ромул и Рем

Какую другую потребность можно сравнить по остроте с голодом? Попробуйте вслух произнести: "Мне нужна пара ботинок... мне нужна расческа... мне нужен носовой платок", помолчите минуту, переведите дыхание и потом скажите: "Мне нужно пообедать", - и вы сразу почувствуете разницу. О чем бы ни шла речь, вы можете раздумывать, искать, выбирать, можете вовсе отказаться от нужной вам вещи, но если вы сознаетесь себе, что вам надо пообедать, - времени терять нельзя. Вы должны раздобыть себе обед, иначе вы умрете с голоду.

В полдень пятого октября этого года я присел на краю фонтана на площади Колонна и сказал себе: "Мне нужно пообедать". Оторвав свой взгляд от мостовой, которую я разглядывал во время этих размышлений, я посмотрел на уличное движение вдоль Корсо: все передо мной было словно в тумане, все дрожало. Я не ел больше суток, а, как известно, первое, что наблюдается у голодного человека, - это ощущение, что все предметы, которые он видит, дрожат и качаются, словно сами испытывают голод. Тогда я подумал, что должен достать себе еду во что бы то ни стало и что если я еще буду откладывать, то у меня не хватит сил даже на то, чтобы что-нибудь придумать... Тут я стал размышлять, как бы мне поскорее раздобыть себе обед.

Беда в том, что в спешке никогда ничего путного не придумаешь. Так и сейчас, идеи, которые приходили мне в голову, были скорее похожи на бред. "Я сажусь в трамвай... лезу к кому-нибудь в карман и убегаю", или: "Вхожу в магазин - и прямо к кассе, хватаю все деньги

и убегаю". И до того я себе живо это представил, что даже испугался и решил: "Все равно пропадать, так уж пусть лучше меня арестуют за оскорбление представителя власти... в конце концов, тарелку супа в полиции всегда дадут".

В этот момент рядом со мной какой-то мальчишка позвал:

- Ромул!

Услышав это имя, я вспомнил о другом Ромуле - об одном парне, с которым я был вместе на военной службе. Я тогда не удержался и наврал ему про себя с три короба - будто я из деревни, из зажиточной семьи. На самом деле родился я вовсе не в деревне, а в римском пригороде Прима Порты. Но сейчас это могло сыграть мне на руку. Ромул держал где-то в районе Пантеона тратторию. Я решил - пойду к нему и пообедаю, ведь я так голоден. Ну, а когда дело дойдет до денег, заговорю о дружбе, о том, как вместе служили, словом, предамся воспоминаниям... в конце концов, не захочет же он, чтобы меня арестовали!

Прежде всего я подошел к витрине магазина и посмотрел на себя в зеркало. К счастью, я утром побрился, воспользовавшись бритвой и мылом своего хозяина - швейцара из суда, у которого я снимаю чулан под лестницей. Рубашка на мне была не очень чистая, но неприличной ее тоже нельзя было назвать - я носил ее только четыре дня. А серый в елочку костюм выглядел совсем как новый: мне его подарила одна добрая синьора (ее муж во время войны был моим капитаном). Вот с галстуком дело обстояло хуже - он весь обтрепался. Еще бы, этот красный галстук служит мне уже, должно быть, лет десять.

Я поднял воротничок и заново завязал узел: теперь один конец галстука был длинный-длинный, а другой - совсем короткий. Я запрятал короткий конец под длинный и застегнул пиджак доверху. Когда я отошел от зеркала, у меня закружилась голова - может, оттого, что я так старательно себя разглядывал, - и я наткнулся на полицейского, стоявшего на углу тротуара.

- Смотри, куда идешь, - сказал он мне, - ты что, пьян?

Мне хотелось ему ответить: "Да, пьян от голода", но я решил не связываться и нетвердым шагом пошел по направлению к Пантеону.

Адрес я знал, но, увидев дом, подумал, уж не ошибся ли... Я оказался перед маленькой дверью в глубине тупика, а шагах в двух от меня стояло четыре или пять мусорных ящиков, наполненных до краев. На вывеске цвета бычьей крови было написано: "Траттория. Домашняя кухня". На витрине, тоже выкрашенной в красный цвет, было выставлено всего-навсего одно яблоко. Нет, я вовсе не шучу: одно-единственное яблоко.

Я кое о чем начинал догадываться, но, раз уж надумал, решил войти. Когда я вошел в помещение, я все понял и на мгновенье, кроме голода, почувствовал еще и растерянность. Я собрался с духом и уселся за столик всего их стояло здесь в пустой, полутемной комнатухе четыре или пять. Грязная ситцевая занавеска, висевшая позади стойки, скрывала дверь в кухню. Я стукнул кулаком по столу.

- Официант!

В кухне зашевелились, занавеска приподнялась, из-за нее выглянуло и снова скрылось чье-то лицо... Я узнал своего друга Ромула. Подождав с минуту, я снова стукнул по столу. На этот раз он выбежал из-за занавески, застегивая на ходу засаленную, бесформенную белую куртку. Он подошел ко мне с таким почтительным "чего изволите", такая надежда звучала в его голосе, что у меня сжалось сердце. Но раз уж заварил кашу - надо было расхлебывать. Я сказал, что хочу пообедать. Он начал вытирать тряпкой стол, потом остановился и, глядя на меня, проговорил:

- Это же Рем...

- А-а, ты меня узнал все-таки, - сказал я с улыбкой.

- Да как же не узнать... Мы же с тобой вместе служили... Нас еще дразнили "Ромул, Рем и волчица" - помнишь, из-за девушки, за которой мы вместе ухаживали...

Короче говоря, пошли воспоминания. Но сразу было видно, что он начал вспоминать прошлое не потому, что любил меня, а потому, что я был его клиентом, да к тому же еще единственным клиентом - в траттории, кроме меня, никого больше не было. Ему явно



хотелось хоть как-нибудь скрасить безотрадное впечатление, которое производила его "траттория".

В заключение он похлопал меня по плечу:

- Так-то, старина Рем. - Потом, повернувшись в сторону кухни, позвал: - Лорета! - Занавеска приподнялась, и показалась приземистая грузная женщина в переднике. Лицо у нее было хмурое и недоверчивое. Муж сказал ей, показывая на меня: - Это тот самый Рем, о котором я тебе столько рассказывал.

Она изобразила на лице что-то вроде улыбки и кивнула в знак приветствия. Из-за ее спины выглядывали двое детей - мальчик и девочка. Ромул все повторял:

- Молодец, молодец... просто молодчина...

Заладил, как попугай: "молодец, молодец" - видно, он ждал, чтобы я заказал обед. Тогда я решился:

- Я, Ромул, в Риме проездом... ведь я - коммивояжер... Все равно надо было пойти куда-нибудь поесть, вот я и подумал, почему бы мне не пообедать у друга Ромула?

- Молодец, - снова повторил он. - Так что же тебе приготовить? Спагетти?

- Конечно.

- Спагетти с маслом и с сыром... Они быстрее сварятся, и для желудка легко... Ну, а еще что? Как ты насчет бифштекса? Или зажарим пару ломтиков телятины? А может, хочешь хороший кусочек говядины? Или эскалопчик на сливочном масле?

Все это были простые блюда, я мог бы их приготовить на спиртовке сам. Из какой-то непонятной жестокости я спросил:

- А абаккио... аббакио у тебя есть?

- Очень сожалею... но мы его обычно готовим к ужину...

- Ну ладно, тогда бифштекс с яйцом а ля Бисмарк.

- А ля Бисмарк, конечно... С картофелем?

- С салатом.

- Хорошо, с салатом... И литр вина, сухого, да?

- Сухого.

Повторяя вполголоса: "Сухого, сухого", он пошел на кухню, оставив меня за столиком одного. У меня по-прежнему кружилась от слабости голова, я чувствовал, что поступаю гадко, подло, но, сам не знаю почему, это доставляло мне чуть ли не удовольствие. Голод ожесточает человека. Может быть, Ромул был еще голоднее меня, и мне, в конце концов, было приятно сознавать это.

Между тем все семейство о чем-то совещалось на кухне. Я слышал тихий, взволнованный голос Ромула, что-то торопливо говорившего жене. Та явно была недовольна. Наконец занавеска приподнялась, и из кухни выбежали дети. Они поспешно направились к выходу. Я понял, что в траттории у Ромула не было, должно быть, даже хлеба. В тот момент, когда приподнялась занавеска, я успел заметить, что жена Ромула, стоя перед плитой раздувала почти погасший огонь. Потом Ромул вышел из кухни и подсел ко мне за столик. Он пришел посидеть со мной, чтобы выиграть время и дать возможность ребятишкам сбегать за продуктами. Движимый все той же жестокостью, я сказал:

- Славное у тебя заведение... Ну, а как идут дела?

Он ответил, опустив голову:

- Хорошо, дела идут хорошо... Конечно, поскольку сейчас кризис... Да к тому же сегодня еще понедельник... Но обычно здесь у нас пройти негде.

- Ты неплохо устроился.

Прежде чем ответить, он взглянул на меня. Лицо у него было полное, круглое, как и полагается хозяину траттории, но при этом такое бледное, небритое, несчастное...

- Ты тоже неплохо устроился, - заметил он.

Я небрежно ответил:

- Да, пожаловаться не могу... Свои сто - сто пятьдесят тысяч лир в месяц я всегда зарабатываю... Правда, работа тяжелая.

- И все же не такая, как у нас.

- Ну да, вашему брагу хорошо: люди могут обойтись без чего угодно, только не без еды... Ручаюсь, что у тебя и про черный день кое-что отложено.

На этот раз он промолчал, ограничившись улыбкой, но в этой улыбке было столько отчаяния, что мне стало жаль его. Наконец, как бы желая сделать мне приятное, он сказал:

- Старина Рем... а помнишь, как мы жили с тобой в Гаэта?

Словом, он предпочитал заняться воспоминаниями, потому что ему было стыдно говорить неправду, а возможно, и потому, что солдатчина была лучшей порой его жизни. Мне стало так жалко его, что я решил доставить ему удовольствие и сказал, что все помню. Он сразу же оживился, принялся болтать и даже смеяться, то и дело хлопая меня по плечу.

Вскоре вернулся сынишка Ромула, держа обеими руками литровую бутылку вина. Он шел на цыпочках, как будто нес святые дары. Ромул налил мне и себе - сразу, как я ему предложил. Выпив, он стал еще разговорчивее - видно, и у него был пустой желудок. Пока мы беседовали и пили, прошло еще минут двадцать. Потом, как во сне, я увидел, что вернулась девочка. Бедняжка прижимала к груди худенькими ручонками большой пакет, в котором было всего понемногу: желтый пакетик с бифштексом, яйцо в кульке из газетной бумаги, батончик хлеба в коричневой папиросной бумаге, завернутые в вощеную бумагу масло и сыр, зеленый пучок салата и, как мне показалось, даже бутылочка оливкового масла. Серьезная, довольная, она деловито направилась прямо на кухню, а Ромул, когда она проходила мимо нас, подвинулся на стуле так, чтобы заслонить ее от меня. Потом он налил себе еще вина и снова вернулся к воспоминаниям. Тем временем на кухне мать за что-то выговаривала дочери, а та, оправдываясь, тихо отвечала:

- Он не хотел давать меньше.

Одним словом - нищета, полная, беспросветная нищета, чуть ли не хуже моей. Но я был голоден и, когда девочка принесла мне тарелку спагетти, я набросился на них, не чувствуя угрызений совести. Больше того, сознание, что я наедаюсь за счет таких же бедняков, как я сам, словно разжигало мой аппетит.

Ромул с завистью смотрел, как я ем. Я не мог не подумать, что он, должно быть, не часто позволяет себе такое блюдо, как спагетти. Я предложил ему:

- Хочешь попробовать?

Он отрицательно покачал головой, но я подцепил полную вилку спагетти и сунул ему в рот.

- Вкусно, ничего не скажешь, - проговорил он, как бы разговаривая сам с собой.

После спагетти девочка принесла мне бифштекс с яйцом и салат. Ромулу, видно, стало стыдно смотреть мне в рот, и он ушел на кухню. Я сидел один и ел. Скоро я почувствовал, что почти опьянел от еды. До чего же приятно есть, когда голоден! Я клал в рот кусок хлеба, запивал его глотком вина, жевал, проглатывал. Давно уже я не ел так вкусно.

Потом девочка принесла мне фрукты, и я попросил подать мне еще кусочек сыра, чтобы съесть его с грушей. Покончив с обедом, я развалился на стуле и принялся ковырять зубочисткой в зубах. Все семейство высыпало из кухни и обступило стол, уставившись на меня, как на какое-то высшее существо. Ромул повеселел - должно быть, оттого, что немного выпил - и начал вспоминать какое-то любовное приключение времен военной службы. А жена его стояла грустная, лицо у нее было измазано сажей. Я взглянул на детей: они были бледные, истощенные, с огромными глазами. И так мне вдруг стало их жаль, что я почувствовал угрызения совести - особенно когда жена Ромула сказала:

- Нам бы хоть четыре-пять таких клиентов, как вы, к обеду и к ужину, тогда мы могли бы вздохнуть свободно.

- Как? - спросил я, притворяясь непонимающим. - Разве у вас нет посетителей?

- Заходят, - ответила она, - чаще всего вечером. Да все одна гольтьба. Принесут с собой кулек с едой, закажут немного вина, - четвертинку или пол-литра... А утром я даже плитку не растапливаю, все равно никого не бывает.

Эти слова почему-то разозлили Ромула. Он сказал:

- Ладно, довольно плакаться... Ты мне приносишь несчастье...

Жена тут же возразила:

- Это ты нам приносишь несчастье. Ты во всем виноват. Я с утра до ночи спину гну, минуты покоя не знаю, а ты что делаешь? Только и знаешь одно вспоминать военную службу. Кто же из нас после этого виноват, я или ты?

Пока они переругивались, я, разомлев от блаженства, размышлял о том, как быть со счетом. Тут, на мое счастье, Ромул вышел из себя и залепил жене пощечину. Та, не теряя времени, бросилась на кухню и выбежала с длинным острым ножом, из тех, которыми нарезают ветчину. С криком: "Убью тебя" она кинулась на мужа.

Ромул, опрокидывая столы и стулья, в ужасе бросился от нее. Между тем девочка заливалась слезами, а мальчик тоже сбегал на кухню и теперь размахивал скалкой, собираясь вступить не то за отца, не то за мать.

Сообразив, что момент самый подходящий - сейчас или никогда! - я поднялся со стула и крикнул:

- Тише, черт побери, тише, вам говорят!

И так, не переставая повторять: "тише, тише", я очутился за дверью, в переулке. Затем я ускорил шаг и свернул за угол. На площади Пантеона я зашагал своей обычной походкой по направлению к Корсо.

Колбасник

В ту зиму мои дела шли как нельзя лучше. Сначала я провел выгодную операцию с железным ломом, потом мне повезло с продажей кирпича, и наконец я хорошо заработал на американских медикаментах. Я заказал себе два новых костюма - один синий в полоску, другой из серой фланели; купил пальто "фантазия", две пары туфель - черные и желтые, дюжину шелковых рубашек с монограммами и набор самых разнообразных носков.

Матери я подарил отрез черного шелка на платье и купленный по случаю китайский фарфоровый сервиз на шесть персон, замечательно расписанный цветами и драконами. Своему брату я дарить ничего не стал, он был безработный и, завидуя моим успехам, заявил, что ему от меня ничего не надо. В подарок сестре я купил маленький зонтик со стальной ручкой, который, складываясь, становился величиной с веер. Но самую большую радость доставило мне приобретение спортивной машины красного цвета, именно такой, о какой я мечтал с самого детства. Словом, у меня теперь было все, я не ограничивал себя в средствах, курил американские сигареты и каждый день ходил в кино. И несмотря на это я скучал, мне явно чего-то недоставало; и вскоре я понял, что мне просто не хватает подружки.

Ростом я, правда, не вышел, но безобразным меня никто бы не назвал: у меня белокурые волосы, глаза голубые, лицо белое и румяное. В детстве, как утверждает моя мать, я походил на младенца Христа. С тех пор я, конечно, успел измениться: рот у меня слегка искривился и ноздри оказались слишком глубоко вырезаны. Не знаю почему, но приятели прозвали меня колбасником. Да мало ли что они выдумают, я еще раз повторяю, что я вовсе не какой-нибудь урод.

Из-за того, что я постоянно был занят торговыми делами, у меня совсем не оставалось времени для девушек. А ведь женщины, как известно, требуют много времени и денег. Теперь у меня было и то и другое. Нужно было только найти девушку. И я принялся за поиски. Каждый день около полудня я садился в машину и направлялся в район верхних кварталов. Я проезжал из конца в конец виа Венето, а потом начинал раскатывать в районе Виллы Боргезе, виа Пинчана и Муро Торто.

Я правильно рассудил, что здесь мне проще всего будет присмотреть себе подружку, во-первых, потому, что у всех красивых девушек Рима вошло в привычку гулять в этом районе, чтобы показать свои новые платья и поглядеть на наряды других, а потом, на этих широких и сравнительно безлюдных улицах машине будет удобнее следовать за женщиной, а ей - сесть в машину, не привлекая всеобщего внимания.

Итак, ведя машину со скоростью пешехода, я ехал то за одной, то за другой девушкой и, выбрав, как мне казалось, удобный момент, открывал дверцу машины и говорил:

- Разрешите, синьорина, подвезти вас... - или еще что-нибудь в этом роде.

Но представьте себе, никто из них не соглашался! Одни продолжали идти, делая вид, что не замечают и не слышат меня, другие сухо отвечали:

- Нет, благодарю вас, предпочитаю идти пешком.

Встречались и такие, что просто огрызались:

- Отвяжитесь лучше, а то позову полицию!

Однажды какая-то девчонка даже обозвала меня "уличным попугаем", то есть человеком, который пристаёт на улице к женщинам. А другая прямо отрезала:

- С такой-то рожей колбасника?!

Это меня очень удивило; не могла же она в самом деле знать, что так прозвали меня мои приятели. Вернувшись домой, я долго разглядывал себя в зеркало, стараясь понять, какие же лица бывают у колбасников, и потом даже спросил об этом у матери, умолчав, конечно, почему это меня интересует. Но мать ответила только:

- Эх, сейчас уже не встретишь таких колбасников, какие бывали в старину... Это ведь старинная профессия... Зимой они торговали колбасой, а летом продавали соломенные шляпы... Да, старинная профессия... А теперь вот они стали обыкновенными лавочниками.

Тем временем наступила осень, стоял уже конец ноября, погода была очень неустойчивая: то светило солнце, то лил дождь. Я понимал, что хорошей погоде пришел конец и что о девушках до весны нечего и мечтать, потому что в зимнюю слякоть и непогоду они сидят по домам. Но, с другой стороны, я так распалился, что и думать не хотел провести еще одну зиму без подружки.

Однажды утром, исколесив, как обычно, взад и вперед виа Венето, я уже собирался возвращаться к себе домой, в Прати (я жил между Виллой Боргезе и площадью Пополо), как вдруг мне показалось, что на бульваре, ведущем к площади Фламинио, я увидел ту, которую искал. Она шла одна, завернувшись в прозрачный, видно, целлофановый плащ. Издали она показалась мне очень привлекательной. Но когда я остановил машину и, открыв дверцу, проговорил:

- Не разрешите ли, синьорина, подвезти вас? - и она, обернувшись, взглянула на меня, сказать по правде, я почти раскаялся, что окликнул ее. Не то чтобы она была безобразна, скорее даже наоборот, но было в ее лице что-то такое хитрое и наглое, что не обещало ничего хорошего. У нее была шапка черных кудрявых волос, круглые, выпуклые, словно стеклянные глаза, немного широкий негритянский нос, толстые губы и совсем маленький подбородок. Она с готовностью спросила:

- Куда вы хотите меня отвезти?

Голос у нее был с хрипотцой, а манера говорить вкрадчивая. По ее произношению я понял, что она настоящая римлянка.

- Куда вам будет угодно, - немного оробев, сказал я.

Она вдруг начала мне жаловаться, растягивая слова:

- Понимаете, я опоздала, а живу я так далеко, теперь мама уже не ждет меня домой... Почему бы нам не поехать куда-нибудь пообедать?

Пока она говорила, я успел прийти в себя; мне показалось, что она мне нравится, и я кивнул ей, чтобы она садилась. Девушка не заставила себя долго просить.

- Наверно, мне не следовало бы соглашаться, - сказала она, усаживаясь в машину. - Но вы кажетесь таким порядочным человеком... Не думайте, пожалуйста, что я решилась бы на это с кем-нибудь другим...

Включая мотор, я сказал:

- Меня зовут Аттилио Помпеи, человек я действительно серьезный, а вас я остановил только потому, что чувствую себя совсем одиноким и мне хочется найти себе спутницу. Видите ли, у меня есть деньги, есть машина, у меня есть все, вернее, почти все, мне не хватает только общества такой девушки, как вы.

Я объяснил ей все это, чтобы она знала, кто я такой и каковы мои намерения. В ответ я услышал:

- Итак, куда же нам лучше поехать?

Я назвал один из ресторанов, но она только скривила губы.

- Почему бы нам не поехать за город, например в Фьюмичино?

- За город, в такую погоду?

- Так даже лучше... И потом это на море, и мы сможем поесть там рыбы.

Подумав, что такой дальний путь поможет нам сблизиться и что, быть может, она не зря предлагает мне эту прогулку, я сказал:

- Хорошо, едем в Фьюмичино.

Когда мы проезжали площадь Кавура, она попросила остановиться около какого-то бара, сказав, что ей нужно позвонить матери и предупредить, чтобы та не ждала ее домой. Она вернулась оттуда очень оживленная и весело сообщила мне:

- Бедная мама... она спросила, где я и с кем, а я ей ответила - с Аттилио... Вот теперь ей придется поломать себе голову, что это за Аттилио.

Завернувшись в свой плащ, она живо уселась в машину. И мы поехали.

Мы выехали из Рима по блестящему, как зеркало, шоссе Мальяна. Солнце сверкало так ярко, что было больно глазам. Но не проехали мы и двух километров, как небо почернело и начался страшный ливень. И пока "дворник" расчищал залитое дождем ветровое стекло, я решил, не теряя времени, рассказать ей о себе и о своих планах.

Видя, что мои слова находят у нее живой отклик, я почувствовал облегчение. Она говорила:

- Человек не может жить один, как какая-нибудь собака, ему нужна подруга жизни, нужна ласка, нужна любовь.

- Вот именно.

- И потом, - продолжала она, - мужчина, у которого нет любимой женщины, теряет желание трудиться. Действительно, ну для кого ему тогда работать?

- Верно!

- Женщина вносит в жизнь мужчины столько обаяния, нежной привязанности, сколько не может ему дать ни один друг.

- Что и говорить!

- Мужчину, у которого нет подруги, нельзя назвать настоящим мужчиной.

- Я думаю точно так же.

- В тяжелые и печальные дни одна только женщина может утешить мужчину и вдохнуть в него новые силы.

- Святые слова.

- Мне кажется, что такому человеку, как вы, - заключила она, - нужна добрая и сердечная девушка, которая бы о вас заботилась больше, чем о самой себе, девушка, которая бы вас хорошо понимала и была бы даже способна на жертвы.

В общем, она оказалась так умна, проницательна и благоразумна, что я совсем успокоился: именно о такой девушке я и мечтал.

- Как вас зовут? - спросил я.

- Джина, - ответила она.

И тогда я сказал:

- Джина, я чувствую - мы созданы друг для друга.

И придерживая одной рукой руль, другой я попытался найти ее руку, но она сказала:

- Ты лучше правь, а руку мне успеешь пожать и в Фьюмичино.

И хотя это "ты" было сказано вполголоса и как бы невзначай, я был очень доволен.

Между тем среди рваных и черных туч снова проглянуло ослепительное солнце. Мы проехали станцию Мальяна, и дорога пошла через зеленые, пропитанные влагой поля, которые теперь блестели, словно озеро.

Дорога была совсем пустынна, нам встретилась только одна маленькая светло-коричневая машина, в которой сидели двое мужчин. Они то перегоняли нас, то оставались позади, словно не хотели потерять нас из виду.

- Чего им нужно, этим болванам? - сказал я и, включив мотор на полную мощность, обогнал их.

Она выглянула из машины и с усмешкой сказала:

- Двое мужчин без женщин, вот и развлекаются, как умеют. Бедненькие!

Я оглянулся на дорогу и, видя, что машины больше нет, снова замедлил ход. Но вот кончились мокрые от дождя поля, и дорога пошла через лес. Черный асфальт весь был усыпан желтыми, оранжевыми и коричневыми листьями, сбитыми ветром и дождем. Деревья в лесу тоже были желтые, оранжевые и коричневые, а сейчас, залитые солнцем, они казались золотыми.

Вдруг она вскрикнула:

- Смотри, какая красота! Ну-ка, останови машину.

Я остановил, и она сказала мне:

- Знаешь, что я придумала? Ты выйдешь сейчас из машины и соберешь мне в лесу букет цикламенов.

- Цикламенов?

- Ну да. Посмотри, сколько их здесь!

Я взглянул и, действительно, под кустами, среди желтых листьев и яркой зелени мха, увидел множество цветущих розовых цикламенов.

Она томно прошептала:

- Ты не хочешь нарвать букет для своей Джинны?

Она погладила меня по щеке и, словно для поцелуя, протянула свои губы. Я решил, что настал вполне благоприятный момент заключить ее в свои объятия. Но она оттолкнула меня:

- Нет, нет, только не здесь, подожди до Фьюмичино. А пока ступай и собери мне букет.

Я послушно вылез из машины, оставив дверцу открытой. Она крикнула мне вдогонку:

- Ступай дальше, там цветы еще красивее!

И я, с трудом пробираясь через кустарник, цепляясь брюками за колючки, все дальше углублялся в лес и собирал ей цикламены.

После дождя в лесу было очень сыро, пахло влажной землей, мхом и гниющим деревом. На каждом шагу с веток, которые я задевал головой, на меня обрушивались целые потоки дождевых капель, так что вскоре лицо у меня стало совсем мокрые.

А цикламены были действительно хороши, и, собирая их, я с радостью думал, что вот, наконец-то, у меня есть девушка. И мне было приятно собирать для нее букет. Я старался срывать самые крупные, самые высокие и яркие цветы. И я слышал, как она кричит мне:

- Иди, иди подальше... Там цветы еще лучше!

Наконец, стоя в самой гуще зарослей кустарника, я выпрямился, чтобы показать ей уже готовый букет. Как вдруг сквозь заросли низкого кустарника, в просветы между деревьев я увидел, что у обочины дороги остановилась светло-коричневая малолитражка, из нее вылез человек в плаще и торопливо пересел в мою машину. Я закричал:

- Стой... Стой! - и бросился бежать. Но оступившись, упал на землю, лицом в мокрый мох.

О моем возвращении лучше не вспоминать.

Я прошел пять километров пешком. Я был так потрясен, что до самого переезда у Фьюмичино не выпускал из рук букета цикламенов. Мне не хочется даже рассказывать о том, как спустя неделю, выходя из одного магазина в центре Рима, я встретил эту ведьму и отправил ее в полицию.

Теперь меня терзало лишь то (моя машина со снятыми шинами была найдена дня через два на проселочной дороге), что когда я, бросившись к ней, закричал:

- Воровка... Наконец-то я нашел тебя, воровка! - она сделала вид, что не знает меня, и нагло отвечала:

- А ты кто такой? Я не знаю этого колбасника.

Вы понимаете, она, так же как и мои друзья, так же как и девчонка с виа Пинчано, назвала меня колбасником!

С тех пор я отпустил себе длинные висячие усы. Но все же, несмотря на эти прекрасные светлые усы, девушки я до сих пор не нашел.

#### Аппетит

Если как-нибудь утром вы пройдете мимо больницы с той стороны, где на ее стене, словно марки на конверте, густо-густо наклеены мраморные дощечки со словами благодарности за исцеление или мольбой о нем, то вы увидите неподалеку от часовни Мадонны большой красивый цветочный киоск, заставленный горшочками с цветами, раскрашенными статуэтками, корзинами, перевязанными лентами. Там родственники и друзья покупают цветы для несчастных больных. Этот же киоск снабжает цветами весь квартал. Торгует в нем высокая толстая белокурая женщина. У нее есть сын, очень похожий на нее, - он помогает ей торговать. Зовут его Карло, ему девятнадцать лет, а весит он уже добрый центнер. Взгляните на него внимательно. Лицо у него жирное и веснушчатое, рыжие волосы ежиком, на носу - очки с толстыми стеклами. Всякий раз, когда он поворачивается, грудь его подрагивает, как у женщины. У него уже брюшко, а его ноги напоминают колонны. Одет он по-американски - спортивная куртка и полосатые брюки. Куртка тесно облегает его тело, словно жилет, а когда он наклоняется, то так и кажется, что брюки на нем вот-вот лопнут сзади по шву. Раньше мы были с Карло друзьями, но теперь он со мной в ссоре, и это огорчает меня, прежде всего потому, что один его вид разгонял любую печаль. Чтобы развеять грусть, достаточно было посмотреть, как он ест: аппетит - будь здоров! Такого я больше ни у кого не встречал. Карло был способен съесть с хлебом полкило спагетти под соусом, а потом разочарованно заявить: "Я даже не почувствовал... Боже мой, как я голоден!" Иногда друзья специально приглашали Карло в ресторан - ведь одно удовольствие посмотреть, как он будет есть. И он не заставлял себя упрашивать. Однажды меньше чем за полчаса он уплеп ягненка целиком, обсосав каждую ножку так, что на блюде осталась только груда костей. Дома он так есть не мог - его мать была скупа, да с продажи цветов особенно и не разбогатеешь. Поэтому, зная, что зрелище того, как он ест, - своего рода спектакль, Карло сам набивался:

- Ну как, приглашаете меня сегодня вечером? Буду есть, что закажете и в любом количестве. Идет?

Однажды в воскресенье Карло сообщил мне, что мы оба приглашены на обед в дом его невесты Фаустины. Я очень удивился, потому что не был близко знаком с семьей Фаустины и не понимал, почему меня пригласили. Я понял это, когда увидел Карло, встретившись с ним, как было условлено, на проспекте Италия. Карло казался расстроенным и опечаленным; засунув руки в карманы, он все время вздыхал. Пока мы шли к дому Фаустины, я спросил его, что случилось, и он ответил мне глубоким вздохом. Я продолжал настаивать опять вздох. В конце концов я сказал:

- Слушай, не хочешь говорить - не говори... но перестань вздыхать... Ты похож на тюленя.

- А разве тюлени вздыхают?

- Нет. Но если бы вздыхали, то вздыхали бы именно так, как ты.

Карло еще раз вздохнул, а потом объяснил:

- Я попросил пригласить тебя сегодня, чтобы ты мне помог... Обещаешь? - Я обещал. Тогда Карло, не переставая вздыхать, сказал: - она меня больше не любит.

Признаюсь, в первую минуту я даже обрадовался. Фаустина мне нравилась, и я никак не мог понять, что она нашла в Карло. Но я был хорошим другом и никогда не решался не только ухаживать за ней, но даже дать ей понять, что она мне нравится. Я сказал, изображая полнейшее безразличие:

- Мне очень жаль... Но что я могу поделать?

- Даже очень много... Меня Фаустина не слушает... А тебя она уважает... Ты умеешь говорить... Она не желает меня больше видеть... Я потребовал объяснения, и вот она пригласила нас на обед. Ты должен поговорить с ней, должен сказать, что я люблю ее и что ей не следует меня бросать.

Я ответил, что женщину не убедишь никакими доводами, но так как он меня очень упрашивал, то я в конце концов согласился. Тем временем мы подошли к дому Фаустины, который находился неподалеку от площади Алессандриа.

Мы поднялись по лестнице, постучали. Мать Фаустины, маленькая седоволосая женщина, отворила нам дверь, держа в руке веер, которым раздувают угли.

- Слава богу, хоть вы пришли,- воскликнула она и убежала на кухню.

Мы прошли в столовую. Отец Фаустины был портной, и в будние дни эта комната служила ему примерочной. Стол был накрыт на восемь персон. Все стены комнаты были увешаны картинками из модных журналов; в углу стоял женский манекен, и на нем висел начатый жакет. Мне показалось, что в квартире царит переполох: было слышно, как мать на кого-то сердито кричит и как кто-то ей отвечает. Потом дверь резко распахнулась и в комнату вошла Фаустина. Это восемнадцатилетняя девушка, маленькая и изящная; у нее курчавые волосы, покатый лоб, зеленые глаза и большой рот: не красавица, но очень милая. Она весело закричала:

- Привет, Карло... Привет, Марио... Мама сердится, потому что приготовила макароны на восемь человек, а папа, Джино и Альфредо сообщили, что идут на футбол и не будут обедать дома, и Анна-Мария не придет - ее пригласил жених. Я тоже собираюсь уходить, меня пригласили... Так что вы остаетесь втроем... Мама сердится: она говорит, что мясо можно оставить на потом, а вот макароны с сыром пропадут.

Все это она выпалила единым духом, потом, приподняв сзади платье, чтобы оно не измялось, уселась на старый, продавленный и порванный диван и продолжала:

- Послушай, Карло, я пригласила тебя с твоим другом, потому что мама сказала, что я должна с тобой объясниться... Но заранее предупреждаю: уговаривать меня бесполезно.

Не знаю почему, но эти произнесенные очень бойко слова доставили мне удовольствие. Тем более, что, говоря, Фаустина смотрела не на Карло, а на меня. Наши взгляды встретились, и мне показалось, что она кокетливо улыбнулась мне. А Карло тем временем хныкал:

- Но если ты меня не любишь, что же мне делать? Фаустина от души расхохоталась, обнажив мелкие широкие зубы:

- Найдешь себе другую... Или не найдешь... Меня это не касается... Но видеть тебя больше я не желаю... Ты мне надоел.

- Ну почему я тебе надоел?.. Что я сделал?.. За что ты меня ненавидишь?

Она так и подскочила, но ответила весело, и ее зеленые глаза при этом смотрели все время не на Карло, а на меня:

- Я ненавижу тебя за то, что ты... толстяк, тюфяк, обжора... Ты думаешь только о том, как бы поесть, и чем больше ты ешь, тем больше ты жиреешь. Мои подруги говорят, что я невеста короля Фарука... Когда я стою около тебя, это все равно что блоха рядом со слонем... Я для тебя не пара.

- Но ведь я тебя люблю!

- А я тебя ни чуточки.

Видели ли вы когда-нибудь плачущего толстяка? Когда плачет худощавый, ему верят; но про толстяка непременно скажут, что он притворяется. Карло снял очки и зарыдал в платок. В это время в комнату вошла мать Фаустины, неся супницу, доверху наполненную макаронами с томатной подливкой. Она изумленно спросила:

- Что произошло? Что с Карло?

- Плачет, - ответила Фаустина, весело пожимая плечами. - Это ему полезно. - И она встала с дивана. - Ну, я пошла... Ты хотел прийти, я повторила тебе то, о чем уже говорила, и теперь ухожу... У меня дела.

- Ты не поешь? - крикнула мать.

- Потом... Оставь мне что-нибудь... Прощай, Карло. Приятного аппетита... До свиданья, Марио.

Говоря это, она протянула мне руку и пристально посмотрела на меня своими зелеными



глазами. Я почувствовал, что она погладила своими пальцами мои.

- Ну вот, - рассерженно проворчала мать, - остались только вы двое... Садитесь за стол и ешьте.

- Я не голоден, - сказал Карло. Но словно по волшебству слезы на его глазах высохли, и он устался на супницу.

Я в самом деле не хотел есть: меня взволновали взгляды Фаустины и прикосновение ее пальцев. Я рискнул сказать:

- Не лучше ли нам уйти?

- А мне все выбрасывать? - закричала мать, уперев руки в бока. Домашние макароны!.. Садитесь и ешьте.

- Я не хочу есть, - робко возразил Карло.

Но в эту минуту в дверях появилась Фаустина и крикнула:

- Кто поверит, что ты не хочешь есть?.. Ешь, голубчик, ешь...

Она подскочила к Карло, который сидел, глубоко продавив диван, схватила его за руку, заставила встать и сесть за стол, повязала ему вокруг шеи салфетку и сунула в руку вилку. Тем временем ее мать с довольным видом накладывала на тарелку Карло гору макарон. А подавленный Карло твердил:

- Я совсем не голоден.

Но дымящаяся тарелка макарон, залитых ярко-красным томатным соусом, раздражила, верно, его аппетит, потому что, повторяя плаксиво "я не голоден", Карло со слезами на глазах начал наворачивать на вилку макароны.

- Приятного аппетита! - крикнула Фаустина и снова выбежала из комнаты.

Ее мать тоже вышла, предварительно наполнив мою тарелку. Карло поднес ко рту вилку с огромным количеством макарон и пролепетал со слезами в голосе:

- Марио, сходи к Фаустине, пока она не ушла... Может быть, с глазу на глаз с тобой...

Не закончив, он склонил голову и отправил макароны в рот. Он ел, а слезы так и текли по его щекам.

- Ты прав, - сказал я обрадованно, - возможно, с глазу на глаз она согласится выслушать меня... Ты пока ешь... Я скоро вернусь.

Я встал из-за стола и отправился прямо в комнату Фаустины. Она стояла перед зеркалом и подкрашивала губы. Я затворил за собой дверь, подошел к ней и, обняв ее за талию, без лишних церемоний спросил:

- Мы увидимся завтра?

Искоса взглянув на меня своими зелеными глазами, Фаустина очень кокетливо ответила:

- Нет - сегодня.

- Сегодня? А когда?

- Через полчаса жди меня внизу в баре.

И не сказав больше ни слова, она сделала пируэт и выпорхнула из комнаты.

Я вернулся в столовую. Карло ел с аппетитом, но неторопливо: его тарелка была уже наполовину пуста. Я сказал:

- Мне, право, жаль, но она прогнала меня... Мне очень жаль...

Он проглотил добрую порцию, а затем опустил голову и зарыдал, накручивая на вилку макароны.

- Мерзавка... А я так ее люблю!

Теперь я тоже принялся за еду. После того как я поговорил с Фаустиной, у меня появился аппетит. Макароны под соусом и с острым овечьим сыром были действительно превосходны.

- Я не желаю ее больше видеть, - говорил Карло. - Даже если она будет умолять меня об этом.

Тарелка его была уже пуста, он снова наполнил ее.

- И правильно, - заметил я.

Одним словом, мы вдвоем - главным образом, конечно Карло - наполовину опустошили супницу. Вошла мать Фаустины и больше для проформы предложила нам поесть еще немного мяса. Я ответил, что мы уже наелись, и встал из-за стола. Но по выражению лица Карло, который продолжал сидеть, я понял, что он не отказался бы и от мяса. Наконец он все-таки поднялся, тяжело вздохнул и вытер салфеткой сначала рот, а затем глаза.

Попрощавшись с матерью Фаустины, мы ушли. Как только мы оказались на улице, я сказал Карло:

- Ну, я пошел - у меня свидание, - и, не дав ему опомниться, убежал.

Я поболтался немного на улице и в условленный час зашел в бар. Фаустина ждала меня. Она выглядела очень элегантной, на ней было изящное лиловое платье, а в руках она держала букетик фиалок. Она сразу же взяла меня под руку, говоря:

- Глупенький, почему ты так долго не догадывался, что нравишься мне?

Я не успел ей ответить. В эту самую минуту мы проходили мимо маленькой кондитерской, где продаются горячие неаполитанские слойки. У входа в кондитерскую со слойкой в руке, с набитым ртом и лицом, измазанным ванильным сахаром, стоял Карло. Сперва я почувствовал запах свежее выпеченного хлеба, а затем увидел его. Конечно, он заметил, как мы шли под руку, тесно прижавшись друг к другу. Но Фаустину это ни капельки не смутило.

- Прощай, Карло, - крикнула она ему, и мы прошли мимо.

Сиделка

Садоводство, в котором я работаю, находится в Читта-Джардино, и каждое утро, проезжая на автобусе по виа Номентана, я не могу удержаться, чтобы не взглянуть на ограду виллы, что находится за церковью Сант-Аньезе. Несколько лет назад я был садовником на этой вилле, и кусты жасмина вдоль ограды посажены моими руками; это я расположил у входа вазы с камелиями и посадил у самой стены дома глицинии, которые теперь, если только они не погибли, должны бы уже достигать третьего этажа. Из-за болезни хозяина виллы сад был заброшен и скорее походил на место свалки, чем на сад; а я из любви к сиделке, которая ухаживала за хозяином, в несколько месяцев превратил этот сад в настоящую оранжерею: разбил клумбы, посыпал гравием дорожки, посадил кусты сирени, а вокруг клумб и вдоль дорожек сделал красивое обрамление из аккуратно подстриженных кустиков самшита. Помнится, я посадил еще в центре одной клумбы большую магнолию из семейства грандифлора - как раз против окна Неллы, чтобы весной аромат цветов проникал к ней в комнату; а под окном у нее я посадил японик - удивительно красивое вьющееся растение с черными стеблями и красными цветами.

Нелла была сиделкой. Я был влюблен в эту крепкую девушку среднего роста, с рыжими волосами, с широким и свежим лицом, покрытым веснушками, и в очках - она была близорука. Нелла понравилась мне с первого взгляда потому, что она была такая сильная и здоровая, с пышным телом, выпиравшим из-под белого халата; понравилось мне и ее спокойное, немного замкнутое выражение лица, которое придавали ей веснушки и очки. Она была похожа на докторшу, и вот именно этот контраст между строгим лицом и цветущим молодым телом и заставил меня потерять голову.

Той весной здоровье синьора, за которым она ухаживала, беспокоило меня куда больше, чем мое собственное, ведь я знал, что если он выздоровеет или умрет, Нелла уедет и мне уже нелегко будет с ней встречаться. Всякий раз, когда она открывала утром окно комнаты, где лежал больной, и выглядывала в сад, я оказывался тут как тут, под окном, и спрашивал ее: "Как дела?" А она отвечала: "Ничего, понемножку" - и при этом лукаво улыбалась, потому что догадывалась о причине такой моей заботливости. Потом в течение всего утра я не раз видел ее в том же окне: то она капала в рюмку лекарство, то осматривала иглу шприца, перед тем как сделать укол. Я подавал ей знаки, а она только отрицательно покачивала головой, словно говоря: "Ты разве не видишь, что я в комнате больного?" Она, конечно, была очень добросовестная сиделка, куда добросовестнее мужчин, но она еще и

хитрая была - все время ссылалась на свою работу, чтобы заставить меня вздыхать понапрасну, как делают некоторые девушки, которые, чтобы набить себе цену, всегда ссылаются на маму: мама, мол, этого не позволяет, а на самом деле они просто кокетничают.

По утрам я старался работать на участке перед фасадом виллы, потому что окно комнаты больного выходило как раз на эту сторону. А днем, зная, что после завтрака больной спит и Нелла воспользуется этим временем для встречи со мной, я переходил работать в глубину сада, который тянулся далеко-далеко; там, за рощицей молодых дубков, у самой ограды находился фонтан. И почти ежедневно, часа в два или три, Нелла приходила сюда, и мы проводили вместе с полчаса или час. Я срезал для нее какой-нибудь цветок: гардению, камелию или розу; а она, чтобы доставить мне удовольствие, прикалывала его у себя на груди, к халату. Потом она садилась на край фонтана, и я говорил ей о своей любви. Я был всерьез влюблен в нее и с самого же начала заявил, что хочу на ней жениться. Она молча выслушивала меня, и выражение ее лица становилось замкнутым. Я говорил ей:

- Нелла, я хочу, чтобы мы поженились; я хочу, чтобы ты народила мне много-много детей... по одному каждый год... Знаешь, какие это будут замечательные детки! Ты красивая, да и я вроде не урод.

Она смеялась и говорила:

- Горе мне... Ну, а как же мы их прокормим?

Я на это отвечал:

- Я буду работать... открою собственное садоводство.

А она:

- Но я хочу остаться сиделкой.

Я возражал:

- Ну на что тебе быть сиделкой! Ты будешь моей женой!

А она мне:

- Не хочу я детей, я хочу остаться сиделкой... Мои больные - вот мои дети.

Но при этом она улыбалась и позволяла взять себя за руку. Однако, когда, немного осмелев, я пытался ее поцеловать, она тотчас же отталкивала меня и поднималась со словами:

- Мне пора к нему.

- Но он же спит!

- Да, но если он проснется и увидит, что меня нет около него, он может умереть от огорчения: он хочет, чтобы только я за ним ухаживала.

В такие минуты я ненавидел больного, хотя ему был обязан своим знакомством с Неллой. И вот она уходила, а я в бешенстве хватал грабли и с таким рвением принимался расчищать дорожки, что вместе с мелкими камешками летели комья земли.

Нелла ни разу не позволила мне поцеловать себя. Но изредка она разрешала мне любоваться своими волосами, которые вместе с глазами составляли главную ее красоту. Я просил:

- Дай мне полюбоваться твоими волосами!

- Какой ты надоедливый, - мягко сопротивлялась она, но в конце концов уступала мне и позволяла снять со своей головы косынку и вынуть, одну за другой, все шпильки. Какое-то мгновение копна ее рыжих густых волос держалась на голове, словно корона из красной меди. Затем она делала неуловимое движение, и волосы рассыпались у нее по плечам, они спадали волнами до самой талии; а она стояла неподвижно под этой золотистой массой волос и пристально смотрела на меня сквозь очки. Тогда я протягивал руку и осторожно снимал с нее очки. В очках у нее был какой-то лицемерный вид, а без очков ее глаза, большие, влажные, нежные, коричневые, как каштаны, придавали ее лицу совершенно иное выражение: томное и зовущее. И я любовался ею, не дотрагиваясь до нее, до тех пор, пока она, может быть, почувствовав смущение, не надевала поспешно на голову косынку и на нос очки.

Я так был в нее влюблен, что, помню, однажды сказал ей:

- Мне бы тоже хотелось заболеть... по крайней мере, тогда ты была бы все время со мной.

Она, улыбаясь, ответила:

- Ты с ума сошел... здоров - и хотел бы заболеть?

А я повторил:

- Да, я хотел бы заболеть... тогда тебе пришлось бы проводить рукой по моему лбу, чтобы узнать, нет ли у меня жара... И по утрам ты обмывала бы мне лицо теплой водой... А когда бы я чувствовал нужду, ты быстро прибегала бы с судном и стояла около меня...

Последние слова заставили ее рассмеяться.

- Какой же ты чудак!.. Неужели ты думаешь, что нам, сиделкам, приятно выполнять некоторые наши обязанности?

- Конечно, это неприятно и вам и самим больным, - отвечал я. - Но по мне уж лучше хоть что-нибудь, чем вообще ничего.

Но довольно! Так я никогда не кончу рассказывать, ведь известно, что в любви даже всякие мелочи кажутся важными; особенно потом, когда - как это случилось со мной - любовь обрывается в самом начале, не получив желанного завершения. Так как я слышал, что больной поправляется и скоро встанет на ноги, то я стал более настойчиво говорить о нашей женитьбе. Но Нелла всячески уклонялась от прямого ответа; то она давала мне понять, что и я ей не безразличен, то, наоборот, говорила, что любит меня недостаточно. Я думал, это последние ее колебания перед тем, как уступить мне: как это бывает, когда дерево подпилено и шатается, прежде чем упасть. Наконец в одно из обычных наших свиданий она совершенно спокойно сказала:

- Почему бы тебе сегодня ночью не прийти под мое окно? После полуночи... Тогда мы и поговорим.

У меня от этих слов перехватило дыхание.

Вечером я спрятался в саду и, усевшись на краю фонтана за дубовой рощицей, дождался полночи. В назначенный час я отправился под ее окно и, как было условлено, свистнул. Ставни тотчас же открылись, и она, вся в белом, появилась в темном окне. Она прошептала:

- Поддержи меня скорее.

Я едва успел встать под окно, как она, отделившись от подоконника, спрыгнула прямо в мои объятия. Она была такая тяжелая, что мы чуть было вместе не свалились на землю; вновь обретя равновесие, мы пошли по асфальтовой дорожке вдоль виллы.

Она тихо спросила меня:

- Теперь, Лионелло, ответь мне: ты уверен, что хочешь на мне жениться?

Я был поражен не столько смыслом ее слов, сколько тоном, каким они были сказаны - нежным, каким она никогда не говорила со мной раньше. Я как стоял, так и упал перед ней на колени и обнял ее ноги, прижавшись лицом к грубой материи халата. Я почувствовал, как ее рука гладит мою голову, и, несмотря на все свое волнение, тут же хладнокровно подумал: "Ну вот, теперь все в порядке". Но как раз в этот самый миг в ее комнате задребезжал звонок. Если бы ее позвал самый дорогой возлюбленный, то и тогда она не поспешила бы так к нему.

- Скорей, скорей! - проговорила она и оттолкнула меня так, что я чуть не упал. - Скорей... это он меня зовет... скорей, помоги мне взобраться!

Проклятый звонок продолжал звонить. Она подбежала к окну, я помог ей влезть, и она исчезла. Минуту спустя я увидел, как на темном фасаде осветилось окно больного - значит, Нелла уже была около него. И тогда я впервые испытал чувство ревности.

Что произошло в ту ночь в комнате больного синьора, мне неизвестно, но только на следующее утро Нелла в окне не показалась и после завтрака не пришла, как обычно, на место наших встреч к фонтану. Так прошло три или четыре дня, и вот как-то после полудня я снова увидел ее, но не одну: она шла по площадке перед виллой, бережно поддерживая больного. Это был человек средних лет, белобрысый, с бледным лицом, очень высокий, в пижаме; он опирался на нее, обняв ее за плечи, а она заботливо и нежно поддерживала его за

талию и старалась соразмерять свои шаги с его. Пораженный этим зрелищем, я застыл на месте, а когда они скрылись за углом виллы, обернулся к камердинеру, как и я наблюдавшему за ними с порога дома. Тот в ответ сделал жест, который должен был означать: "Они уже поладили между собой". Притворившись равнодушным, я начал расспрашивать его и узнал, что и правда на вилле поговаривали о том, будто синьор собирается жениться на Нелле. Честное слово, я не стал больше ничего выяснять и решил, что Нелла - такая же, как и многие другие женщины, и что для нее деньги значат больше, чем любовь. Я действую под влиянием порыва и долго не раздумываю, прежде чем принять какое-нибудь решение: в тот же самый день я завязал свои вещи в узелок и ушел с той виллы, чтобы уже никогда больше туда не возвращаться.

И с тех пор всякий раз, когда я вспоминал Неллу, я представлял ее себе женою больного синьора, - она живет на той же вилле, но теперь уже не в качестве сиделки, а хозяйки. И при этом я думал, что, заболев синьор теперь, она уже не стала бы ухаживать за ним с прежним рвением: оказавшись вдовой, она достигла бы наконец цели, ради которой вышла за него замуж.

Но иногда мы ошибаемся, думая, что только корысть или чувство движут людьми. Есть люди, для которых не имеют значения ни корысть, ни чувство, для них важно что-то другое, совершенно особенное, понятное лишь им одним. К числу таких людей принадлежала и Нелла.

Года два спустя после этой истории я как-то пришел на одну виллу, расположенную на холме Джаниколо, куда меня позвали, чтобы я привел в порядок оранжерею тропических растений. Дождаясь в передней, я сразу почувствовал что в доме царит какая-то напряженная атмосфера, почти траур: все окна были наглухо закрыты, люди говорили только шепотом, ходили на цыпочках, пахло лекарствами, все шумы были приглушены... И вдруг на верхней площадке лестницы я увидел Неллу, одетую сиделкой, - такую, какой я видел ее в последний раз; голова повязана косынкой, на носу очки, в руках она держала поднос. Она спускалась вниз по лестнице и не могла избежать встречи со мной. Подойдя ко мне, она остановилась, и я сказал ей полупечально, полунасмешливо:

- Ты все по-прежнему сиделка, Нелла... А ведь ты должна была выйти за него замуж.

А она, улыбаясь, с тем самым спокойным и непроницаемым видом, который когда-то свел меня с ума, ответила:

- Кто наболтал тебе такого вздору? Разве я не говорила тебе, что не хочу выходить замуж, а хочу остаться сиделкой?

Я на это только мог сказать:

- Да, зелен виноград.

И поверите ли? Она с минуту смотрела на меня, потом покачала головой и сказала:

- А знаешь ли, что и этот больной тоже влюблен в меня... Но сейчас я не могу тебе всего рассказать... Если ты будешь здесь работать, мы успеем наговориться... Мое окно в первом этаже и выходит в сад...

Она ушла, но перед этим еще раз посмотрела на меня, как бы спрашивая: "Договорились, да?"

Тогда я подумал: может быть, именно потому, что она такая здоровая и сильная, ей и нравится заводить романы с больными. Но я был, к сожалению, совершенно здоров, и поэтому у меня не оставалось никакой надежды. И я тотчас же решил отказаться от работы на этой вилле и, не дожидаясь, пока меня позовут, повернулся и на цыпочках вышел из дома.

Клад

Остерию у ворот Сан-Панкрацио, где я служил официантом, посещал в ту пору некий огородник, которого все называли Маринезе: то ли он был родом из Марино, то ли потому - и это всего вероятнее, - что ему больше других нравилось тамошнее вино. Этот Маринезе был очень стар, он и сам не знал хорошенько, сколько ему лет. Однако пил он больше иного молодого и, когда пил, любил поболтать с теми, кому была охота его слушать, или хотя бы даже с самим собой. Мы, официанты, известное дело, если не заняты, не прочь послушать

разговоры клиентов. Маринезе, среди множества выдумок, часто рассказывал одну историю, походившую на правду: будто бы немцы на вилле одного князя, расположенной неподалеку, похитили ящик серебра и зарыли его в каком-то месте, известном ему, Маринезе. Порой, когда старик бывал особенно сильно пьян, он намекал, что это место - его собственный огород. И добавлял, что стоит, мол, только ему захотеть, и он станет богатым. И наступит такой день, когда он этого захочет. Когда?

- Когда состарюсь и не смогу больше работать, - ответил он как-то раз, когда у него об этом спросили. Вот уж странный ответ, ведь на вид ему было не меньше восьмидесяти.

Мало-помалу я начал все чаще подумывать об этом кладе и вполне поверил в его существование, потому что за несколько лет перед тем, как раз во время оккупации, серебро и правда было похищено и князю так и не удалось разыскать его. Раздумывая об этом, я закипал бешенством при мысли, что сокровища находятся в руках Маринезе, который не сегодня-завтра умрет от удара в своей хибарке, и тогда - прощай клад! Я пробовал было подъехать к старику, но он - этакий мошенник! - вином себя угощать позволял, а язык держал за зубами.

- Даже если бы ты был моим родным сыном, - торжественно заявил он мне в конце концов, - и тогда я не сказал бы тебе, где спрятан клад. Ты молод и должен работать... А деньги нужны старикам, которые устали и не могут больше трудиться...

Тогда я, отчаявшись, сговорился с другим официантом, помоложе меня, белобрысым Ремиджо. Он сразу же загорелся, но так как был страшно глуп, то принялся строить всякие воздушные замки: вот мы с тобой разбогатеем, я куплю машину, мы вместе откроем бар - и тому подобное. Я ему на это сказал:

- Сначала нужно отыскать клад... И потом, не забирай себе в голову слишком много... Мы разделим клад на четыре доли... Три я возьму себе, а четвертая - тебе... Согласен?

Он все так же восторженно ответил, что согласен. И мы сговорились встретиться в ту же ночь, после двенадцати, на виа Аурелиа Антика.

Стоял май, самое начало мая, и оттого, что небо было усыпано звездами и ярко светила луна, освещавшая все, как днем, а воздух был напоен весенним теплым ароматом, у меня не возникало чувство, что я собираюсь совершить нечто преступное, нападая на жалкого старика, - все представлялось мне какой-то забавной игрой. Мы пошли по виа Аурелиа, между древних стен, за которыми тянулись огороды и сады монастырей. Я захватил с собой лопату на тот случай, если бы Маринезе отказался дать нам свою, а Ремиджо, чтобы он не шел с пустыми руками, вручил железный ломик. В лавочке на площади Витторио я заранее купил револьвер и обойму патронов, однако револьвер держал на предохранителе - мало ли что может случиться. Сказать по правде, мысль о кладе возбудила и меня, и теперь я уже раскаивался, что поделился своими планами с Ремиджо: не будь его, мне досталось бы одной долей больше. Кроме того, я знал, что Ремиджо болтун, а если он проболтается, дело может закончиться тюрьмой. Все эти соображения мучили меня, пока мы шли вдоль стены. Неожиданно я остановился и, вытащив револьвер, который еще не показывал Ремиджо, проговорил:

- Смотри у меня! Если вздумаешь потом болтать, я тебя убью.

А он, весь затрепетав, ответил:

- Да что ты, Алессандро! За кого ты меня принимаешь?

Я сказал еще:

- Кое-что придется уделить Маринезе, чтобы он тоже был заинтересован в сохранении тайны и не выдал нас. Значит, тебе придется выделить ему из своей доли... понял?

Он ответил, что понял, я спрятал револьвер, и мы возобновили путь.

Пройдя немного, мы увидели справа старинные ворота с колоннами и латинской надписью на фронте. Когда-то они были выкрашены в зеленую краску, которая теперь поблекла и облупилась. Я знал, что за этими воротами находится огород Маринезе. Оглядев дорогу и убедившись, что кругом никого нет, я толкнул ворота, которые оказались незапертыми, и вошел в сопровождении Ремиджо.

Хотя я явился сюда вовсе не за овощами, но при взгляде на огород едва удержался от возгласа восхищения. Что это был за огород! Перед нами в белом ярком свете луны расстился самый прекрасный огород, какой мне когда-либо доводилось видеть. Прямые, словно вычерченные по линейке, сверкали в лунных лучах оросительные канавки. Между ними, развернув свою листву наподобие знамен, тянулись грядки с овощами - казалось, это торжественная процессия, освещенная лунным светом, шествует к домику Маринезе, видневшемуся в глубине огорода. Здесь были гигантские латуки, каждый из которых целиком заполнил бы чаши весов зеленщика; пышные кусты помидоров с тонкими подпорками из тростника, - прикрытые листьями помидоры еще не созрели, но уже были такие налитые, что казалось, вот-вот лопнут; кочаны кудрявой Савойской капусты величиной с детскую головку; лук, высокий и прямой, как шпаги; а артишоки! - по три, по четыре штуки на каждом растении; был здесь и салат, и зеленый горошек, и бобы и морковь - словом, все овощи сезона. Тут и там прямо на земле лежали и как будто только и ждали, чтобы кто-нибудь их подобрал, огурцы и тыквы. Дальше начинался фруктовый сад, низкие, широко разросшиеся деревья: сливы, персики, яблони, груши - чего здесь только не было! Плоды, еще зеленые, виднелись сквозь густую листву, поблескивая в лунном свете. Всюду чувствовалась заботливая рука садовника, и видно было, что не одно только желание заработать двигало этой рукой.

Ремиджо, помышлявший лишь о кладе, нетерпеливо спросил:

- А где же Маринезе?

- Вон там! - ответил я ему, указывая на хибарку в глубине сада.

Мы направились по узкой тропинке, ведущей между грядками чеснока и сельдерея. Ремиджо наступил на латук, и я прикрикнул на него:

- Скотина, смотри, куда ступаешь!

Я нагнулся, сорвал лист латука и поднес его ко рту: он был сладкий, сочный, свежий, словно только что омытый росой. Наконец мы добрались до хижины. Собака старика Маринезе, знавшая меня, вместо того чтобы залаять, выбежала нам навстречу, виляя хвостом: обыкновенная рыжая собака, как у всех огородников, но умная. Я постучал в запертую дверь хижины - сначала тихо, потом громче и наконец, так как никто не показывался, начал колотить в дверь кулаками и ногами. Голос Маринезе заставил нас обоих подскочить на месте, потому что он прозвучал не из дома, а из-за куста, росшего поблизости:

- Кто это? Что вам надо?

В руках у старика была лопата - видно, он и по ночам занимался своим огородом. Он вышел вперед и остановился озаренный лунным светом, руки его были опущены, спина согнута, лицо красное, а огромная борода отливала серебром - настоящий огородник, от зари до зари гнувший спину над своими посадками. Я поспешил ему ответить:

- Мы - друзья.

А он возразил:

- Нет у меня друзей. - Потом подошел поближе и добавил: - Но тебя я знаю... ты - Алессандро?

Я подтвердил, что я действительно Алессандро и, вытащив из кармана револьвер, но не наводя его на старика, проговорил:

- Маринезе... скажи нам, где спрятан клад... Мы поделим его между собой... А не скажешь - все равно мы его найдем.

Говоря это, я медленно поднимал револьвер, а он только отмахнулся рукой, словно хотел сказать, что револьвер здесь ни к чему, и, опустив голову, спросил, будто что-то обдумывая:

- Какой клад?

- Серебро, украденное немцами.

- Какими немцами?

- Солдатами... во время оккупации... Они украли его у того князя...

- У какого князя?

- Ну, у князя... И ты говорил, они зарыли его в огороде...

- В каком огороде?

- В твоём огороде, Маринезе... И не валяй дурака... Тебе известно, где клад, скажи нам - и делу конец.

И тут он, не поднимая головы, медленно произнес:

- А... ты хочешь сказать - клад?

- Да, клад.

- Тогда пойдём, - сказал он решительно. - Мы его живо откопаем. Есть у тебя лопата? Возьми лучше вот эту. Пойдём, я дам лопату и твоему товарищу... идем же.

Я был немного озадачен - я не ожидал, что он согласится так быстро, но направился за ним. Он зашел за дом, продолжая бормотать:

- Клад... Сейчас я покажу тебе, что это за клад... - Возвратился с лопатой и вручил ее Ремиджо. Затем опять направился за дом, все повторяя: Идемте... вам нужен клад... вы его получите...

За хижинной земля оказалась не возделанной, здесь валялись отбросы и мусор. Чуть подальше росло несколько деревьев и за их стволами проглядывала высокая стена, похожая на ту, что огораживала сад со стороны виа Аурелиа. Маринезе направился по тропинке мимо деревьев и зашел в самый конец сада, туда, где стена образовывала прямой угол. Потом он неожиданно повернулся к нам и, стукнув ногой о землю, сказал:

- Копайте вот здесь... здесь зарыт клад.

Я взялся за лопату и тотчас принялся копать. Ремиджо, с лопатой в руке, стоял и смотрел на меня. Маринезе сказал ему:

- Комай и ты... разве тебе не нужен клад?

Тогда Ремиджо бросился копать с таким рвением, что Маринезе проговорил:

- Полегче, полегче... время у тебя есть.

При этих словах Ремиджо замедлил темп и попал себе лопатой по ноге. Маринезе повернул лопату у него в руках и сказал:

- Вот как надо держать лопату... и когда всаживаешь ее в землю, придавливай ногой, иначе ничего не выкопаешь. - Потом добавил: - Копайте и в длину и в ширину... метра на два... не больше... Клад там... внизу... А я пока пройдусь...

Но тут я ему сказал:

- Нет, ты останешься здесь.

Он возразил:

- Чего ты боишься?.. Я же сказал тебе, что клад - твой.

Так мы копали изо всех сил, сначала на поверхности, потом все глубже и глубже - в том четырехугольнике, который я очертил концом лопаты. Земля была твердая, сухая, все время попадались камни да корни. Я отбрасывал ее в сторону, в кучу, а Маринезе, который стоял рядом, отметал ногою камни и давал нам советы:

- Полегче... Вырви этот корень... Выброси этот камень...

Мне попала под лопату кость, длинная и черная; он взял ее в руки, осмотрел и проговорил:

- Это кость - коровья... Видишь, ты уже начинаешь кое-что находить.

Я не понимал, говорит ли он всерьез или шутит. Несмотря на ночную прохладу, я был весь мокрый от пота. Время от времени я взглядывал на Ремиджо: он тоже старался изо всех сил и совсем запарился, и это бесило меня. Мы все копали и копали, но ничего не находили. Мы уже вырыли прямоугольную яму, глубиной почти в метр, земля на дне ее была сырая, рассыпчатая, темная, но никаких признаков ларца, шкатулки, мешка или чего-нибудь в этом роде мы не обнаружили. Тогда я приказал Ремиджо:

- Брось копать! - потом вылез из ямы и обратился к Маринезе: - Ну, так где же клад? Там ничего нет, ровно ничего! Ты что, посмеялся над нами, что ли?

Вынув изо рта трубку, он ответил:

- Тебе нужен клад? Сейчас я тебе его покажу, этот клад...



На этот раз я даже не стал его удерживать, потому что уже совершенно выбился из сил и в глубине души почти охладел к своей затее. Старик направился к сарайчику, которого я до этого не замечал: он находился у самой стены и был скрыт деревьями. Ремиджо сказал:

- Старик удерет.

- Не удерет, - возразил я, вытирая пот и тяжело опираясь на лопату. И в самом деле, минутой позже Маринезе вышел из сарайчика, толкая тачку, доверху наполненную, как мне показалось, навозом. Подвезя тачку к яме, он сбросил в нее навоз, потом спустился туда сам и принялся разравнивать навоз руками. Я нерешительно спросил:

- А где же клад?

А он в ответ:

- Вот тебе и клад; посмотри, какой прекрасный клад! - С этими словами он захватил рукою влажный и вонючий навоз и растер его у меня под носом. Посмотри только! Разве это не похоже на золото? Его сделала корова... Посмотри, что за клад... Где ты еще найдешь такой? Вот он - клад!

Он говорил сам с собой, не обращая на нас ни малейшего внимания, потом, все еще продолжая бормотать, вылез из ямы, снова взялся за тачку, еще раз нагрузил ее в сарайчике, возвратился к яме и снова ссыпал в нее навоз. И опять разравнивал его ладонью, приговаривая:

- Видишь, какой клад?... Вот он - клад...

Я посмотрел на Ремиджо, Ремиджо - на меня. Собравшись с духом, я снова достал револьвер. Но старик оттолкнул мою руку точно соломинку:

- Убери руки-то, убери... Если хочешь иметь серебро, знаешь, где его найти?

- Где? - спросил я простодушно.

- В магазине... Дай им несколько тысячных билетов и получишь сколько угодно.

Одним словом, он над нами подшутил.

- Так для чего же ты заставил нас рыть эту яму? - спросил Ремиджо еле слышно.

Он ответил:

- Яма для удобрений... Она мне как раз нужна была... Вот вы и избавили меня от лишних трудов...

Я чувствовал себя совершенно уничтоженным. Может быть, следовало бы хорошенько пригрозить старику или даже выстрелить в него. Но после всех этих бесплодных поисков, после всех разочарований я даже не испытывал гнева. Я только спросил:

- Так, значит, никакого клада нет?

И мне почти хотелось, чтобы Мариинезе подтвердил, что клада нет. Но коварный старик ответил:

- И нету и есть.

- Что это значит?

- А это значит, что если бы ты пришел ко мне по-хорошему, днем, клад, может быть, и оказался бы... Но так... его нет.

И не обращая больше на нас внимания, он направился к своей лачуге. Я побежал за ним задыхаясь и схватил за рукав:

- Маринезе... ради господ бога...

Он повернулся ко мне в пол-оборота и спросил:

- Почему же ты не стреляешь? Разве у тебя нет пистолета?

Я отвечал:

- Не хочу я стрелять... Поделим пополам.

А он:

- Скажи-ка лучше правду: у тебя просто не хватает смелости выстрелить... Вот видишь, ни на что-то ты не годен... Другой бы на твоём месте обязательно выстрелил... Немцы, те стреляли.

- Но я же не немец.

- Ну, раз ты не немец, то тогда спокойной ночи. - И с этими словами он вошел к себе в

лачугу и захлопнул дверь перед моим носом.

Так окончилась эта история с кладом. На следующий день, в обычное время, Маринезе вошел в остерию и, когда я подавал ему вино, воскликнул:

- А! Это ты, тот самый, что приходил за кладом... А где же пистолет, куда ты его дел?

К счастью, никто не обратил внимания на его слова, потому что, как я уже говорил, он всегда много болтал и по большей части нес всякий вздор. Но все же я не чувствовал себя в безопасности. Да и, кроме того, не особенно-то приятно было, что меня оставили в дураках и что все это видел и знал Ремиджо, который теперь надо мной смеялся, как будто он и сам не поверил поначалу в клад. И потому, воспользовавшись сделанным мне предложением, я перешел на работу в тратторию в Транстевере, на площади Сан-Козимато. А Ремиджо остался в остерии у ворот Сан-Панкратио.

Конкуренция

Говорят, что конкуренция - гвоздь торговли. Во всяком случае, так уверял мой дед, когда я был еще совсем маленький. У него была посудная лавка, и из-за этой самой конкуренции бедняга дважды прогорал. Закон конкуренции дед объяснял мне так:

- Это железный закон, и увильнуть от него не удастся никому... Положим, я открываю на виа делль Анима посудный магазин, торгую, так сказать, тарелками, мисками, чашками, стаканами... А чуть подалее па этой же самой улице кто-нибудь другой открывает второй точно такой же магазин... Он начинает со мной конкурировать, другими словами, продавать такую же посуду, что и я, но дешевле... Покупатели переходят к нему, а я прогораю... Вот это и есть закон конкуренции.

- Но дедушка, - говорил я, - если ты опять прогоришь, мы все умрем с голоду.

- Вот именно, - отвечал дед, ликуя, - вы все умираете с голоду, а покупатель остается в барыше.

- А какое мне дело до покупателя?

- Кому ты говоришь это?.. Мне!.. Да по мне, он хоть вовсе пропади пропадом... Но в том-то и заключается весь смысл конкуренции: хочешь ты того или нет, а конкуренция вынуждает тебя делать так, чтобы покупателю было выгодно.

- Может быть, это и так, - говорил я. - Но если кто-нибудь вздумает разорять меня, я ему наставлю фонарей под глазами.

- Известно, ты драчун и хулиган, - отвечал дед, - но в торговле хулиганство не поможет... Тебя посадят, и так ты прогоришь еще скорее. Вот и все... В торговле действует только конкуренция.

Ну так вот, много лет спустя мне пришлось припомнить эти рассуждения о конкуренции. Я тоже занялся торговлей, хотя и не в таких размерах, как мой дед. За это время наша семья пришла в упадок: отец умер, а наполовину парализованный дед уже не вставал с постели; теперь он не мог больше ни торговать, ни прогорать. Я приобрел патент уличного торговца. На моей тележке была разложена всякая всячина: маслины, апельсины, каштаны, винные ягоды, мандарины, грецкие и американские орехи и прочая снедь. Место себе я облюбовал в начале моста, против выхода из туннеля Джаниколо. Это очень бойкое место, здесь проходят все, кому надо попасть из Мадонна ди Рипозо, Трастевере и Монтеверде на проспект Виктора-Эммануила. Место я выбрал удачно, и дела мои сразу пошли в гору. Стояла весна. Наступили первые теплые дни. Рано утром я ставил в начале моста доверху наполненную тележку, а вечером, когда возвращался домой, на ней не было ничего, кроме табличек с ценами да куска клеенки. По воскресеньям столько проходило мимо меня всякого народу, отправляющегося погулять за город, что будь у меня две тележки, все равно не хватало бы - словом, торговля моя процветала. Я сказал об этом деду. Но он, верный своей теории, упрямо ответил:

- Пока что сказать ничего нельзя... У тебя нет конкуренции и ты продаешь, как тебе вздумается... Погоди.

Дед оказался прав. Однажды утром посреди моста появилась тележка, точь-в-точь как моя. Торговали там две женщины - мать и дочь. Я хочу описать их, потому что они стали

причиной моего разорения. Проживи я еще сто лет, мне их все равно не забыть. Мать была крестьянка из Ананьи и одевалась, как крестьянка, - длинная черная юбка и полушалок. Ее седеющие волосы были повязаны платком, из-под которого выглядывала угодливая, лживая физиономия, вечно сморщенная в лстивую улыбочку. Заворачивая в бумагу маслины или вешая пару апельсинов, она сопела и высоко поднимала брови, давая понять, что очень старается. Подавая покупку, она никогда не упускала случая сказать какую-нибудь любезность: "Посмотри, я выбрала тебе пару самых лучших апельсинов" или: "Здесь больше ста граммов... Но для тебя посчитаем, что сто". Дочь ей совсем не помогала. Она служила только для украшения. Девушка действительно была очень красива - это я сразу заметил; парень я молодой, и мне тоже нравятся красивые девушки. Пожалуй, ей было лет восемнадцать, но на вид все тридцать: такая у нее была фигура - ладная, с пышными формами, величественная. У нее было молочно-белое лицо, пухлые, но бледные губы, а серые, всегда суровые глаза придавали ее лицу мрачное, брезгливое выражение. Ноздри ее презрительно подергивались. Казалось, она вот-вот упадет в обморок, как беременная женщина. Ее мать, оборванная, обутая в мужские ботинки, кружилась вокруг тележки, вроде тех старых, жирных воробьев, которые ни минуты не могут усидеть на месте. А дочь, одетая в короткую юбку и плотно облегающий джемпер, часами сидела на табурете и вязала чулок на длинных железных спицах. Звали ее Эуниче.

Я - высокий и плотный парень, всегда небритый, с всклокоченными волосами. Костюм на мне - одна сплошная заплатка. Одним словом, я похож на бродягу, если не хуже. Как ни стараюсь я себя сдерживать, я очень груб и легко затеваю споры. А кроме того, голос у меня хриплый и чуть ли не угрожающий. Я сразу же понял, что при конкуренции внешность моя меня подведет. Наши тележки стояли слишком близко друг от друга. Мать стрекотала, как цикада:

- Что за апельсины!.. Что за апельсины!.. Покупайте... Покупайте мои апельсины!..

А я, вытянувшись у тележки, как столб, в наглухо застегнутом пальто и надвинутой на глаза кепке, вторил ей своим голосищем:

- Апельсины, сладкие апельсины, апельсины!

Покупатель колебался, смотрел сперва на меня, потом на мать, затем на дочку, и, особенно если это был мужчина, выбор его непременно падал на женщин. Мать, как настоящая гарпия, даже когда взвешивала товар, по обыкновению сопя и поднимая брови, продолжала выкрикивать:

- Покупайте, покупайте,- так как боялась, что в это время кто-нибудь подойдет ко мне. Она действовала ловко и, когда не попевала сама, говорила дочери:

- А ну-ка, Эуниче, обслужи синьора... Да поскорее.

Эуниче откладывала в сторону вязанье и величественно вставала в два приема: сначала поднимала грудь, а затем бедра. Она обслуживала клиента, не поднимая на него глаз. Затем, не проронив ни слова, даже не улыбнувшись, снова садилась на место.

Одним словом, это была конкуренция: за одну неделю они переманили всех моих покупателей. Я начал ненавидеть этих женщин, особенно мать, которая, не скрывая своей радости, бросала на меня торжествующие взгляды всякий раз, когда отнимала у меня заколебавшегося покупателя. В таких случаях нет ничего хуже, как потерять голову, а я ее как раз и терял. С каждым днем я становился все более мрачным, грубым и угрожающим. Остальное доделывали борода, залатанная одежда и хриплый голос. Теперь я кричал прямо-таки свирепо:

- Сладкие апельсины!

Покупатели, взглянув на меня, пугались и шли прямехонько к соседней тележке.

В один прекрасный день мой грубый нрав очень меня подвел. Около моей тележки остановился низенький щеголеватый паренек. С ним была женщина, выше его раза в два. Он стал разглядывать мои апельсины, не зная купить их ему или нет.

- Замечательные апельсины, - повторял я с отвращением, а он перебирал их и качал головой.

Стоящая рядом с ним бабища могла бы быть его матерью, и это решило дело. Потому что, бросив взгляд на прекрасную статую Эуниче, этот сукин сын сразу же направился к ней. Я вышел из себя и, схватив его за руку, сказал:

- Тебе не нравятся мои апельсины? Тебе больше нравятся те? Я скажу, почему они тебе больше нравятся... Потому что твоя баба похожа на слона, а эта девушка прищлась тебе по вкусу... Вот почему.

И пошла перепалка. Он кричал:

- Прочь руки, а то набью морду!

Я отвечал, помахивая бутылкой:

- Попробуй только и узнаешь, где раки зимуют!

Вокруг нас собралась толпа. В конце концов появилась полиция и нас растащили.

Когда все кончилось, я обратил внимание на два обстоятельства: во-первых, я разозлился больше из ревности, чем из соображений конкуренции; во-вторых, в происшедшем скандале Эуниче в какой-то мере встала на мою сторону, заявив полицейским, что она ничего не видела и знать ничего не знает.

Словом, я влюбился в Эуниче или, вернее сказать, понял, что влюблен в нее. Улучив момент, когда матери не было рядом, я сказал ей об этом со свойственной мне грубой откровенностью. Эуниче это ничуть не удивило; подняв от вязанья глаза, она очень просто сказала:

- Ты мне тоже нравишься.

Посмотрели бы вы тогда на меня! Услышав эти четыре словечка, я схватил тележку за оглобли и помчался по набережной, горланя какую-то песню. Прохожие решили, что я с ума сошел. Но я не сошел с ума, а просто очень обрадовался. Впервые я услышал от женщины такие слова и был уверен, что покорию ее. Но в тот же вечер во время свидания у моста Витторио, когда после обычных разговоров я попытался взять ее за талию и поцеловать, мне пришлось убедиться, что до этого еще очень далеко. Она позволяла себя обнимать, но была словно неживая: руки ее висели, как плети, тело обмякло, а ноги подгибались. Как я ни старался, мне так и не удалось поцеловать ее в губы, поцелуи мои попадали либо в щеку, либо в шею. После этого вечера мы встретились еще несколько раз, но результат был все тот же. Наконец, потеряв всякое терпенье, я спросил у нее:

- Скажи мне, пожалуйста, для чего мы встречаемся?

- Ты слишком груб, - ответила она. - С женщинами надо быть деликатнее. Ты ведешь себя со мной так же, как торгуешь апельсинами: ты хотел бы всего добиться силой.

Я ответил ей:

- Что-то я тебя не пойму, но я готов на тебе жениться... Поженимся, а там разберемся.

Но она покачала головой:

- Чтобы жениться, надо любить, а я тебя еще не люблю... Ты должен добиться моей любви деликатностью. Будь деликатным, и я тебя полюблю.

Одним словом, она до того меня запугала, что теперь я больше не осмеливался взять ее за талию. Из-за этой деликатности мы стали как брат и сестра: изредка лишь поглажу ей руку. Мне, правда, казалось все это каким-то неестественным, но она так дорожила моей деликатностью, что в конце концов я решил, что неправ и ничего не понимаю в любви.

Однажды вечером, хотя Эуниче не назначила мне свиданья, я прогуливался в районе виа Джулья, улицы, на которой она жила. Неожиданно из какого-то переулочка вышла Эуниче и, пройдя мимо меня, направилась к набережной. Заинтересовавшись этим, я на некотором расстоянии пошел следом за ней. Я видел, как она подошла к паркету, у которого стоял какой-то мужчина, по-видимому поджидая ее. Потом все произошло просто, обычно, без всякой деликатности. Она положила руку ему на плечо, он обернулся. Она погладила его по щеке, а он обнял ее за талию. Она протянула ему свои губы, и он поцеловал ее. Словом, в одну минуту он добился всего, чего мне, со всей моей деликатностью, не удалось добиться за целый месяц. Когда он повернулся, фонарь осветил его лицо, и тогда я узнал, кто это. Это был низенький, жирный парень, который последнее время частенько крутился около наших

тележек, мясник, лавка которого находилась на той же виа Джулья. По сравнению со мной он был козьяк, но у него был свой мясной магазин. Я открыл нож, который носил в кармане. Но, овладев собой, тотчас же закрыл его и ушел прочь.

На другой день я оставил тележку дома, поднял повыше воротник пальто, надвинул на глаза кепку и впервые появился на мосту Джаниколо в качестве покупателя.

- Дай мне сто граммов маслин, да получше, - хрипло и грозно сказал я матери, делая вид, что вовсе ее не знаю.

Эуниче, как всегда, вязала, сидя на своей табуретке. Видимо, заподозрив что-то неладное, она едва кивнула мне. Пока мать, не сопя, а даже как-то снисходительно, словно делая невесть какое одолжение, вешает мне маслины, появляется мясник и подходит к Эуниче.

- Смотри не обвешивай, как ты имеешь обыкновение, - говорю я матери.

Тогда эта ведьма отвечает:

- Это ты обвешивал покупателей, потому-то они к тебе больше и не подходят.

Я вижу, как мясник наклоняется к Эуниче и что-то шепчет ей на ухо. Тогда я беру кулек с маслинами, кладу одну в рот и выплевываю ее прямо в лицо матери со словами:

- А маслины-то у тебя гнилые.

Она приходит в ярость:

- Сам ты гнилой, грязный бродяга!

- Верни деньги, - говорю я. - А не то устрою скандал.

- Какие еще деньги? Убирайся прочь!

Тут, переваливаясь с боку на бок, к нам подходит мясник.

- Чего тебе надо? - спрашивает он у меня. - Можно узнать, чего тебе надо?

- Денег, - отвечаю. - Эти маслины гнилые, - и выплевываю ему в лицо надкушенную маслину.

Он тут же кидается на меня, хватая меня за грудки и орет:

- Убирайся-ка отсюда подобру-поздорову.

Он очень распетушился. А я только этого и ждал. Не говоря ни слова, я одним рывком стряхнул его с себя, схватил за горло и опрокинул на тележку. Другой рукой я искал в это время в кармане нож. Счастье его, что тележка вдруг опрокинулась и он свалился на землю вместе с покотившимися во все стороны апельсинами. Мать заорала как одержимая, и со всех сторон стали сбегаться прохожие. Я тоже упал, а когда поднялся, то увидел перед собой двух полицейских. В руке я сжимал нож, и хотя не успел даже раскрыть его, этого было вполне достаточно. Меня арестовали и отправили в тюрьму Реджина Чели.

Через несколько месяцев я вышел из тюрьмы еще более грязный и ободранный, чем раньше, без денег, без патента уличного торговца, совсем отчаявшийся. Увидев меня, дед сказал:

- Ты стал жертвой конкуренции... Теперь ты понял, что в торговле нечего рассчитывать на нож... Торговать ножами - пожалуйста, но пускать их в ход - это уж ни к чему.

Я ему ничего не ответил. День был солнечный, и я пошел прогуляться по виа Джулья. Мясная лавка была открыта. На крючьях висели разделанные и обернутые в марлю туши. За прилавком стоял мясник в рубахе с засученными рукавами, его красное лицо лоснилось от жира. Обухом топорика он отбивал на мраморной доске котлету. Тут же, у прилавка на табуретке, сидела Эуниче и старательно вязала чулок. Так я узнал, что они поженились. Должно быть, она была беременна, потому что чулок, который она вязала, был маленький и розовый - как раз для младенца. Я пошел дальше, вглядываясь в каждую уличную лавку, в надежде увидеть еще один мясной магазин, который бы создал конкуренцию мужу Эуниче и заставил его прогореть. Но такого магазина не было: мне попадались только столярные, слесарные, механические мастерские. Пройдя всю виа Джулья и выйдя к мосту Систо, я понял, что другой мясной лавки мне все равно не найти, и перешел через мост.

Коротышка

Вот что значит быть коротышкой! Все над нами насмеваются. Высокие мужчины

только потому, что они высокие, считают себя умнее, а женщины не принимают нас всерьез, точно мы дети. А ведь недаром пословица говорит, что в маленьких бочках хранят хорошее вино, а в большие наливают похуже: пей его хоть квартами - все равно не ударит в голову. Мне кажется, эту пословицу придумал какой-нибудь коротышка, чтобы вознаградить себя за бесконечные унижения. Люди нормального роста знать не знают о такой пословице и не упустят случая посмеяться над нами.

Беда моя еще и в том, что хотя сам я такой маленький, нравятся мне одни лишь высокие женщины. По контрасту ли это или мне хочется заставить себя уважать, но женщины моего роста не производят на меня никакого впечатления. Не по вкусу мне и женщины среднего роста - ну так метр шестьдесят пять сантиметров. Нет, мне подавай метр восемьдесят, не меньше! И нравится мне, чтобы они были не только высокие, но и крупные - я хочу сказать, чтобы у них были объемистые бока, мощная грудь, широкие плечи и сильные руки и ноги. Но заметьте, что дело тут вовсе не в вопросах эстетики; например, когда одни предпочитают большие машины маленьким, у них есть на то определенные причины. Но большие женщины нравятся мне без всякой причины, а это значит, что они мне очень нравятся. И правда, стоит мне завидеть хотя бы издали высокую, крупную, полную женщину, как сердце мое еще прежде, чем я разгляжу ее лицо, начинает усиленно биться, воображение воспламеняется, и я чувствую, что меня тянет к ней, как железо к магниту. Я, конечно, не способен скрывать свои чувства, и хотя постоянно твержу себе: "Сдерживайся, помни, что ты мелочь, помни, что женщины вообще и особенно те, которые тебе нравятся, не принимают тебя всерьез", - я все же отваживаюсь ухаживать за всеми великаншами, которые мне встречаются. А в результате? В результате - ничего. О, хуже, чем ничего, - в девяти случаях из десяти женщины не только остаются равнодушны, они еще и высмеивают меня. Но гораздо больше, чем женщины, надо мной насмеваются приятели, которые знают мою слабость.

Да, они насмеваются надо мной. Но "насмеваются" - это еще слабо сказано. Они проделывали со мной шутки, которые другого человека, не с таким, как у меня, покладистым характером, обидели бы на всю жизнь. Вот в тот раз, например, они затеяли целую переписку между мной и владелицей табачной лавки с проспекта Виктора Эммануила, предупредив меня, что я не должен показываться ей на глаза, прежде чем мы не обменяемся несколькими письмами. Они писали мне письма от ее имени, а мои послания зачитывали вслух и смеялись за моей спиной. Когда же, потеряв терпение, я набрался смелости и заговорил с ней, она была поражена и выгнала меня вон, осыпая бранью. Неуместные шутки, мягко говоря. Однако, по их мнению, подобные шутки, которые могли кончиться ударом ножа, если бы их объектом был человек высокого роста, мы, коротышки, должны принимать как доказательство дружбы и благоволения. Поэтому и на этот раз мне пришлось, как говорится, проглотить пилюлю и даже угостить их вермутом в знак примирения, чтобы показать, что я нисколько не обиделся. Но теперь уж я был всегда настороже, и когда мне рассказывали о какой-нибудь женщине, которая, мол, питает ко мне слабость, я твердо держался оборонительных позиций и отвечал уклончиво. Я больше не доверял им, и что бы они ни говорили и ни делали, во всем я видел лишь обман и ловушку.

Так вот этой зимой мне довелось испытать настоящую, сильную любовь, любовь, которую невозможно скрыть; я полюбил Марчеллу, девушку, которая вместе с сестрой и зятем держала винную лавку около театра "Балле". В их семье все высокие: Теодоро, владелец лавки, силач, которому пристало бы быть носильщиком на вокзале; Элье, его жена, чуть ли не выше его, однако не такая уж красивая и не очень молодая; и Марчелла - настоящая роза: высокая, крупная, величественная, сложена, как статуя, с длинной шеей и маленькой головкой, а какие глаза и рот, и тонкие щиколотки и запястья, и нежный ангельский голосок! И как это часто бывает с большими женщинами, у нее была душа ребенка. Я хочу сказать, что она была очень робкой, до такой степени робкой, что краснела и отворачивалась, как только замечала, что какой-нибудь мужчина смотрит на нее. И хотя мне нравилась ее робость, но это усложняло дело. Вечером, заперев свою лавочку

электроприборов и поужинав, я шел с друзьями в винную лавку. Здесь в огромном зале вдоль стен были расставлены пирамиды винных бутылей, стояло несколько столиков и стойка для продажи вина "распивочно". Теодоро обычно, подвыпив, бродил между столиками, подсаживаясь то к одному, то к другому. Элье обслуживала клиентов, а Марчелла в черном фартуке стояла за стойкой в глубине зала, продавая вино забегавшим на минутку посетителям. Так вот поверите ли? За весь месяц, что я посещал их лавку, Марчелла ни разу не подняла на меня глаз. А я нарочно садился против стойки и все время смотрел на нее, стараясь поймать ее взгляд.

Мои приятели играли в карты, выпивали по пол-литра или литру вина, шутили и болтали о том о сем, пока лавка не закрывалась; Теодоро переходил от одного столика к другому с таким видом, словно все здесь держалось на нем одном, тогда как в действительности он только пил, как бочка, и играл в карты; Элье и Марчелла обслуживали клиентов, а я, с каждым днем влюбляясь все больше, тщетно пытался заставить Марчеллу заметить меня и злился, дергаясь на стуле, словно марионетка, у которой оборвалась ниточка. Я никак не мог отыскать предлог, чтобы подойти к Марчелле, она же никогда не выходила из-за стойки. Если бы я был один, может, я и нашел бы способ завести разговор, но здесь сидели мои приятели, которые уже догадались о моем чувстве и ни на минуту не оставляли меня в покое. Когда я смотрел на нее, они с насмешкой спрашивали:

- Ну что ты смотришь, что смотришь? Ты проглотишь ее, если будешь так смотреть. Гляди лучше в карты да в свой стакан.

А если я не смотрел на нее, они спрашивали с притворным простодушием:

- Что случилось? Почему это ты сегодня на нее не глядишь?

Два или три раза я, отчаявшись, приближался к стойке, но всякий раз поворачивал назад, чувствуя, что приятели за моей спиной смеются и отпускают шуточки. Что до родных Марчеллы, то Теодоро, ошалевший от вина, делал вид, что ничего не замечает, а Элье была настроена враждебно и раза два дала мне это понять, сказав откровенно:

- Лучше бы вы оставили мою сестру в покое... Должны бы это понять... Уж хотя бы из-за разницы в росте.

А сама Марчелла... статуя и та, кажется, способна была бы выказать мне больше сочувствия и расположения.

Тем временем моя страсть дошла до предела, и от одного только движения Марчеллы, когда она поворачивалась назад, чтобы взять с полки бутылку вина, и стан ее изгибался, а грудь вздымалась под черным передником, дыхание у меня перехватывало и я чуть не терял сознание. Иногда, играя в карты, я думал: "Но почему она мне так нравится?" - и находил, что, кроме высокого роста, меня очаровывала еще ее красивая маленькая головка, увенчивающая это крупное тело; но почему именно она мне нравилась - этого, как всегда бывает в любви, я не знал. Итак, она мне нравилась, но шло время, а она оставалась все такой же далекой и недоступной для меня; однако пыл мой, вместо того чтобы угаснуть, возрастал и возрастал, и если вначале я думал о ней просто как о женщине, которую хотел бы любить, то постепенно я пришел к убеждению, что она создана для меня, - создана, чтобы стать моей женой. Вот оно, мужское воображение: пока я видел в ней девушку, за которой ухаживаю, я не осмеливался в своих мечтах идти дальше того, чтобы поговорить с ней, пожать ее руку, мечтал прогуляться с ней, пойти в кино, кафе; но едва я подумал, что мог бы на ней жениться, как сразу же увидел ее в своем доме рядом со мной за столом или стоящей за прилавком моего магазинчика. Одним словом своей женой.

Видимо, эти мысли можно было легко прочесть на моем лице, потому что Джоваккино, паренек из нашей компании, но не из тех, кто больше всех надо мной насмехался, как-то вечером, когда мы выходили из лавки, сказал:

- Вижу, у тебя не хватает мужества поговорить с Марчеллой. Завтра я сам поговорю с ней... И вот увидишь - добьюсь для тебя свидания.

Мне хотелось броситься ему на шею, но, боясь, как всегда, насмешек, я ограничился тем, что стал отговариваться, хотя в общем и не отказывался от его предложения.

Джоваккино был белокурый тощий юноша с решительным лицом, казалось, он вечно куда-то спешит. Если бы он никому не сказал об этом, может, я и поверил бы ему. Но на следующий вечер, придя в винную лавку, я убедился, что наша компания уже обо всем знает. Вид у всех был выжидательный, таинственный, почти заговорщический. Они говорили мне:

- Будь спокоен, Джоваккино позаботится об этом.

Или же:

- Выпей еще стаканчик, сегодня твой вечер.

Короче говоря, они возбудили у меня подозрения. Я сидел спиной ко всем, и мне казалось, что спина моя пылает, потому что сзади была стойка, а за стойкой стояла Марчелла, обслуживавшая посетителей. Мы играли и пили около часа, потом Теодоро перешел от нашего столика к другому; тогда Джоваккино, не колеблясь, встал и шепнул мне:

- Сейчас я поговорю с ней.

Между витриной и дверью висело наклонно большое зеркало с рекламой пьемонтского вина. В это зеркало я увидел, как Джоваккино бойко подошел к стойке, облокотился на нее и, наклонившись к Марчелле, стал с ней о чем-то шептаться. Она смотрела на него и что-то отвечала вполголоса. Они разговаривали довольно долго, по крайней мере, мне так показалось, а тем временем остальные приятели все время подталкивали меня локтями, смеялись и подшучивали надо мной. Поговорив с Марчеллой и собираясь уже отойти от нее, Джоваккино сказал ей что-то такое, отчего она покраснела и засмеялась, потом вернулся к нашему столику.

- Завтра вечером, в семь, под колоннадой собора Святого Петра, справа, - шепнул он мне, усаживаясь с довольным лицом.

Все, конечно, принялись меня поздравлять: дело сделано, свидание назначено, я должен благодарить Джоваккино, поднести ему стаканчик, показать, что я не какой-нибудь неблагодарный. Я сделал все, чего от меня требовали; но если я и раньше не верил в свое счастье, то теперь уж я был твердо убежден, что все это только шутка.

Зимой в семь часов уже темно. Сначала я решил просто не ходить на свиданье. Но несмотря на все прежние разочарования, у меня еще оставалась хрупкая надежда, и в последнюю минуту я решил все-таки пойти, чтобы во всем самому убедиться. В этот час площадь Святого Петра, больше чем какая-либо другая площадь, была похожа на каменную пустыню; из глубины ее поднимался собор Святого Петра, погруженный во мрак. Но в свете белых ламп фонаря, которые висели гроздьями на высоких столбах, я различил стоявший около колоннады справа у фонтана автомобиль Раньеро, одного парня из нашей компании. Сквозь блестящее ветровое стекло я неясно увидел также лицо Джоваккино, и тогда я окончательно убедился, что все это была шутка. Притворившись безразличным, я подошел к машине, развязно помахал рукой, чтобы показать, что все понял, перешел площадь и поспешно удалился. Никогда еще я не чувствовал себя таким маленьким, как в этот вечер, когда я бежал, точно крыса, среди этих громад и прошмыгнул под обелиском, вершина которого терялась высоко во мраке. Я вскочил в проходившее мимо такси и с сердцем, переполненным бессильной злобой, вернулся домой.

Однако на этот раз я не простил им: слишком сильно я любил Марчеллу и чувствовал, что уже не могу, как прежде, кончить дело примирением. В винной лавке я больше не показывался; вдобавок еще я заболел, - верно, от огорчения и досады, - и больше месяца просидел дома, потом уехал на месяц в деревню; следующий месяц я провел без приятелей и выпивки - я нигде, кроме дома и магазина, не бывал. Несколько раз я встречал то того, то другого из нашей компании, но я здоровался издали и сразу сворачивал в сторону. Так наступило лето.

Как-то июньским воскресным вечером я шел по Корсо, затерявшись в уличной толпе, которая двигалась медленно, словно процессия. Мне было грустно, потому что я был один, а мне хотелось, чтобы рядом со мной шла женщина, и было бы так хорошо, если бы это была Марчелла. У светофора на перекрестке улицы Гольдони я остановился и вдруг прямо перед собой увидел Марчеллу: она шла об руку с каким-то мужчиной. Это могла быть только



Марчелла - ни у какой другой женщины на свете не было такой маленькой головки на таком большом теле. Но на этот раз, впервые, мое внимание привлекла не она сама, а мужчина, который шел с ней рядом. Он был совсем маленький - не то чтобы карлик, но почти; скажем, такой же маленький, как я. Они остановились и, разговаривая, повернулись друг к другу лицом: действительно, это была Марчелла; ее спутник был мужчина лет под сорок, с крупной головой, с усами на широком лице. Оттого, что она была выше его ростом, он держал ее за руку - не так, как держит мужчина, а как ребенок. Но вот они снова пошли и вскоре скрылись в толпе. На этот раз на меня вдруг напала храбрость, которой мне так не доставало всю зиму. На следующий день, в понедельник, в самую жару, я отправился в винную лавку. Случайно Марчелла оказалась одна, лавка была пуста. Я подошел к стойке и одним духом произнес:

- Кто тот мужчина, с которым вы вчера прогуливались на Корсо?

Она подняла на меня глаза - в первый раз за все время, что я ее знал и сказала просто:

- Это Джованни, мой жених... разве вы этого не знаете?.. Мы поженимся через месяц.

Мне показалось, что что-то тянет меня вниз, словно пол разверзся подо мной, и я уцепился за стойку обеими руками.

- Так, значит, в тот вечер, - проговорил я, - у собора Святого Петра...

На этот раз она уже не была такой робкой. Она ответила, поворачиваясь к полке и доставая бутылку:

- В жизни нужно уметь пользоваться случаем, разве вы не знаете, Франческо?.. Ну а вы как поживаете?.. Не выпьете ли вермута?

Я жестом отказался и продолжал сдавленным голосом:

- А я думал, что все это была шутка.

Она ответила:

- Для них - да, но не для меня.

С этим я и ушел отсюда; я старался больше об этом не думать. Но если прежде я просто избегал приятелей, то теперь я их возненавидел. Они столько надо мной насмеялись, что я поверил, будто я и впрямь стремлюсь к чему-то невозможному. А оказалось, что все это было вполне возможно. Инстинкт, который никогда не обманывает, подсказал мне истину: Марчелла была предназначена мне в жены. Не говоря уж о том, что она была высокая и сложена так, как мне нравилось, она и сама хотела иметь маленького мужа. Это не просто случай, как сказала она, это почти чудо. И я знал, что чудо это уже никогда больше не повторится.

Сторож

Я предпочитаю одиночество, потому что все смеются надо мной: я ношу очки, у меня тонкий женский голос, а когда я волнуюсь, я начинаю еще и заикаться. Поэтому, когда фирма предложила мне работать сторожем одного из складов на двадцатом километре шоссе Салариа, я согласился не раздумывая.

Склад был расположен в долине между холмами, поросшими редкими деревьями. Представьте себе выжженный, пыльный четырехугольник, обнесенный штабелями кирпича, несколько прижавшихся к ним длинных низких барачков, посредине уродливую бочку, а над ней изогнутую коленом трубу, из которой постоянно каплет вода. Чего только не было в бараках: мешки с цементом, водопроводные трубы, черепица, бочки со смолой, груды балок, кирпич. Один из барачков служил мне жильем: две голых комнатухи - койка, стол да несколько стульев. Казалось, что я живу среди природы, вдали от города и людей, но достаточно было подняться на один из холмов, чтобы увидеть совсем рядом прямое как стрела шоссе Салариа, тянущееся среди платанов с побеленными стволами, а немного пониже "Остерию охотничью", где я обычно питался. Мне выдали пистолет установленного образца, несколько обойм и ружье, с которым я иногда ходил охотиться на жаворонков. Словом, я был совсем один и, если не считать ночных обходов, делать мне было совершенно нечего.

Четыре месяца я прожил на этом строительном складе без всяких происшествий. Но

вот однажды вечером в дверь постучали. Я пошел открыть, думая, что это кто-нибудь из служащих фирмы. Но вместо того увидел перед собой двух мужчин и женщину. Одного из них я хорошо знал, это был Ринальди, шофер. На стройке в городе, где я до этого работал, он был единственным, кто не потешался над моими очками и моим голосом.

Ринальди был полной противоположностью мне: я настоящая деревенщина, а он синьор; он черноволосый красавец, высокий и сильный, а я уродина; я не нравлюсь женщинам, а у него их было сколько угодно. И может быть потому, что Ринальди был так не похож на меня, а мне очень хотелось быть таким же, как он, я питал к нему теплые чувства.

Женщину, которая приехала с Ринальди, звали Эмилия. Она была маленькая, кругленькая, с бледным овальным лицом и большими серыми усталыми глазами. Углы ее рта были приподняты, и казалось, что она все время смеется.

Второй мужчина был из Монтеротондо и звали его Теодоро: рыжие курчавые волосы, желтые кошачьи глаза, острый нос и такие сизые щеки, словно он все время находился на сильном холодном ветре.

Ринальди сказал, что ему надо поговорить со мной, и я пригласил их в барак.

- Винченцо, - начал Ринальди, протянув мне сигарету, - у тебя есть возможность подработать деньжат, не затрачивая труда... И по-прежнему оставаясь сторожем...

Я вытаращил глаза, но ничего не сказал. Ободренный моим молчанием, Ринальди пояснил: у них имеется большая партия товара, изъятая, так сказать, из одного городского склада. Я должен разрешить им сложить краденое в один из моих барачков. Потом они сами позаботятся о том, чтобы его забрать, и тогда я тоже получу свою долю.

Когда я услышал все это, меня бросило в дрожь; но я не мог отказаться. Ринальди был для меня все равно что брат. Я сказал, заикаясь:

- Послушай, Ринальди, я сторож, не так ли?

- Верно.

- Так вот, я сторож и желаю оставаться сторожем.

- То есть?

- То есть - делайте что хотите, складывайте товар в барак, уходите, приходите... но я знать ничего не знаю, я вас не видел, с вами не знаком... А если, в случае чего, вас спросят, говорите тоже, что вы меня не знаете... что в общем товар был сложен без моего ведома.

Они удивленно покачали головами. Теодоро сказал мне почти с угрозой:

- Но ты присматривай за товаром... чтобы не случилось так, что раз ты ничего не знаешь...

- Брось, - перебил его Ринальди. - Ты не знаешь, что за человек Винченцо.

- Я сторож, так? Ну так вот, я буду сторожить и ваш товар.

- Не бойся, - снова вмешался Теодоро, - тебе за это заплатят.

- Сам ты не бойся, босяк, - сказал я, обозлившись. - Мне от вас ничего не надо... Понял?

В конце концов мы договорились. Ринальди ушел и через некоторое время вернулся на грузовике. Они свалили товар в один из барачков, спрятав его за бочками. Я даже не посмотрел, что это было. Они сказали, что ткани. Уходя, Эмилия бросила на меня взгляд, который показался мне ласковым. Вот и все, что я с них получил.

Потом они приезжали еще раза три-четыре - и всегда с Эмилией. Они давали мне знак гудком машины, я сразу же раскрывал ворота, потом они выгружали товар и уезжали. Я не хотел, чтобы они задерживались. Пока они разгружались, я не выходил из своего барака. Против этого Теодоро я мог бы еще кое-что возразить: он вел себя очень нахально, а я этого совершенно не выношу. Но Эмилия улыбалась мне, и у нее всегда находилось для меня доброе слово. Однажды она спросила меня:

- А тебе не скучно одному?

- Я привык, - ответил я.

И вот как-то открываю газету и вижу: арестованы Теодоро, Ринальди и многие другие. Газета называла их "шайкой проломщиков", потому что они проникали в магазины через пролом в стене соседнего помещения. Иногда они проникали из подвала, но всегда делали

пролом в стене. В газете были помещены фотографии Теодоро, Ринальди и еще какого-то мужчины в рубашке без воротничка, с широко открытыми глазами и задранном вверх подбородком. "Шайка опасных преступников предстанет перед судом", - гласил заголовок. Как шофер, Ринальди рисковал меньше, чем другие, о Эмилии же вообще ничего не говорилось.

Настала зима. И вот как-то ночью, когда шел дождь, дул ветер и все вокруг превратилось в одно сплошное озеро, в мою дверь постучали. Я открыл и увидел перед собой Эмилию, но как она выглядела! Она была в это время беременна, у нее был уже большой живот, и вся ее красота пропадала из-за этого живота; она до костей промокла, ее волосы прилипли к лицу, одета она была в какие-то лохмотья. Эмилия вошла и, не говоря ни слова, протянула мне записку от Ринальди. В записке Ринальди говорил, что через год выйдет из тюрьмы, а пока поручает мне Эмилию, содержание ее оплачивает; кроме того, он просил сохранить краденые вещи, которые все принадлежат ему, так как остальные уже забрали свою долю. И ни слова больше. Я подумал, что Ринальди, наверное, уверен, что может делать со мной все, что захочет, и он был прав, потому что я готов был для него на все. Так я и сказал Эмилии. Эту ночь она спала на моей постели, а я устроился на полу в соседней комнате. Так началась наша совместная жизнь.

Прошло несколько месяцев. Если бы кто-нибудь в то время зашел на склад, то, несомненно, подумал бы, что у меня есть жена и что я счастливый муж и отец. Октябрьское солнце освещает территорию склада. Засучив рукава на своих красивых круглых руках, Эмилия полощет в бочке мои рубашки. На веревках сушится выстиранное белье. Я сижу перед бараком на стуле, греюсь на солнце и укачиваю на руках ребенка Эмилии, которого, так же как и меня, зовут Винченцо. Рядом с моим бараком стоит другой, маленький, который я сколотил своими руками; из него доносится запах макаронной подливки: это Эмилия готовит мне, теперь я больше не хожу в остерию. Говорю вам, всякий принял бы нас за счастливое семейство, увидев, как я играю с младенцем и как Эмилия, стирая в бочке белье, спокойно и ласково разговаривает со мной. Но на самом деле все было совсем не так. И этот ребенок, и Эмилия, и спрятанные в бараке ткани - все это принадлежало Ринальди, и я сам, прежде стороживший имущество фирмы, сторожил теперь имущество Ринальди, включая Эмилию и ребенка. Во всем остальном мы были действительно как муж и жена: Эмилия оказалась замечательной женщиной, и я не знал никаких забот; ребенок тоже был такой хороший и красивый. Единственное, что мне немного не нравилось, это то, что приходилось все время разговаривать о Ринальди. Эмилия не могла дождаться того дня, когда снова увидится с ним. Не то чтобы мне было неприятно говорить о нем, но Эмилия была его возлюбленной, а я другом; а это далеко не одно и то же. А получалось так, будто в целом свете и был только он один, а я вовсе не существовал. Как-то я сказал об этом Эмилии. После этого, словно впервые заметив, что я тоже мужчина, она начала подсмеиваться над любовью. Она шутила, а меня это мучило, и я понял, что она мне нравится. Наконец однажды я сказал ей:

- Ты принадлежишь Ринальди, а потому оставь меня в покое.

- Понятно, я принадлежу Ринальди, - ответила она, - но ты настоящий друг и не должен ревновать.

Тем дело и кончилось.

Однажды ночью послышался шорох. Я поднялся, взял пистолет и вышел из барака. Была светлая лунная ночь. Казалось, что в бочку упала луна: вода в ней сверкала, как серебро. Можно было различить каждый камешек на территории склада. А вокруг на фоне ясного неба чернели холмы. В общем было светло как днем, и я его сразу же увидел. Он попытался улизнуть между бараками, но я крикнул:

- Стой! Ни с места!

Тогда он вышел и сказал:

- Опустит пистолет! Не узнал меня, что ли?

Это был Теодоро, тот тип из Монтеротондо, но как он изменился! Он был одет в

лохмотья, щеки его ввалились и заросли длинной рыжей щетиной, а желтые глаза светились, как у волка. Теодоро сказал:

- Я пришел забрать материю. За складом ждет грузовик и приятели.

- Эта материя принадлежит Ринальди, - ответил я.

Короче, мы заспорили. Сперва он пытался меня запугать, а затем предложил войти с ним в долю. Но я отказался. Мы стояли около бочки. В окошке Эмилии зажегся свет, и она смотрела на нас. В конце концов я сказал ему:

- Убирайся, пока не поздно.

- Не бойся, уйду, - ответил он и направился к воротам. Я шел следом, не спуская с него глаз, так как знал, что он из тех, что пускают в ход нож. И действительно, не доходя до ворот, он повернулся и бросился на меня. Я сделал шаг назад и выстрелил. Поверите ли, он продолжал идти на меня, наклонив голову вперед, вытаращив свои волчьи глаза, одной рукой зажимая рану в груди, а в другой держа нож. Я выстрелил еще раз, и он упал.

На следующее утро полицейские произвели расследование, установили, что это был бежавший из тюрьмы преступник, - и до свидания. А фирма даже прислала мне подарок - за то, что я так хорошо охранял ее имущество. Я сказал Эмилии:

- Сначала Ринальди сделал меня вором, а теперь убийцей.

- Ты защищался, - ответила она. - Вот и все.

- Я сказал это просто так... Я сторож и так или иначе обязан был стрелять.

Случилось так, что в тот самый день, когда Ринальди, выйдя наконец на свободу, приехал забрать Эмилию, ребенка и ткани, фирма сообщила мне, что стройка в ближайшие дни сворачивается. Так что все кончилось сразу. Теперь я уже не был больше сторожем ни для кого - ни для фирмы, ни для Ринальди.

Ринальди приехал после полуночи на грузовике; на ветровом стекле было написано белыми буквами: "Эмилия". Я сказал ему:

- Ринальди, вот Эмилия, которую ты мне поручил... вот твой ребенок... а там в бараке твой товар... Можешь убедиться, что все в сохранности.

Ринальди улыбался, радуясь, что видит Эмилию и ребенка, и говорил:

- Хорошо, Винченцо... Я знал, что могу на тебя положиться... Хорошо.

Мне было грустно и в то же время досадно. Почти задыхаясь, я повторял:

- Ринальди, можешь убедиться, - все, что ты мне доверил, я возвращаю тебе в полной сохранности.

Потом он стал давать мне деньги, настаивал, чтобы я принял от него в подарок часы, предлагал довезти меня на грузовике до Рима. Но я от всего отказался, сказав:

- Мне ничего не надо... Я ведь сторож... Мне ничего не надо.

Теперь я понимал, что был влюблен в Эмилию, и мне было грустно и в то же время приятно, что я даже пальцем ее не тронул.

В общем, я сам погрузил все его добро на грузовик, а потом Ринальди сел в кабинку вместе с Эмилией, которая, улыбаясь, держала на руках завернутого в одеяло ребенка. Ринальди, пожалуй, без всякой насмешки, крикнул мне:

- Ну, сторож, еще увидимся! - И грузовик тронулся.

Через несколько дней прибыли грузовики фирмы: на них погрузили кирпич, мешки с цементом, водопроводные трубы, бочки со смолой; потом разобрали ограду из кирпича и тоже погрузили; затем разобрали бараки и увезли даже доски. Несколько дней приезжали грузовики; их нагружали, и они скрывались за тучами пыли. Наконец в одно утро разрушили мой барак и тоже погрузили на грузовик. Я был там до конца. Теперь от склада не осталось ничего, кроме участка вытопанной земли, где начала пробиваться трава; кое-где валялись обломки кирпичей, чернели грязные лужи, а вокруг поднимались холмы. Почти два года я провел здесь, и вот все кончилось. Я сложил свое добро в фибровый чемодан, привязал его к багажнику велосипеда, взял велосипед за руль и направился к шоссе Салариа. Выйдя на шоссе, я сел на велосипед и не спеша поехал в Рим.

Нос

На площади Либерта мы сели на скамейку и Сильвано показал мне газету. На двух колонках там было напечатано извещение о смерти такого-то, а затем сообщалось, что похороны состоятся завтра утром и доступ к телу покойного открыт в течение всего дня в его доме, где у входа надлежит расписаться в книге посетителей. Ниже, курсивом, перечислялось все, что покойный совершил при жизни, но как раз когда я дошел до этого места, Сильвано забрал у меня газету, заявив, что это, мол, все неважно. В это время мимо проехала шикарная машина, и полуголая девица выбросила в окошко недокуренную сигарету. Сильвано пошел за окурком, а вернувшись, разъяснил, что тут важно только одно - кольцо, которое покойник носил на пальце. Это кольцо историческое, большой ценности, в него вделан старинный изумруд. Ему рассказал про кольцо рабочий из похоронного бюро, его друг, который помогал обряжать покойника. Какой-то король подарил кольцо умершему, и тот просил похоронить его с этим кольцом. Под конец Сильвано сообщил, также со слов своего друга, что в квартире с покойным живет только одна служанка, но что ее почти наверняка не будет в эту ночь дома, потому что она боится оставаться одна с мертвецом.

Он сообщил мне всевозможные сведения о доме, улице, расположении квартиры. А я пока помалкивал, взвешивая все за и против. С одной стороны, дело с кольцом казалось очень заманчивым, но, с другой стороны, Сильвано один из самых неудачливых людей, каких я только знал. Невезение было у него просто на лбу написано, и если судьба иногда улыбалась ему, то только для того, чтобы заманить в ловушку и швырнуть еще глубже в пучину несчастий. Особенно выдавал его злосчастную долю нос: кривой, свинцово-синий, похожий на сливу, с этакой клецкой на конце, на которой красовалось безобразное, коричневое родимое пятно. Этот нос одним своим видом наводил на вас уныние. Каково же было его владельцу! Я, конечно, беден, плохо одет и в черные дни могу тоже сойти за бродягу. Но такой зловонной нищеты - нищеты завсегдаево ночлежек и любителей монастырской похлебки, - которой разило от Сильвано, я не знал никогда. Окурка, выброшенного из машины, я никогда не поднимал. Обо всем этом я думал, пока Сильвано говорил, и он, как будто почувствовав, что я гляжу на его нос, почесал его, потом даже поковырял в нем пальцем. Тогда, сразу приняв решение, я сказал:

- Спасибо за идею, но... это невозможно.

- Почему?

- Потому что "потому" кончается на "у".

Я увидел, что он побледнел, опустил голову. Потом - поверите ли начал плакать. Хныча, он сказал:

- Какой я несчастный! Один раз подвернулся случай, и то не могу им воспользоваться.

Я ответил:

- Проверни это сам, тебе не придется ни с кем делиться, и ты станешь богачом.

- У меня не хватит храбрости, - признался он, продолжая хныкать. - Я боюсь покойников. А ты ничего не боишься, и я так надеялся...

Тут я поднялся, давая понять, что разговор окончен, сказал, что в таком случае кольцо останется у покойника, и ушел. Был канун Феррагосто, и я провел его в городских садах, перебираясь с одной скамейки на другую. Всюду было пусто: только пыль, обрывки бумаги да духота городского лета, унылая, как поношенная одежда. И пока я слонялся со скамейки на скамейку, мной овладела такая тоска, что и выразить невозможно. Праздники нужно справлять, иначе начинаешь чувствовать, как тобой овладевает уныние. Но я знал, что для меня лучшим праздником было бы забрать кольцо у мертвеца, и в то же время понимал, что после того как я отказался помочь Сильвано, воспользоваться его сведениями было бы подло. Но в конце концов тоска взяла верх над щепетильностью и я решился. По правде сказать, у меня мелькнула мысль дать знать Сильвано, что я передумал, но я сразу же сообразил, что понятия не имею, где он живет. Бедный Сильвано! И тут ему не повезло: встретить единственного среди своих коллег порядочного человека и не извлечь из этого никакой выгоды!

Я пошел домой, в каморку, которую сдавал мне старый мраморщик, и вытащил из

тайничка свои инструменты: большое кольцо со множеством ключей разной величины и всякими приспособлениями, длинный гвоздь, загнутый по-особому, - мое собственное изобретение, отмычку, напильник. Потом я сунул в карман полбатона. Уже вечерело. Я поехал трамваем по адресу, который дал мне Сильвано.

Дом я нашел без труда, это неподалеку от бульвара Париоли. Он показался мне не особенно роскошным, и я даже был слегка разочарован. Я полагал, что такое важное лицо живет в богатом особняке, а это был простой дом, хотя и в современном стиле, с фасадом из красного кирпича и белыми балконами, похожими на мыльницы. По моим расчетам, привратник должен был в это время ужинать, и действительно, я вошел никем не замеченный и направился прямо к квартире номер три, которую занимал покойный. Так как покойный жил один в квартире, дверь была не на засове, а заперта на обычный пружинный замок. Быстро, но без суеты я перепробовал все ключи. Говорят, что для каждого из этих современных замков нужен особый ключ, но это неправда: есть каких-нибудь два десятка типов, самое большее. В общем, замки - как женщины: нужный ключ, как и нужное чувство, находишь не головой, а нюхом. Правда, ни один из моих ключей не подходил, но, перепробовав их с дюжину, я уже знал, какие зубцы лишние, какие должны быть насечки, вернее, даже не знал, а чувствовал инстинктивно. Глаз вора подобен глазу хирурга: сразу определит, на сколько миллиметров он может промахнуться.

Сообразив, какой тут нужен ключ, я не торопясь поднялся по лестнице на балкон. Здесь была простая деревянная дверь с замком старого типа. Я всунул в скважину свой гвоздь, зацепил кончиком пружину, повернул, и дверь открылась. Я притворил ее за собой и оглядел балкон. Это был один из тех новомодных балконов, которые похожи на коробки без крышек, - голый, чистый, пустой, без мебели, за которую можно спрятаться, не сообщавшийся с другими балконами или крышами - на случай, если придется удирать. Луна ярко светила, и на балконе было светло, как в зале для танцев. Все же я нашел угол, затененный выступом крыши, присел на корточки, вытащил напильник и принялся подгонять ключ. Я чутьем угадывал, где и насколько его надо сточить. К тому же главное сейчас было - подпилить его с обеих сторон; окончательно довести бородку я должен был потом, у двери... Когда ключ, на мой взгляд, приобрел нужную форму, я прилег отдохнуть, съел свой полбатона и выкурил папиросу. У меня было еще, самое малое, четыре часа в запасе. Я бросил окурочку, притулился в уголке и вскоре заснул. Проснулся я как раз через четыре часа и почувствовал, что сон пошел мне на пользу. К лестнице я направился со спокойствием чиновника, который идет на службу: хладнокровно, без нервозности, со свежей и ясной головой. Тихонько спустился к квартире номер три и попробовал свой ключ. Я не ошибся, он почти подходил, и стоило лишь разок провести по нему напильником, как он повернулся и дверь отворилась мягко и легко, словно по маслу.

Квартира была скромная, это я заметил с первого взгляда, - просто обставленные четыре комнаты с кухней. Такие квартиры обычно для вора не представляют интереса. А ведь здесь жила важная персона, это было ясно из газеты. Я прошел из передней в коридор: одна дверь была открыта, и оттуда шел скудный свет, непохожий на свет лампы. Оказалось, это был свет луны, который проникал в комнату через открытое окно, выходившее в сад. Освещен был только подоконник, вся остальная комната была погружена в темноту. Я вытащил карманный фонарик и начал разведку. Прежде всего я увидел множество шкафов, набитых книгами, затем массивный резной стол на львиных лапах и, наконец, - цветы. Их здесь была пропасть, самых разнообразных, больше всего роз, гвоздик и гладиолусов. Вдруг среди цветов я увидел лицо покойника; у него были усы, борода, седые, блестящие, как шелк, волосы, розовое, упитанное лицо, опущенные прозрачные веки. Это был человек лет семидесяти, полный, внушительный, сытый, с аристократической внешностью. Знатный покойник, настоящий синьор. Я постепенно опускал фонарик. На покойнике был черный фрак с красно-желтой лентой на груди. Из-под фрака виднелась белоснежная сорочка с красиво завязанным белым галстуком под серебристой, острой бородкой. А вот и руки, скрещенные на груди, розовые, чистые, слегка веснушчатые, с холеными ногтями. Перстень

был здесь: зеленый изумруд сверкал на коротком, немного распухшем пальце. Я взял фонарик в левую руку, нагнулся и, ухватив кольцо двумя пальцами, стал, поворачивая, стаскивать его. Оно не поддавалось. Тогда я дернул сильнее, и оно осталось у меня в руке. Но мне показалось, что толчок потревожил покойника. Я поднял фонарик. Действительно, рот у него открылся, и под моржовыми усами отчетливо виднелось множество золотых зубов. Тут легкий свист заставил меня вздрогнуть. Я резко повернулся и в окне, над самым подоконником, увидел комичную физиономию Сильвано. Он был бледнее мертвеца и глядел на меня широко раскрытыми глазами. Потом он сказал вполголоса:

- А, ты здесь...

Прошло всего лишь мгновение, но в это мгновение я решил, что обману его.

Я ответил спокойно:

- Да, я пришел, но кольца нет.

Он скорчил отвратительную гримасу и прошептал сдавленным голосом:

- Не может быть.

- Иди посмотри сам, - ответил я.

С трудом подтянувшись на руках, он вскарабкался и сел на подоконник, потом повернулся и соскочил в комнату. Не говоря ни слова, я направил свет фонарика на руки покойника, лишенные драгоценностей. Вдруг Сильвано сказал дрожа:

- Кольцо у тебя, руки-то сдвинуты.

- Не будь дураком...

- Да... оно у тебя... Вор!

- Ну, ну, потише.

Но он молча набросился на меня, стараясь ухватить за карман брюк, где как раз и лежало кольцо. Я сделал шаг назад, в темноту, говоря:

- Берегись, нас заметят.

Однако он, видно, совсем потерял голову и снова кинулся на меня. Входя, я заметил дверь позади стола: должно быть, она вела в переднюю. Пока Сильвано в полумраке, вытянув руки, приближался ко мне, я обошел стол, проворно открыл дверь и исчез за ней. Однако не настолько быстро, чтобы он при свете моего фонарика не успел заметить, что это дверь кладовой, не имеющей другого выхода. Пока я вертелся среди кучи пальто и шляп, висевших на вешалке, я услышал, как ключ в замке повернулся и Сильвано громко сказал:

- Отдай кольцо, а то я тебя не выпущу.

Я был вне себя от бешенства, потому что, кроме всего прочего, в этой конуре была страшная жара и духота, от которой я задыхался, и ответил, что кольцо ему не отдам. Тогда он отошел от двери, и я услышал, как он зажег лампу и двигается по комнате. Я решил, что он, должно быть, ищет, что бы такое украсть взамен кольца, и не ошибся. Внезапно раздался пронзительный вопль и крик:

- Он кусается!

Затем шаги, голоса в саду, в доме, хлопанье дверей, оклики, приказание. Наконец открылась дверь кладовой. Комната была освещена; несколько человек держали Сильвано за руки, а передо мной, как и следовало ожидать, стояли полицейские.

Уже потом я сообразил, что произошло. Несчастный глупец Сильвано, любой ценой желая возместить потерю, запустил пальцы в рот покойнику, чтобы вырвать золотые зубы, - как будто это были цветы, которые можно сорвать просто так, без щипцов дантиста! От сотрясения рот у покойника закрылся, и Сильвано в ужасе завопил.

Но обо всем этом я уже раздумывал потом, в комиссариате. А тогда я только посмотрел на Сильвано, вложив в этот взгляд всю свою ярость, и покачал головой: пропащее дело связываться с человеком, у которого такой нос. Я сам кругом виноват, что не понял этого раньше.

Здесь не поживитесь...

Хотел бы я знать, почему так бывает: когда нравится женщина, то в конце концов начинают нравиться даже ее недостатки. Хотел бы я знать, почему, хотя я давно уже понял,

что Пина мне не пара, почему я все-таки женюсь на ней через месяц-другой.

Все достоинства Пины - это ее внешность. Миниатюрная, смуглая, крепкая, как свежий плод, с мальчишеским лицом и мужской прической, она держит меня под башмаком, потому что есть у нее несколько привычек, которые действуют на меня с неизменным успехом: мне нравится, как она быстро, словно танцуя, перебирает при ходьбе ногами под длинными юбками, сильно стянутыми в талии; как она смотрит на меня искоса, пристально, не моргая, круглыми, точно у совы, глазами или как она вдруг поворачивается ко мне спиной и говорит: "Застегни-ка мне молнию", и я, застегивая ей молнию, вижу смуглую шею, которая переходит в смуглые плечи, покрытые, подобно персику, чуть заметным пушком. Все это как будто пустяки, но если бы не эти ее привычки, очарованию скоро пришел бы конец. Но тут я ничего не могу поделать, и она об этом прекрасно знает, а я кончу тем, что женюсь на ней.

Теперь поговорим о недостатках Пины, вернее, о главном ее недостатке, потому что этот недостаток довольно серьезен: это ее дурные манеры. Дурные манеры - это еще мягко сказано, надо бы сказать - хамские манеры. Бывают люди, которые ходят тихим шагом, другие бегут рысью, а некоторые скачут галопом; так вот, Пина несется галопом. Она держит себя так, точно хочет сказать: "Меньше слов, больше дела; я не собираюсь терять время попусту". И ее манеры словно подтверждают это впечатление: так и кажется, что она бежит, расталкивая всех локтями, чтобы расчистить себе дорогу, нетерпеливая, горячая, резкая, непримиримая.

Я же, наоборот, уродился с хорошими манерами. А ведь, казалось бы, мне пристало быть грубым, потому что я большого роста, здоровяк, сильный, как бык; в свои двадцать восемь лет я вешу девяносто пять килограммов; в механической мастерской, где я работаю, я один могу поднять малолитражный автомобиль. Но именно потому, что я такой сильный, я всегда внимательно слежу за своими поступками, за своими словами. Оно понятно: чем сильнее человек, тем благороднее должен он быть, стараться не злоупотреблять своей силой. А вот Пина, которая мне едва по грудь и вся сила которой заключается в ее низком и хрипловатом голосе (что мне тоже нравится в ней, я забыл об этом сказать), возможно, именно поэтому чувствует необходимость действовать нахальством.

Но делать нечего, я все-таки женюсь на ней. Правда, иногда мне хочется послать к черту и Пину и ее дурные манеры. Например, так было не далее как позавчера, во время поездки в Остию.

Было жарко, как только может быть жарко в Риме на Феррагосто, да еще когда жара стоит уже два месяца. Пина, наверное от жары, была в то утро зла, как ведьма. Она сразу же поставила меня об этом в известность, как только мы встретились на улице перед ее домом:

- Сегодня неудачный день... я тебя предупреждаю
- Что-нибудь случилось? А?
- Ворона-кума... А что может случиться? Ничего.
- Тогда почему же сегодня неудачный день?
- Потому что "потому" кончается на "у".

Мы пришли к поезду в Сан-Паоло в половине двенадцатого, народу в это время всегда бывает много. Вагон, в который мы вошли, был полон, оставалось только одно свободное место. Пина стрелой бросилась туда и села как раз в тот момент, когда какая-то девушка постарше ее, бледная и худая, тихая и скромная, полная противоположность Пине, тоже собиралась сесть на это место. Нужно сказать, что Пина не просто села, она прямо-таки проскользнула под девушку именно в ту минуту, когда та, как человек хорошо воспитанный, медленно опускалась на скамейку. Получилось так, что бедняжка чуть не села на колени к Пине. Она тотчас же подскочила и смущенно сказала:

- Это мое место.
- Нет мое... ведь сажу на нем я.
- Но вы заняли его как раз, когда я садилась... Все это видели. Как можно так вести себя?
- Как надо, так и веду.



- Синьорина, - голос девушки был мягок, но решителен, - встаньте, не то я позову контролера.

Угроза вызвать контролера в этой тесноте была просто смехотворной. И Пина в самом деле громко расхохоталась. Тогда девушка, пытаясь взять ее за руку, сказала:

- Встаньте, синьорина!

Но Пина больно ударила ее по руке:

- Руки прочь!

Тут вмешался отец девушки - старик с седыми усами, в рубашке с отложным воротником, обнажавшей его морщинистую шею.

- Синьорина, вы поступили очень дурно, ударив мою дочь... тем более, что она права... так что встаньте.

- А ты кто такой?

- Человек, который мог бы быть вашим отцом.

- Моим отцом? Ты хочешь сказать - моим дедушкой? Что нужно от меня этому старикашке? - она обращалась к тем, кто смотрел на эту сцену и, как я заметил, вовсе не смеялся.

- Синьорина, вы должны уступить место, - теперь старик властно повысил голос.

И тотчас же Пина пронзительно закричала:

- Маурицио!

Маурицио - это я. Нехотя, понимая, что Пина неправа - а впрочем, даже если бы она и была права, все равно мне приходилось выступать против старого человека и выглядеть нахалом, - я подошел к нему и вяло проговорил:

- Послушайте, я советую вам не настаивать.

Он посмотрел на меня, пораженный, покачал головой, потом сказал:

- Ну, что ж... Видно, нет уже на свете воспитанных людей. - И он вернулся к своей дочери.

Вокруг нас поднялся возмущенный ропот. Кто-то сказал:

- Хорошенькое дело... спорить со старым человеком... Уж хоть бы с возрастом посчитался.

Какой-то юноша встал и уступил девушке место:

- Синьорина, прошу вас, садитесь, - и посмотрел на меня с вызовом.

Я ничего не сказал, но весь кипел от злости, я был зол не столько на юношу, который, в конце концов, лишь показал свою воспитанность, сколько на Пину. Так, в молчании, под недобрыми взглядами всех пассажиров, мы с божьей помощью добрались до Остии.

На набережной я сказал Пине:

- Имей в виду, роль нахала мне вовсе не нравится... Все смотрели на нас со злобой и были правы.

- А мне на всех наплевать! Захотела сесть и села.

Мы подошли к купальням. Господи Иисусе, сколько народу! С каким трудом мы пробирались между голых тел, лежавших на солнце: буквально некуда было ступить. Служитель при купальнях предупредил нас, что нам придется устроиться в одной кабине с какими-то людьми. Пина нахмурилась, но ничего не сказала. Мы подошли к кабине. Она была занята семейством: отец и мать, оба толстые и пожилые, и двое детей - хорошенькая девушка, тоненькая, как тростиночка, и смуглый юноша лет двадцати. Они оказались очень милыми людьми и тотчас же наперебой принялись приглашать нас: пожалуйста, устраивайтесь, входите. Пина, которой не понравилось, что она должна делить с кем-то кабину, резко ответила:

- Мы и без вашего приглашения устроились бы.

Все четверо раскрыли рты от изумления. Девушка ехидно заметила:

- Какая принцесса пожаловала!

Пина оставалась некоторое время в кабине, а как только она вышла, раздался крик девушки:

- Мое платье!

Я увидел, что Пина, чтобы повесить свои вещи, бросила платье девушки на стул, скомкав его. Девушка вошла в кабину, взяла свое платье и повесила его поверх вещей Пины. Тогда Пина схватила ее платье и бросила на землю:

- Я не желаю, чтобы эти тряпки висели на моих вещах.

- Поднимите мое платье! - сказала девушка дрожащим голосом.

- Да ты, деточка, просто дура... И пальцем не пошевелю.

- Нет, вы поднимете!

Они стояли друг против друга, как два молодых петушка, и обе были очень хороши. Родители вскочили. Мать сказала:

- Как пришла, так только и знает, что скандалить.

Отец ворчал:

- Что это за манеры... Куда мы попали?

На этот раз я понял, что Пина зашла слишком далеко. Я вошел в кабину, поднял платье и спросил у девушки:

- Синьорина, куда прикажете его повесить?

Девушка, смячившись, сказала, чтобы я повесил его на платье матери. Так я и сделал. Потом я закрылся в кабине и переоделся. Когда я вышел, то увидел, что Пина направляется к морю вместе с братом девушки. Они разговаривали и смеялись. Я понял, что Пина обозлилась за то, что я поднял платье, и хочет наказать меня. Но я все-таки подошел к ним и предложил:

- Пина, пойдем искупаемся?

- Иди сам... я пойду с... между прочим, как вас зовут?

- Лучано.

- Я пойду с Лучано.

Я ничего не сказал и пошел купаться один. Они побрели по пляжу вдоль берега и скоро скрылись из глаз. После купанья я обсох на песке и вернулся к кабине. Семья уже сидела за столом, на котором было полно всяких свертков, и завтракала. В сторонке Пина листала журнал. Она спросила обычным голосом:

- Может быть, мы тоже поедем?

Я взял сверток с завтраком и сел возле нее на ступеньки кабины. Развернул пакет, дал ей бутерброд, она его раскрыла и возмущенным голосом сказала:

- Что это такое? Ведь ты знаешь, что я не люблю ветчины!

- Но, Пина...

- Нет, я не стану есть!

- Синьорина, сделайте одолжение. - Юноша, под неодобрительными взглядами семьи, протянул ей бутерброд с холодной телятиной.

Заметили ли вы, что когда грубые люди стараются быть вежливыми, они выглядят просто смешными? Так и Пина с этим навязчивым парнем: она с улыбкой, больше похожей на гримасу, взяла бутерброд и откусила от него, продолжая улыбаться. Потом сказала, что ей тут неудобно, и пошла завтракать в тень за кабину. Я остался один. Вдруг до меня донесся ее голос:

- Дай мне что-нибудь попить! Ты что, хочешь, чтобы я подавилась?

Я встал и отнес ей бутылку вина. Она отпила немного, потом вдруг выплюнула все вино фонтаном на песок:

- Что это за гадость? Настоящий уксус!

- Но, Пина...

- Надоел. Пина, Пина.

- Синьорина, может быть, не откажется попробовать нашего?

Опять этот юноша, он протягивал ей бутылку вина. Она тотчас же согласилась и опять улыбнулась своей чарующей, насквозь фальшивой улыбкой. Я отодвинулся, а парень, воспользовавшись этим, устроился возле Пины. Тогда я встал и пошел к воде. Уселся на

песок и стал смотреть на море. Я был вне себя и вдруг подумал: "Хватит, конечно, вернусь сегодня в Рим один... больше никогда ее не увижу".

Это решение успокоило меня. Теперь, если мне было угодно, я мог видеть торчащие за кабиной две пары ног, вытянувшихся рядом: ног Пины и этого парня; но мне показалось, что все это не имеет для меня больше никакого значения. Я растянулся на песке и очень скоро заснул.

Проспал я порядочно, а когда, наконец, проснулся, то первым делом увидел эту парочку, направлявшуюся к морю купаться. Они разговаривали и, казалось, уже обо всем договорились. Сердце мое сжалось от ревности. Море, было беспокойно, и когда они входили в воду, волна накрыла их. Пина вскрикнула и отскочила назад. Юноша, чтобы поддержать ее, естественно, схватил ее за руку, правда, немножко высоко, прямо под мышку. И тут я услышал голос Пины:

- Вы хотите воспользоваться случаем, чтобы подобраться ко мне... Очень сожалею, но только здесь не поживитесь... я вам это сразу сказала: держите руки подальше.

- Но я...

- Нечего якать... уберите прочь руки... что я, по-китайски говорю?.. И вообще... оставьте меня одну... идите к своей сестре, зачем терять со мной время попусту?

Парень обиделся, тем более, что, видимо, она уже не в первый раз отвечала ему подобным образом. Он смущенно сказал:

- Пожалуйста, как хотите... я вас оставлю одну.

- Вот и хорошо... оставьте меня... до свидания и спасибо за компанию.

Он отошел от нее, но все время оборачивался, словно надеялся, что она вновь позовет его. А Пина, совсем одна, вошла в море, держась за спасательный канат. Я долго смотрел ей вслед, и мне уже хотелось догнать ее и помириться. Но я сказал себе: "Маурицио, это очень подходящий случай, другого такого никогда не представится" - и немного погодя вернулся в кабину, оделся, сказал соседям, чтоб предупредили Пину, заплатил и ушел.

Я побродил еще немного по Остии, сам не знаю зачем, может быть, в надежде встретить Пину. Потом пошел на станцию и в толкотне и суматохе сел в поезд. В вагоне было полно народу, я устроился в углу, смирившись с тем, что всю дорогу мне придется стоять. И вдруг в толпе я услышал голос Пины:

- А мне на это наплевать!

- Синьорина, это место заняла я, все это видели, тут была моя сумка.

- А теперь тут мой зад.

- Грубиянка!

- От грубиянки слышу.

- Короче говоря, встаньте... сейчас же.

- Маурицио!

В этой толпе Пина все-таки заметила меня и тотчас же позвала, чтоб я поддержал ее нахальную выходку. Я не хотел было подходить, но меня потянуло, как магнитом. Я выбрался из своего угла и подошел. На этот раз Пина поспорила с пожилой синьорой, довольно интеллигентной, страдающей подагрой, с шапкой седых волос на голове. Я как можно мягче проговорил:

- Синьора, советую вам не настаивать.

- А вы кто такой?

- Я жених синьорины.

И дальше все пошло как по-писаному: кто-то предложил синьоре место, и все косо смотрели на меня, а Пина осталась сидеть. Но знаете, что сказала эта синьора, когда сядила:

- Так вы жених?.. Бедняга... Я сочувствую вам всем сердцем.

И она была права.